95+83
Ин 62

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[9] 2001

РОМАН ОРХАНА ПАМУКА “МЕНЯ ЗОВУТ КРАСНЫЙ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД ЛУИ-ФЕРДИНАНД СЕЛИН, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ОТЧАЯНИЯ”: ИНТЕРВЬЮ, ФРАГМЕНТЫ РОМАНА “GUIGNOL’S BAND, ИЛИ ПАЯЦЫ”, “ЖИЗНЬ СЕЛИНА” ФРЕДЕРИКА ВИТУ / СТИХИ ЯЦЕКА ПОДСЯДЛО / НОВЫЙ РОМАН ПИТЕРА АКРОЙДА “ПОВЕСТЬ О ПЛАТОНЕ”

Основан в 1891 году

“ИЛ” В 2002 ГОДУ

“Баудолино” УМБЕРТО ЭКО – новый, сразу ставший интеллектуальным бестселлером историко-фантастический роман знаменитого итальянца.

“Коулун Тонг” американца ПОЛА ТЕРУ – роман, действие которого происходит в неумолимо сгущающейся атмосфере Гонконга накануне возвращения его в состав Китая.

“99 франков” одного из самых язвительных и ироничных французских писателей нового поколения ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА – роман о мире рекламы, одновременно отчаянная исповедь и лихой памфлет.

“Ужас льдов и мрака” австрийца КРИСТОФА РАНСМАЙРА – роман о полярных экспедициях, как подлинных, так и вымышленных.

“Сокращения” англичанина МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ – остроумная повесть о том, как скромному университетскому преподавателю предлагают написать сценарий грандиозного телесериала.

“Урок непослушания” французского писателя поколения 40-летних Ж.-Ф. АРРУ-ВИНЬО – роман о попытке одаренного неудачника осуществить свои юношеские мечты.

“Железный хлам” англичанина ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА, автора знаменитого “Заводного апельсина”, – роман об истории двух семей, переживающих бурные и трагические события первой половины XX века.

“Голубой ангел” американской писательницы ФРАНСИН ПРОУЗ – роман, иронично повествующий о современных нравах в американской университетской среде.

“Первоочередная доставка” молодой датчанки ИСЕЛИН ХЕРМАН – любовный роман в письмах с весьма неожиданной развязкой.

“...вспомни обо мне” ХАВЬЕРА МАРИАСА – остросюжетный роман одного из самых известных писателей современной Испании.

“Все горят в аду” молодого американца ДЖОНА РИДЛИ – роман, все персонажи которого вовлечены в головокружительную детективную интригу, а их несбывшиеся мечты тают под палящим солнцем Лос-Анджелеса.

“Биография Лондона” – город как текст, как миф, как сплетение великого, трогательного и смешного в новой книге постоянного автора “ИЛ” англичанина ПИТЕРА АКРОЙДА.

“Памфлет на самого себя” – мудрые, ироничные и парадоксальные размышления, наблюдения, дневниковые записи польского прозаика и кинорежиссера ТАДЕУША КОНВИЦКОГО.

“Воспоминания Розы” – рассказ жены знаменитого французского писателя, КОНСУЭЛО СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, о прожитых вместе годах.

“Сновидения” АНТОНИО ТАБУККИ – фантазии на тему снов знаменитых писателей и художников.

Автобиографическая проза АРТУРА КЁСТЛЕРА и КИНГСЛИ ЭМИСА.

Литературные гиды, посвященные актуальным проблемам современной мировой культуры.

Постоянные рубрики журнала: “Документальная проза”, “Портрет в зеркалах”, “Вглубь стихотворения”, “Из классики XX века”, “Литературное наследие”, “Трибуна переводчика”, “Среди книг”, “Комментарий”, “Курьер ИЛ”.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), УФПС (для Московской области) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро “Новокузнецкая”, “Третьяковская”). Тел. 953–51–47.

[9]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Питер Акройд. *Повесть о Платоне.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева

61 Яцек Подсядло. *Стихи.* Перевод с польского Дмитрия Веденяпина

66 Орхан Памук. *Меня зовут Красный.* Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой

Литературный гид "Луи-Фердинанд Селин, или Путешествие на край отчаяния"

165 Л.-Ф. Селин. *Guignol's Band, или Паяцы 1.* Фрагменты романа. Перевод с французского И. Радченко

217 Клод Бонфуа. *Л.-Ф. Селин рассказывает о своей юности.* Перевод с французского И. Радченко

223 Фредерик Виту. *Жизнь Селина.* Фрагменты книги. Перевод с французского В. Иорданского

277 Л.-Ф. Селин. *Интервью разных лет.* Перевод с французского И. Радченко

289 Л.-Ф. Селин. *Защитительная записка.* Перевод с французского И. Радченко

295 *Писатели отвечают на вопрос "Что вы думаете о деле Селина?"* Перевод с французского И. Радченко

299 Алексей Зверев. *"Всем я поперек горла..."*

305 *Луи-Фердинанд Селин: краткая летопись жизни и творчества*

Курьер "ИЛ" 312

Авторы номера 316

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

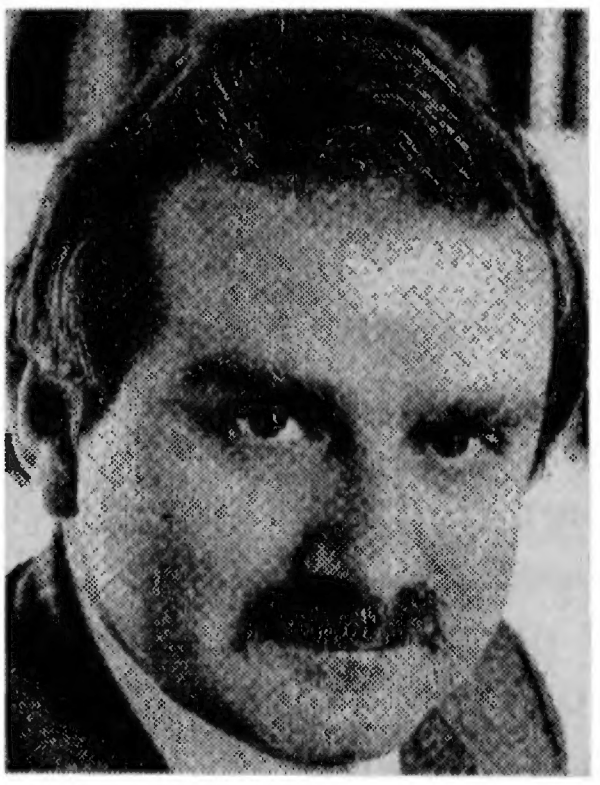
Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

В. А. Ашкенази
О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Из общего тиража Институт "Открытое общество" ежемесячно выкупает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1 700 экземпляров; Министерство культуры РФ выкупает для библиотек 800 экземпляров; финансовую поддержку журналу оказывает также Министерство печати РФ.

Питер Акройд



Повесть о Платоне

Роман

Перевод с английского Л. Мотылева

Посвящается Элизабет Уиндем

Ок. 3500 до н. э. — ок. 300 до н. э.: Эпоха Орфея
Ок. 300 до н. э. — ок. 1500 н. э.: Эпоха Апостолов
Ок. 1500 н. э. — ок. 2300 н. э.: Эпоха Крота
Ок. 2300 н. э. — ок. 3400 н. э.: Эпоха Чаромудрия
Ок. 3700 н. э.: Сегодня

В нынешнюю новую эпоху всесветной и молниеносной коммуникации я часто представляю себе планету нашу, какой она может видеться из космических далей. Она, должно быть, испускает мерцающий свет безостановочной, напряженной активности, уподобляясь некоему шарообразному небесному алмазу.

Рональд Корво. "Новая теория Земли", 2030 г.

Все затмилось и обеззвучилось, все кануло в пучину. Беда бед.

Джозеф П. Дневник, 2299 г.

Мы — выжившие, мы — жженые и травленые, брошенные в угрюмую глубь, взываем из мрака мира нашего, погибшие, как нам ведомо было, как нам ведомо ныне.

Лондонский гимн, ок. 2302 г.

© Peter Ackroyd, 1999
© Л. Мотылев. Перевод, 2001

Лучики света. Лучинки. Маленькие серповидные светики колеблются, оседлав волны тьмы.

Джозеф П. Дневник, 2304 г.

Миандра, уроженка Лондона, написала эту историю меняющегося мира, начиная с переходного момента, убежденная в том, что моментом этим ознаменовано наступление великой эпохи, достойной отражения более, нежели любая из минувших эпох. Эта убежденность не лишена оснований. Мир науки в ту пору уже рухнул, но божественное человеческое еще не утвердилось и не было осознано. Вся деятельность Миандры заключалась в регистрации явных примет смятения и изумления. Поскольку события отдаленной старины и даже дела более близкие, непосредственно предшествовавшие великой перемене, не представлялось возможным понять с полной ясностью, она сочла своим долгом всецело направить внимание на текущие обстоятельства.

Миандра. "История", 2310 г.

Священный город — вновь высится. Мы — вновь живы.

Воззвание, 2350 г.

Компоненты света были тщательно изучены. Помимо многообразных влияний на человеческом уровне, связанных, например, с волей и желаниями, налицо признаки воздействия со стороны самой земли. Даже маленький ее участок способен вносить свой вклад, затрагивая тех, кто оказывается внутри его границ. В частности, наш город небезразличен к радостям и страданиям его жителей.

"Лондон интеллидженсер", 2998 г.

Я не имел счастья быть очевидцем славного восстановления человеческого света — величайшего и, возможно, значительнейшего эпизода в повести рода людского. И все же я верю, что благословен в ином смысле, живя на пороге новой эпохи. Повсюду вокруг себя я вижу признаки воздвигающегося щедрого величия, тогда как горожане с великолепным усердием стремятся оживить и воспроизвести дела далекой древности. На вопрос, для чего они прилагают эти усилия, они отвечают: "А почему нет? Чем еще заниматься?" Вот он, наш новый дух!

Письмо от Попкорна к Меллиту, 3399 г.

Город дает нам опору. Город любит нас — свою ношу. Питайте его взамен. Не покидайте его пределов.

Воззвание, 3506 г.

Возвращаясь к истокам всего сущего, мы встречаем нашу судьбу. Видите наших двойников, что проходят мимо нас, проливая слезы? Такова природа нашего мира.

Притчи Реституты, хранительницы Лондона, 3640 г.

Тот, кто создает портрет одного человека, может заслужить упрек в своеволии или докучливости, однако изображения жителей того или иного прихода, высвеченные на Стене нашего великого и славного города, говорят нам о том, что в отдельной черте или взгляде иной раз воплощается некий судьбоносный миг или некое важное событие. Сходным образом намереваюсь я сейчас явить фигуру Платона, великого лондонского оратора. Мне поможет в этом искусство отбора; как в представлениях наших актеров, которые мы постоянно видим, одни события будут даны в увеличенном масштабе, другие в уменьшенном. Условности сферической драмы будут соблюдены от начала до конца; в частности, откровение и плач будут находиться в строгой соразмерности друг с другом. Используемые мною средства позволят нам истолковать эту жизнь, столь несчастливо краткую, как беспрерывный поиск истины. Также я считаю своим долгом добросовестно поведать о последних днях, проведенных Платоном в городе, и показать, как злое предубеждение воспользовалось своей неограниченной властью над самым возвышенным и благоустремленным из умов.

Неизвестный автор. "Повесть о Платоне", 3705 г.

Лекции и высказывания Платона *о делах минувших эпох*

1

Искромет. Постой, Сидония, постой!

Сидония. Постою охотно.

Искромет. Только что видел тебя на рыночной площади. Ты стояла у городской стены, и я заключил, что ты слушаешь выступление Платона.

Сидония. Верно во всех отношениях, Искромет. Но я и тебя ожидала там увидеть, ведь ты всегда раньше участвовал в празднествах Гога[1].

Искромет. Я уже был готов пересечь Флит[2] и присоединиться к вам, но меня остановил Мадригал.

Сидония. Что ему было нужно?

Искромет. Всего лишь сказать нечто о собрании жителей прихода. В результате я не услышал начало речи Платона. Услышал только конец — его слова о том, как печалит его мрак прошедших эпох.

Сидония. Он говорил очень интересные вещи. Оказывается, была эпоха, когда наши предки верили, что живут в мире, вращающемся вокруг некоего солнца.

Искромет. Да неужто?

Сидония. Именно, именно. Их учили, что они живут на сферической планете, движущейся в своего рода бесконечном пространстве.

Искромет. Не может быть!

1. Гог и Магог в британском фольклоре осмыслены как последние двое из великанов, уничтоженных Брутом — легендарным основателем Лондона. Считаются "духами-покровителями" Лондона. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Флит — небольшой приток Темзы, заключенный в XVIII веке в трубу.

Сидония. Таково было их заблуждение. Ведь они жили в эпоху Крота. По словам Платона, вся земля тогда словно бы уменьшилась и приняла форму шарика, чтобы соответствовать их теориям.

Искромет. Но должны же они были знать... или чувствовать...

Сидония. Им неоткуда было узнать. Солнце в их представлении было могущественным божеством. Когда Платон об этом сказал, мы все, конечно, на миг умолкли, а потом он засмеялся.

Искромет. Засмеялся?

Сидония. Даже сняв маску оратора, он все еще улыбался. Потом принялся спрашивать нас: "Вы считаете меня малорослым? Считаете, я знаю. А теперь представьте себе: в эпоху Крота люди были намного ниже меня. Головки крохотные, глазки — точечки. Известно ли вам, что они верили, будто их опутывает гигантская сеть, или паутина?"

Искромет. Невероятно. Никогда не знаешь, правду Платон говорит или нет.

Сидония. Это-то и веселит его больше всего. Игра. Вот почему он стал оратором.

Искромет. Мы, знающие его с детства...

Сидония. ...не перестаем дивиться.

Искромет. Но кого могут убедить подобные дикие домыслы?

Сидония. Ты сможешь сделать все выводы сам. Пойдем со мной к белой часовне[1], там вот-вот начнется его второе выступление.

2

Я поведу речь о романисте Чарльзе Диккенсе, чьи годы жизни заключены в промежутке между семнадцатым и двадцатым столетиями нашей земли. Названия его трудов нам известны, однако из текстов до нас дошел лишь один, да и то, увы, не полностью. Семь страниц вырвано, имя автора по неведомым мне причинам частично стерто. Большая часть повествования, однако, сохранилась, что дает нам единственную в своем роде возможность исследовать свойства человеческого воображения, каким оно было в эпоху Крота. Роман называется "Происхождение видов путем естественного отбора". После заглавия стоит имя автора — Чарльз Д... Остальная часть имени соскоблена неким грубым орудием, и здесь же пишущим веществом, составленным на основе красителя, выведено слово "пакость". Наверняка это дело рук читателя, которому роман не понравился. Возможно, вещь оказалась слишком мелодраматической — или, что то же самое, слишком романтической — для его утонченного вкуса. Несмотря на это повреждение, у нас нет причин сомневаться, что роман сочинен автором книг "Большие надежды" и "Тяжелые времена".

Повествование открывается словами героя: "Будучи натуралистом и путешествуя в этом качестве на корабле "Бигль", я был поражен некоторыми фактами..." За этим вступлением следует чрезвычайно интересный рассказ. Наблюдая за пчелами, голубями и разнообразными иными живыми существами вокруг, герой творит в собственном воображении целый мир — мир такой сложности, что в конце концов сам рассказчик начинает верить в его реальность. Это напоминает другой

1. Уайтчепел (белая часовня) — один из районов лондонского Ист-Энда.

дошедший до нас роман — "Дон Кихот", главный герой которого столь же безумен. Донкихотствующий рассказчик "Происхождения видов" болезненно одержим такими понятиями, как "борьба", "соперничество" и "гибель в результате естественного отбора", что делает его и отталкивающим, и смешным. Его рассуждения претендуют на точность и беспристрастность, однако вдруг он заявляет: "Я располагаю длинным перечнем подобных случаев, но здесь, как и выше, я, к великому сожалению, не имею возможности его привести". За этим исполненным великолепного комизма замечанием следует другое, столь же непреднамеренно юмористическое. "Бесполезно, — констатирует герой, — убеждать кого-либо в истинности этого утверждения, не приводя всего обширного массива собранных мною фактов, а этого я здесь сделать не в состоянии". Перед нами персонаж, которому, будь он реальным лицом, никто бы не поверил!

Теперь нам становится ясно все хитроумие замысла Чарльза Диккенса. Выдумав этого нелепого "натуралиста", путешествующего на судне "Бигль", чье экстравагантное название совпадает с названием породы собак[1], он сумел создать тонкую косвенную пародию на общество, в котором он жил. Сам подзаголовок романа — "Сохранение избранных рас в ходе борьбы за существование" — указывает на одну из мишеней диккенсовской сатиры, ибо соотносится с одним из распространенных в эпоху Крота заблуждений, согласно которому все человеческие существа могут быть разделены на группы в соответствии с понятиями "расы", "пола" и "класса". Это заблуждение интересным образом преломляется в анекдотах, которые сочинил один из "братьев Маркс" — комический автор, о котором я расскажу в другой раз. Диккенс высмеивает эту странную гипотезу, вкладывая в уста незадачливого рассказчика утверждение о том, что "широко распространившиеся виды, которые уже восторжествовали над многими соперниками... будут иметь наилучшие шансы на захват новых территорий, когда они вторгнутся в чужие пределы". Здесь необходимо вспомнить, что в средний период эпохи Крота одни народы шли войной на другие и подчиняли их себе; как наш герой пишет в обычной своей вежливой манере, "северные формы сумели возобладать над южными, более слабыми", стремясь "восторжествовать в борьбе за существование над чужеземными соперниками в дальних краях". Чарльз Диккенс мастерски добивается комического эффекта, заставляя своего героя с полной серьезностью рассуждать вроде бы только о птицах и насекомых и тем самым давать великолепно сжатую и нелицеприятную картину общества, которое его окружало.

Воистину это мрачный мир, которым правят тяжкая необходимость труда и жажда власти. Даже пчелы "стремятся... беречь время"; в другом месте рассказчик хвалит "более эффективные мастерские севера". Сама природа представлена здесь бережливой и даже скаредной, одержимой постоянным желанием "экономить"! Однако в промежуточной главе романа рассказчик перестает быть просто комическим персонажем и выказывает весьма зловещие черты. Он заявляет о необходимости "гибели многих и многих" и без малейшей иронии провозглашает: "Пусть выживают сильнейшие, пусть умирают слабейшие". В одном примечательном месте романа он упивается

1. Beagle — коротконогая гончая (*англ.*).

зрелищем жестокого смертоубийства. "Нас должна восхищать, — говорит он нам, — свирепая инстинктивная ненависть пчелиной матки, мгновенно побуждающая ее уничтожать юных пчел — своих дочек". Отдельные его выражения — такие, как "смерть дочек", "дочки умерли юными и прекрасными", — возможно, отсылают к некоей поэтической или драматической традиции, ныне для нас недоступной. Но, как бы то ни было, его собственный интерес к жестокой бойне проступает достаточно явственно.

Побоище и резня фактически легли в основу сотворенного им фантастического мира. Он вообразил себе всю жизнь на земле произошедшей от одного "общего прародителя", или от одной "первоначальной формы"; потомство этого "прототипа" впоследствии развилось в многообразие видов животных и растений, постоянно борющихся между собой, чтобы "двигаться к совершенству". Он называет это "эволюцией". Не смейтесь, прошу вас! Ведь он всего-навсего герой романа. Ладно уж, смейтесь, если хотите. Но помните при этом, что книга Чарльза Диккенса — это сатира на слепые предрассудки эпохи Крота. Помните также, что никто из людей, живших в ту темную пору, не знал и не мог знать, что все стороны мироздания меняются мгновенно и что новые формы органической жизни появляются в тот момент, когда их рождения требует земля. Например, только в эпоху Чаромудрия люди поняли, что окаменелости, обнаруживаемые в горных породах или в мерзлоте, возникли как пародии на соответствующие им органические формы. Тогда же было осознано, что каждый участок земли спонтанно творит свои собственные существа.

Я закончу это выступление темой, подсказанной самим романом. Ложное и несвязное описание мира природы, данное рассказчиком, наводит его в конце книги на мрачные размышления о своем собственном жизненном пути. "Как преходящи желания и труды людские, — сетует он, — как короток отпущенный человеку срок!" Конечно, это типичные для эпохи Крота чувствования, но здесь они исходят не от кого иного, как от безумного ученого, претендующего на понимание движущей силы, которая стоит за этими обобщенными "желаниями и трудами"! Рекомендую вам "Происхождение видов" как подлиный шедевр комической прозы.

3

Мадригал. Тебе понравилось выступление?

Орнат. Очень-очень. Даже ангелы, похоже, заинтересовались — особенно когда Платон стал распространяться об этой теории... забыл... как она называется?

Мадригал. Конволюции?

Орнат. Именно. Конволюционная. Я всласть посмеялся.

Мадригал. Не ты один. Почему, интересно, наши предки так смешно заблуждались? Ведь, я убежден, они искренне во все это верили.

Орнат. Без сомнения.

Мадригал. Может быть, в будущем кто-нибудь так же станет смеяться над... ну... надо мной и тобой.

Орнат. В нас ничего смешного нет.

Мадригал. Насколько мы знаем.

Орнат. Хорошая мысль. Улучить бы момент и спросить об этом Платона. Надо же, в школьном возрасте мы все жили в одном приходе — ты, я, Платон.

Мадригал. И Искромет. Как же ты про него забыл? Длинный балахон, белые волосы.

Орнат. И про Сидонию. Красные волосы, вся лучится голубым светом.

Мадригал. Я так давно их знаю, что порой они кажутся очень близкими, порой — очень далекими.

Орнат. Все, что дано нашему восприятию, — сновидение или греза, не больше. Так, по крайней мере, утверждает Платон. Кстати, вот он и сам у колодца клерков[1]. Кажется, что говорит сам с собой.

Мадригал. Не может быть. Наверное, упражняется перед очередным выступлением.

4

Платон. Откуда мне знать, что ты действительно моя душа?

Душа. Откуда тебе знать, что это не так?

Платон. Да, меня, конечно, учили, что души существуют, но доныне ты мне не показывалась.

Душа. Согласна, что это необычно, но иной раз такое случалось. Между прочим, могу доказать, что я — твоя Душа. Вот, гляди.

Платон. Моя мать. Неужели? Можно дотронуться?..

Душа. Нет, это не разрешается. Смотри, что ты сделал. Она истаяла.

Платон. Как ты смогла ее вызвать? Разве это возможно?

Душа. Ее душа была моей близкой подругой. Мы беседовали и пели вместе, когда вы с матерью сидели вдвоем.

Платон. Она всегда была в белом венке.

Душа. Белый был цветом города в ту пору.

Платон. У нас был старинный дом — не каменный, а световой.

Душа. Я хорошо его помню. Там-то, думаю, все и началось.

Платон. Что началось?

Душа. Когда ты перестанешь задавать вопросы? Это может и надоесть. Она рассказывала тебе разные разности. Старинные притчи, легенды.

Платон. Так я узнал о городе и его истории.

Душа. Узнал.

Платон. И стал учиться.

Душа. Скажем так. Во всяком случае, ты был избран оратором.

Платон. Больше никто из горожан не искал этой должности. Задумываться о прошлом так крепко, как я, не принято. Это считается неуместным. Однако люди посещают мои выступления и слушают вежливо.

Душа. Или смеются.

Платон. Меня радует этот смех. Я — их клоун. Я защищаю их от сомнений в самих себе. Я так мал, что, даже когда я говорю им правду, они не принимают мои слова всерьез.

1. Кларкенуэлл (колодец клерков) — один из старинных лондонских районов.

Душа. Ты всегда говоришь правду в той мере, в какой способен ее понять.

Платон. Боюсь, мера эта очень мала.

Душа. Мне не позволено рассуждать на эти темы. Ты — только становишься. Я — существую. Вот различие между нами. Например, я охотно помогла бы тебе с твоим словарем старинных понятий, но это мне воспрещено. Я не должна вмешиваться.

Платон. Но как ты узнала?..

Душа. Тебе пора уже было понять, что мы очень близки. Теперь — прости меня, я хотела бы отдохнуть. Можно я тихо-тихо выскользну?

Платон. Как ты думаешь, тебя заметили?

Душа. Конечно же нет. Ты смотрел в пространство и разговаривал сам с собой — вот и все.

5

Антибиотик: смертоносный луч в эпоху Крота.

Бежать впереди прогресса: обычное для эпохи Крота состояние, связанное с чаянием быстрейшей смерти. Иначе оно называется *Танец смерти.* Страх смерти в ту пору был частью более обширного страха перед жизнью.

Биограф (от "био" + "графия"): тот, кто читает письмена жизни. Предсказатель будущего, хиромант.

БМВ: иератический знак, обнаруженный на нескольких изделиях из металла. Считается связанным с ритуалами, посвященными богу механики и вычислений. См. *Бог.*

Бог: в эпоху Апостолов — верховный правитель вселенной; в эпоху Крота — покровитель техники и науки (см. также *Бог из машины);* в эпоху Чаромудрия — принцип жизни, выходящей за свои собственные пределы.

Буря чувств: считалось, что в некоторых случаях чувство злобы или тревоги, испытываемое тем или иным человеком, может достигнуть такой силы, что способно вызвать резкое изменение погоды.

Былой жар: в древности полагали, что он неизбежно возникает при сожжении старой древесины или возгорании давно построенного дома. Но, согласно последним данным, в возникновении этого явления место играло более важную роль, чем материал. Вот почему горожане, жившие в эпоху Чаромудрия, замечали, что пожары обычно начинаются в одних и тех же местах; в частности, поблизости от дома гильдий[1] были улицы, где былой жар вспыхивал периодически.

Волоконная оптика: грубый материал, вытканный из сетчаток человеческих глаз, который шел на одежду верховных жрецов механической эпохи, предназначенную для того, чтобы повергать людей в священный ужас.

Вордсворт (Достойный слов): общее прозвание писателей, заслуживших почет и высокое положение. В сходном контексте встречается *Чаттертон* (Говорун). В прозваниях многих писателей в эпоху Крота подчеркивалась связь с неорганическим миром: *Оруэлл* (Рудный колодец), *Колридж* (Угольный кряж), *Голдсмит* (Золотых дел мастер). Некоторых писателей чтили как жрецов; среди них — *Поуп* (Папа) и *Пристли* (Священник). Других — таких, как *Уайльд* (Дикий) и *Сэвидж* (Свирепый), —

1. Гилдхолл (дом гильдий) — здание ратуши лондонского Сити.

боялись. Иные превозносились за скорбность или суровость стиля, как, например, *Грейвз* (Могильный), *Беллоу* (Завывающий) и *Фрост* (Мороз). К сожалению, произведения их до нас не дошли.

Время: центральная категория эпохи Крота. Этим понятием управлялись тогда все стороны бытия. Вера в верховенство времени видна по обилию словосочетаний: *первое время, последние времена, до времени, ко времени, со временем, на время* и т. д. Встречается даже: *убить время*, что было, конечно, невозможно. Это выражение, видимо, употреблялось как метафорическое обозначение страшного святотатства.

Глобус: на протяжении многих столетий люди представляли себе землю сплюснутым диском, находящимся в центре вселенной; позднее ее стали считать округлым, сферическим образованием, движущимся в пространстве по кругу. Глобусом называлась модель, созданная для иллюстрации второго из этих представлений, хотя ее пропорции очевидным образом были продиктованы законами геометрической гармонии. Поэтому глобус напоминал магический шар астрологов.

Двуполье (трехполье): представление о том, что существуют только два (соответственно три) пола.

Декаданс: вера в повторяемость десятилетий (декад). Считалось, например, что 2090-е годы похожи на 1990-е, а те, в свою очередь, на 1890-е. Эта теория так и не была полностью опровергнута, и у нее были приверженцы даже в эпоху Чаромудрия.

Дистанционное управление: одна из форм богослужения, существовавших в эпоху Крота. Люди верили, что способны посредством определенных ритуалов воздействовать на события, происходящие в отдаленных уголках земли. К числу этих ритуалов, возможно, принадлежали племенные обрядовые танцы; также распространено было скандирование буквенных или цифровых сигналов, обращенных к механическим демонам земли.

Железный век: эпоха машин. В разговорном языке называлась также "эпохой мракобесия", то есть эпохой мрачного бешенства, каковой она действительно стала под конец.

Желтая лихорадка: болезненный страх перед желтым цветом.

Зуб мудрости: считалось, что источниками тех или иных человеческих качеств или особенностей поведения являются соответствующие органы тела. Например, храбрость связывалась с сердцем, память — с мозгом. Сходным образом вместилищем мудрости, вероятно, были сочтены зубы.

Идеология: процесс сотворения идей. Эта работа, как правило, шла в тишине и уединении, поскольку для выделки идей требовалось чрезвычайное тщание. Будущие мастера нередко избирались для этого занятия в раннем возрасте и обучались в особых школах, в быту называвшихся "психушками". Каждый из прошедших профессиональную подготовку "идеалистов", как их именовали, должен был произвести определенное количество идей, которые затем выставлялись на публичное обозрение или инсценировались.

Икс-лучи: лучи, которые рассеялись в пространстве или были уничтожены. "Икс" — это знак так называемого "креста", обозначавшего в эпоху Крота уничтожение, ликвидацию, смерть. Этот символ играл тогда чрезвычайно важную роль, что отразилось в словах *крестник* (смертник), *крестовина* (орудие казни) и др.

Информация:

Сидония. Кажется, ты остановился на слове "информация". Можно посидеть с тобой, Платон, и поговорить обо всем этом?

Платон. Конечно. Здесь прохладный и ровный свет, и я чувствую, что он поможет нам прийти к интересным заключениям. Мы сидели здесь детьми, рассуждая о существовании света и вечности треугольников.

Сидония. Ты знал все ответы.

Платон. Нет. Я знал вопросы. Мне постоянно хотелось привлечь твое внимание.

Сидония. Эта пора далеко позади.

Платон. Или далеко впереди. Замечала ли ты, как странно переплетены "раньше" и "потом"? Впрочем, это лишь праздная болтовня. Ты, кажется, спросила меня об "информации"? Все данные говорят о том, что это очень древняя богиня. Тех, кто ее почитал, она наделяла мощью, и считалось, что она незримо присутствует повсюду.

Сидония. Но с какой целью действовало это божество или дух?

Платон. По всему видно, что ни с какой. Даже ее ревностные адепты не думали, что благодаря ее сверхъестественным силам могут стать мудрее или счастливее. Во многих отношениях это напоминает культы эпохи Чаромудрия, которые отправлялись только лишь ради самих обрядов. Информация дарила своим приверженцам слова и образы — не более того.

Сидония. Что они выражали?

Платон. В ту пору считалось, что людям надлежит знать о событиях, произошедших на большом отдалении, — событиях как подлинных, так и мнимых.

Сидония. Видимо, это приносило им великие блага.

Платон. Ничего подобного. Никаких благ. Напротив, это рождало в них смущение и страх. Но они упорствовали в своей вере, убеждавшей их в необходимости мучений такого рода. Им было внушено, что они — "потребители" мира.

Сидония. Кажется, "потреблять" значит "есть"?

Платон. Пожирать, уничтожать. Потребитель, как мы знаем, — это человек, рассматривающий землю только в ее отношении к нему самому; она существует лишь постольку, поскольку насыщает его или удовлетворяет иным образом. В нашем городе таких людей всего трое или четверо, и их держат отдельно от нас; вообрази теперь целое общество, состоящее из подобных прожорливых существ, которые не помышляют ни о чем, кроме своих собственных нужд.

Сидония. Потребительское общество? Нечего и пытаться такое вообразить.

Платон. И тем не менее они никогда не насыщались, никогда не были довольны. Даже в разгар своей безостановочной деятельности они понимали ее тщету.

Сидония. Но какова была природа происходивших с ними событий?

Платон. Тебе трудно будет принять то, что я скажу.

Сидония. Говоря с тобой о былом, Платон, я уже приучилась верить невероятному.

Платон. По всем доступным данным выходит, что люди эпохи Крота любили хаос и бедствия.

Сидония. Да что ты!

Платон. Получается, что они желали знать как можно больше о войнах и убийствах; любое насилие, любое бесчинство радовали их. Информация научила их, однако, скрывать свое удовольствие и, стремясь к нему, изображать трезвую любознательность. Так или иначе, они с вожделением предавались мыслям о смерти и страданиях. Нам известно также, что у них были в ходу так называемые "газеты", которые повествовали о наихудших событиях за тот или иной период и раздавались населению бесплатно.

Сидония. И все без исключения читали эти... газеты?

Платон. Наверняка сказать невозможно. Само собой, никто не извлекал из этого занятия ни знаний, ни мудрости. Как ни трудно нам это понять, им, по-видимому, просто приятно было читать о несчастьях других. В этом состоит главный принцип информации.

Сидония. Напрашивается мысль, что почитание этой богини было одной из причин, по которым эпоха Крота потерпела крах.

Платон. В этом едва ли можно сомневаться. Помрачение звезд и сожжение орудий труда были следствием сложной совокупности обстоятельств, но есть все основания полагать, что культ информации был по крайней мере одним из симптомов смертельной болезни. Мрачные обряды и раболепная набожность характерны для упадочных или больных цивилизаций, и, возможно, эта религия смерти была своего рода репетицией будущих гибельных потрясений. Теперь, Сидония, прости меня — я должен вернуться к моему словарю.

7

Камерная музыка: мрачная музыка тюремного оркестра, пользовавшаяся особой популярностью в эпоху Крота.

Кислая мина: деятельность людей, связанная с превращением одних веществ в другие, которой сопутствовало накопление кислот в воздухе и почве. В эпоху Крота высказывалось мнение, что это может стать причиной взрыва (мина — взрывное устройство), который приведет к гибели всего мира. См. *Кислотный дождь.*

Летающие тарелки: детская игра. См. также: *Легкая пища; Еда на скорую руку.*

Лингвистическая лаборатория: стерильное помещение, где в строго заданных и контролируемых условиях творились элементы языка. На основе существующих фонетических и семантических единиц создавались новые, более сложные слова и словосочетания, после чего они проходили проверку на группах добровольцев. Разумеется, всегда существовала опасность загрязнения или утечки; у нас есть основания полагать, что иногда в человеческую среду случайно заносились сорные выражения, становившиеся причиной истерических или лихорадочных состояний.

Литература: слово неизвестного происхождения. Чаще всего его возводят к litter (мусор).

Логика: некий железный объект. Слово, вероятно, родственно словам "лежать", "ложе", "логово". См. *Прокрустово ложе.*

Машинный разум: людям так тяжело было нести бремя мышления, что они стремились переложить его на особые механизмы. Было распространено представление о том, что впоследствии все мышление бу-

дет осуществляться единым огромным механизмом и затем рассылаться людям в единообразном виде, так что фактически на земле будет существовать только один человек.

Мертвая точка: место, куда вывозились трупы. Один такой участок обнаружен к востоку от старого города и зовется Шадуэлл — колодец теней. Другой найден около Мортлейка[1] — мертвого озера. Те, кто селился в этих районах, явно страдали так называемой "тягой к смерти".

Метрополитен: так называется картина чрезвычайной красоты. Вот она перед вами. Обратите внимание на синие и красные световые линии, идущие в стороны чудесными скруглениями или овалами, и на большой желтый круг, придающий композиции завершенность. Это подлинный шедевр текучести форм, и, хотя считается, что в эпоху Крота люди были лишены духовного руководства и покровительства, некоторые полагают, что это изображение было их священным символом гармонии. На нем действительно обнаружены некоторые сакральные наименования — ангел, храм, белый город, евангельский дуб и легендарные семь сестер[2], — но назначение картины по-прежнему является предметом споров.

Нервная система: общественная система, господствовавшая в эпоху Крота, когда люди постоянно находились в состоянии взвинченности или тревоги. По поводу конечного краха этой системы см. *Нервный срыв.*

Новый свет: человеческий свет, воссиявший в эпоху Чаромудрия.

Ностальгия: лихорадка, возникавшая у некоторых людей в тех случаях, когда они покидали места, где родились или выросли. Ныне мы знаем, что это священное состояние, творимое самой землей, но в древности его считали болезнью и пытались устранять с помощью лекарств.

Обнуление: переход мира в состояние, лишенное чисел. Поскольку в ту эпоху вся наличная реальность была заключена в числовых системах, указанный переход рассматривался лишь как чрезвычайно отдаленная теоретическая возможность.

Огненная вода: неизвестное нам соединение или состав, возможно имеющий отношение к первобытному верованию, согласно которому в центре всего сущего находится огонь. См. *Электричество.*

Органический синтез: еда, полученная соединением, смешением частей, взятых из телесных органов различных животных. Иное название — "мясное ассорти".

Плакальщица: официальное лицо, возлагавшее на себя бремя горестей данного города или района и посредством ритуального плача способствовавшее поддержанию гармонии.

Пламенный взгляд: взгляд в огонь как в сердцевину всего и вся.

Поп-музыка: священные песнопения. Исполнялись не людьми, а механизмами в рамках ритуалов, связанных с обожествлением машин. Вариант — *рок-музыка,* т. е. музыка рока, горестной судьбы.

Психотик: от "психея" (некий демон-покровитель) + "отос" (ухо) — тот, кто прислушивается к своему демону и порой, вдохновляемый им, высказывает мудрые мысли.

Рекреационная площадка: от "рекреация" = "воссоздание" — участок города, предназначенный для воссоздания былой жизни. См. *Рекогносцировка* — термин, обозначающий деятельность тех, кто исполнял эту трудную задачу.

1. Мортлейк — район юго-западного Лондона.
2. От названий станций лондонского метро.

Сидония. Возможно, именно это место Платон называет рекреационной площадкой. Удобно ли тебе здесь? Позволь мне раскрыть зонтик и защитить тебя от блеска.

Орнат. Море очень неспокойно. Я не ожидал увидеть столько световых мерцаний и вспышек.

Сидония. Это возникающие вновь миги — маленькие блики времени в едином море, бессчетные, как береговые песчинки. Прикрой сверху глаза ладонью и посмотри вон туда. Что там видится в отдалении?

Орнат. Некое облако света, постоянно меняющее форму. Вот оно стало лицом. Нет. Уже слишком широкое для лица. Это величественное здание. Теперь оно дробится на слова.

Сидония. Оно будет меняться беспрерывно, пока море не втянет его вспять. Мы полагаем, что эти яркие фигуры — не что иное, как прежние великие эпохи или века, силящиеся вновь обрести существование. Были замечены своего рода световые оболочки, с великой быстротой встающие из моря и вновь опадающие, вновь скрывающиеся под его волнами. Это образы событий, произошедших, возможно, много тысячелетий назад и на миг вернувшихся в память мира. В прошлом один такой большой свет ослепил обитателей здешних мест и поверг их в смятение. Сообщают, что иные заговорили на неведомых языках, стали беспричинно смеяться и плакать. Сосед перестал узнавать соседа, и родственники стали как чужие друг другу. Но тревога и замешательство миновали. Они были частью необходимых перемен.

Орнат. Кажется, это место и в эпоху Крота было ведомо людям? Они дали ему примечательное название.

Сидония. Конец могилы[1]. Но, если верить Платону, море это лежало ниже их поля зрения. Оно вышло наружу только в эпоху Чаромудрия, когда погасло солнце и затмились звезды. Многие другие чудесные области земли возникли именно тогда. Например, Эдем... Погляди, зонтик твой падает. Дай помогу тебе с ним. Помнишь, как мы, дети одного прихода, играли в общие игры? Я помогала тебе найти свет.

Орнат. Это когда мы были еще малы?

Сидония. Надо было пройти лабиринт из стекла...

Орнат. В нем так легко было заблудиться, хотя все было отчетливо видно!

Сидония. Платон, помнится, вечно увиливал от игры. Ведь он убегал, не желая танцевать?

Орнат. Он боялся разбить стекло.

Сидония. Но оно же не бьется. Оно сделано из слез ангелов.

Орнат. И блестящее, как это море. Скажи мне, Сидония, — входил в него кто-нибудь?

Сидония. Отвечу тебе так: из этого моря никто еще не возвращался.

Орнат. Но должны же были люди испытывать любопытство наряду с изумлением? Что, если я бросил бы в воду мою табличку — знак моего рождения?

Сидония. Ты шутишь, я понимаю, но скажу тем не менее, что это было бы крайне неразумно. Могу рассказать тебе кое о чем. В деревне Ромфорд — это отсюда недалеко — жил юноша. Он подумал, что море — ил-

1. Грейвзенд — название речного порта на Темзе.

люзия, и решил проверить, на что оно способно. Он подошел к берегу и стал смотреть на свое отражение в воде.

Орнат. Так поступают многие из нас. Это способ достичь гармонии на один миг. Я видел, к примеру, как Мадригал в чудесной сосредоточенности глядел в воды Ли[1].

Сидония. Возможно, отражение — наше второе "я", как считают некоторые, однако это море — совсем не то, что Ли. Это море времени. Деревенский житель отступил и стоял на песке, дразня волны: мол, попробуйте, поглотите меня. Но волны не приняли его вызов, и тогда он ринулся им навстречу.

Орнат. И что было дальше?

Сидония. Люди видели, как он сначала недолго шел по воде, а потом начал делать огромные прыжки, взлетая высоко в воздух.

Орнат. Необычайно!

Сидония. При первом прыжке он обратился в быка, при втором — в лебедя; потом он по очереди становился змеей, львом и многими иными, пока наконец не скрылся из глаз вовсе.

Орнат. Неужто так оно и было?

Сидония. Именно так. Возможно, он превращается по сию пору, хотя какой вид... Мне кажется, твой свет меняется.

Орнат. Почему-то твой рассказ обеспокоил меня. Словно... впрочем, не важно.

Сидония. Словно город больше не оберегает нас?

Орнат. Сказать такое было бы кощунством.

Сидония. Нет. Ведь мы же сейчас находимся вне его пределов. Но надо идти назад. Я вижу, ты встревожен.

Орнат. Да. Нам следует вернуться.

Сидония. И Платон потешит нас какими-нибудь еще из своих древних слов.

9

Рок-группа: группа людей, избранная для того, чтобы исполнять мрачные веления рока, т. е. судьбы. В эпоху Апостолов такие люди назывались *палачами.*

Романтик: исследователь сказаний древнего Рима.

Светотехника: техника, с помощью которой в эпоху Крота свет запасали в огромных емкостях и затем по подземным трубам направляли в человеческие жилища.

Свободная воля: термин, имевший в эпоху Крота немалое значение и связанный с представлением о том, что "воля" человека, то есть его индивидуальный выбор, лишена всякой коммерческой стоимости на рынке; поэтому она распространялась и поставлялась свободно, иначе говоря, без оплаты.

Себестоимость: понятие, отражающее степень растраты человеком своих жизненных сил. "Какова его себестоимость?" — означает: "Насколько он одряхлел?"

Система обработки текстов: в рамках старой машинной культуры тексты и даже отдельные слова рассматривались как потребительские товары, создаваемые и обрабатываемые в ходе производственного процес-

1. Ли — приток Темзы.

са. Они, таким образом, выпускались фабричным способом, подвергаясь при этом все большей стандартизации. Их производство приобретало гигантские масштабы и пропорции, скорее механические, нежели жизненные, с тем чтобы их можно было распространять по всему миру.

Солнечный удар: гибель солнца.

Ставленник: тот, кто ставил перед населением вопросы; официальное лицо, правитель. Его роль выяснена не до конца, однако представляется вероятным, что он предлагал населению несколько вопросов в год. Горожане должны были публично на них отвечать, он же, со своей стороны, никаких ответов не давал.

Старый свет: свет эпохи Крота, которому, как предчувствовали в конце ее некоторые прозорливые люди, суждено было вскоре померкнуть.

Стоп-сигнал: сигнал, подаваемый группой специально обученных наблюдателей, чьей задачей было измерять быстроту хода человеческих дел и вмешиваться в тех случаях, когда налицо были признаки задержки. Представляется, что в ту эпоху люди приходили в восторг от скорости и эффективности, которые были для них самоцелью; обратной стороной этого восторга был страх перед тем, что мир замедлит свое движение и даже остановится совсем.

Сумасшедший (бешеный) ветер: ветер, созданный человеческим восприятием и вследствие этого страдающий нервным расстройством или бешенством. См. также: *Дурная бесконечность* и *Порочный круг.*

Телепатия: болезнь, вызывавшаяся "телевидением". Представляется вероятным, что телевидение расширяло органы зрения за их природные границы, и это приводило в итоге к душевным страданиям и нездоровью. Люди постоянно старались увеличить возможности своего восприятия искусственными средствами, не понимая, что это нисколько не меняло условий, господствовавших в эпоху Крота. Чем сильней было расширение, тем более явной становилась ограниченность. Те, кто пользовался телевидением, получали от него в увеличенном виде образы, которые создавало их же собственное узкое и убогое зрение, и поэтому испытывали непрекращающуюся тоску.

Темное происхождение: сотворение мира в контексте бытовавшего в эпоху Крота мифа, согласно которому вселенная возникла из тьмы и хаоса; разумеется, теория эта отражала мрак и жестокость, присущие той цивилизации. Альтернатива, предложенная поэтами и пророками, которые отвергали господствующую культуру, выражалась, насколько нам известно, словосочетанием *светлая заря.* Оно встречается в нескольких отрывках, где речь идет о начале дня или начале жизни.

Тихий час (тихий = медленный, час = время): ситуация или состояние, когда темп развития событий воспринимается как чрезвычайно вялый, что, по-видимому, отражает общее желание людей в эпоху Крота остановиться, пока не поздно.

Третий мир: неясно. Обиталище "третьего лица"? Или местопребывание людей, составлявших "третье сословие"? Толкование вызывает споры.

Хромота: считалась неотъемлемым свойством тех, кто передвигался пешком. Это слово использовалось и в бранном смысле, как в выражении: "Рассказ хромает в отношении сюжета". Возможно, в древности ходьба считалась занятием неблагородным или неестественным; этим

может объясняться существование огромного числа средств транспорта, зачастую перемещавших людей на очень короткие расстояния.

Экономика: древняя наука, стремившаяся свести все явления к минимуму, придать им как можно менее расточительную форму. Отсюда: "экономить", что означало: "быть скаредным".

Электричество: толкование этого термина вызывает сомнения, однако принято считать, что он обозначает стихию огня или теплоты, противопоставляемую стихии сырости и холода. Здесь, таким образом, в сниженной форме присутствует элемент астральной магии. В ранний период эпохи Орфея считалось, что небесные тела излучают "духовный и божественный свет", который "милостиво пронизывает всякую вещь" и "воспринимается ею настолько, насколько она способна его вместить". Понятие электричества указывает на то, что верование это было в определенной степени унаследовано людьми эпохи Крота, хоть и приняло менее благочестивую и почтительную форму.

Эхология: занятие, состоявшее в слушании собственного голоса, как будто он приобретал от этого большее значение.

Юрисдикция:

Меня прервали.

10

Просим прощения, Платон. В заболоченной местности, которая зовется Савой[1]*, мы нашли изображения: лицевой порошок, жидкость в стеклянном сосуде, дитя, белый продолговатый кусок очищающего притирания, средство передвижения на колесах, аромат для волос, сорочка для мужского тела, резервуар для мытья. Мы не можем точно установить, как связаны между собой эти элементы.*

Благодарю вас. Я исследую этот вопрос перед следующим выступлением.

11

Мы мало что знаем о давно исчезнувшем народе, который в старину звался "американским". Территория, где он жил, ныне, согласно последним данным, представляет собой обширную и пустынную, лишенную каких-либо примет равнину, по которой несутся горячие ветры. Однако обнаруженные нами вещественные свидетельства говорят о том, что под поверхностью этой опустелой земли, возможно, покоятся останки великой державы. Совсем близко от нас, хоть и за пределами наших стен, из-под руин круглой площади Эрота[2] был извлечен замкнутый ящичек; он, разумеется, считался священным объектом и поэтому пролежал нетронутый несколько столетий. Но затем, после создания нашей Академии минувших эпох, он был извлечен для исследования. Сам ящичек сделан из некоего неизвестного нам металлического материала, и сбоку на нем с трудом читается следующее: "Э. А. По. Американец. 1809 — 1849"; внутри, когда его вскры-

1. "Савой" — название лондонского отеля и театра на Стрэнде.
2. Имеется в виду площадь Пиккадилли-сёркус в Лондоне с так называемой статуей Эрота (разговорное название памятника известному филантропу графу Шафтсбери).

ли, был обнаружен оттиснутый черными буквами текст с общей надписью: "Рассказы". Это было волнующее открытие — первый дошедший до нас па́мятник неведомой цивилизации; к сожалению, ему, видимо, суждено остаться последним. Будь, как говорится, вся земля из стекла — мы все равно искали бы зря. Поэтому значение "Рассказов" как единственного источника сведений об исчезнувшем народе поистине огромно.

Статус автора и характер его творчества определяются с несомненностью. В частности, интерпретация имени не вызывает затруднений. "По" — это сокращение от "поэт", и вся надпись единодушно расшифровывается исследователями так: Э. А. По = Элегический (т. е. грустный, печальный) Американский Поэт. Можно сделать общий вывод о том, что писатели Америки даже в эпоху Крота пользовались благословенной анонимностью. Слово "поэт" хорошо нам известно, однако, поскольку в "Рассказах" нет ни песнопений, ни гимнов, мы считаем, что термин этот применялся ко всем писателям данной цивилизации без исключения. Этот конкретный текст был сохранен не потому, что был подспорьем для пения и танца, а в силу своего исторического содержания.

Несомненно, Э. А. Поэт очень точно описал особенности американской державы. Ее население обитало в очень больших и очень старых жилищах, которые — возможно, из-за климатических условий — часто были покрыты лишайником или увиты плющом. Архитектура всех этих обветшалых особняков во многих отношениях была одинакова: библиотеки и галереи, залы со старинными картинами и длинные извилистые коридоры, оканчивающиеся массивными запертыми дверьми. Комнаты обычно характеризуются как просторные, с высокими потолками и узкими стрельчатыми окнами, с темными полами из дерева, именуемого "дубом". В этих жилищах, кроме того, было очень много лестниц и подвалов; проходы освещались свечами в прикрепленных к стенам канделябрах, однако хозяин дома, поднимаясь наверх, обычно держал в руке горящий фонарь. Одна видная семья (Ашеры) располагала подземельем, где могла хоронить своих умерших без тех неудобств и хлопот, с которыми была сопряжена церковная служба. Вообще из написанного Поэтом явствует, что у американцев не было установленной, организованной религии; подобно многим первобытным народам, они, по-видимому, испытывали великий ужас перед ночью и мраком, но, помимо этого, они чтили некое злобное божество, которое стремились умилостивить изощренными ритуалами и обрядами. В одном из исторических сочинений Поэта мы находим упоминание о "дворце этого вражины — Джина"[1]; здесь, конечно, имеется в виду И цзин, который в сказаниях востока нашей земли фигурирует как некий бес или демон. Одно из не дошедших до нас сочинений Поэта называется, как мы знаем, "Бес противоречия"; несомненно, оно представляет собой катехизис или богословское исследование. В подобных случаях мы особенно остро чувствуем, сколь многое, увы, безвозвратно нами утрачено.

Однако больше всего, насколько нам известно, американцы боялись быть погребенными заживо. Этот страх связан с так называемым "криогеном" — распространенным предрассудком, приверженцы которого считали, что душа человека может оказаться запертой в ловушке тела

1. От "gin palace". Так называлась одна из разновидностей питейных заведений.

при сильном снижении телесной температуры; замороженный дух, полагали они, не способен вылететь из своего гнезда. Нет-нет, я не вижу причин для смеха. Примите во внимание, что американские ландшафты были однообразны и неприглядны, что холодная часть года была в этой стране невыносимо долгой и что "дня" там было гораздо меньше, чем "ночи".

Этим, возможно, отчасти объясняется примечательная внешность ее обитателей. У американцев были бледные лица, тонкие губы и большие глаза; волосы их, как правило, были длинными и шелковистыми. Рассматриваемое сочинение позволяет предположить, что все они были отдаленными потомками тех или иных аристократических родов; один из наших читателей высказал мнение, что они, может быть, произошли от единого клана или семейства, чем и объясняется резко очерченное своеобразие этого народа. Многознающий Поэт сообщает нам, что американцы – люди чрезвычайно нервные, отличающиеся болезненной чувствительностью и остротой переживаний. Они постоянно испытывали "неопределенное ощущение ужаса и отчаяния". Они были подвержены крайним проявлениям изумления и радости, и количество душевнобольных среди американской молодежи было чрезвычайно велико.

Об их страхе перед погребением заживо уже было сказано, однако следует добавить, что ему сопутствовало ощущение греховности и зла – ощущение настолько сильное, что многие американцы считали себя бесповоротно проклятыми и осужденными. Все мысли этих людей были сосредоточены на смерти. Почему такой зажиточный и родовитый народ оказался столь беззащитен перед болезненным страхом, почему они предпочитали жить среди многочисленных проявлений мрака и упадка – на эти вопросы еще предстоит ответить. Высказывалось суждение, что они страдали некоей всеобщей наследственной болезнью, заставлявшей их, в частности, избегать яркого света и почти неотлучно находиться в стенах своих особняков. Но можно дать и другое объяснение.

Позвольте мне процитировать слова самого Поэта. "Затем, по прошествии шестидесяти минут (что равняется трем тысячам шестистам секундам летучего Времени) раздался новый бой часов, за которым последовали то же замешательство, та же боязнь, та же задумчивость, что и раньше". Некоторые из вас, без сомнения, озадачены. "Часами" называлась механическая система, вырабатывавшая это самое "Время". Первоначально, возможно, существовали крытые рынки, где люди могли приобретать Время, но в период, когда Поэт писал данные сочинения, люди уже научились делать компактные механизмы, производившие Время с помощью разнообразных колесиков и дисков. В том же контексте употребляется слово "маятник", обозначавшее некий объект, прикрепленный к часам. Был и особый "колодец"[1], где хранилось Время, запасенное впрок.

Все данные, таким образом, свидетельствуют о том, что американцы считали Время неотъемлемым элементом своего существования. В тексте приведен некий тост или хвалебное слово в честь этого божества с рефреном: "Время, господа, прошу вас!"[2] Возможно, оно было видимым существом. Я уже привел слова поэта о "летучем Времени", наводящие на

1. Один из известных рассказов Э. А. По называется "Колодец и маятник".
2. Возглас владельца питейного заведения, извещающий посетителей о том, что пора закрываться.

мысль, что они видели некие крылатые или быстро проносящиеся фигуры; этим могут объясняться неоднократные упоминания о "приглушенных" или "тихих неясных" звуках, которые можно интерпретировать как шорох шагов или шелест крыльев. Тут я должен признать, что упоминание о замешательстве, боязни и задумчивости, которые вселяет в людей Время, производит на нас самих интригующее впечатление. Американцы испытывали в его присутствии страх, и его "полет" заставлял их погружаться в беспокойные размышления. При этом, хотя Время ни в коей мере не было для людей благодетельным, они верили, что в каком-то непонятном смысле оно составляет часть их тела. Например, биение человеческого сердца сравнивается со звуками, "которые производят часы, укутанные ватой". Отметим еще упоминание о "стрелках", которые, по-видимому, были угрожающе направлены в лицо обладателю часов.

Другое место в "Рассказах" предвосхищает открытия гораздо более поздней поры. Описав особняки американцев, автор высказывает предположение, что эти великолепные жилища "лепят судьбы" их обитателей; им свойственна некая "особенная атмосфера", которая действует на живущих в доме людей как "неодолимая и грозная сила". Любопытно, не правда ли? Этого историка минувших дней легко принять за пророка! Несколько дальше читаем вот что: "Мне давно поперек горла встала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так"[1]. Задумайтесь об этих словах, о силе вложенного в них ощущения беды и обездоленности. В заключительной фразе горечи еще больше: "Пусть меня забальзамируют лет на двести". Здесь, конечно, пафос смешан с иронией. Если бы Поэт и вправду ожил двести лет спустя, его по-прежнему окружала бы эпоха Крота во всей своей безрадостной силе. Но его произведение доказывает, что, несмотря на все убожество и гнет, даже тогда случались прозрения и проблески, позволявшие заглянуть в иную жизнь, которой суждено было ярко воссиять в эпоху Чаромудрия. Благодарю вас.

12

Платон. Благодарю тебя. Кажется, им понравилось.

Душа. Великолепное выступление.

Платон. Но верно ли сказанное?

Душа. Да, насколько кто-либо может судить. Меня особенно порадовало твое рассуждение о времени. Время всегда интересовало меня — по крайней мере, пока оно существовало. И звучало все очень убедительно. Должна к тому же сказать, что жестикуляция твоя улучшилась.

Платон. В Академии меня учили вызывать образы, но я был плохим учеником.

Душа. Нет. Ты просто другой. Я с самого начала это увидела. Даже ребенком ты отличался от всех. Ты предпочитал одиночество. Отказывался играть с осколками зеркал.

Платон. Я был такой урод...

1. Здесь и ниже перевод И. Бернштейн.

Душа. Нет. Это был страх. Когда надо было танцевать с другими детьми в лабиринте, ты с криком кидался прочь.

Платон. Так действительно было?

Душа. Я неотлучно тебя сопровождала. И когда ты прятался в развалинах слоновьего замка[1], и когда оплакивал смерть наставницы.

Платон. Ее звали Евфрена. Это она привела меня в Академию. Это она показала мне книги.

Душа. Ты помнишь, как плакал?

Платон. Я помню, как пришел в Дом Умерших.

13

Добро пожаловать, малыш Платон. Добро пожаловать в Дом Умерших. Сюда пришла твоя наставница, когда конец ее стал близок. Одни горожане мягко и тихо исчезают, другие, прежде чем истаять, много столетий покоятся здесь в своих оболочках. Раньше мы думали, что в миг смерти тело лишается всякой памяти и всякого воображения; но недавно было доказано, что умершие видят сны. Они лежат здесь, и им снятся их былые жизни. Мы знаем это, потому что можем слушать их сновидения. Почему ты плачешь, малыш Платон?

14

Душа. И все же ты остался в Академии.

Платон. Долг удержал меня. Нет. Это был мой собственный выбор. Я хотел прочесть все старые книги. Я уже был не здесь. Я был там, в них.

Душа. Уютное положение.

Платон. Почему?

Душа. Там ты мог укрыться.

Платон. Ты ошибаешься.

Душа. Мне ли не знать?

Платон. Я хотел обрести себя.

Душа. Ты хотел обрести голос.

Платон. Нет. Я хотел обрести веру.

Душа. Печальное было зрелище. Ты с уверенностью считал себя правым, а других горожан неправыми. Ты верил в значительность прошлого.

Платон. Конечно. Но не ты ли убедила меня в том, что книги — достойный предмет внимания?

Душа. Возможно. Я не помню.

Платон. Души не нуждаются в памяти. Они вечны.

Душа. Прошу прощения. Признаю свою ошибку. Но когда они предложили тебе надеть балахон оратора, я молчала.

Платон. Это был мой выбор. Я поступил так из страха.

Душа. Перед кем?

Платон. Перед ними.

1. Элефант-энд-Касл (слон и замок) — название площади в юго-восточной части Лондона.

15

Платон с Пирожного Угла[1]*, ты получил балахон и маску оратора. Ты будешь говорить у всех ворот города. Какова твоя тема?*

Я буду рассуждать о ранних веках земли.

16

Первую из эпох мы назвали эпохой Орфея; воистину то была весна нашего мира. То были дни, когда статуи, поддаваясь уговорам, оживали и сходили со своих каменных пьедесталов, когда духи рек и ручьев могли превращаться в деревья или поляны, когда из крови раненых героев в один миг вставали цветы. Даже боги то и дело становились лебедями или быками просто ради счастья преображения.

Орфей стал символом этой волшебной поры, потому что именно он открыл силу музыкальной гармонии и мелодиями своими заставлял деревья танцевать, а горы говорить. Однако радость, которую дарили ему заунывные звуки лютни, меркла перед его восторженной любовью к Эвридике — дочери речной нимфы; мы находим обиталища нимф даже здесь, близ Тайберна[2] и Ли. Однажды, когда Эвридика разговаривала с цветком, ее ужалила полевая змея; женщина умерла мгновенно, глаза ее замкнулись для мира, и горе, поразившее Орфея, было таким сильным, что никакая музыка не могла его облегчить. Мы могли бы сказать, что он "низошел" в свое горе, — ведь мотив нисхождения занимает центральное место в воззрениях той эпохи.

Что касается Эвридики, она преобразилась в тень и переместилась в так называемый Аид — в темный подземный город, фрагменты руин которого обнаружены. Его правителем был Танатос, сын Хроноса; смерть, таким образом, — это дитя времени. Танатос был облачен в черный балахон, на котором были вытканы золотые звезды в знак того, что само небо было, в свой черед, сотворено временем и смертью.

Такой пронзительной была печаль Орфея, потерявшего Эвридику, что он отправился к богам горы Олимп, находящейся в Малой Азии, и взмолился о том, чтобы они исполнили его желание. Он хотел, чтобы ему позволили спуститься в подземный мир и свидеться с ней. Ему было сказано, что всякое подземное путешествие таит большие опасности; однако, посовещавшись за чашами с амброзией, боги все же разрешили ему исполнить его намерение. Почти в тот же миг он был перенесен ко входу в пещеру; он хотел было войти, но тут навстречу ему вышел из тьмы свирепый пес о трех головах (это нелепое и диковинное животное действительно существовало — его скелет был найден близ развалин Аида). Орфей, однако, не испугался и заиграл на лютне; чудовищный пес остановился, принялся лизать свои лапы всеми тремя языками и уютно улегся на землю под сводами пещеры. Вскоре он уснул. Услыхав его храп и скулящее дыхание, Орфей скользнул мимо и вступил в Аид.

Как утверждают, еще до его появления отголоски его игры донеслись до населявших город теней, и те позабыли о своих тяготах, заслушавшись диковинно-сладкими звуками. Так что он был встречен их мяг-

1. Пирожный Угол (Pie Corner) — угол Кок-лейн и Гилтспер-стрит в Лондоне.
2. Тайберн — место в Лондоне, где до 1783 года совершались публичные казни.

кими вздохами и затем препровожден во дворец Танатоса. Пройдя чередой залов, увешанных мрачными изображениями на тканях, он достиг глухих затемненных покоев, где на ложе из черного мрамора возлежал подземный правитель. Орфей преклонил перед ним колени и, объяснив, зачем явился, вновь заиграл на лютне. Танатос был растроган музыкой и, утирая рубиновые слезы, милостиво позволил Орфею взять Эвридику и вернуться с нею наверх.

Он пожелал, однако, чтобы гость, перед тем как соединиться с любимой, увидел чудеса подвластного ему города. Он показал Орфею безостановочно вращающееся огненное колесо, показал огромный камень, катающийся взад-вперед все по тому же пути. Город опоясывала река с соленой водой, вечно текущей по кругу. Все это были, конечно, древние символы времени. Танатос пообещал отпустить Эвридику при одном условии: Орфей не должен был смотреть на нее, пока они не покинут Аид и не выйдут наружу. Причины такого решения нам неясны, никаких официальных бумаг пока найти не удалось, но представляется вероятным, что столь быстрое погружение в царство времени каким-то образом обезобразило или даже полностью преобразило ее.

И вот Орфей, верный слову, которое он дал Танатосу, повернулся к Эвридике спиной и двинулся впереди нее к свету; он шел по прямой тропе, зажатой между двумя высокими стенами из темного камня, и играл на лютне, чтобы подбодрить ее и ускорить ее неуверенные шаги. Но настал миг, когда желание утешиться видом ее лица оказалось в нем столь сильным, что он, не думая, обернулся и посмотрел на нее. Этого было достаточно. Она вскрикнула и, лишившись сил, упала. Орфей побежал к ней, но она растаяла во тьме до того, как он успел коснуться ее протянутых рук. Он услыхал только слабое "прощай" и остался один на каменистой тропе. В одиночестве он вышел на свет.

Высказывалось мнение, что Эвридика не хотела покидать мир времени и нарочно окликнула Орфея, чтобы он обернулся и поглядел на нее; возможно, она состарилась, и ей не верилось, что он будет любить ее такой. Истину еще предстоит установить. Сам же Орфей стал бродить по полям и лугам своей родной земли, беспрерывно стеная и сокрушаясь, пока боги не сжалились над ним. Он был взят на небо, где его лютня преобразилась в скопление звезд; после этого людям на земле стала слышна музыка сфер.

Эта история во многих отношениях горька и печальна, но нет причин сомневаться в том, что она в целом правдива. Хотя некоторые детали еще нуждаются в проверке и уточнении, существование Аида и горы Олимп, как и созвездия Лиры, уже доказано. Несчастливая судьба Орфея, таким образом, представляет собой центральный и подлинный факт древней истории. Вы можете теперь войти в демонстрационный зал и осмотреть воссозданного там пса о трех головах, а затем я отдам краткую дань второй эпохе нашей земли.

17

Эпоха Апостолов была эпохой страданий и плача, когда сама земля считалась источником зла и все жившие на ней были осуждены как грешники. Боги покинули ее, и люди верили, что природный мир оск-

вернил свое духовное наследие предательством. Апостолы распространяли доктрину, согласно которой человеческий род в прошлом совершил некий ужасный проступок, суть которого неизвестна и который может быть искуплен лишь молитвами и покаянием; вскоре боль стала цениться ради нее самой. Апостолы утверждали также, что многообразные боги теперь соединились в одно божество, которое прячется в облаке или, реже, в ослепительном свете. Этот бог, согласно заявлениям апостолов, уже обрек часть своих творений на вечную муку в области, называемой "адом"; ее местоположение пока не установлено, но мы считаем, что она находится где-то недалеко от Аида. В чем, однако, мы уверены — это в том, что религия апостолов воистину была религией крови и страданий. Вот почему в ту стародавнюю пору ангелы посещали землю лишь изредка, а если все же наведывались, то совсем ненадолго, ибо, как сообщил нам сам Гавриил, на разумную беседу рассчитывать не приходилось.

Причины последующего краха религии в точности нам не известны, хотя можно предположить, что она оказалась подорвана определенными внутренними противоречиями. Утверждая, к примеру, такие ценности, как сочувствие и сострадание, она преследовала тех, кто не соглашался с ее верховенством; она возвеличивала всемогущее божество, настаивая при этом, что всякая личность свободно выбирает спасительный или гибельный путь. Эти парадоксы держались много веков, но в конце концов вера рухнула, уступив место иным, на вид более складным и правдоподобным, объяснениям, дававшимся в эпоху Крота.

18

Платон. Я ощущал такой восторг, что мог говорить без запинки.

Душа. Как я сказала перед тем, как ты перебил меня, ты обрел голос.

Платон. И горожанам этот голос понравился. Я словно бы защищаю их, защищая при этом себя. Пока я изучаю и истолковываю прошлое, они могут о нем не беспокоиться. Я дарую им убежденность, и этого достаточно.

Душа. Но они слушают очень внимательно.

Платон. И смеются.

Душа. Нет. Ты их неправильно понял. Этот смех — всего-навсего восхищение твоим ораторским даром. Помнишь, как ты рассказывал о последних днях эпохи Крота? Это было великолепно.

19

Века, которыми завершилась эпоха Крота, являют нам, возможно, самые величественные и ужасные сцены во всей земной истории. Кому под силу, к примеру, верно отобразить отчаяние, которым был преисполнен культ паутин и сетей, распространившийся среди людей в те последние годы? Они носили эти мрачные одеяния словно бы в знак благоговения и вместе с тем рабства, как будто пытаясь скрыть с их помощью свою собственную тьму. Легковерные, подобно их предкам, они внушили себе новое суеверие, суеверие прогресса, но в край-

ности своего состояния не ведали, куда ведет их этот прогресс, если вообще ведет куда-либо. Ничто, впрочем, не могло подготовить их к ужасу конца.

Священники той поры утратили визионерские качества и сделались простыми техниками; их познания были столь ограниченными, что главным их делом были преобразования цифр и чисел в материальном мире. Одна из групп в составе этой священнической касты была обучена обозревать небеса (в старинных текстах люди эти назывались астрономадами или астронумераторами) для того, чтобы поддерживать повсеместную уверенность в регулярности и предсказуемости движения светил. Именно это, как мы считаем, называлось наукой. Однако вдруг настал момент, когда один из наблюдателей заметил, что отдельные слабые области света каким-то образом исчезли. Другой наблюдатель, находившийся в другом районе земли, заметил пропажу некоторых иных отдаленных источников излучения. В страшной тревоге астронумераторы сошлись и стали совещаться; они пришли к выводу, что эти звезды и туманности исчезли просто потому, что на них никто не смотрел. Испытывая растущее отчаяние, техники принялись изучать свои карты и модели, чтобы составить список небесных объектов, которые не находились под непрерывным наблюдением. Эти объекты, конечно, тоже исчезли. Вожди эпохи Крота внезапно оказались перед фактом: элементы их вселенной переставали существовать, если не были предметом активных поисков или изучения. При жизни одного поколения сформировалась вера в то, что ночное небо со всеми его свойствами и характеристиками сотворено человеческим восприятием.

Все галактики и созвездия стали объектами постоянного внимания, как будто еще можно было поддерживать существование этой вселенной согласованным усилием воли. Но поздно. Техников охватило сомнение. Потом постепенно, сектор за сектором, погасли все звезды. Начавшись, процесс не мог быть остановлен; с одного затмившегося участка мрак растекался по всему ночному небу. Поскольку астрономады теперь считали себя ответственными за то, что они обозревали, они заметались, неспособные определять направление обзора хоть с какой-то уверенностью. И тьма распространялась.

Населению об этих событиях поначалу не сообщали, и люди не заметили отсутствия нескольких отдаленных звезд. Но когда медленно начали исчезать самые заметные фигуры ночного неба, возник великий, всепоглощающий страх. Иные заговорили о том, что надо молиться. Молиться? Но кому, чему? Люди давным-давно отказались от всякой идеи божества, находящегося внутри них или же внешнего по отношению к ним. Кто способен воссоздать те сцены ярости и отчаяния, что разыгрались, когда смысл восьмисотлетних деяний эпохи Крота стал наконец проясняться? Гнев людей поначалу обратился на священников, которые, как людям теперь казалось, всегда обманывали их и манипулировали ими; они обрушились с проклятиями на творцов разума, абстрактных суждений и подступающей тьмы. Но служители науки сами были в ужасе и замешательстве от разворачивавшихся над их головами событий. Они не понимали раньше и не поняли теперь, что вся их деятельность была магией, что их вселенная была эманацией человеческого сознания. А потом... потом вдруг померкло солнце.

Последовавший за этим период страха и злобы описан во многих хрониках. Люди эпохи Крота не видели, не могли видеть света в самих себе, и они яростно ополчились на темную и ложную действительность, которая была воздвигнута вокруг них. Иные дивились тому, что все еще живут, все еще дышат; но в большинстве своем те, что населяли эту гиблую цивилизацию, дали волю охватившей их жажде насилия и разрушения. Вначале они обратились против механизмов и тех, кто ими управлял, и, как сообщают наши историки, принялись жечь машины. В этом великом пожаре сгорели сети и паутины, служившие священным облачением для тогдашнего суеверного культа; люди разбили все экраны и световые знаки, посредством которых этот культ был организован. Потеряв контроль над своей вселенной, они вместе с ним утратили и веру в сотворившую ее цивилизацию. В ночи, которая, словно саваном, окутала их мир, их вычислительные орудия, их средства связи и передвижения — все это теперь показалось им ненужным и бессмысленным. И они со всем этим разделались — уничтожили, сожгли дотла. И лишь тогда, среди изнеможения и безмолвного отчаяния, которыми был отмечен конец эпохи Крота, начал распространяться благодетельный человеческий свет.

Вскоре после великого пожара, когда пламя сошло на нет, возникло приглушенное, смутное, сумеречное свечение; его источником казалась сама земля, и, обволакивая людей, свет набирал силу. Наконец воцарился ясный день, и не было больше ночного неба, которое так долго обманывало людей и властвовало над ними; они возрадовались было, но затем испугались, увидев, что сияние исходит также и от них самих. Этот момент мы с достаточной определенностью можем считать началом эпохи Чаромудрия.

20

Платон. Я внушил горожанам такую убежденность, что никакого желания проверять услышанное у них не возникло. И я сам был убежден. Не ошибался ли?

Душа. Не могу сказать.

Платон. Что, если прошлое — сплошная выдумка или легенда?

Душа. Не похоже.

Платон. Позволь мне тогда спросить иначе. Что, если мое толкование книг ошибочно?

Душа. Кому это может быть ведомо?

Платон. Тебе.

Душа. Я ведаю то, что ведаешь ты.

Платон. Для бессмертного существа ты очень скромна. Ты же понимаешь прошлое и способна заглянуть в будущее.

Душа. Может быть, между ними нет разницы.

Платон. В эпоху Чаромудрия люди узнали, что будущие события влияют на все стороны их настоящего.

Душа. Так ты мыслишь.

Платон. Так я мыслил. Упомянул ли я об этом в моем выступлении?

Эпоха Чаромудрия началась с той поры, когда на земле возник человеческий свет. Он разогнал мрачное наваждение Крота, и горожане не стали привечать друг друга, не страшась и не маскируясь. Но хотя в целом этот ранний период был периодом радости и пробуждения, он был несчастливым и трудным для тех, кто испугался обретенной свободы. Иные, к примеру, сочли этот новый мир существующим только в их сознании и со стонами бросились прочь от людей. Другие закрыли глаза, не желая видеть ничего вокруг, и уснули беспробудным сном.

Но пора тревог миновала, унеся с собой мнимости абстрактных законов и неизменных размерностей. Первым свидетельством перемен стало сообщение о том, что на лугах Греции люди увидели скачущего кентавра. Затем пришла еще одна новость: в северной Франции был замечен феникс, встающий из пепла; размерами он был приблизительно с орла, расцветкой перьев — пурпурно-золотой. А когда поблизости от берегов Малой Азии стали слышны голоса сирен, а в окрестностях Дублина — причитания банши[1], все поняли, что многочисленные духи земли вышли из заточения, длившегося почти тысячу лет. Пошли разговоры об эльфах и кракенах, о сильфидах и валькириях, о единорогах и саламандрах; ткань прежней действительности распускалась на глазах — или, вернее, в нее вплелось так много новых нитей, что сама она теперь виднелась лишь изредка.

Без этого нам не понять легенд раннего Чаромудрия. Мы читаем об огромных кораблях из золота, приплывающих из Эльдорадо с грузом золотых плодов и златокрапчатых обезьян, о послах из Утопии, много веков скитавшихся по морям, прежде чем достичь лондонской гавани. Именно тогда поднялась из океана Атлантида, именуемая также Авалоном, Кокейном и Островом Блаженных; в эпоху Крота она лежала ниже поверхности, доступной человеческому зрению, но теперь восстала из вод во всей своей красе и славе. Не столь радостными были, однако, вести о том, что на Суматре обнаружена теснина Злых Щелей[2], а на валлийской границе — Трясина Отчаяния[3].

Но ничто не могло умерить воодушевления, охватившего наших предков, когда им стала известна история родного города. Из сочинений Гальфрида Монмутского, великого ученого и историка, они узнали, что Лондон был основан Брутом Троянским в ту пору, когда "Ковчег Завета был захвачен филистимлянами". Были обнаружены и другие исторические труды — среди авторов можно назвать Маколея и Тревельяна, — но они были написаны позже и поэтому представляются менее надежными. У Гальфрида горожане, жившие в эпоху Чаромудрия, прочли, что после падения Трои Бруту явилась богиня Диана и велела ему плыть к острову, лежащему дальше солнечного заката, и основать там город, который станет подлинным чудом света. Остров звался Альбион, и, высадившись на его белый берег, Брут столкнулся там с племенем великанов, которых он в конце концов одолел в бит-

1. В ирландском фольклоре банши — привидение в образе женщины. Явление или крик банши предвещает чью-либо смерть.
2. Фигурирует в "Божественной комедии" Данте.
3. Фигурирует в аллегорическом романе Дж. Беньяна "Путь паломника".

ве. Мы, разумеется, обнаружили свидетельства, говорящие о том, что великаны действительно существовали, – обнаружили в больших холмах, что по-прежнему окружают наш город; то, что сохранилось от их усыпальниц, можно видеть в Музее тишины. После победы над великанами Брут основал Новую Трою, которая стала называться городом Луда, или Лондоном, и дал городу свод духовных законов, которые действовали в правления Лира, Корделии и самого Луда. Имена других монархов нам неизвестны, хотя Маколей и Тревельян изобрели ряд фантастических династий, которые мы преспокойно можем отправить туда, откуда они явились, – в эпоху Крота, в темный мир ее теоретической мысли.

В полях Финсбери[1], безвестно пролежав в земле много веков, была извлечена на поверхность величественная статуя; качество обработки камня позволяет датировать ее средним периодом эпохи Чаромудрия, и вокруг нее были обнаружены признаки кольцевой ритуальной тропы. Были взяты на пробу и исследованы образцы грунта, после чего был сделан вывод, что статую окружал ряд монументальных светильников, в высоту достигавших верхних слоев воздуха; зажигались они, вероятно, от молний, вызывавшихся неким неизвестным нам способом. Руки статуи подняты словно бы в знак приветствия или торжества, а в ее грудной ложбине начертаны буквы ЛО; но нечто еще более замечательное виднеется у нее на животе, где высечен большой круг. Внутренность круга прихотливо расчерчена линиями, которые при ближайшем рассмотрении оказались изображениями улиц и жилищ Лондона; одна плавная кривая повторяет изгибы Темзы. Смысл букв ЛО после этого стал нам понятен. Эта возвышенная, величественная фигура – не что иное, как священное изваяние самого города! Мы заключаем отсюда, что горожане почитали Лондон как живое божество. Возможно, они приносили городу жертвы, но с уверенностью утверждать этого мы не можем.

Религиозное почитание Лондона, в свою очередь, объясняет некоторые другие яркие особенности эпохи Чаромудрия. Древние племенные и родовые тропы вокруг города были тогда восстановлены или, как говорили наши предки, "пробуждены". Мы читаем, что здания становились цветами, а цветы – зданиями, но смысл этого неясен. Погребальные обряды также полны значения. Горожан хоронили, придавая их останкам точное сходство с грандиозной фигурой: руки воздеты вверх, на теле изображены буквы ЛО и план Лондона. Не становились ли они в смерти частью божественного города? Или Лондон являл собою общую духовную волю и духовное бытие своих жителей? Когда вскрывались их гробницы, неизменно был ощутим аромат сладких трав и курений, и у каждого из погребенных голова была украшена золотым обручем. Те, кто пережил катастрофу, уничтожившую мир Крота, кто стал источником первого человеческого света, чувствовали, что благословенны. Поэтому, как заметил один из тогдашних историков, когда люди эпохи Чаромудрия хоронили умершего, они верили, что хоронят бога.

1. Поля Финсбери в Средние века были популярным местом прогулок лондонцев. Ныне это район центрального Лондона.

22

Искромет. А дети всегда рады его послушать. Видел, как они сбегаются к нему, стоит ему появиться?

Мадригал. Только потому, что он маленький, как они. Но скоро они достигнут возраста, когда должны будут изобразить себя на Стене. Помнишь, как ты, я и Платон взяли палочки из цветного света и вывели на камнях наши фигуры?

Искромет. Сидония, кажется, изобразила себя со светильником в руке?

Мадригал. Не могу припомнить. Но мне вспоминается, что она стерла часть своего лица. И тем не менее по ее чертам всякий мог сказать, из какого она прихода.

Искромет. А потом Платон нарисовал себя в колпаке с перьями...

Мадригал. В колпаке городского шута.

Искромет. А в руке — исписанные листы из стекла.

Мадригал. Возможно, он предвидел свою будущность.

Искромет. Или, как сказал бы он сам, его будущность уже совершилась в прошлом.

Мадригал. Вот-вот. Нечто в этом роде он втолковывает детям. Гляди — дочь Орната. Слушает его. Смеется. Наверняка Платон опять говорит об эпохе Крота.

Искромет. Но что в них смешного, в этих минувших делах? По правде говоря, меня дрожь от всего этого пробирает.

Мадригал. Ты должен признать, что в них есть и забавная сторона. Представляешь себе — наши предки, ища руководства, смотрели вверх!

Искромет. Да, потешно. В какую это было эпоху — Крота или Чаромудрия?

Мадригал. Крота, по-моему. Во всем этом поди разберись.

Орнат. Искромет и Мадригал! Здороваюсь и прощаюсь.

Мадригал. Куда так торопишься? Вон дочка твоя — к ней?

Орнат. Платон избрал новую тему. Вот-вот начнет у колодца клерков.

Искромет. К сожалению, мы оба, Орнат, немного устали. Придется довольствоваться твоим пересказом.

23

Мы располагаем некоторыми сведениями об актерах и комедиантах былых эпох, но благодаря случайно обнаруженному нами комическому сборнику, озаглавленному "Остроумие и его отношение к бессознательному", наши познания значительно выросли. Смысл понятия "бессознательное" ни в коей мере нельзя считать выясненным, хотя, возможно, оно связано с алкогольным опьянением, которое даже теперь является предметом шуток и смеха. Упомянутый сборник острот сочинен клоуном, или фигляром, выступавшим под сценическим псевдонимом Зигмунд Фрод. Само звучание этой фамилии, совпадающее со звучанием слова fraud (обманщик), придавало его комическому образу дополнительную пикантность. В этом томике он собрал образчики того, что он называет "значимой чепухой", с описаниями комических номеров, где участвуют персонажи, забыва-

ющие имена, неверно читающие слова, пытающиеся открывать двери не теми ключами и опрокидывающие банки с черной краской. Сам Фрод, ясное дело, был неподражаемым затейником, и легко представить себе, как он рассказывал со сцены об этих нелепых злоключениях с абсолютно серьезным лицом.

Его номера можно охарактеризовать как "фривольные" и даже "ядреные"; содержащиеся в них многочисленные намеки на половую жизнь отражают хорошо известную особенность древнего театра. Его сценический "жаргон" был, помимо этого, основан на конфронтации между аудиторией и исполнителем, на что указывает, в частности, постоянное использование Фродом его знаменитой фразы "Полагаю, мне сподручнее об этом судить!" — служившей сигналом к очередному взрыву хохота.

Но самые яркие образцы фродовского остроумия — это комические перепалки, звучавшие со сцены, когда на ней появлялся его постоянный партнер Эдип. Этот "комик-недотепа", или "комик-простак", был, возможно, своего рода реликтом старой пантомимической традиции, поскольку он был одет в мешковатый белый наряд и отличался мрачным выражением лица, характерным для амплуа второго клоуна. Он потешал зрителей своими мгновенными двусмысленными репликами, которые назывались "оговорками по Фроду". Он безуспешно дразнил ими Фрода всякий раз, когда тот начинал "анализировать" его посредством восхитительно нелепых вопросов:

— Признайся, Эдипушка, ты что-нибудь подавляешь?

— Конечно нет! Я стою во фрунт, как солдат сказал горничной.

— Будет, будет тебе, котофей. Хватит молоть чепуху. Скажи мне, что ты думаешь о ножках стульев и железнодорожных туннелях?

— Скорее вне, чем внутри, как епископ сказал...

— Сдается мне, котофей, ты начинаешь оправдывать мои выводы.

— Не говори мне о вводах и выводах. После прошлой ночи...

— Какого ты мнения о длинных носах?

— В жизни с подобной гадостью не якшался!

— Перестань. Хорошенький ответ ты даешь на один из моих прославленных аналитических вопросов.

— Я тебе, Зигмунд, честно скажу. Я знаешь где их все видал, эти твои вопросы...

— Эдипушка, ты, судя по всему, был очень забавным ребенком.

— Забавным? Они у меня все криком кричали. Особенно мамаша.

Подобные диалоги, называвшиеся на театральном языке "трепотней" или "репризами", должно быть, смешили публику эпохи Крота до слез, в особенности когда Фрод, обращаясь к зрителям, сообщал им, что "за все сказанное моим другом в ответе его бессознательное" — то есть, что он пьян.

Нередко отмечалось, что люди эпохи Крота были сосредоточены на половой жизни в ущерб всем прочим принципам бытия; некоторые данные говорят даже о том, что они идентифицировали себя в соответствии со своей половой ориентацией. Не надо, прошу вас. Это не должно вас шокировать. Наша задача — понять их, а не осудить.

Несмотря на свою одержимость половыми вопросами — а возможно, даже благодаря ей, — они смеялись над шутками Фрода так же весело, как смеемся теперь мы. Поэтому мы отдаем ему дань уважения как гениальнейшему комику своей эпохи.

24

Сидония. Я прервала твое выступление, Платон?

Платон. Нет, я уже кончил, и кончил эффектно.

Сидония. Я тебе первому хотела сообщить удивительную новость.

Платон. Да? Какую?

Сидония. На углу Лайм-стрит и Леденхолл-стрит обнаружен огромный столб. Он явился так легко и так быстро, что, можно подумать, и вовсе не был в земле.

Платон. Если действительно на углу Леденхолл-стрит, то, должно быть, это громадный майский столб, простоявший там многие столетия. Он был средоточием городских празднеств и торжеств.

Сидония. На нем есть письмена, частью стертые, но все же различимые. Я их переписала.

Платон. Так, посмотрим. "Ове Аруп и партнеры — Ллойд-билдингу".

Сидония. Я, признаться, была озадачена. Потому и пришла к тебе.

Платон. Если на этом именно месте, то наверняка майский столб. Вся городская история говорит нам, что первоначальные формы не умирают.

Сидония. И что же?

Платон. "Ллойд-билдинг" — должно быть, имя, данное майскому столбу. Ове, Аруп и партнеры — его божества-хранители.

Сидония. Неужто так?

Платон. Никаких сомнений.

25

Платон. Никаких сомнений. Или?..

Душа. Нет смысла меня спрашивать. Я не имею ничего общего со знанием, точным или неточным. Я — только любовь, только интуиция.

Платон. Если ты любишь меня, то должна мне сказать. Могу ли я быть уверен в том, что говорю? Порой мне кажется, что уверенность моя напускная, что я должен схватить сомнение, как нож, и вспороть себя им. Раненый, я могу изречь правду.

Душа. Ох...

Платон. По-твоему, я говорю странные вещи?

Душа. На подобное я смотрю с дальним прицелом. Что хорошо для тебя — то и верно.

Платон. Но ты поняла меня. Поняла? Ведь это ты наградила меня беспокойством. Нервным страхом.

Душа. Винишь меня? Почему? Ты таков, каков есть. Да, я часть тебя, но я отказываюсь нести всю ответственность.

Платон. Выходит, ты меня стыдишься.

Душа. Вовсе нет. Мне не всегда нравятся твои высказывания, но я нахожу их необходимыми. Давая выражение своим мыслям, ты формируешь меня. Это эгоистично с моей стороны?

Платон. Нас учили, что строй стаи летящих птиц — это также и образ птичьей души. Мы с тобой, думаю, соотносимся так же.

Душа. И кроме того, мы — часть мировой души. А еще... Ну, там чем дальше, тем таинственней.

Платон. Так ты меня никогда не покинешь?

Душа. Бездушного тела быть не может, хоть я и должна признать, что иной раз очень хотела бы, так сказать, воспарить. Но, конечно, я не могу лишить тебя... как бы это назвать... внутренней силы.

Платон. Благодарю тебя. Отвагой, какая во мне есть, я обязан тебе.

Душа. Я не накладываю обязательств. Это дар. И возможно, он скоро тебе пригодится.

Платон. Ты меня интригуешь.

Душа. Тс-с. Загляни теперь в свое сердце и говори горожанам о чудесном сотворении мира.

26

Для тех из нас, кто изучает поэзию минувших эпох, древние мифы, повествующие о сотворении мира, представляют чрезвычайный интерес. Люди верили, к примеру, что бог Хнум создал громадное яйцо, в котором пребывало все сотворенное, пока другой бог, Птах, не разбил скорлупу молотком и жизнь не выплеснулась наружу. Этот выплеск получил название "большого взрыва"; после него вселенная, как полагали, постоянно расширялась. Разумеется, певцы сотворения не понимали, что отступало, удаляясь от них, не что иное, как их божественная энергия. Они, так сказать, разбили молотками вместилища своего собственного разума.

В целом более убедительной представляется песнь сотворения, сохранившаяся от древнего города Вавилона. Две силы — светлая и темная, бог и дракон — сражаются за верховенство; бог убивает дракона, но тьма в предсмертной агонии успевает разбросать в просветленной вселенной семена смятения. Это так называемая "теория хаоса", в которой пасть дракона получила название "черной дыры"; другой миф говорит об этой пасти как о "темном веществе". В этих дивных сагах также действуют такие легендарные существа, как белый карлик и коричневый карлик. Вам, должно быть, уже понятна главная цель, с которой создавались эти мифы. Древние певцы и пророки имели так мало веры в собственные силы, что ощущали необходимость изобразить некий мощный и отдаленный источник, из которого они якобы вышли. Знание о том, что всё — и прошлое, и будущее — существует изначально и вечно, не было даровано им.

Меноккио, автор интереснейших сочинений на мифологические темы[1], высказал предположение, что четыре стихии древнейших мифов — земля, воздух, огонь и вода — были первоначально перемешаны в некой гнилостной массе; черви, проделывавшие в этой массе ходы, были ангелами, один из которых стал Богом. Этот взгляд получил известность как "теория червоточин", которая дала толчок большому числу изощренных рассуждений. Изобретательностью ее превзошла только повесть о "суперструнах", которую мы можем ориентировочно отнести к цивилизации, породившей представление о музыке сфер. Эти "струны" возникают и в других мифах, которые подчеркивают роль гармонии и симметрии в сотворении вселенной. Есть основания полагать, что легенды эти рассказывались людям под ритуальный аккомпанемент многих музыкальных инструментов. Нам, конечно, кажется странным, что наши

1. Меноккио — прозвище итальянского мельника Доменико Сканделли, жившего в XVI веке. Его еретические взгляды на сотворение мира стали предметом разбирательства в суде инквизиции. Судьба Меноккио стала темой книги итальянского историка Карло Гинзбурга "Сыр и черви", вышедшей в 1976 году.

отдаленные предки всегда оглядывались назад в поисках некоей мифической точки, из которой они произошли; наши воззрения, несомненно, озадачили бы их не меньше. Мы теперь понимаем, что сотворение идет постоянно. Мы сами — сотворение. Мы сами — музыка.

27

Официант. Добро пожаловать, судари, в Музей шума. Чего вам надобно?

Мадригал. Надобно?

Искромет. Так говорили в старину. Он спрашивает, чего тебе налить — вина или кофе.

Мадригал. Зачем он предлагает мне вина или кофе?

Искромет. Здесь как бы старинная кофейня. Это такой обычай. И ты, конечно, должен будешь ему заплатить.

Мадригал. Кем он себя считает?

Официант. Прошу вас, горожане, чего вам надобно?

Мадригал. Мне — понять, где я нахожусь. Что это за место?

Официант. Угол Ломбард-стрит. Около Мэншн-хаус.

Мадригал. Здесь не слышно никакого шума. Скорее это Музей тишины.

Искромет. Тс-с. Слышишь шаги? Словно бы сердце бьется. Теперь их больше — звуки шагов по камню. К ним прибавляются новые, еще и еще.

Мадригал. Слишком громко уже.

Искромет. Это шаги бесчисленных поколений.

Мадригал. Теперь они стали глухими и отдаленными.

Искромет. Потому что вечер настал. Слышишь смех и разговоры за другими столами? И стук посуды из кухни, что находится под нами?

Мадригал. Это все на самом деле?

Искромет. На этот вопрос тебе не ответит никто.

Мадригал. Я думаю, я возьму вина. Как надо называть этого молодого служителя?

Искромет. Официант.

Мадригал. Официант! Я заплачу за вино!

Искромет. Хорошо. А теперь расскажи мне о выступлении Платона на Пентон-хилл.

Мадригал. Тебя что, не было там?

Искромет. Нет, я был занят. Меня избрали для работы.

Мадригал. Поздравляю!

Искромет. Мне повезло. Но все-таки жаль, что я не услышал его речь. С чего она началась?

Мадригал. Это деревянное сиденье очень жесткое.

Искромет. Оно поможет тебе сосредоточиться. Перескажи мне выступление Платона.

28

Приблизительно шестьсот лет назад среди южнобережных руин была обнаружена длинная лента образов, оттиснутых на некоем гибком материале; они стали видны на ярком свету, что побудило некоторых исто-

риков предположительно охарактеризовать их как разновидность осязаемого или сгущенного сияния. Два слова были расшифрованы: "Хичкок" и "Исступление"[1], но природа и назначение ленты остаются неясными. Мы освещали эти образы всевозможными способами, перемещали их в разных направлениях и с разными скоростями, но смысл их по-прежнему окутан тайной.

Однако, несмотря на свою неполноту, Хичкок-Исступление представляет собой находку чрезвычайной важности, поскольку мы вскоре поняли, что образы эти являют нам Лондон эпохи Крота. Вообразите изумление, которое мы испытали, увидев людей далекого прошлого, торопливо идущих по освещенным путям, исполняющих ритуальные действия! Первая картина изображает каменный мост с двумя темными башнями — по одной на каждом из берегов. Под ним протекает река, на первый взгляд слишком узкая и неспокойная, чтобы быть нашей возлюбленной Темзой. Но чуть позже была опознана ее приливно-отливная повадка. Да, это была наша река, но густо наполненная тенями и пятнами разлитого мрака.

Дальше — еще более удивительные вещи: становится ясно, что некий человек или некое существо летит над рекой, то взмывая, то опускаясь. Невидимое, это существо видит всё — высокие строения и освещенные комнаты, городские пути и человеческие лица, диковинных серых птиц и маленькие лодки на воде. Волнисто, незримо оно скользит сквозь лондонский воздух. Может быть, это некая верховная жрица, зовущаяся Хичкок-Исступление? Но об астральной магии в эпоху Крота нам ничего не известно. Было высказано предположение, что эту ленту материального света выделил, пролетая над городом, ангел, но данная интересная гипотеза пока не получила подтверждения.

Итак, мы по-прежнему пребываем в недоумении и можем лишь удивленно взирать на эти картины древнего Лондона. Первая из них показывает группу людей, собравшихся подле Темзы; они хлопают в ладоши и улыбаются друг другу, словно бы участвуя в каком-то племенном ритуале. Возможно, они намереваются молиться реке или принести жертву городу, поскольку дальнейшие картины изображают плывущую по воде обнаженную женщину с продолговатым куском полосатой ткани вокруг шеи[2]. Возможно, это тело было элементом изощренного обряда, цель которого — извлечение мертвых из речных глубин, но жизнь эпохи Крота настолько быстра и отрывочна по своему строению, что никакого определенного вывода сделать нельзя.

Дальше, к примеру, идут картины некоего замкнутого помещения, где мужчина обвязывает себе шею точно таким же продолговатым куском полосатой ткани. Кто он — один из мертвых, родившихся заново? Или он намерен добровольно принести себя в жертву? Рядом с ним никого нет, и это наводит на мысль, что он изгнан из города. Затем он спускается по неким деревянным ступеням и каким-то образом оказывается в помещении, где много сосудов из стекла. Жизнь людей в эпоху Крота воистину приводит нас в оторопь своими внезапными скачками во времени и пространстве — скачками, которые, кажется, совершенно не смущают обитателей этого постоянно развертываю-

1. Фильм А. Хичкока "Исступление" ("Frenzy") вышел на экраны в 1972 году.
2. В фильме Хичкока маньяк душит женщин галстуками.

щегося мира. Изгнанник переливает часть жидкости из сосуда в меньшую емкость и разом проглатывает. Возможно, это своего рода пробуждение. Затем он одним концом кладет себе в рот трубочку из бумаги или ткани и поджигает ее с другого конца; если прежние действия свидетельствовали о поклонении воде, то здесь мы отмечаем поклонение огню. Судя по всему, он — единственный, кто живет в этих стекложидкостных апартаментах, поскольку его имя начертано на матовом наружном стекле; его зовут Нелл Гвин[1]. Напротив обитает Генриетта Стрит, которую мы, однако, не видим.

Но вдруг оказывается, что посредством одного из необычайных мгновенных перемещений древней городской жизни Нелл Гвин уже миновал дверной проем и теперь находится снаружи, на улице. И впервые нам открывается старинный город. Он стал для нас постоянным источником волнения и удивления и порой ошеломлял тех, кто смотрел на него впервые. Нам видны двери и лестничные марши, ведущие во внутренние пространства, куда мы не способны проникнуть взглядом, и мы чуть ли не боимся кануть в глубины этого чуждого нам мира! Узкий путь полон гармонически движущихся человеческих фигур, словно бы направляемых некой незримой силой; за стеклянными окнами высоко нагромождены самые разнообразные предметы, и в некоторых местах люди берут их, давая взамен бумажные знаки или монеты. Затем в один миг все это сменилось огромным двором, уставленным деревянными емкостями, которые были полны всевозможно окрашенных плодов. Мы видим название: Монастырский сад[2] — вероятно, в старом городе было много таких садов. На следующей картине рыжеволосый жрец или служитель одаривает Нелла Гвина плодами зеленого и оранжевого цвета; позади видны надписи, воодушевляющие горожан на подвиги (когда Нелл Гвин покидает сад, мы можем прочесть слово "Отвага"[3]). Ни в одном из исторических сочинений, посвященных эпохе Крота, ни о чем подобном не говорится, и это лишний раз напоминает нам о том, что наши представления о прошлом носят в лучшем случае предположительный характер. После тщательного анализа этих образов мы, однако, создали модель древнего Лондона, где в точке схождения каждых четырех улиц находился сад, в котором бесплатно раздавалась пища. Хичкок-Исступление также позволяет нам заключить, что каждый предмет в мире Крота был выкрашен и что горожане расцвечивали свои тела. Следует отметить, что пути и улицы Лондона были различны по продольным и поперечным размерам. Шириной одних и узостью других, по всей видимости, определялись природные качества живших там людей, как и происходившие там события.

Нелл Гвин опять в один миг перенесся в совершенно иное помещение. Там тоже имеется характерное матовое окно с именами владельцев: Свинья и Свисток. Мы видим друзей Свиньи и Свистка, пьющих из стеклянных сосудов и, как Нелл Гвин, зажимающих губами зажженные спереди бумажные трубочки; эта форма поклонения огню, вероятно, еще и пи-

1. Питейное заведение названо именем комической актрисы XVII века, фаворитки короля Карла II.
2. Название лондонского рынка Ковент-гарден произошло от "Конвент-гарден" ("Монастырский сад").
3. На самом деле это реклама компании "Каридж" ("Courage" — "Отвага"), выпускающей пиво.

тала своих приверженцев, и наделяла их энергией. Входят двое горожан, снимая с голов покрытие; может быть, им вреден наружный воздух или же нужна защита от его веса. Нелл Гвин выставил перед своим лицом большой лист бумаги, словно бы желая за ним укрыться; однако, возможно, бумага вступила с ним в разговор, поскольку перед нами возникают цифры: 4.30, 20—1. Не были ли цифры в этом математическом мире единственным средством общения? Нелл Гвин делает прощальный жест в сторону Свиньи и Свистка, после чего мы видим, как он идет по каменной улице. К нему слетаются серые птицы, но он отгоняет их резким движением. Было высказано мнение, что эти летучие существа — предки нынешних ангелов, в ту пору потемневшие и ослабленные из-за условий эпохи Крота; но это не более чем гипотеза. Вдруг мы видим, что настала ночь: небо исчезло, предметы лишились цвета, и в различных строениях возникли небольшие огни. Хичкок-Исступление в этот момент тоже растворяется во тьме, поскольку лента образов здесь обрывается.

29

Платон. Могу я попросить тебя кое о чем?

Душа. Все, что я имею, — твое.

Платон. Расскажи мне о людях эпохи Крота. Они действительно так безнадежно заблуждались, как нас учили? Как я учу?

Душа. Кто может сказать? Я, конечно, никогда не осмелилась бы противоречить тебе, но, бывало, они задавались вопросом, что с ними происходит. Бывало, они даже не могли понять, что им надлежит делать. Вспоминается... нет, ничего.

Платон. Что ты хотела сказать? Ты едва не проговорилась, ведь так? Ты готова была признаться, что ведаешь о них не понаслышке. Я это чувствовал. Ты там была.

Душа. Пожалуйста, не говори за меня...

Платон. Ты со мною лукавила.

Душа. Все, беседа окончена.

Платон. Нет. Не уходи. Прости меня.

Душа. Честно?

Платон. Честно.

Душа. Будем считать, что на эту тему не говорили. Итак, ты задал мне вопрос об эпохе Крота.

Платон. Да. Может быть, я неверно сужу о людях той поры.

Душа. Знаешь, иногда мне за тебя тревожно.

Платон. Отчего?

Душа. Ты лишен широты взгляда.

Платон. Разве это не твоя прерогатива?

Душа. Послушай меня. Что, если тебе, оратору, предначертано было ошибаться? Что, если это единственный способ поддерживать в людях уверенность в реальности окружающего их мира?

Платон. Это была бы тяжкая участь.

Душа. Но что, если — неизбежная? Может быть, каждая эпоха зиждется на добровольной слепоте? Тогда ты, Платон, становишься необходим.

Платон. Значит, вот какова твоя цель. Пестовать мое невежество.

Душа. У меня нет цели. Я здесь, и только.

Платон. Не верю тебе.

Душа. Что-что? Не веришь собственной душе? Так не бывает.

Платон. Я в замешательстве. Не буду скрывать. Помоги мне.

Душа. Нам надо кое о чем условиться. Ты хочешь дойти до границ твоих познаний и твоей веры. Это так?

Платон. Конечно.

Душа. Тогда я больше тебе не защита.

Платон. Защита от чего?

Душа. Не знаю. Долг души — защищать подопечного...

Платон. Когда-то я видел изображение ангела-стражника с огненным мечом.

Душа. Вот-вот, что-то в этом роде. Но если ты действительно хочешь узнать некую правду...

Платон. Только этого и желаю.

Душа. Пусть будет так. Я не буду больше преграждать тебе путь. Удачи тебе.

Платон. Когда я вновь тебя увижу?

Душа. Видел ли ты меня по-настоящему хоть раз? Иди же. Горожане ждут тебя.

30

Видите этот обугленный лист бумаги? Обратите внимание: на нем имеются слова, написанные старинным английским шрифтом. Звездочками я обозначаю выжженные или вырванные места текста. Я прочту вам то, что сохранилось; заранее прошу прощения за резкость и неблагозвучие, присущие старинному выговору. Текст считается подлинным.

Обломками сими * руины *
* зрелище! Иеронимо вновь *
* Элиот[1]

Есть все основания считать, что Элиот — это имя автора или певца произнесенных мною слов, и, к счастью, до нас дошли некоторые памятники, которые могут способствовать более точному установлению его личности. Был найден прозаический отрывок со словами: "Как пишет Джордж Элиот[2]...". Кроме того, коллекция стенной живописи эпохи Крота, экспонаты которой предположительно датируются XVIII–XXI веками, содержит картину или плакат с надписью: "Альгамбра[3]. Мы представляем нашего родного и любимого Элиота, шоколадного щебетуна, гуттаперчевого негра". Я уже говорил вам, что в ту эпоху земля была разделена на так называемые "расы", и причины этого разделения носили, как мы склонны полагать, не духовный, а климатический характер; "шоколадный" и "негр" — это синонимы понятий "африканец" и "чернокожий". В эпоху Чаромудрия люди, конечно, были убеждены, что черные "расы" стоят ближе к богу и поэтому обуглены лучами божественной любви. Итак, можно предположить, что приведенные мною слова принадлежат африканскому певцу Джорджу Элиоту. Я прекрасно понимаю, что

1. Слова взяты из концовки поэмы Т. С. Элиота "Бесплодная земля". В переводе С. Степанова эти две строки полностью выглядят так: "Обломками сими подпер я руины мои / Будет вам зрелище! Иеронимо вновь безумен".
2. Джордж Элиот — псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс (1819–1880).
3. "Альгамбра" — лондонский мюзик-холл, популярный в викторианскую эпоху.

уверенности в этом быть не может, но сделанный мною вывод, по крайней мере, согласуется со всеми имеющимися у нас данными.

Текст как таковой интерпретировался исследователями по-разному. Один из них утверждает, что "обломки" и "руины" — одно и то же и что Джордж Элиот просто созерцает развалины часовни или церкви Святого Иеронима, построенной в более раннюю эпоху. Но другой историк оспаривает это мнение, считая, что "руины" — то же самое, что "руны", то есть письмена, а "Иеронимо" перестановкой букв можно превратить в "они о мире". Таким образом, получается:

Обломками сими [сделались] руны [мои.]
[Печальное] зрелище! Они о мире вновь [говорят.]

(Здесь в квадратные скобки заключены слова, вставленные в порядке конъектуры, на основании догадок.) Развивая эту гипотезу, я, Платон, думаю, что чернокожий певец пророчествовал о гибели мира Крота, о его распаде на руины и обломки. Позвольте мне процитировать мои же слова, сказанные по этому поводу ранее: "Воистину бедственным было положение поэтов и певцов той эпохи, которые, как мы полагаем, выполняли лишь развлекательные функции. Нам неизвестно, где они выступали — в общественных местах или на частных собраниях, но, так или иначе, скудость сохранившихся данных, имеющих к ним отношение, и характерная меланхолическая окраска тех их произведений, что дошли до нас, говорят о том, что статус их был низким". Было даже высказано предположение, что Джордж Элиот намеренно создал этот стихотворный "обломок", или "руину", чтобы выразить таким образом свое отчаяние. Возможно, существовала давняя традиция "руинной поэзии", и не исключено, что он стал ее последним представителем. Прошу прощения. Мой свет начал блекнуть. Вы уже заметили, да? Ничего страшного, для тревоги нет никаких оснований. Это не болезнь. Вам ничто не угрожает. Я устал, и только. Выступление мое окончено.

31

Что-то происходит. Что-то надвигается. Я слышу крики и лепечущие шепотки, а вот начали возникать тени. Чувствую, как они обступают меня. Душа! Мне неспокойно. Я ощущаю их явственней, чем ты можешь вообразить. Душа! Где ты? Вижу бледного юношу, прислонившегося к столбу. Девушка. К ней подходит животное. Теперь видно название: Голден-лейн — Золотой переулок. Кто эти люди, проходящие рядом со мной? Их так много. Я никогда не знал такой тесноты. Чувствую шум великого ветра. Душа! Ты от этого была мне защитой? Ты оберегала меня от них?

32

Сидония. Значит, ты его видел?
Орнат. Он стоял около ворот калек[1], с внешней их стороны.
Сидония. Удивительно. Это не назовешь его обычным местом.

1. Криплгейт (ворота калек) — одни из ворот лондонского Сити. Снесены в 1760 году.

Орнат. И еще одна странность: он разговаривал сам с собой.

Сидония. Быть не может!

Орнат. И размахивал руками вовсю. Выглядел очень разгоряченным.

Сидония. Ты что-нибудь уловил из его речей?

Орнат. Что-то насчет Золотого переулка. И что его окружает толпа, хотя он стоял совершенно один. Потом он приблизился ко мне.

Сидония. Как ты поступил?

Орнат. Почтительно поклонился ему, а он в ответ тоже поклонился. По обычаю мы должны были соблюдать тишину...

Сидония. Конечно.

Орнат. Но он вдруг спросил, не жду ли я кого-нибудь.

Сидония. Что?

Орнат. Я сказал: "Нет, не жду. Просто храню молчание, потому что этого требует благочестие". Тогда он засмеялся.

Сидония. И ты тоже?

Орнат. Естественно. Потом он спросил меня, не думаю ли я о чем-нибудь. Я ответил: "Нет, не думаю". Он спросил почему. Я объяснил: "Думать необязательно. Это ведь не то, что грезить".

Сидония. Хорошо сказано.

Орнат. Спасибо. Потом он провел ладонью по лицу и сказал, что видел меня участником гонки на весельных лодках, когда мы состязались с командой Эссекс-стрит. Он спросил меня, кто победил.

Сидония. Какой диковинный вопрос!

Орнат. Мне пришлось растолковать ему, как ребенку, что никаких победителей нет и быть не может. Он опять засмеялся и спросил меня, не потому ли у меня такой унылый вид.

Сидония. Не лишился ли он ума?

Орнат. Он действительно завел речь об утрате — правда, не ума, а души, но это было настолько нелепо, что я притворился, будто не слушаю. Потом, помолчав, он сказал, что отправляется в путешествие.

Сидония. В путешествие? То есть...

Орнат. Покидает наш город.

Сидония. Зачем, скажи на милость?

Орнат. Именно такой вопрос я задал ему.

Сидония. И что он ответил?

Орнат. Обвел взглядом все вокруг и что-то пробормотал об иных местах. Об иных людях. Я сказал: "Послушай меня, Платон". Я употребил именно такое обращение.

Сидония. Не как к оратору?

Орнат. Нет. Это почему-то показалось мне маловажным. Или излишним. Итак, я сказал: "Послушай меня, Платон. Мы росли в нашем городе все вместе. Мы подчинялись его предписаниям. Нас посвятили в его тайны. Ты был избран оратором, чтобы наставлять нас. Мы проводим жизнь в раздумьях о благости города, в созерцании его красоты. Мы внимаем твоим рассуждениям о его внутренней гармонии. Зачем же искать иное за пределами его Стены?" Он дал замысловатый ответ.

Сидония. Какой именно?

Орнат. "Может статься, милый Орнат, что я отправлюсь не так далеко, как ты думаешь. Может статься, что я отправлюсь в путешествие, не двигаясь с места".

Сидония. Что он хотел этим сказать?

Орнат. Понятия не имею. Пойдем. Прокатимся по Флиту на лодочке, поищем ангельских перьев.

Путешествие Платона в подземный мир

33

Там была пещера, и земля пошла вниз под уклон. Я ощутил запах чего-то и не живого, и не мертвого. Мне послышались голоса, и я двинулся ко входу в пещеру. Некоторый страх, должен признаться, я ощущал, но все мы, берусь утверждать, в той или иной степени боимся темноты. Вы говорите, мне все это приснилось? Нет, это не был сон. Я был бодр и зорок как никогда.

В пещере воздух показался мне таким тяжелым и душным, что я подумал было — все, дальше идти не могу. Но земля, как прежде, косо шла вниз, и, вступая во мрак, я безотчетно склонил голову. Не знаю, как далеко я ушел. Может быть, я не перемещался вовсе. Не исключено, что я стоял на месте. Вы понимаете меня, да? Чернота вскоре стала такова, что я не видел собственного тела и не ощущал движения. Позднее я, конечно же, понял, что это было такое. Я переходил в иные измерения, чтобы попасть в мир Крота. Кто это крикнул: "Платон кощунствует"? Здесь нет никакого кощунства! Я просто рассказываю все, как оно было. Тьма начала уходить вверх, очень медленно, и я заметил, что окружающие меня камни излучают сумрачное свечение. Цвет его был цветом огня и крови. Я по-прежнему шел вниз. Простите меня. Я не могу подобрать иных слов, кроме "вверх", "вниз". Может быть, я стал подобен тем людям.

Почему-то я знал, что перемещаюсь по кругу или спирали. Становилось теплее, и я заметил, что пламенеющий свет заставляет мое тело отбрасывать на землю некий диковинный мглистый образ. Он называется у них тенью, и творит эту тень ложный свет тамошнего солнца. Воистину их мир был миром теней. Потом я оказался у широкой каменной лестницы. Делать было нечего. Я шагнул на первую ступень. Начал спускаться, но опять же мне почудилось, что я не двигаюсь вовсе; я словно бы стоял на месте, только над головой у меня чередовались полосы света и темноты. Я испытывал диковинные ощущения — то оцепенение, то неугомонное беспокойство; потом наконец я понял, что переживаю ночь и день, как они переживались людьми в древности. Светлые и темные промежутки становились все длиннее, и в какой-то момент во мраке проступили светлые точки. Я поднял голову. Поднял и увидел яркие пятнышки, которые звались некогда звездами. Надо мной простерлось звездное небо, и его конфигурация была очень похожа на ту, что я изучал по старым картам эпохи Крота. Это были неизменные звезды древности, сияющие ниже уровня нашего мира!

А потом возник шум. Вначале это был тишайший шелест, но он становился все громче и под конец навалился мне на уши звоном, стуком и глухим ритмическим биением. В него вплетались и совсем уже яростные неотчетливые звуки, и при этом тропа спускалась теперь на-

столько круто, что повернуть вспять не было никакой возможности. Но зачем мне желать возврата, если я могу ринуться навстречу моему видению? Я оказался в необъятной выемке, простиравшейся во всех направлениях. Ни глубину ее, ни высоту измерить было нельзя, хотя мне по-прежнему были видны неизменные звезды, поворачивавшиеся над моей головой. А подо мной раскинулся Лондон! Ночь успела уже смениться ярким днем, и я увидел громадные стеклянные башни, купола, крыши, дома. Я увидел и Темзу, что поблескивала в отдалении; вдоль нее шли широкие проезжие улицы. Строения и окаймленные ими пути были обширней и изощренней, нежели все, что я когда-либо мог вообразить, но почему-то это был именно тот город, о котором я всегда мечтал.

Как мне дать вам почувствовать всю странность моего путешествия в мир Крота, к его людям? Они все малорослы — по пояс вам или чуть выше, — и даже мне надо было, ходя среди них, соблюдать осторожность. Вы можете спросить, не пугал ли я их своим видом, но дело в том, что они не видели меня вовсе. Я был среди них словно дух или призрак. Почему вы смеетесь? Я думаю, я потому был для них невидим, что я по-прежнему существовал в иных размерностях, в большем числе измерений, нежели они. Вот почему они выглядели такими компактными, такими плотно умятыми, и вот почему все их действия выглядели странно скованными. Они перемещались так, как им было предопределено, и порой создавалось впечатление, что они не представляют себе, в каком направлении движутся. Их взоры были сосредоточены на чем-то впереди, но при этом казались невидящими; они были словно бы погружены в напряженную мысль, но о чем они размышляли?

Я наклонялся, желая перехватить их разговоры; я обращался к ним, но они, конечно, меня не слышали. Я прошел по Старой улице и увидел, что в ту пору она была дорогой среди пустыни[1]. Я забрел в Смитфилд[2] и отшатнулся — такова была ярость тех, кто жил подле этого места. В Чипсайде[3] сам город создал замысловатые рисунки движения, и вся деятельность горожан шла ради себя самой. В Клапаме[4] я услышал их голоса: *сколько времени нельзя ли узнать он конечно хочет наилучшую цену но он и продаст не только покупает мне пора совсем уже пора он никогда правду слышать не хочет будьте добры скажите мне время.* Так протекала их жизнь. О том, что их земля — огромная выемка под основанием нашего мира, у них не было способа узнать. Их небо было сводом пещеры, но они считали его преддверием вселенной. Меня окружали слепцы. И все же, запрокидывая ночью голову и глядя на усеянный блестками небесный лик эпохи Крота, я, как и они, поддавался его завораживающей силе.

Раньше я полагал, что с наступлением ночи там непременно устанавливаются неподвижность и тишина; но там царила неутихающая, слитная звучность. Куда бы я ни шел, пытаясь приблизиться к источнику шу-

1. Олд-стрит на северном берегу Темзы находится в одной из тех частей Лондона, что еще относительно недавно считались трущобными.
2. Лондонский оптовый рынок мяса и битой птицы. До середины XIX века — рынок лошадей и скота. Часто отмечались жестокость и грубость смитфилдских нравов.
3. Главный рынок средневекового Лондона. На близлежащих улицах селились торговцы и ремесленники.
4. Место в южной части Лондона, где находится один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании.

ма, он словно бы пятился от меня с каждым моим шагом. Тогда-то мне и стал слышен голос — шепчущий, стонущий голос самого Лондона. Подлинной тьмы там тоже никогда не было, потому что городские горизонты под темными слоями верхнего воздуха излучали свечение. Вдоль улиц там были установлены сосуды из стекла или замерзшей воды, где содержалась звездная яркость. Спроси́те себя — мог ли я выдумать такое? Одежды, которые носили горожане, были тесно прилегающими и многоцветными. Эти люди не были похожи друг на друга внешне, как я ожидал; напротив, видом своим они, казалось, насмешничали друг над другом и пародировали друг друга. Их словно бы радовало многообразие, и им весело было верить, что между внешним и внутренним нет разницы. Это удивляет вас, да? Лишь тогда начал я понимать подлинную суть той эпохи. Конечно, они не могли спастись от тирании измерений, в которых жили, и от скованности пещерного существования, но именно это усиливало их восторг от всякого контраста и всякой разрывности. В управлении и коммерции, в жизни и работе они великое удовольствие извлекали из противостояний и крутых поворотов. Их воздух был заражен нечеловеческим запахом чисел и машин — зато сам город беспрерывно менялся. Нет. Не смейтесь. Послушайте меня. Я вскоре обнаружил, что они всегда хотят сообщаться между собой наибыстрейшим образом; самые простые сведения, казалось, неимоверно радовали их, если только могли быть получены мгновенно. У их жизни была и другая особенность, о которой, должен сказать, мне следовало догадаться прежде: чем раньше о том или ином действии могло быть сообщено, тем большую значительность оно приобретало. События как таковые были несущественны, важна была лишь быстрота узнавания о них. Теперь вы умолкли. Вновь спрашиваю вас: разве я мог выдумать такую действительность?

В молодости горожанам хотелось взмыть в воздух; в старости они клонились к земле, где чаяли обрести последнее обиталище. Они не знали, что заточены в тюрьму, и многие были довольны. Возможно, они просто потому были счастливы, что осуществили себя в пределах данной им формы; но я видел и усталых, и измученных заботами. Они постоянно строили и перестраивали свой город. Им нравилось разрушать — думаю, потому, что это позволяло им забыть. Город неуклонно распространялся, захватывая все новые земли. Он без устали продвигался вперед, вечно ища некий гармонический очерк и никогда не обретая его. Скажу так: Лондон эпохи Крота не имел границ. У него не было ни начала, ни конца. Вот почему его жители были так неугомонны. Их подстрекала жажда деятельности, но то была деятельность ради себя же самой. Можно дать вдобавок еще одно объяснение. Не поддерживалась ли их лихорадочная поступь боязнью? Не казалось ли им, что, если ее рисунок прервется, они, как и их город, могут погибнуть? Поэтому для всего у них было отведено свое время — для еды, для сна, для работы. Запястье у каждого из них было окольцовано временем, которое, словно наручник, приковывало их к миру пещеры. Они существовали в мелких отрезках времени, в его фрагментах, постоянно предвосхищая и предвкушая завершение отрезка, как будто весь смысл деятельности заключался в ее прекращении.

Воистину время их было вездесущим. Оно гнало их вперед. Видя, как они идут длинной человеческой лентой, я понимал, что это движется само время. Но его движение не было равномерным. Я думал,

что оно бежит всегда одинаково, не останавливаясь и не замедляясь. Но нет — ход его был неодинаков, что отвечало многообразной природе города. В одних его частях оно двигалось быстро, в других неохотно или прерывно, толчками; а были места, где оно и вовсе больше не шло. На иных узких улицах города мне были слышны голоса тех, кто уже много лет как ушел из жизни. А потом я сделал еще одно замечательное открытие. Среди горожан в эпоху Крота были такие, кто словно бы жил в другом времени. Мне попадались люди в лохмотьях, бродившие вместе с собаками; им было не по пути с теми, кто шел по большим людным улицам. Некоторые дети там пели песни былых эпох, некоторые старики уже носили на лицах печать вечности. Вы смеетесь надо мной. Но говорю вам: я, Платон, видел и слышал все это. Могу я продолжать? Их взор порой улавливал нематериальное, но они отворачивались в неверии или испуге. Иной раз я замечал, как кто-то из них коротко переглядывался с незнакомцем, идущим навстречу; посмотрев друг другу в глаза, они шли дальше, как будто ничего таинственного не случилось. Но мне было ясно, что их души пытались снестись одна с другой сквозь мглу и туман эпохи Крота. Старинные формы беседы и молитвы все еще существовали, но едва могли пошевелиться под бременем этой действительности. И все же я, бывало, подслушивал чьи-то слова, которых не могли слышать горожане, и подмечал в чьих-то глазах мгновенное узнавание или жаждущую тоску, которых не видел больше никто.

Но души их почувствовали мое присутствие, и некоторые из них приподнялись в своих темницах, приветствуя меня. Я послал им ответный привет и вступил с ними в разговор. Их подопечные, которых мы стремились понять, нас, конечно, не слышали. Первым, о чем я спросил эти маленькие говорливые незримые существа, было — каковы их собственные верования; но верований у них не оказалось, или же они были настолько путаными и невнятными, что лучше бы их не было вовсе. Души стыдились своей неуверенности, но, как они мне сказали, их так долго держали во тьме, что они едва узнавали одна другую.

Я хотел выведать у них побольше об истории города, но ни одна толком ничего не могла мне сообщить. Они, правда, слышали о великанах — первоначальных обитателях Лондона. "Теперь понятно, — сказали они, — что это было пророчество о вашем племени". У меня было так много вопросов! Собирают ли деревья тени проходящих под ними людей? У них не нашлось ответа. Они даже не знали, как называются эти деревья. Я спросил их, считаются ли поросшие травой места священными. Я спросил, почему строения у них устремлены к небу. А птицы, которые жмутся друг к другу на крышах и площадях, — не они ли подлинные хранители Лондона? Управляют ли солнцем солнечные часы? Они не понимали моих вопросов. Вместо ответов они жаловались мне, что заточены внутри существ, не имеющих почти никакого понятия ни о божестве, ни об истине, — существ, боготворящих контроль и порядок. Они рассказали мне, что люди эпохи Крота проповедуют заботу о мире, в котором живут, но при этом убивают своих нерожденных детей и чрезвычайно жестоко обходятся с животными. Тем не менее они стремятся создавать копии самих себя средствами своей науки. Я вовсе не для того сообщаю вам об этом, чтобы обеспокоить вас. Просто я не хочу утаивать от вас никакой правды; я хочу, чтобы

вы, узнав и о хорошем и о дурном, сами могли решить, был ли настоящим город, где я побывал.

Я еще раз затем вступил в разговор с этими маленькими душами, и они сказали мне, что их подопечные страдают от забывчивости и страха. Горожане то и дело становились в тупик; они жили внутри тех фантазий и амбиций, что творил сам город, и чувствовали себя обязанными действовать согласно ролям, которые им были определены. Они не понимали себя самих. Настоящее имело для них значение лишь как дорога к будущему, и вместе с тем многие из них испытывали великий ужас смерти. Они стремились двигаться все быстрей и быстрей, но цель движения была им неведома. Нечего удивляться, что их души страдали и содрогались в своих темницах. Иные из душ, с которыми я говорил, хотели одного — раствориться, исчезнуть. Когда я слышал, как люди спорили, мне видны были их потревоженные души, трепещущие у них над головами.

Помню, один раз я шел по берегу священной Темзы, на котором спали отверженные, и один юноша, проходя мимо меня, вздохнул. Его душа ощутила мое присутствие и мягко заговорила со мной: "Взгляни на реку. Я долго глядела в ее глубины и пришла к заключению, что она всегда разная. Она существует мгновение, а затем наплывают воды других рек и других морей. Как такое возможно? Как она может быть всегда одинаковой и вместе с тем всегда различной? Всякий раз свежей и обновленной?" Я не мог дать ответ, но, когда юноша и его душа ушли, стал смотреть на речную гладь. И там — впервые в этом мире — я увидел колеблющийся на воде образ моего лица. Я увидел себя в потоке времени. Я поднял голову и посмотрел на их солнце; его круг светил жарко и ярко, но я видел дальше, сквозь него, вплоть до свода пещеры. И тогда я решил вернуться и рассказать вам о том, что мне открылось.

Суд над Платоном по обвинению в развращении детей посредством измышлений и небылиц

34

Искромет. И как он дальше себя повел?

Орнат. Он стоял на берегу посреди толпы. Жаль, что ты его не видел! Он притоптывал ногами, танцевал и говорил — нет, не говорил, а пел. Голос у него как у высокого человека...

Искромет. Его дарования всегда были ему не по росту. Вот почему его свет так режет глаза.

Орнат. Изменить свою природу и вырасти он, разумеется, не в силах, но он нарочно делает упор на этой своей особенности. Он словно ей радуется. "Взгляните, — говорит, — на мое бедственное положение. Я не такой, как вы. Даже дети смотрят на меня сверху вниз". Потом он помолчал и спросил: "Но вот что занятно: кто смотрит сверху вниз на вас?"

Искромет. Что он хотел этим сказать?

Орнат. Ему одному это ведомо. Может быть, и вовсе ничего. Но внимание к себе он привлек. А затем заговорил про наукотехнику — так, кажется? С его слов выходит, что наукотехника создала пищу, одежду и все остальное.

Искромет. Где он это узнал? Его не могли этому научить. Хранители ни за что не одобрили бы такой чепухи.

Орнат. Это-то я и пытался тебе втолковать, но ты никогда не слушаешь.

Искромет. Нетерпеливый ты больно.

Орнат. Он узнал все это в пещере.

Искромет. В пещере? В какой еще пещере?

Орнат. Должен признаться, бóльшую часть я прослушал. Я смазывал себе ступни.

Искромет. Как обычно.

Орнат. А потом он стал говорить про время. Или про бремя? Указатель бремени называется "часы". Во всем этом поди разберись. Попробую восстановить все как было.

Видите, что я держу в руке? Приблизьтесь, горожане. Это часы. Я принес их оттуда – из пещеры Крота. Нет. Не смейтесь. Выслушайте меня. Эти значки зовутся цифрами. Понаблюдайте, как бежит тоненькая металлическая полоска, описывая гармонический круг. Вот оно – время. Не бойтесь дотронуться. Чары часов не могут здесь пробудиться. Вы спрашиваете, зачем часы были нужны? Они творили вселенную! Рассмотрите цифры, расположенные вдоль обода. Не прекрасны ли их очертания? Поглядите на эту – какой изящный изгиб! Взгляните на овал. Эти цифры чудесны, ибо некогда выявляли строение мира. Если мы откроем часы сзади – вот так, мы увидим крохотные колесики и пружинки. Это механизм. Целая вселенная была некогда устроена по его подобию. Потому-то часы были в прошлом наделены великой силой. Люди эпохи Крота верили, что живут внутри времени и что время священно, потому что с ним связано происхождение всего и вся. Ну что, начали вы понимать, какая занятная то была цивилизация? Время наделяло их ощущением поступательного движения и перемен, оно же давало им перспективу и чувство отдаленности. Оно дарило им и надежду, и забвение. У них цвело нечто, называвшееся искусством, и своим существованием оно было обязано опять-таки времени. И многое другое было достигнуто благодаря времени, во имя времени, и в древности горожане, жившие в столь малом числе измерений, были завороженны им. Вот почему они создали этот ритуальный предмет – часы.

А потом Платон сделал необычайное заявление.

Искромет. Какое?

Орнат. Он сказал, что его прошлые выступления были полны ошибок и нелепостей.

Искромет. Да ты что!

Орнат. Эпоха Крота, оказывается, не окончилась хаосом. Никакого сожжения машин не было.

Искромет. Глупость какая! А что горожане?

Орнат. Одни были ошеломлены. Другие засмеялись. Я же просто-напросто ушел. Прогуливался в полях среди лучников, а потом мне сказали, что его отдали под суд.

Искромет. Именно это слышал и я. Надо же: мы одного с ним прихода и учились в одной школе, но ничего подобного не предвидели.

35

Мы внимательно выслушали тебя, Платон. Мы рассмотрели все, что ты нам поведал. Мы не можем судить тебя за твои мысли – только за то, что ты сказал или сделал. Мы обязаны теперь повторить выдвинутые против тебя обвинения, чтобы ты мог ответить на них прямо и непосредственно.

Если вы убедите меня вашими доводами, я, конечно, возьму свои слова назад.

Первое обвинение против тебя состоит в том, что ты своими беседами и речами развращал детей нашего города.

Что вы находите развращающего в моих словах, если я учил детей рассматривать мир не таким, каков он есть, а таким, каким он мог быть? Или каким некогда был?

Вот ты уже противоречишь себе. В оправдательном заявлении ты утверждал, что тот мир все еще существует в некой темной пещере под нашим городом. Ты описал его в таких живых подробностях, что кое-кому из нас очень захотелось его посетить.

(*Смех.*)

Да. Мы действительно находимся над ними. Для них мы не более чем световые призраки...

Ты пребывал в пьяном оцепенении, и все это тебе пригрезилось.

Могу ли я продолжать? Их город погружен в пещеру, и свод этой темной выемки — небо, которое они видят. Я готов обсудить с вами свойства двух действительностей, существующих параллельно, и мы, возможно, придем к заключению, что ничто не мешает всем версиям и образам мира вечно соседствовать друг с другом. Но детей я ничему подобному не учил. Повторить вам, что я им сказал?

36

Помогите-ка мне взойти, ребята. С вершины холма я всем вам буду хорошо виден. Некогда на этом месте стояла огромная церковь с большим куполом, посвященная богу Павлу. Я ее видел. Вот здесь был церковный двор. Я рад тому, что теперь тут пустынно. Знаете почему? Это означает, что я могу говорить с вами свободно, без шепотков горожан, без их пересудов. Я Платон-дуралей. Вот как меня теперь кличут. Возможно, в этом есть доля справедливости. Я всегда учил, что нужно познать самого себя. Поэтому я и сам заглядывал внутрь себя, а заглядывая, видел, что не всегда прав. Я совершаю ошибки. Я бреду к истине спотыкаясь. Взгляните. Вот один из камешков, о которые я споткнулся. Но этот камешек — не такой дуралей, как я. Он не из тех камней, что раскиданы вокруг нас как попало. Это умный камешек. Видите точки на его ровных гранях? Игральные кости — вот как назывались такие камешки в старину. Я принес его из... ну, вы знаете откуда. Ну что, уподобимся нашим предкам? Покати камешек. Еще раз покати. Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему выпала именно эта грань? Может ли кто-нибудь предсказать, на какую грань он ляжет после третьего броска? Нет, ко-

нечно. Вот почему я спотыкаюсь. Вот почему я останавливаюсь и принимаюсь думать. Допустим, что после сотни, даже после тысячи бросков мы все еще не научимся предсказывать, какая грань выпадет. Наверняка в наши жизни войдет тревога — ведь так? Но если этот маленький камешек с легкостью ставит нам подножку, как мы можем говорить о человеческой несомненности? Вы скажете, Платон-дуралей опять дурью мается. Может быть. А может быть, и нет.

Наши предки, возможно, не так боялись перемен и случая, как боимся мы. Не исключено, что для них все превратности были игрой, подобной этому камешку. Я полагаю, они были готовы встретить невзгоды, которые могли выпасть им в их мире. Я говорил вам, что они жили во тьме, но тьма эта не всегда внушала им страх. Я уже рассказывал о пылающих светилах в их небе, даривших им тепло и уют, но что, если они получали и иные дары? На этом камешке нет никакой тьмы. Он легок и приятен на ощупь. Потрогайте. Он — напоминание о том, что где страх — там также и радость, где боль — там может быть и восторг.

Вот почему я люблю тех из вас, кто стремится спрашивать. Я знаю, что вам рассказывали о жизнях богов и героев, ангелов и великанов. Но вы никогда не слышали легенд о тех, кто стоял в одиночку против целого мира и благодаря своей отваге и правдивости одержал победу. Почему наряду с теми вождями, чьи дела вам надлежит изучать, не восхвалить и этих людей? Взгляните друг на друга: вы такие разные! Сын Артемидора более высок и белокож, чем сын Мадригала; у дочери Орната руки и ноги тоньше, чем у дочери Магнолии. Можно предположить, что вы различны и в иных отношениях. И если так, то каждого из вас, несомненно, ждет миг открытия, какой однажды настал для меня. Я крикнул тогда: "Я — это я! Я — и никто другой!" Ну вот. Я прокричал это еще раз, и городские стены, как видите, не рассыпались. Спустимся теперь и помолимся вместе у монахов-доминиканцев[1].

37

Неужели в моих словах, обращенных к ним, содержался какой-либо вред или опасность? Спускаясь с ними с холма, я предложил им поразмыслить о природе наших жестов — о том, как в беседе мы порой откло-няемся назад и разводим руками, как по-разному касаемся ладонью лица, если испытываем жалость или удовлетворение, как прикрываем глаза в знак согласия. Эти движения не нами придуманы. Им уже много тысячелетий.

Довольно! Ты, Платон, отдан под суд за распространение небылиц и обманов. Мы не предлагали тебе рассуждать о них в подробностях.

Хочу признаться вам кое в чем. В горожанах эпохи Крота я увидел нечто от самого себя. Во многих отношениях они, как я говорил, были варварами и глупцами; но, посмотрев им в глаза, пошептавшись с их душами, я понял, что они действительно наши предки. Возможно, именно поэтому я полюбил их. Да, они не знали, не могли знать, что живут в пещере, скрытые от света. Но мы — как мы, со своей стороны, можем быть уверены, что за пределами нашего мира нет иного, еще более яркого?

1. Блэкфрайерз (доминиканцы) — один из районов центрального Лондона. Ранее здесь был доминиканский монастырь.

Ты продолжаешь испытывать наше терпение, Платон. Не упорствуй в своих кощунственных измышлениях.

Я вижу, я оскорбил вас. Меня судят за то, что я не могу принять наш мир как конечную реальность. Верно я понял?

Ты исчерпывающе ознакомлен с предъявленным тебе обвинением. Ты сбился с дороги. Ты можешь навлечь на нас несчастье. Горожане уже на тебя косятся.

Неужели их обеспокоило то, что я сказал им правду и признал, что прежними выступлениями вводил их в заблуждение?

Ты скромничаешь. Ты не ограничился этим.

Разве? Я не сказал ни одного дурного слова об ангелах. Я ни разу не поставил под вопрос святость лабиринтов и зеркал. Я не посягал на цветовую иерархию. Повинуясь обычаю, я держался в пределах моего прихода. Мне продолжать — или достаточно?

Софистика, Платон, и только. Нам известно, что своими разговорами ты разделял детей и родителей. Привести тебе пример?

38

Орнат. Подойди-ка, Миандра, поближе. Сядь около меня. Я вижу, ты плакала.

Миандра. Ты знаешь почему, отец. Мне сказали, что я должна буду теперь жить в другой части города.

Орнат. Да, как и все дети с определенного возраста. Таков обычай. Он даст тебе новые возможности молитвы и понимания.

Миандра. Но зачем вообще перемещаться? На рынке и на улицах я видела горожан, которые вечно стоят на одном месте.

Орнат. Это больные люди. Их надо жалеть не осуждая. Они думают, что измерения, в которых мы живем, иллюзорны, и поэтому отказываются делать даже малейшие движения.

Миандра. Платон говорит, что мы похожи на них, потому что редко выходим за городские стены.

Орнат. Платон много чего говорит, Миандра. Он не во всем прав. Мы потому не выходим из города, что для этого нет причин. Здесь наше сообщество. Свет вокруг нас — это свет человеческой заботы. Он и есть жизнь. Зачем нам выходить вовне — туда, где мы можем только устать, истощиться?

Миандра. Но Платон...

Орнат. Ох. Опять.

Миандра. Платон говорит, что мы должны учиться сомнению, учиться ставить все под вопрос. Я слушала его у ворот епископа[1].

Когда я был малолетним, как вы, меня однажды отвели на Ламбетский луг посмотреть на ягнят[2]. "Взгляни на них, Платон, – сказал мне наставник. – Взгляни, как они резвятся и скачут". "Зачем это они?" – спросил я. "Затем, что ягнята резвились и скакали всегда. Они избраны, чтобы осуществиться в пределах своей формы, и знают это, и радуются этому. Бери с них пример, малыш Платон". Согласился я или нет? Как вы думаете? Я такого же ма-

1. Бишопсгейт (ворота епископа) — ворота лондонского Сити, снесенные в 1760 году.
2. Название лондонского района Ламбет, по одной из версий, этимологически связано со словом lamb (ягненок).

ленького росточка, как вы. Я признаю это. Как я могу это отрицать, если, говоря с горожанами, мне приходится отступать и поднимать голову? Смейтесь, если хотите. Я и сам частенько смеюсь. Мне радостно сознавать, что я другой. Когда я был ребенком, мать учила меня никогда не соглашаться с чужими мнениями, не разобравшись в них со всей тщательностью. "Ты мал потому, – сказала мне она, – что избран видеть все с другой точки". И вместо того чтобы усваивать уроки, которые желали преподать мне другие, я принялся изучать себя. Я хотел найти правду, которая была бы правдой для меня одного. Понимаете вы меня? Вот древняя монета. Подойдите поближе, взгляните.

Он переложил ее в левую ладонь и потер одну ладонь о другую.

Она по-прежнему там, куда я ее положил? Конечно, говорите вы? А вот и нет. Пропала. Она в моей правой ладони. А ведь детей считают очень наблюдательными! Единственное, что я хочу вам внушить, – что нет ничего несомненного. Не принимайте ничего на веру. Обращайтесь к наставникам с вопросами. Спросите их: "Как я могу знать с уверенностью, для какого существования я избран?"

Орнат. Вот, значит, что он вам говорит.

Миандра. Он ведет себя с нами как со взрослыми. Пускается в рассуждения.

Почему сон считается священным состоянием? Потому, утверждаете вы, что это разновидность молитвы. Но отчего тогда мой сон такой прерывистый?

А потом возражает нам.

Ждать, бездействовать – это разновидность молитвы. Так вас учили, да? Но что, если, наоборот, молитва, отправление культа – разновидность ожидания? Ожидания – чего?

Иногда даже высмеивает нас.

Вам говорили о городе нерожденных детей. Но вы не знаете, где он находится. Из этого города явились мы все, но его местоположение вас не интересует. Сведения о нем могут нарушить глубинный покой вашего бытия. Так, кажется, говорится? Да? Глубинный покой бытия. Но я вам вот что скажу. В доме происхождения, стоящем за городской стеной недалеко от нее, младенцы, рождаясь в наш мир, кричат и корчатся. Скажите мне – почему?

Орнат. Не надо слушать его, Миандра. Лучше держаться от него подальше. Мне тут кое-что стало известно. Оказывается, его отдали под суд.

Миандра. Тем хуже для нас.

39

Понимаешь теперь, как ты смутил покой горожан?

Детям я ни разу не описал моего путешествия. Я лишь побуждал их задавать вопросы и обсуждать ответы между собой.

Вот опять ты упомянул о своем пресловутом путешествии. Кстати, о вопросах. Позволено ли нам будет задать тебе один? Что, если ты, встав перед горожанами эпохи Крота, сообщил бы им, что они живут в темном и тесном мире? Что они заточены в пещеру? Ты думаешь, они захлопали бы в ладоши и принялись бы тебя хвалить? Ты полагаешь, они были бы благодарны тебе за эти сведения? Нет. Они с презрением отвернулись бы от тебя как от глупца или осудили бы тебя как обманщика.

Вы поступаете именно так.

Мы не считаем тебя глупцом, и ты еще не осужден. А что касается обмана – возможно, тут всего-навсего самообман.

Вы хотите сказать, что я сошел с ума. Что ж, спасибо.

Нет. Ты утрируешь. В некотором смысле мы сочувствуем тебе.

Я не прошу у вас сочувствия. И, думаю, в нем не нуждаюсь. Я хочу одного — честного суда. Мне было сказано, что я измыслил свое путешествие в мир Крота, чтобы завоевать доверие. Какое там доверие! Вот я стою теперь перед вами и, возможно, скоро буду признан виновным. Меня упрекали, говоря, что я все это выдумал ради подкрепления моих прежних домыслов о наших предках. Но можно ли было выдумать тот мир, что я описал?

Мир внутри нашего мира... под нашим миром. Это непредставимо.

Я рассказал вам об ужасе, который объял меня в пещере, и я признался в своем замешательстве. Ранее я полагал, что они молились звездам, сотворенным ими самими, — но они их едва замечали. Я полагал, что они боялись тьмы, которую создало время, — но они наполнили ее источниками света. Я думал, что они исповедовали культ силы и власти, — но они час за часом просто болтали друг с другом обо всяких пустяках. Разве такое могло мне пригрезиться? Когда я заговорил с их душами, сами эти несчастные голосишки стали для меня откровением; они задавали мне вопросы, но я не смел отвечать, боясь вселить в них ужас. Зачем я стал бы измышлять все это? Чтобы горожане встретили меня дружным смехом? Говорю вам: мир, который я видел, — подлинный.

Ты утверждаешь, что они были скованы этим... временем, которое и существовать-то не существовало. Выходит, они отдали себя в рабство понятию, которое сами же изобрели? И ты думаешь, мы этому поверим?

Я...

Ты говоришь, что они не обожествляли своих звезд. Так какого же бога они почитали?

Тут дело не в...

У них не было бога. Люди эпохи Крота верили, что живут в материальном мире. Так?

Так.

И, зная, что материя конечна, они решили не обожествлять время и звезды, а стать покорителями вселенной. Они объявили себя независимыми людьми, будучи между тем рабами инстинкта и внушения. Они провозгласили свободу слова, верований и убеждений, но подлинно свободными никогда не были. Все это мы выводим из твоего рассказа.

Вы говорите о рабском инстинкте, но я увидел энергию и радостное возбуждение. Возможно, вы правы, утверждая, что они стремились покорить окружавший их материальный мир, — но из этого стремления проистекало их ощущение прогресса.

А ощущение священного? Почему они были его лишены?

Они в нем не нуждались! Они верили, что их судьбы — в их руках, и поэтому были воистину свободны. Окиньте теперь взглядом ваши собственные жизни. Они пусты — пусты потому, что вы желаете изгнать из них всякую осмысленность. Вы полагаете, что смысла не существует.

Неверно. Мы знаем, что смысл – это мы сами. Слушание окончено. Пусть об этом возвестят колокола.

40

Мадригал. Ты была на слушании?

Сидония. Разумеется. Очень занятно было! Платон и хранители стояли друг против друга на холмах, а мы сидели промеж них на обоих берегах Флита.

Мадригал. Орнат сказал мне, что слышал голоса хранителей, стоя на мосту. Очень звонкие, сказал, голоса. Очень выразительные. Он слышал и ропот горожан.

Сидония. Некоторые устали. Я принесла с собой лежанку, зная, что это протянется долго. Как сказал один горожанин, мы могли, пока длилось слушание, ненароком вступить в новую эпоху. Сам Платон рассмеялся от этих слов.

Мадригал. Но Платон, конечно же, городит чушь? Ведь нет ни верха, ни низа. Ни внешнего, ни внутреннего. Ничто существующее не укрыто от человеческого взора.

Сидония. Да, вероятно. Но Платон всегда был горазд на неожиданности.

Мадригал. И как, интересно, он смог бы влезть в этот подземный мир Крота, имеющий всего три или четыре измерения?

Сидония. Пришлось бы сплющиться. Почему ты смеешься?

Мадригал. Слыхала, как Искромет забавно рассказывал?

Сидония. Нет.

Мадригал. Он шел к храму, чтобы исцелиться, и встретил Платона. Знаешь, что Платон ему сказал? "Чем стремиться к излечению, Искромет, лучше бы ты исследовал свою болезнь и постарался поумнеть от страдания".

Сидония. Я думаю, Искромет нашел, что на это ответить?

Мадригал. Конечно. Он сказал ему: "Ты, Платон, возможно, считаешь себя умным-преумным человеком. Да, ты всегда таким был — с тех самых пор, как мы познакомились на церемонии наречения имен. Но порой создается впечатление, что ты не знаешь ничегошеньки".

Сидония. А что Платон?

Мадригал. Пустился в пляс.

Сидония. Что?

Мадригал. Пустился в пляс, топоча по земле. А потом ответил как-то по-особенному, нараспев. "Искромет, — пропел он, — твой свет по-прежнему искрится, но видеть ты не видишь. Я умен как раз потому, что ничего не знаю".

Сидония. Вот уж необычайное заявление! И тем не менее, имея дело с Платоном, я уже как-то привыкла к необычайному.

41

Сидония. Я обеспокоена из-за тебя. Кажется, ты потерян для нас.

Платон. Имеет ли это значение?

Сидония. Но ты в своих доводах многое упускаешь. Наш мир мягче, чем ты готов признать. Знаешь, например, что я делаю, когда я одна? Плыву в нежном потоке моих сновидений, и порой мне сопутствуют ангелы.

Платон. Ты им что-нибудь говоришь?

Сидония. Нет. Они шепчут мне, но понять их я не могу.

Платон. Они сопутствуют нам с тех пор, как возник мир, но по-прежнему могут только шептать.

Сидония. Иногда я слышу их в музыке.

Платон. Или в голосах детей.

Сидония. Но почему они здесь?

Платон. Для них нет другого места. И при том они существуют везде. Это я только теперь начал понимать...

Сидония. Я разговаривала с Мадригалом...

Платон. Мадригал очень умен, но, когда дело касается поисков истины, нетерпелив. Он не умеет слушать. Искромет и Орнат такие же. Но в этом нет ничего удивительного. Горожане Ньюгейтского прихода славятся дурным характером[1], жители Сент-Джайлсского — наклонностью к благотворительности[2]. Если так, то жители нашего прихода, возможно, отличаются нетерпением.

Сидония. Нетерпеливые обитатели Пирожного Угла? Интересная теория. Я как раз только что сказала Мадригалу, что от тебя, Платон, только и жди чего-нибудь эдакого.

Платон. Колокол зовет на новое слушание. Надеюсь, что оправдаю твои ожидания.

42

Положись на нашу милость к тебе, Платон. Доверься нам.

Я могу доверяться только моей судьбе. На этом я стою — или падаю, не знаю; как бы то ни было, иначе вести себя я не мог. Мне не легче изменить мою жизнь, чем изменить цвет моих глаз. Они белы, как ваши глаза, и совесть моя тоже бела.

Совесть – это со-весть, совместное ведание, общее знание. Мы – единый город. Он – тело, а мы – его члены. Как можешь ты желать отделения от нас?

Мне было видение, и я должен о нем рассказать. По-другому я поступить не могу.

Ты прекрасно знаешь, что у нас не бывает раздельных видений. Это невозможно. Хуже: это кощунство.

Вы, кажется, полагаете, что я действую в одиночку. Но нет. У меня есть Душа. Это она повела меня в путешествие.

1. Там находилась Ньюгейтская тюрьма, перед которой до середины XIX века публично вешали осужденных.
2. Там расположена церковь Святого Джайлса-в-полях. Святой Джайлс считается покровителем прокаженных, нищих и увечных, и им издавна оказывалась помощь в близлежащих благотворительных заведениях.

43

Платон. Там, в Золотом переулке, я нуждался в тебе. Где ты была?

Душа. Ты нуждаешься во мне всегда. А взамен, согласись, я прошу тебя лишь об очень немногом. Но скажи мне: ты твердо решил идти вперед — в пещеру?

Платон. Вперед? Может быть — назад?

Душа. Это было твое желание — отправиться туда. Я здесь, чтобы сопровождать тебя, а не вести.

Платон. Там может пойти дождь, как в былые дни. Может подуть ветер, выпасть роса.

Душа. Былые дни. Вечно былые дни. Выдержишь ли ты жар их ложного солнца? Сможешь ли жить в их пыли?

Платон. Признаю: я боюсь всего этого. Боюсь их тесной, кипучей жизни. Их слепой потребности в росте и расширении. Тише. Слышишь голоса?

Душа. Я ничего не слышу.

Платон. Я чувствую, что они близко.

Душа. Возможно, ты их и слышал. Но уверен ли ты, что они не внутри тебя?

44

Вновь кощунство. Наши души не разговаривают с нами.

Как вы можете быть в этом уверены?

Наши души не являются нам.

Вы ошибаетесь. После путешествия я уснул, а когда пробудился, она сидела подле меня. Она, помню, пела сама для себя, а потом я открыл глаза.

45

Платон. Долго ли я отсутствовал?

Душа. Трудно сказать.

Платон. Где ты меня нашла?

Душа. Здесь. Среди твоих бумаг.

Платон. Это было тяжкое путешествие. Я словно бы вошел в пещеру и перемещался под нашей землей. Могло ли существовать такое место?

Душа. Раз ты его видел — оно существует.

Платон. Значит, это было не видение? Не греза?

Душа. А ты сам как думаешь?

Платон. Я верю, что это было настоящее.

Душа. А я, в свой черед, верю тебе. Других, конечно, тебе будет не так легко убедить.

Платон. Других?

Душа. Но по крайней мере ты сделал первый шаг. Увидел то, что прежде было невообразимо.

Платон. Как это говорится? У меня открылись глаза. Теперь я примусь потихоньку будить остальных.

46

Так вы отказываетесь поверить, что я спускался в темную пещеру, где жили обитатели древнего Лондона? Горожане, послушайте меня. Прошу вас — послушайте. Может быть, я ошибся. Я чувствовал и верил, что спускаюсь под землю, но, возможно, то была просто ущербность моего воображения. Возможно, они повсюду вокруг нас — просто мы с ними не видим друг друга. Вот вы опять смеетесь. Этим вы доказываете мою правоту. Может быть, мы не хотим их видеть. Или они не хотят видеть нас. Не знаю. Каким-то образом мы оказались разделены. Но я убежден: их мир переплетен с нашим.

47

Твои собственные слова обличают тебя. Признаваясь в сомнениях по поводу своего путешествия, ты ожидаешь при этом, что мы поверим твоим россказням?

Я всегда только и делал, что рассказывал россказни. О том, как наши души впервые вышли на свет в эпоху Орфея, когда божественное человеческое очнулось от сна и объяло нас. О том, как в недобрую эпоху Апостолов мы научились молиться и страдать. Об эпохе Крота я сейчас говорить не буду, а что касается сменившей ее эпохи Чаромудрия, я рассказывал, как с ее приходом мощь человеческая вновь пробудилась и процвела. Мы вглядываемся в эти былые эпохи с великим вниманием. Мы учредили Академию, чья единственная задача — изучать старинные верования. Но в состоянии ли мы исследовать тех, кто жил прежде нас, и судить о них? Может быть, это они нас исследуют?

Ты поистине неподражаем, Платон. Ты меняешь аргументацию на каждом шагу.

Я просто рассуждаю. Я ничего не утверждаю. Я всегда полагал, что рассуждение не приносит вреда.

Наше мнение на этот счет может отличаться от твоего.

Значит, все-таки меня судят за то, что я думаю иначе, чем вы? Тогда, право же, наша эпоха не лучше, чем любая из прежних.

Вот опять ты погружаешься в обманчивые грезы.

Приходило ли вам на ум, что жизнь каждого из нас — своего рода греза и что пришла пора очнуться? Может быть, мы — греза людей эпохи Крота? Может быть, они — наша греза? Может быть, божественное человеческое еще не пробудилось и все минувшие эпохи вплетены в ткань его сновидений?

Глупость за глупостью, Платон. Довольно. Мы знаем, что существуем. Мы знаем нашу историю. Мы – не выдумка, не плод чьего-либо воображения.

Прошу прощения. Насколько я знаю, городской обычай разрешает обвиняемому высказываться в свою защиту свободно и открыто. Если мне будет позволено рассказать горожанам все, что возникало в моих

мыслях и воображении после путешествия, тогда, возможно, они отвергнут выдвинутые против меня обвинения в обмане.

Хорошо. Они сигнализируют о согласии. Тебе позволено. Продолжай.

48

Искромет. Для такой хилой фигуры голосина у него могучий.

Орнат. Нет. Не могучий. Пронзительный. Почему-то всегда чувствуешь себя обязанным слушать. Его вечно распирало от мыслей. Помнится, когда мы еще были детьми, он рассуждал про ламбетских ягнят. Повторить, что он говорил, я сейчас не смогу — забыл начисто. Припоминаю только маленькую страдальческую физиономию да пронзительный голос.

Искромет. Смотри. Поддергивает рукава балахона.

Орнат. Он всегда был ему велик.

Искромет. Рассказывал я, как мы с ним встретились перед моим исцелением?

Орнат. Конечно. Ты рассказывал всем подряд.

Искромет. Извини. А видишь, как он вскидывает руки, когда говорит? Опять описывает старый город...

Орнат. Который ему пригрезился.

Искромет. Ты уверен? Он описывает его купола, высокие здания, широкие улицы. Там было ночное небо, звезды. Было солнце, из-за которого на землю ложились тени.

Орнат. Сейчас он заявит, что эти тени были душами.

Искромет. Напрасно ты так отмахиваешься от его рассказа, Орнат. Что, если все это на самом деле?

Орнат. На самом или не на самом — какая разница? Одной эпохи с меня хватит.

Искромет. Выходит, невежество для тебя предпочтительней?

Орнат. Лучше невежество, чем сомнение.

Искромет. И все же Платон начал то, что никогда не окончится...

Орнат. Именно поэтому я осуждаю его. Он посеял среди нас неуверенность.

Искромет. "Сомненье — это затменье света". Кто так сказал, не помнишь?

Орнат. Давай лучше не будем в это вдаваться. Что Платон сейчас делает?

Искромет. Рисует на земле некий знак или букву.

Орнат. Экая нелепость. Кто отсюда увидит?

Искромет. Помолчи, Орнат, прошу тебя. Тогда мы сможем его услышать. Глянь-ка. Даже ангелы заинтересовались. Кончики их крыльев изменили цвет.

Люди эпохи Крота не знали, почему они верят в науку. Они знали только, что не верить – нелепо. И их наука работала в их измерениях! Они могли быстро перемещаться из одной точки в другую, сообщаться друг с другом издалека и видеть друг друга, находясь в разных частях земли.

Орнат. Три глупейших занятия, какие только можно вообразить.

Искромет. Тише.

Наука сотворила для них грандиозную действительность. Она создала планеты, звезды, лекарства. Можем ли мы считать их примитивными, первобытными людьми?

Орнат. Конечно. Еще бы.

Искромет. Он говорит с великой убежденностью.

Помните, что сказал мне на первом слушании один из хранителей? "Мы не желаем возводить ни монументов, ни памятников, ибо, в отличие от тех, кто жил до нас, хотим изгладиться. Всем предметам суждено распасться, исчезнуть, поэтому мы предпочитаем не создавать их". Вспоминаете эти слова? А я скажу вам вот что. Нас приводят в изумление наши предки и их заблуждения, но столь же глупыми можем показаться потомкам мы сами. В отдаленных деревнях молота и кузнеца[1]*, как вы знаете, обитают люди, которые считают себя уже умершими. Они не едят и не пьют, однако проживают положенный им срок. Позволено ли мне будет высказать пророчество? Если мы не согласимся признать присутствие иных реальностей вокруг нас, мы уподобимся им – станем мертвецами при жизни.*

Орнат. Безумие и безумие. Неужели он сам верит тому, что говорит?

Искромет. Некоторые горожане выказывают нетерпение — видишь?

Орнат. Нетерпение и замешательство.

Искромет. Дело идет к концу. Следующее слушание, по обычаю, будет последним.

Орнат. Я очень этому рад.

49

Наш город велик и древен, и ритуалы его священны. Горожане соберутся у различных его ворот, сообразно своим приходам, и там выдвинутые против тебя обвинения будут повторно оглашены. Затем горожане уснут и, пробудившись, уже будут знать, в каком состоянии – вины или невиновности – ты находишься. Дух города будет руководить ими. В случае вины ты, конечно, должен будешь вынести себе приговор, какой сочтешь справедливым. Мы в этом не принимаем участия.

А если я решу остаться оратором и продолжать выступления?

Это твое право. Но после суда, а не прежде, и этого для нас достаточно. Город уже не будет прежним городом, и ты уже не будешь прежним человеком. Теперь, с твоего позволения, мы хотели бы завершить разбирательство.

Мне, насколько я знаю, разрешается произнести последнее слово.

Если желаешь – говори.

1. Хаммерсмит (молот и кузнец) — район в западном Лондоне.

Вердикт горожан

50

Горожане, живущие у ворот епископа! Вы слышали, как Платон защищал себя и как спорил с ораторами. Он сильно говорил, ничего не скажешь! Но был подвергнут суровой критике за крайности, в которые впал. Так или иначе, арбитрами в этих великих прениях станете вы: ваш вердикт будет окончательным. После общей трапезы вы уснете и, пробудившись, будете знать правду.

51

Сидония. Кажется, я пропустила последнее заявление Платона. Интересно было?

Мадригал. Да, очень. Мне вспомнилась наша учеба в Академии. Было много вопросов, выкриков. Хочешь, я попробую...

Сидония. Если тебе не трудно.

Мадригал. Платон вот что сказал:

Позвольте спросить вас: можем ли мы притязать на понимание чего-либо? Задайте этот вопрос любому из горожан, и вы не получите внятного ответа. И тем не менее мы критикуем минувшие эпохи за нелепость их верований! Простите – я вновь ошибся. Есть кое-что, в чем мы уверены. Мы знаем, что до некоторых пор должны мириться с бременем лишних, вредных измерений и что впоследствии они отомрут. В каждом приходе есть горевальня, где мы можем изливать наши тревоги и сокрушения, не опасаясь, что нас увидят. Скажите мне: разве это жизнь? Мне уже трудно мириться с нашим терпением, с нашим бесконечным отправлением обрядов и следованием обычаям, с нашим ожиданием. Некоторые из нас старятся и вянут. Я помню, как моя мать начала удаляться и под конец стала едва видимой даже для меня. Что здесь прекрасного? Что здесь, выражаясь словами хранителей, такого, чему до́лжно быть? Я не утверждаю, что все плохо, и не утверждаю, что все хорошо. Я просто призываю вас ставить вопросы и пытаться порой взглянуть на мир по-другому. После путешествия со мной произошло именно это. Я лишился всего, в чем был уверен, и ощутил физический страх. Но, как видите, выжил. Я хочу, чтобы вы рассматривали иные возможности. В этом, по крайней мере, мы можем получить преимущество по сравнению с теми, кто жил прежде нас. Я был вашим оратором. Могу ли я дать вам последнее наставление? Я знаю, что эпоха Крота и другие минувшие эпохи отказывались видеть и понимать какую-либо действительность, кроме своей. Именно поэтому они погибли. Если мы не научимся сомневаться, возможно, и наша эпоха умрет. Вот вы опять надо мной смеетесь. Может быть, я для того сделался смешным дураком, чтобы вы поумнели. Что там кричат? Что я выпал из гармонии? Да я никогда к ней не принадлежал! Помните, в школе нас учили, что кто красив, тот и добродетелен? Ну так вы же видите: меня нельзя считать образцом телесной красоты. Моя фигура не вписывается в узор божественной гармонии. Поэтому я понял, что должен искать собственный путь. Вы говорите, что я тем самым уклонился от верной дороги; но позвольте мне обнародовать мой личный закон гармонии. Я скорее готов пре-

зирать весь мир, чем выпасть из гармонии с самим собой. Если другие меня осудят – что ж, останусь один.

И это все, Сидония, что я могу припомнить.

52

Можешь сидеть или стоять, Платон, как хочешь. Выслушай вердикт Лондона. Горожане постановили, что ты не виновен ни в каких покушениях на развращение детей. Они также пришли к выводу, что ты в своих показаниях не лгал и не изворачивался. Они полагают, что ты пострадал от некой лихорадочной грезы или галлюцинации, когда лежал среди своих бумаг. Вот и все. Маска оратора будет тебе возвращена.

Нет. Погодите. Ведь обычай требует, чтобы я теперь вынес себе приговор.

Никакого приговора не будет. Обвинение с тебя снято. Город оправдал тебя, и говорить больше не о чем.

Я понял. *Мне* говорить больше не о чем — вот что это означает. Меня не осудили как лжеца или самозванца, но сочли фантазером, заблуждающимся визионером, который не заслуживает внимания. Все, что я сказал и сделал, объяснено моими обморочными иллюзиями. Поэтому я выношу себе приговор. Я не могу существовать в мире, который будет пренебрегать мной, смеяться надо мной — или, еще хуже, жалеть меня. Я приговариваю себя к вечному изгнанию. Я хочу, чтобы меня препроводили за городские стены с тем, чтобы я навсегда покинул Лондон.

Это безумие.

Но разве я не был только что признан дураком и безумцем? Чего вы могли от меня ожидать, как не новой дури? По крайней мере, вы от меня избавитесь.

Мы не имеем более полномочий в этом деле, Платон. Наша коллегия распущена.

53

Платон. Итак, тебя избрали, чтобы препроводить меня за стены города.

Сидония. Увы, да. Мы из одного прихода, и в Академии я сидела рядом с тобой. Более тесных уз и быть не может. Должна сказать, что никому из нас, Платон, не хочется видеть, как ты будешь уходить.

Платон. Я буду странствовать ногами и мыслями. Возможно, я вновь найду прежний мир. Возможно, где-нибудь вдалеке есть пещера или порог.

Сидония. Это одно из предположений, которые ты высказал на суде.

Платон. Веришь ли ты мне, Сидония? Это, возможно, глупо с моей стороны, но, если бы я знал, что подруга детства принимает рассказ о моем путешествии за истину, это было бы для меня утешительно.

Сидония. А ты уверен, что и в самом деле совершил это путешествие?

Платон. В чем я уверен, а в чем нет — больше не имеет значения.

Сидония. Ты сомневаешься сам и распространяешь сомнение.

Платон. Наши предки, Сидония, считали, что первыми жителями Лондона были великаны. Ходили рассказы о том, как они изваяли большие холмы и долины, среди которых возник город. Но что, если это не история, а пророчество? Что, если великаны, о которых думали предки, — это мы?

Сидония. Ты вновь смущаешь меня.

Платон. Тогда лучше, чтобы я ушел и перестал докучать тебе.

Сидония. Ты когда-нибудь вернешься?

Платон. Кому это ведомо?

Сидония. Ты знаешь, Платон, что мне будет тебя не хватать.

Платон. Думай обо мне так, словно я тебе пригрезился. Тогда получится, что я никогда не покидал тебя.

54

Искромет. Смотри. Вон он идет. Видишь, сколько детей сопровождает его вниз по холму Луда? Можно подумать, он покидает город победителем. Иные даже дают ему разные памятки, чтобы он забрал их с собой за городские стены. Дочь Орната обнимает его. Но Платон глядит прямо перед собой, как будто уже всматривается в свою судьбу. Да, именно так. Наш мир уже мертв для него. Он не хочет оборачиваться, чтобы решимость его не уменьшилась.

Мадригал. Вон судно, на котором он отправится вниз по Флиту. Сидония сидит на носу. Несчастливое плавание для нее! Он вступает на борт — слышишь, как дети поют на берегах реки? Видишь, как ярко белеют на фоне воды паруса? Платон поднимает руки в знак прощания. Но я кое-что примечаю, Искромет. Почему ангелы держатся поодаль?

55

Платон покинул город, и его никогда больше не видели. Многие утверждают, что он посещал другие города, где произносил свои речи. Некоторые убеждены, что под землей действительно есть пещера и что Платон вернулся в нее, к людям эпохи Крота, без их ведома и незримо для них. Сидония и Орнат полагают, что он просто вступил в новую грезу.

Яцек Подсядло

Стихи

Перевод с польского Дмитрия Веденяпина

От редакции

В Польше существует учрежденная нобелевским лауреатом Чеславом Милошем литературная премия, которая в прошлом году была поделена между двумя молодыми (ни тому ни другому нет еще и сорока) поэтами: Яцеком Подсядло и Юзефом Марцинкевичем. Обосновывая свой выбор, Милош объявил, что премия присуждается не за отдельные сборники и не за творчество в целом ("рано еще"), а за искренность и самобытность.

Мы знакомим читателя "ИЛ" с одним из награжденных — Яцеком Подсядло. Он — автор чуть ли не двух десятков поэтических сборников; в "Словаре польской литературы, рожденной после 1960 года" назван "культовым поэтом"; в жизни занимался разными вещами: бродил по свету, работал на стройках, на металлургическом заводе, на радио; живет в провинции; в 80-е годы был участником оппозиционного пацифистски-экологического движения "Свобода и мир" и публиковаться начал еще в "самиздате". В одной из своих статей о поэзии "Отказ в соучастии" (чье название стало лозунгом целого поколения молодых поэтов) Подсядло излагает свое кредо: "Писание стихов — это отчаянная попытка переворота, попытка доказать миру, что он другой, с помощью такого жалкого оружия, как язык"; впрочем, в последние годы бунтарские мотивы в творчестве поэта уступают место прославлению жизни в согласии с природой. Жизнь Яцека Подсядло — неустанный писательский труд, все его стихи — нечто вроде интимного дневника, который он ведет постоянно, изо дня в день и который представляет нам образ не только автора, но и того, что его окружает.

© by Jacek Podsiadło, 1998, 1999
© Д. Веденяпин. Перевод, 2001

Завтрак

Совместная жизнь явно не клеится.
Этот завтрак может оказаться прощальным.
Дело в том, что я купил мышеловку, и вот
мы едим сыр:
я — с тарелки, она — с проволочки,
детали нехитрого, но потрясающе эффективного механизма.
Стараясь не дышать, дрожащими пальцами
беру стакан с апельсиновым соком.
Мир в любую секунду может взорваться.

Близкие

Опубликовать стихотворение, спасти какой-нибудь народ —
все это прекрасно.
Но по-настоящему ценно другое:
то, что ты хотя бы раз не зашелся от злости
или сохранил ничтожную жизнь паука...
В общем, то, как ты повел себя
с близкими.

Пузырьки воздуха

"Дедушка Метек! Дедушка Метек!" — крик Давида
ввинчивается в меня, как штопор. Мой "папочка"
вздрагивает. Еще вчера, глядя с улицы в его освещенное окно,
я заметил, как здорово он постарел.
Водрузив на нос очки, он что-то сосредоточенно писал,
как настоящий ученый. Оказывается, это были кроссворды.
Его комната не меняется: на столе все та же пепельница;
приемничек;
молитвенник; циркуль, насаженный на дешевую авторучку;
ватманский лист ("задумки", по-прежнему "задумки");
баночка с чесноком и лимоном от астмы
и ватерпас с двумя пузырьками воздуха, которым он
развлекает Давида. "Мой отец умер в шестьдесят четыре года,
а мне уже шестьдесят шесть, — улыбается он, — но курить
надо бросать, это точно". В его голосе всегдашняя твердость,
и, судя по жесту, он полагает, что поднял вверх
давно отрезанный указательный палец. И вдруг
до меня доносится чудесное минорное двузвучие,
отзывающееся в каждом уголке захламленной памяти,

затем еще и еще раз — долгих одиннадцать ударов.
"Спешат на час десять, — сообщает отец, —
придется поменять пружину".
"Ты их починил?" — "Да, вот как-то снял с чердака
и поковырялся от нечего делать".
Может, я ошибаюсь, но, похоже, он горд.
Починил часы.
Исправил мир.

Vanitas; et omnia vanitas[1]

Покачивая ногой колыбельку Давида, нашариваю авторучку,
чтобы записывать смерть: первой была Мурка,
которую сбила машина; потом Мини, пропавшая так внезапно,
словно ее похитили арабские террористы; несколько дней
назад —
жалобно мяукая до последнего — от непрекращающегося
поноса
скончался Косьма, не помогли ни капельница, ни поцелуи.
И вот
пришла весть, что на мотоцикле в погоне за ветром
разбилась Мэрилу, хотя еще недавно
я наткнулся в ванной на ее беззаконный волос.
Теперь эти волосы пропадают
во французской земле, разлагается юное тело.
Мой трехмесячный сын строит рожицы
и хитренько-хитренько улыбается.
Он что-то знает. А что, если и он террорист?

Девятое стихотворение против государства

Распутаны все узелки на шнурках,
все лабиринты в детских журналах,
все мои "проблемы". "Папа, вставай!",
"Подойди ко мне!", "Расскажи про Бродяжку!"
В ясном небе твоих приказов нет места сомнениям,
воздух чист до самого горизонта.
Значит, так. Однажды Бродяжка
проснулся не в своей лесной норке, а на большом,
залитом солнцем лугу, в расписной люльке.
Потянулся и зевнул.
Что за история! Никто никого не похищает, никто никого
не бомбит. Шварценегерам и вандаммам тут делать нечего.
Молоко, мед, белизна, робкая желтизна, пастельная кровь

1. Суета; и все — суета (*лат.*).

мелких царапин. Бабочки и ангелочки. А ночью летучие мыши,
бесшумные штурманы спящих. "Считание слонов" в сто раз
лучше
"Молчания ягнят". Мерный ритм твоего дыхания
собирает разбежавшиеся крупинки мыслей, песок и мак.
Лунный свет проникает сквозь вуаль занавески. Не забывай —
когда я уйду — о ее регулярном узоре.
Ты вправе устроить жизнь как свою комнату. Только помни,
что яд
чаще всего прячут в сладостях.

Торо: отрешись от забот, встань на заре и пощи приключений

Языком и губами, такими неловкими, когда требуется что-то
сказать,
умело бужу ритмы, скрытые в ней, как музыка в инструменте.
Охотничьим ножом располовиниваю мыло по причине
разницы полов —
в здешнем кемпинге раздельные душевые.
Пинаю дверь, за которой притаился некто, швырявший в нас
яйцами из окна;
снаряды прошли мимо, но он все равно трепещет теперь —
поскольку в глазке у меня наверняка устрашающий вид.
Перебравшись по дырявому мосту через Пасленку, ставим
палатку
на пятачке, приглянувшемся нам еще из окна поезда.
Миновав старый прусский замок, спускаемся по крутому
склону Валши,
очарованные друг другом, но спокойные и свободные от клятв.
Мы сейчас вместе и чувствуем это даже, стоя перед вольером
собаки динго,
в зоопарке, куда зачем-то пробрались без билета и особой
охоты.
Прикрученные к вещмешкам солдаты маршируют по главной
улице Бранева,
косясь на нас с нескрываемой завистью.
Ничего, они еще возьмут свое: насилуя и сжигая.

Повзрослевшие мальчики

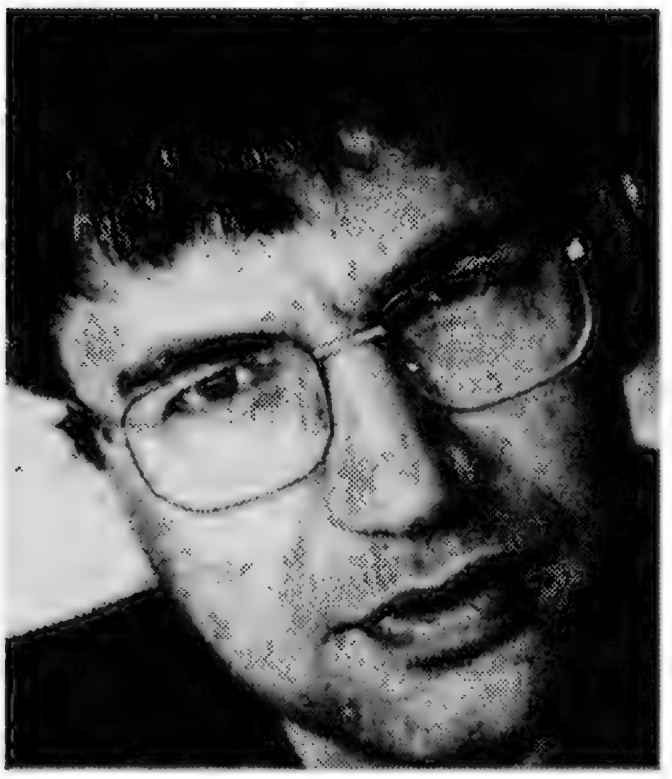
Когда в красно-зеленой шеренге я выхожу на футбольное поле,
мне снова пятнадцать. Впрочем, лысины и животики
не оставляют места иллюзиям — это матч старичков.
Судья близорук, игроки злятся, то и дело орут друг на друга.
Ил-лю-зи-и! В раздевалке, навсегда провонявшей потом,

нескольких поколений победителей и побежденных,
друзья предаются воспоминаниям. Я разглядываю выбитый
палец,
и вдруг вместе с волной боли на меня накатывает волна
понимания,
пронзает знакомая судорога. Мне хочется, чтобы ты была
рядом
и тоже видела этих "спортсменов", ковыляющих в душевую,
и чтобы после мы побрели куда глаза глядят,
мимо трав и тысячелетних камней, молча
или болтая о пустяках, самых пустяшных пустяках на свете.

Однажды некто...

Однажды некто, проснувшись от раннего звонка в дверь,
после ночи, проведенной в трудах праведных или не очень –
это не важно, – на ватных ногах потащится открывать
и получит посылку, не уместившуюся в почтовом ящике
(думаю, что почтовые ящики и звонки сохранятся), –
тысячестраничную "Антологию польской поэзии".
Готовя, в зависимости от материального положения,
pot-pourri из frutti di mare или гороховый суп из пакетика,
он случайно (на что еще остается надеяться
в ненадежной стране будущего?) раскроет книгу
именно на моем стихотворении.
Пять секунд задумчивости и слабость в руке,
машинально выписывающей ложкой круги в посудине...
"Читатель", неведомый мой,
единственное мое оправдание,
единственный
всей этой писанины,
с позволения сказать,
смысл.

Орхан Памук



Меня зовут Красный

Роман

Перевод с турецкого Веры Феоновой

Посвящается Рюйе

И вот вы убили душу и препирались о ней.
Коран, сура "Корова", аят[1] *72*

Не сравнится слепой и зрячий.
Коран, сура "Ангелы", аят 19

Аллаху принадлежит и восток, и запад.
Коран, сура "Корова", аят 115

Я – мертвый

Я – мертвый, я – труп на дне колодца. Я давно перестал дышать, у меня остановилось сердце, но никто – кроме подлого убийцы – не знает, что со мной произошло. Этот негодяй, желая убедиться, что я мертв, слушал мое дыхание, щупал пульс, а потом пнул ногой в бок, отнес к колодцу и сбросил в него. Мой череп при падении треснул, лицо расплющилось, кости переломались, рот наполнился кровью.

© Iletişim Jayincilik A. S. 1998
© В. Феонова. Перевод, 2001
Журнальный вариант. Полностью роман будет опубликован в издательстве "Амфора".
1. Стих Корана. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я ушел из дома четыре дня назад: жена и дети, наверное, ждут меня, а дочь все глаза проплакала, глядя на калитку.

А может, не ждут? Может, смирились с тем, что меня нет? Это было бы плохо. Что такое жизнь? Она существовала очень долгое время до моего рождения и после моей смерти будет длиться бесконечно! Пока я был жив, я никогда не думал об этом; просто жил от рассвета до заката, пока не становилось темно.

Пожалуй, я был счастлив, да, похоже, был счастлив; это я теперь понимаю: ведь я делал лучшие заставки, в мастерской нашего падишаха нет художника, который хотя бы приближался ко мне по мастерству. И на стороне я подрабатывал в месяц по девятьсот акча[1]. Такое благополучие заставляет еще больше пожалеть о моей смерти.

В мастерской я рисовал заставки и покрывал их позолотой; а еще я раскрашивал листья, ветки, розы, другие цветы, птиц, кудрявые облака в китайском стиле, переплетающийся кустарник и притаившихся в нем газелей, а также галеры, падишахов, деревья, дворцы, охотников. Прежде я иногда расписывал тарелки, рамы для зеркал, ложки, потолки в виллах на Босфоре, сундуки. Но в последнее время занимался только книгой, потому что наш падишах щедро платил за эту работу. Не могу сказать, что, встретившись со смертью, я осознал ничтожное место денег в жизни. Человек, даже если он умер, понимает, как важны деньги для живых.

Догадываюсь, о чем вы думаете, если слышите сейчас мой голос: да брось ты считать, сколько зарабатывал. Лучше расскажи, что увидел там? Что происходит после смерти, где твоя душа, каковы рай и ад? Что такое смерть, страдает ли твоя душа? Вы правы. Я знаю: всем интересно — что там, в ином мире? Когда-то я слышал рассказ о человеке, который из любопытства отправлялся на поле битвы и расхаживал там между трупами. Он надеялся встретить кого-нибудь, ожившего после гибели, чтобы узнать от него тайны иного мира. Воины Тимура приняли этого человека за врага и рассекли надвое саблей; он решил, что в ином мире человек делится на две половины.

Но ничего такого нет. Напротив, раздвоенные на земле, здесь души воссоединяются. Вопреки утверждениям гяуров[2], безбожников и соблазненных сатаной богохульников, иной мир, слава Всевышнему, существует. Подтверждение тому — мое обращение к вам оттуда. Я умер, но, как видите, не исчез. Хотя должен сказать, что я не встретил здесь упомянутых в Коране серебряных райских дворцов, не увидел деревьев с большими листьями и спелыми плодами и прекрасных девственниц. Помню, как часто и с каким удовольствием я рисовал гурий с большими глазами, изображая происходящее в раю. Не встретил я и четырех рек из молока, вина, сладкой воды и меда, описанных если не в Коране, то вечными мечтателями, такими, как Ибн аль-Араби[3].

Короче: я, всем известный художник Зариф-эфенди, умер, но не был похоронен. Поэтому моя душа все еще со мной. Чтобы она могла приблизиться к раю или аду — куда уж предназначено, она должна вырваться из моего бренного тела.

1. Старинная мелкая монета.
2. Гяур — презрительное название иноверцев у мусульман.
3. Ибн аль-Араби (1165—1240) — арабский поэт и философ.

Пусть поскорее обнаружат мой труп, совершат намаз и наконец похоронят меня! Но еще важнее: пусть найдут моего убийцу! Хочу, чтобы вы знали: даже если меня похоронят на самом пышном кладбище, пока не найдут убийцу, я буду беспокойно ворочаться в могиле. Найдите это чудовище, и тогда я буду рассказывать вам подробно обо всем, что увижу в загробном мире.

Выясните, кто и почему вдруг убил меня так? Вы скажете: в мире полно подлых убийц, и какая разница, раз я мертв. Но дело в том, что за моей смертью кроется опасная угроза для нашей религии, традиций, образа мысли. Вы верите в ислам. Так подумайте, почему враги ислама убили меня? Докопайтесь до истины, ведь они могут убить и вас. Сбывается все, о чем говорил проповедник Нусрет Ходжа из Эрзурума[1], слова которого я слушал со слезами на глазах. И еще хочу сказать: если будет написана книга обо всем, что происходит с нами, никогда ни один даже самый талантливый художник не сумеет ее проиллюстрировать. Так же как — только не поймите меня неправильно! — Коран. Великая сила такой книги будет исходить из этой невозможности нарисовать к ней картинки. Хотя сомневаюсь, что вы сумеете это понять.

Меня зовут Кара[2]

После двенадцати лет странствий я вернулся в Стамбул, город, где родился и вырос. Говорят, мертвых призывает земля, меня же призвала смерть. Я направлялся в город, думая только о смерти, но встретился с любовью. Когда я приехал в Стамбул, любовь казалась такой же далекой и забытой, как мои воспоминания о городе. Двенадцать лет назад в Стамбуле я влюбился в девочку, дочку моей тети.

Года через четыре после того, как я, покинув Стамбул, собирал налоги, доставлял письма, бродя по нескончаемым степям, заснеженным горам и невеселым городам страны персов, я понял, что начинаю забывать лицо любимой девочки, оставшейся в Стамбуле. Я силился вспомнить его, но в конце концов смирился: сколько бы ты ни любил, лицо, которое не видишь, постепенно забывается. Когда через двенадцать лет, уже в тридцать шесть, я вернулся в свой город, я понимал, что любимое лицо забыто окончательно.

Из письма мужа тети, полученного мною в Тебризе[3], я узнал некоторые новости о родственниках. Дядя звал меня в Стамбул, он написал, что готовит тайную книгу для нашего падишаха и ему нужна моя помощь. Он слышал, что в Тебризе я занимался изготовлением книг для османских пашей, губернаторов и других заказчиков из Стамбула. Действительно, я принимал заказы, сразу брал с заказчиков деньги, разыскивал известных мастеров, каллиграфов и иллюстраторов, которые не смогли уйти в Казвин[4] или другие персидские города и страдали

1. Эрзурум — город в Турции.
2. Имя не склоняется.
3. Тебриз — город в Иране.
4. Казвин — город в Иране.

от войны, османских солдат, безденежья и одиночества; они писали тексты, иллюстрировали, переплетали книги, и я отсылал их в Стамбул. Если бы когда-то муж тети не привил мне любовь к красивой книге, я ни за что не стал бы заниматься этим делом.

Некоторые кварталы и улицы, по которым я ходил в юности, за двенадцать лет превратились в пустыри, где бегали стаи бродячих собак, но, с другой стороны, в городе были построены богатые дома, поражавшие роскошью приехавших издалека, таких, как я: в окнах — дорогие цветные венецианские стекла, а эркеры вторых этажей выступают над высокими оградами.

В Стамбуле, как, впрочем, и в других городах, деньги теперь ничего не стоили. Когда я отправлялся на Восток, в пекарне за одну акча давали огромный хлеб в четыреста дирхемов[1], сейчас за эти деньги можно было получить половину хлеба, вкус которого к тому же не имел ничего общего с тем хлебом, который я ел в детстве.

В это время разврата, дороговизны, преступности, разбоев прославился проповедник по имени Нусрет, объявивший, что он принадлежит к роду пророка Мухаммеда; он читал проповеди в мечети Баязида[2]. Этот проповедник из Эрзурума объяснял все беды, свалившиеся на Стамбул за последние десять лет: городские пожары, смерть десятков тысяч людей при каждой эпидемии чумы, не приносящие побед войны с сефевидами[3], бунты христиан на Западе, — тем, что мусульмане свернули с пути пророка Мухаммеда, отошли от заповедей Корана, что христиане свободно продают вино, а дервиши играют в обителях на музыкальных инструментах.

После вечернего азана[4] я зашел в кофейню. Здесь было многолюдно и тепло. Рядом с очагом на возвышении сидел рассказчик, я видел подобных в Тебризе и других персидских городах, только называют их там не меддахами, а пэрдэдарами; меддах повесил рисунок собаки, выполненный на грубой бумаге, и, время от времени указывая на стену, повел рассказ от имени собаки.

Я — собака

Я — собака. Не обладая равным мне умом, вы считаете, что собака не может разговаривать. Между тем вы верите, что могут разговаривать мертвые, верите в рассказы, смысла которых не понимаете. Знайте же: собака говорит, но лишь с теми, кто умеет слушать.

Давным-давно, в незапамятные времена, в одну из самых больших мечетей одной столицы — предположим, она называлась мечеть Баязида — пришел из провинциального города начинающий проповедник. Возможно, он не скрывал своего имени, например сказал, что его зовут Хусрет Ходжа. Он был лживый и тупоголовый, этот проповедник. Он был силен не столько умом, сколько языком, да простит меня Господь! Каждую пятницу проповедник приводил собравшихся в

1. Дирхем — мера веса, равная 3,12 г.
2. Баязид (Молниеносный) (1354 или 1360–1403) — турецкий султан.
3. Сефевиды — династия шахов Ирана (1502–1736).
4. Азан — призыв к молитве у мусульман.

мечети в такой экстаз, что люди рыдали и падали в обморок. Сам он никогда не рыдал, напротив, рыдания толпы вдохновляли его на еще более сильные обличения. Видимо, из любви к его обличениям торговцы овощами, султанская гвардия, повара, простые горожане и даже многие проповедники, такие же, как он, стали рабами этого человека. Ему нравилось обожание толпы; он быстро понял, что заставить плакать, а то и напугать верующих — легкое и к тому же весьма приятное занятие, да и заработать можно неплохо. Он громогласно вещал в мечети:

— Мы забыли ислам времени Великого Пророка и верим лжи, мы полюбили чужие книги, называем их мусульманскими. Отсюда — дороговизна, чума, поражения. Разве во времена Пророка Мухаммеда читали молитвы по умершим? Разве отмечали сорок дней со дня смерти, раздавали сладости, чтобы помянуть душу усопшего? Разве читали Коран, как песню, на разные тона? Разве, поднявшись на минарет, читали азан, любуясь своим голосом и похваляясь арабским языком? Мусульмане идут на кладбища просить помощи у мертвых, в мавзолеях поклоняются камням, как идолопоклонники, привязывают тряпицы, загадывая желания, дают клятвы. Разве во времена Пророка Мухаммеда были секты, обучающие такому? Известно, что члены некоторых исламских орденов читают Коран, собравшись вместе, в сопровождении музыкальных инструментов танцуют. Да они просто неверные. Надо разрушить их обители, а землю, на которой они стояли, выбросить в море; только тогда в тех местах можно будет совершать намаз, — Хусрет Ходжа входил в раж и брызгал слюной. — Эй, мусульмане, пить кофе — грех. Великий Пророк сказал, что кофе усыпляет разум, портит желудок, он вызывает грыжу в позвоночнике и бесплодие. Кофе — это искушение дьявола. Кофейни, — продолжал Хусрет Ходжа, — это места, где собираются любители повеселиться, богачи, привыкшие к роскоши, они занимаются там всяким бесстыдством. Кофейни следует закрыть даже раньше обителей. Разве у бедняков есть деньги на кофе? Люди пьют кофе, перестают понимать реальность и начинают верить в говорящую собаку; а презренная собака хулит меня и нашу религию.

Мне бы хотелось ответить на последние слова проповедника-эфенди.

Напомню вам одну из самых прекрасных сур Корана, суру "Пещера". В восемнадцатом аяте этой суры, говорящей о любви человека к Аллаху, о чудесах, творимых Аллахом, о мимолетности времени, о сладости глубокого сна, упоминается собака, лежащая у входа в знаменитую пещеру, где спят семь юношей. Любой вправе гордиться упоминанием о нем в Коране. Я как собака горжусь этой сурой и надеюсь, что Аллах вразумит эрзурумцев, называющих врагов бесхвостыми собаками.

А теперь послушайте историю: однажды венецианский дож прислал в подарок дочери нашего сиятельного падишаха китайский шелк, китайские кувшины, расписанные голубыми цветами, а еще знаете что? Маленькую, капризную европейскую собачку с нежной, мягче соболиной, шерстью.

Знаете ли вы, что в европейских странах у каждой собаки есть хозяин? На шеях этих собак ошейники, даже самые бедные люди прогуливают своих собак, таща их на цепи. Несчастных собак держат дома,

говорят, их даже в постель берут. Собаки не могут ни обнюхаться, ни познакомиться с другими собаками, они даже не могут ходить парами. Когда, гуляя с хозяевами, они встречают другую собаку, то лишь провожают ее грустным взглядом. Гяуры и представить себе не могут, что собаки свободно бродят стаями по улицам Стамбула, что у нас нет хозяев и что мы бегаем, где хотим, в любом месте справляем нужду, кусаем, кого хотим, греемся на солнышке или сладко спим, выбрав подходящее тенистое место.

Меня назовут убийцей

Если бы до того, как я убил этого жалкого труса, мне сказали, что я могу загубить живую душу, то я ни за что не поверил бы. Я живу теперь словно в тумане. Содеянное удаляется от меня наподобие заморского галеона, уходящего за горизонт. Иногда мне кажется, что я не совершал никакого преступления.

Мне очень не хотелось убивать Зарифа, но я понял, что другого пути нет. И взял на себя всю ответственность. Я не позволил подвергать опасности весь цех художников из-за клеветы одного неразумного.

Но все же трудно привыкнуть к мысли, что ты убийца. Мне не сидится дома, я в тревоге мечусь по улицам, смотрю на лица прохожих и вижу, что большинство людей считают себя невинными. На самом деле они просто не попадали в такое положение, когда были бы вынуждены совершить убийство. После того как я убил того несчастного, мне хватило четырех дней хождения по улицам Стамбула, чтобы понять: каждый, у кого в глазах я видел свет ума, а на лице тень душевных страданий, по сути своей — убийца. Невинны только дураки.

Сегодня вечером, например, когда я согревался горячим кофе в кофейне за рынком Эсир и, глядя на рисунок собаки, смеялся вместе со всеми над тем, что рассказывает собака, я почувствовал, что сидящий рядом со мной тип — такой же убийца, как и я. Он, как и я, смеялся над рассказом меддаха, рука его мирно лежала рядом с моей, но пальцы, держащие кофейную чашечку, беспокойно подрагивали, и я понял, что он моей породы. Резко повернувшись, я посмотрел ему прямо в лицо. Он смутился, испугался. Когда стали расходиться, какой-то знакомый взял его под руку:

— Уж теперь-то почитатели Нусрета Ходжи разгромят кофейню.

Но тот взглядом прервал его. Их страх передался и мне. Никто никому не доверяет, каждый ждет подлости от другого в любой момент.

Когда во время прогулок я встречаюсь взглядом с прохожими, мне в голову приходит странная мысль: если я подумаю сейчас, что я — убийца, человек прочтет это на моем лице.

И тогда я перестану быть безымянным призраком, бродящим среди вас, и превращусь в обыкновенного преступника, конкретного человека, который способен обрушить камень на голову себе подобного. Так что позвольте мне не думать о содеянном: пусть умные люди вычислят меня по моим разговорам и рисункам, как они находят воров по следам. Тогда-то мы и получим ответ на очень часто задаваемый сейчас вопрос:

должен ли быть и есть ли у каждого художника собственный, присущий только ему стиль?

Возьмем великого мастера, короля художников Бехзада[1]. В великолепной книге "Хосров и Ширин", сделанной девяносто лет назад в Герате[2], я случайно наткнулся на миниатюру[3] Бехзада, очень соответствующую моему состоянию, так как она изображала сцену убийства. Книга была из библиотеки наследника персидского престола, убитого в жестокой битве за трон. Вы помните конец дестана "Хосров и Ширин"; я говорю о произведении не Фирдоуси[4], а Низами[5].

После невероятных, полных опасностей приключений влюбленные женятся, но сын Хосрова от первой жены, молодой Шируйе, подобен сатане. Он мечтает завладеть троном отца и его молодой женой Ширин. Шируйе, про которого Низами пишет: "рот его источал скверный запах, как у львов", проникает ночью в спальню отца и Ширин, в темноте ощупью находит их ложе и вонзает кинжал в печень отца. К утру отец истечет кровью и умрет рядом с разделяющей с ним ложе, спокойно спящей красавицей Ширин.

Миниатюра великого мастера Бехзада изображала настоящий страх, я ощутил его с первого взгляда; представьте себе ужас человека, который просыпается среди ночи в кромешной тьме и по шороху догадывается, что в комнате кто-то посторонний! А теперь представьте, что этот посторонний в одной руке держит кинжал, а другой сжимает ваше горло. Все подчинено одной цели: неясные очертания стены, окон — одного цвета с беззвучным криком, вырывающимся из вашего сдавленного горла; изящные завитушки и круги на красном ковре, веселые желтые и фиолетовые цветы на роскошном одеяле, по которому безжалостно ступают босые ноги убийцы, подчеркивают красоту изображения, на которое вы смотрите, и в то же время напоминают о том, как прекрасен мир, который вы покидает, комната, в которой вы умираете. Но главное, что вы понимаете: это — равнодушие мира к вашей смерти и ваше полное одиночество в момент смерти, даже если рядом с вами жена.

Двадцать лет назад старый мастер держал в дрожащих руках книгу, мы вместе рассматривали рисунки. Вдруг лицо его осветилось, но не светом стоявшей рядом свечи, а восхищением. "Бехзад, — сказал он, — это настолько очевидно, что и подписи не надо".

Бехзад знал свою силу и не оставлял подписи нигде, даже в самом укромном уголке. Старый мастер сказал, что Бехзад создавал непревзойденные шедевры и очень старался не оставить следа, по которому можно было бы определить личность того, кто нарисовал это чудо.

Чтобы понять, не остались ли на месте преступления какие-нибудь следы, которые помогут найти меня, я на следующую ночь пришел на тот пустырь, и вдруг в голове у меня стали вертеться вопросы о манере и стиле. Ведь то, что называют манерой, стилем, — это всего лишь особенность, присущая определенной личности.

1. Кемаледдин Бехзад (ок. 1455—1535/1536) — крупнейший представитель гератской школы миниатюры.
2. Герат — город на северо-западе Афганистана.
3. Первоначально миниатюрой называли иллюстрации к тексту и заставки в рукописных книгах, отличавшиеся особо тонкой манерой наложения красок.
4. Абулькасим Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030) — персоязычный поэт.
5. Низами Гянджеви (ок. 1141 — ок. 1209) — азербайджанский персоязычный поэт.

В ту ночь, когда мы с Зарифом-эфенди отправились на пустынное пепелище, снег еще не выпал. Мы слышали далекий лай собак.

— Зачем мы сюда пришли? — спрашивал несчастный. — Что ты хочешь показать мне здесь в этот час?

— Вон там колодец, и в двенадцати шагах от него я спрятал деньги, скопленные за много лет, — отвечал я. — Если ты никому не расскажешь то, что сейчас говорил мне, деньги будут твои.

— Значит, ты согласен, что делаешь неправедное дело, — горячо сказал он.

— Согласен, — вынужден был соврать я.

— То, что вы сейчас рисуете, большой грех, знаешь ли ты это? — спросил он наивно. — Как вы могли отважиться на такое безбожие?! Вы все будете гореть в аду. Ваша боль и ваши страдания никогда не прекратятся. Вы и меня втянули.

Услышав эти слова, я с ужасом осознал, что все, кому он будет говорить об этом, поверят ему. Эниште[1]-эфенди заказывал рисунки для книги тайно и платил хорошие деньги, поэтому о ней ходило много слухов. Кроме того, Главный художник мастер Осман ненавидит Эниште-эфенди и, я думаю, сознательно распространяет о нем сплетни.

— Слушай, — сказал я, стараясь казаться беспечным, — мы делаем заставки, орнаменты на полях страниц, рисуем самые красивые картинки, мы разукрашиваем шкафы, шкатулки. Это наша работа. Нам заказывают рисунок и говорят: вот сюда вы поместите корабль, газель, посадите падишаха, нарисуете птиц, здесь изобразите такую-то сцену. А один раз Эниште-эфенди поручил мне нарисовать лошадь, какую я хочу. Тогда, чтобы понять, какую лошадь мне хочется нарисовать, я, как великие мастера прошлого, нарисовал сотни лошадей. Вынув набросок, сделанный на грубой самаркандской бумаге, я показал Зарифу. Он заинтересовался, приблизил бумагу к глазам и стал рассматривать при бледном свете луны.

— Старые мастера Герата и Шираза[2], — продолжал я, — говорили, что художник должен пятьдесят лет подряд рисовать лошадей, лишь тогда он нарисует настоящую лошадь, такую, какой ее видел Аллах, и добавляли, что лучшие рисунки лошадей сделаны в темноте — ведь настоящие художники через пятьдесят лет работы слепнут и привыкают рисовать лошадь по памяти. Нам заказывают, и мы стараемся нарисовать самую совершенную лошадь, как рисовали старые мастера, вот и все. После того как сделан заказ, нечестно считать нас в чем-то виноватыми.

— Не знаю, правильно ли это, — сказал Зариф. — Ведь у нас есть своя воля. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. А он дал нам разум, чтобы мы отличали плохое от хорошего.

— Аллах все видит, все знает, — сказал я по-арабски. — Он поймет: ты, я, мы работали, не имея понятия о том, что получится в результате. Кому ты донесешь на Эниште-эфенди? Ты не веришь, что эта книга делается по воле всемогущего падишаха?

Мы остановились возле колодца. В какой-то миг я увидел в темноте его глаза и понял, как ему страшно. Мне стало жаль его. Но стрела была уже выпущена. Я молил Аллаха укрепить меня в мысли, что передо мной не просто глупый трус, а подлец.

1. Эниште — дядя, муж родственницы, сестры, тети (*турецк.*)
2. Шираз — город в Иране.

— Отсчитай двенадцать шагов отсюда и копай, — сказал я.

— А что будет потом?

— Скажу Эниште-эфенди, чтобы сжег рисунки. Что еще можно сделать? Ведь если твои слова услышат поклонники Нусрета Ходжи, они не оставят нас в живых, а рисунки уничтожат. У тебя же есть среди них знакомые? Если ты возьмешь мои деньги, я поверю, что ты не донесешь им на нас.

— А деньги в чем?

— В старом сосуде для маринадов; семьдесят пять венецианских золотых, — ответил я уверенно.

В голове пронеслось: золотых-то нет! А если я не дам денег, этот негодяй всех нас погубит!

Я ухватил двумя руками камень, лежащий рядом с колодцем. Он еще отсчитывал седьмой и восьмой шаги, когда я догнал его и изо всей силы ударил сзади по голове.

Уже после того как я сбросил труп в колодец, я подумал, что сделал все слишком грубо, как совсем не подобает истинному художнику.

Я – Эниште

Для Кара я — эниште, но так получилось, что не только он, все называют меня Эниште. Кара приходил к нам еще тридцать лет назад, когда мы жили на окраине Аксарая[1], на тенистой улице, где росли каштаны и липы. Летом я сопровождал в поездках Махмута-пашу, и тогда Кара с матерью перебирались в наш дом. Его покойная мать была старшей сестрой моей покойной жены. Кара было в ту пору шесть лет, он плакал, если плакала мать, молчал, если она молчала, и боязливо посматривал на меня.

Сейчас передо мной взрослый мужчина. Он выказывает мне уважение: почтительно поцеловал руку, преподнес в подарок монгольскую чернильницу со словами: "специально для красных чернил". Кара сидит напротив меня, аккуратно подобрав ноги, а я вспоминаю годы, когда мать часто приводила его сюда, считая, что будущее его — в нашем доме; я заметил, что он любит книги, и это сблизило нас, он стал моим подмастерьем. Я рассказывал ему, что художники Шираза, уведя на самый верх рисунка линию горизонта, открыли новый стиль. Все художники изображали несчастную Лейлу, сгорающую от любви к Меджнуну, в пустыне; так они подчеркивали ее одиночество. Я объяснял мальчику, каким образом великому мастеру Бехзаду удалось изобразить ее еще более одинокой, хотя он рисовал, как она готовит пищу, разжигает огонь в очаге, идет меж шатрами в толпе женщин.

Как все молодые мужчины, посещавшие наш дом, Кара, конечно же, был влюблен в мою единственную дочь Шекюре. В те времена в мою красавицу были влюблены многие; я относился к этому спокойно. Но любовь Кара, который был своим человеком в доме и мог видеть лицо Шекюре, представляла определенную опасность. Он не сумел, как я надеялся, побороть эту любовь и совершил ошибку, открыв моей дочери свои пылкие чувства.

1. Аксарай — район в европейской части Стамбула на берегу Босфора.

После этого ему пришлось забыть дорогу в наш дом.

Я думаю, Кара знает, что через три года после того, как он покинул Стамбул, моя дочь, будучи в самом прекрасном возрасте, вышла замуж за сипахи[1]; этот легкомысленный тип, оставив ее с двумя детьми, отправился в военный поход, и вот уже четыре года мы не получали от него или о нем никакой весточки. Слухи по Стамбулу распространяются быстро, по тому, как Кара смотрит мне в глаза, я догадываюсь, что он давно обо всем узнал. Вот и сейчас, просматривая лежащую на подставке книгу о душе, он прислушивается к голосам за дверью — два года назад дочь с сыновьями вернулась в мой дом.

Мы сидели в комнате, где зимой я занимался рисованием. Я видел: Кара чувствует, что в соседней комнате находится Шекюре. Я поспешил перейти к главному, к тому, что изложил ему в письме, вызывая его из Тебриза в Стамбул:

— Сейчас я готовлю книгу, точно так же, как ты в Тебризе, когда заказывал книги художникам и каллиграфам. Мой заказчик — наш сиятельный падишах, опора нашего мира. Книга делается в тайне, и падишах тайно дал мне деньги через Главного казначея. Я договорился с лучшими художниками из художественной мастерской падишаха.

У нас иллюстрация делается к самой интересной сцене рассказа: первая встреча влюбленных, или горе Рустема, понявшего, что он убил собственного сына, или влюбленный Меджнун на фоне дикой природы среди львов, тигров, газелей и шакалов. Считается, что рисунок не может существовать отдельно от рассказа.

Я раньше тоже так думал. Но оказывается — может. Два года назад я был в Венеции в качестве посла нашего падишаха. Я видел там работы итальянских мастеров. Не зная, какие сюжеты они иллюстрируют, я старался понять суть нарисованного. Однажды я увидел рисунок на стене дворца и застыл, потрясенный.

Это было изображение человека, просто человека, как я. Гяур, конечно, не из наших. Но, глядя на него, я чувствовал, что вроде бы похож на него. Хотя внешнего сходства не было. Круглое полное лицо, скулы не выступают, подбородок совсем другой. Ни капли на меня не похож, но, когда я смотрел, сердце у меня билось, будто нарисовали меня.

От венецианского господина, который водил меня по дворцу, я узнал, что это изображение его друга, такого же благородного господина, как он сам. Рисунок показывал все, что было важного в жизни человека: панорама поместья, видневшегося из открытого окна, деревня и лес, который казался настоящим в переходящих одна в другую сочных красках. На столе перед ним часы, книги, ручки, карта, компас, коробки с золотыми монетами, всякие предметы непонятного для меня назначения, которые я видел и на других рисунках. И, наконец, рядом с отцом прекрасная, как сон, дочь.

Я понял, что этот рисунок и есть сам рассказ. Он — не приложение к рассказу, он — сам по себе.

Я никак не мог забыть этот рисунок. Всю ночь я думал о нем. Хотел бы я, чтобы меня изобразили на таком рисунке? Нет, это было бы слишком, так должен быть изображен наш падишах! Можно сделать книгу, которая показала бы падишаха и мир, что окружает его, подумал я.

1. Сипахи — воин-всадник в османской армии.

Итальянский мастер так нарисовал венецианского бея, что, если ты никогда не видел этого человека, а тебе велят найти его в толпе, ты легко узнаешь его среди тысяч людей. Итальянские мастера нашли способ изображать людей, отличающихся друг от друга не только одеждой и наградами, но и лицом. Это называют портретом.

Если твое лицо нарисуют хоть раз таким образом, тебя уже никогда не забудут. Даже если ты будешь далеко, человек посмотрит на портрет и почувствует, что ты рядом. И те, кто никогда не видел тебя при жизни, через много лет после твоей смерти могут встретиться с тобой взглядом, будто ты стоишь напротив.

Был один художник, который, как и другие, приходил ко мне по ночам работать над тайной книгой для падишаха. Он лучше всех делал заставки. Бедный Зариф-эфенди вышел отсюда, а домой не пришел. Я боюсь, не убили ли его.

Я – Орхан

– Убили? – спросил Кара.

Кара был высокий, худой и немножко страшный. Я вошел к ним, когда дедушка сказал: "Убили".

Дедушка посмотрел на меня совсем не сердито, так что я без стеснения бросился к нему на колени; правда, он тут же спустил меня на пол и сказал:

– Иди. Мы работаем.

От мангала шло такое приятное тепло, что мне совершенно не хотелось уходить. Я стоял, вдыхая запах красок, клея и кофе.

– Рисовать по-другому – значит видеть по-другому, – рассуждал дедушка, – за это и убили бедного художника. Хотя не знаю, убит он или просто пропал. Он работал в старом стиле. Сейчас в дворцовой мастерской под руководством Главного художника Османа рисуют миниатюры для "Сур-наме"[1] падишаха. Художники работают дома. А мастер Осман – в мастерской. Я хотел бы, чтобы ты сначала отправился туда и увидел все своими глазами. Я боюсь, что Зарифа-эфенди убил кто-то из художников, работающих под прозвищами, которые много лет назад дал им Главный художник Осман: Келебек (Бабочка), Зейтин (Олива), Лейлек (Журавль)... Их ты можешь застать дома.

Я вышел в соседнюю комнату. Из угла, где ночью спала Хайрие, послышался скрип. Там оказалась не Хайрие, а мама. Увидев меня, она смутилась.

– Где ты был?

– Я был у дедушки. А ты что здесь делаешь?

– Разве я тебе не говорила не ходить к дедушке, когда у него гости? – ругала меня мама, но не очень громко: не хотела, чтобы слышал гость. – Что они делали? – спросила она потом ласковым голосом.

– Они сидели. Но не рисовали. Дедушка что-то объяснял, а гость слушал.

1. Сур – судьба; сур-наме – описание судьбы (*турецк.*).

— Иди вниз, — сказала мама. — Пришли мне Хайрие. Побыстрее.

Она села и стала что-то писать на маленьком листке бумаги, положив его на специальную доску.

— Что ты пишешь, мама?

— Ты слышал, я велела тебе быстро спуститься и позвать Хайрие.

Меня зовут Кара

Как объяснял мне Эниште, султан желает, чтобы тайная книга была готова к тысячелетней годовщине хиджры[1]. Повелитель вселенной, наш падишах в тысячный год исламского календаря хотел показать, что его художники владеют европейскими приемами рисунка не хуже европейцев. Падишах знал, как заняты мастера-художники, поскольку заказал им уже "Сур-наме", и повелел, чтобы они работали не в тесноте мастерской, а по домам.

— Встретишься с мастером Османом, — сказал Эниште, — одни говорят, он слепнет, другие — слабеет умом. Я считаю, что он и слеп, и глуп.

Эниште готовил книгу для падишаха, хотя вообще никогда не занимался рисованием; это обстоятельство неизбежно должно было испортить отношения Эниште с почтенным мастером, Главным художником Османом. Слушая Эниште, я вспоминал детство и рассматривал вещи в комнате. За двенадцать лет я не забыл голубой ковер из Кулы[2] на полу, медный кувшин, кофейный поднос, ковш и кофейные чашечки, про которые покойная тетя много раз говорила, что их привезли из Китая через Португалию. Все это: и подставка для книг, инкрустированная по краям перламутром, и полочка для кавука[3] на стене, и красная бархатная подушка, до которой я дотронулся, чтобы вспомнить, какая она мягкая, — было перевезено сюда из дома в Аксарае, где проходило наше с Шекюре детство; все эти вещи хранили следы счастья в том доме и свет тех дней, когда я занимался рисованием.

— Я не боюсь смерти, — сказал, помолчав, Эниште, — я знаю, что после смерти человеку предстоит длинный путь. Я боюсь, что умру, не сумев закончить книгу для падишаха.

Я ответил, что за прошедшие годы многому научился у художников и готов помогать ему не жалея сил.

Поцеловав руку Эниште, я спустился по лестнице, вышел во двор и сразу же с удовольствием ощутил холодок на своей коже. Когда я закрывал дверь конюшни, подул ветер. Моя белая лошадь, которую я вел через двор, вздрогнула вместе со мной. Казалось, мы испытывали одинаковое нетерпение. Выйдя на улицу, я готов был одним махом вскочить на лошадь и унестись по узким улицам прочь отсюда, как сказочный всадник, уезжающий, чтобы не возвращаться, но тут передо мной вдруг появилась рослая женщина: еврейка в розовом одеянии, с узлом в руке. Она была большая и широкая, как шкаф, и одновременно подвижная и даже кокетливая.

Она сказала:

1. Хиджра — начало мусульманского летосчисления.
2. Кула — город в Турции.
3. Кавук — старинный головной убор, на который наматывалась чалма.

— Юноша, ты и в самом деле красив, как говорят. Женат ты или холост, не купишь ли шелковый платок для тайной возлюбленной у Эстер, самой знаменитой торговки Стамбула?

— Нет.

— А красный атласный кушак?

— Нет.

— Не говори: нет да нет! Разве может не быть у такого молодца невесты или тайной возлюбленной? Кто знает: она небось все глаза по тебе проплакала.

В какой-то миг ее тело изогнулось, как изящное тело акробата, и она очень проворно приблизилась ко мне. В то же мгновение в руке у нее, как у фокусника, появилось письмо. Я выхватил письмо и ловким движением, словно только и ждал этого, сунул его под рубаху. Письмо было большое, я чувствовал его жар между кушаком и моей кожей, холодной как лед.

— Садись на коня, пусть идет шагом, — сказала торговка Эстер. — Езжай вдоль стены, как она кончится, поверни на улицу направо, а как доедешь до гранатового дерева, обернись и посмотри на дом, из которого вышел, в окошко, что будет перед тобой.

Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я неловко вскочил в седло, будто делал это впервые в жизни. Сердце билось, словно хотело выскочить из груди, руки не знали, как удержать поводья, но ноги сжали круп лошади, и умное животное пошло шагом, как велела Эстер; в конце стены мы свернули направо.

Где же гранатовое дерево? Может, это чахлое? Да, оно! Я слегка повернулся на лошади: а вот и окно, но в нем никого не было. Эта ведьма Эстер обманула меня!

Только я так подумал, как обледеневшие ставни распахнулись, словно взорвались, и на солнце, в сверкающей раме окна появилась моя прекрасная возлюбленная, через двенадцать лет я увидел ее лицо среди заснеженных веток. Моя черноглазая, смотрела то ли на меня, то ли вдаль, в другую жизнь. Я не понял, была она грустна или улыбалась; или грустно улыбалась?

В письмо был вложен рисунок, я понял, как похожа эта сцена — я на коне, она у окна — на так часто изображаемую сцену из "Хосрова и Ширин"; я сгорал от любви, как и было изображено в тех книгах, которые мы читали в детстве.

Меня зовут Эстер

Знаю, вам интересно, что же было написано в письме, которое я отдала Кара. Поскольку и мне было интересно, я все узнала. Если хотите, представьте, что переворачиваете обратно страницы этого повествования, а я расскажу, что произошло до того, как я передала письмо.

Мы, два старика, я и мой муж Несим, под вечер сидели дома в нашем еврейском квартале, что на берегу Золотого Рога, подбрасывали дрова в печку и пытались согреться. Не смотрите, что я называю себя старухой; стоит мне взять в руки узел с шелковыми носовыми платками, перчатками, чаршафами[1] да среди тканей для рубашек, привезенных португаль-

1. Чаршаф — покрывало мусульманской женщины.

ским кораблем, положить колечки, сережки, ожерелья, и дорогие, и дешевые, да бусы, от которых чаще бьются женские сердца, как я отправляюсь в город, и нет улицы в Стамбуле, которую я обошла бы стороной. Помимо товара, я ношу от дома к дому письма и слухи. Знайте, что половину девушек Стамбула замуж выдала я; и говорю я это не ради хвастовства. Так вот, как я уже говорила, сидели мы под вечер дома, и вдруг кто-то постучал. Я встала, открыла дверь — на пороге глупенькая служанка Хайрие. В руке — письмо. Сначала я не поняла просьбу Шекюре, которую изложила служанка, дрожа то ли от холода, то ли от волнения.

Ваша Эстер умирала от любопытства. Она сумела узнать, что было написано в письме:

"Кара-эфенди, пользуясь близостью с моим отцом, ты приходишь к нам в дом. Но не думай, что получишь какой-нибудь знак от меня. После твоего отъезда произошло многое. Я вышла замуж, у меня два прекрасных сына. Один – Орхан, ты видел его, когда он зашел в комнату. Я уже четыре года жду мужа и больше ни о чем не думаю. Возможно, я чувствую себя слабой, беззащитной и одинокой с двумя детьми и старым отцом и нуждаюсь в мужской поддержке, но пусть никто не думает, что сумеет воспользоваться моим положением. Поэтому, пожалуйста, не стучи больше в нашу дверь. Ты однажды уже сделал неверный шаг, и у меня тогда ушло много сил, чтобы оправдаться перед отцом. Вместе с этим письмом посылаю тебе рисунок, который ты сделал для меня, когда был молодым и витал в облаках. Чтобы ты ни на что не надеялся и не обманывался. Нельзя влюбиться, глядя на этот рисунок. Пусть нога твоя не ступает в наш дом, это – самое лучшее".

Я – Шекюре

Почему я стояла у окна, когда Кара проезжал на белой лошади? Почему я почувствовала, что он подъехал, и именно в этот момент распахнула ставни и долго смотрела ему вслед сквозь заснеженные ветви граната? Этого я не могу вам точно сказать. Хотя, если честно, я отправила с Хайрие весточку Эстер и, конечно, знала, где проедет Кара. Я пошла в комнату со встроенным шкафом, окно которой выходит на гранатовое дерево, и стала перебирать белье в сундуке. Когда я, повинуясь внутреннему порыву, с силой распахнула ставни, в комнату ворвался солнечный свет. Ослепленная солнцем, я стояла у окна и встретилась с Кара взглядом; он был очень красив.

Хотя он на двенадцать лет старше меня, я еще в детстве знала, что я взрослее его. В те времена он не умел держаться со мной твердо, по-мужски, он робел и прятался за книгу или рисунок, что лежали перед ним. Потом он влюбился в меня и выразил свою любовь в рисунке.

Есть одно место в истории Хосрова и Ширин, которое все знают; и мы с Кара часто говорили о нем. Шапур хотел, чтобы Хосров и Ширин влюбились друг в друга. Однажды, когда Ширин с приближенными выехала на прогулку, Шапур потихоньку повесил на ветку дерева в саду, где они отдыхали, изображение Хосрова. Увидев рисунок, Ширин влюбилась в красавца Хосрова. Иллюстрируя этот эпизод, художники рисовали Ширин, с изумлением разглядывающую изображение Хосрова. Кара

работал с моим отцом, много раз видел этот рисунок и несколько раз в точности скопировал его. Позже, когда он влюбился в меня, он, рисуя эту сцену для себя, вместо Хосрова и Ширин помещал на рисунке себя и меня. Если бы он не обозначил наши имена, то только я догадалась бы, что девушка и юноша на рисунке — это мы с ним, потому что иногда в шутку он рисовал себя и меня всегда одинаковыми линиями и одним и тем же цветом: меня голубым, а себя красным. Как-то он оставил рисунок в таком месте, чтобы я могла увидеть, и убежал. Я помню, что он наблюдал, как я смотрю на рисунок и что делаю потом.

Я сообщила отцу, что Кара объяснился мне в любви. В тот же вечер отец сказал маме: "Твой нищий племянник далеко замахнулся. Оказывается, он умнее, чем мы думали".

Я с грустью вспоминаю, что предпринял после этого отец, как я держалась от Кара на расстоянии, как он перестал ходить к нам в дом.

Не могу сказать, что я сразу забыла его, когда он покинул Стамбул, но постаралась изгнать из своего сердца. На протяжении долгих лет мы не получали от него никаких известий. Думаю, нет ничего плохого в том, что я хранила его рисунок как память и свидетельство нашей детской дружбы. Чтобы отец или мой муж не рассердились, если найдут рисунок, я на имена "Шекюре" и "Кара" накапала папиных чернил, а потом из капель старательно сделала цветочки. Пусть устыдятся те, кто плохо подумал про меня, узнав, что я отослала ему рисунок, а сама появилась перед ним в окне.

Я вошла к отцу. Он читал книгу.

— Ваш гость ушел, — сказала я. — Надеюсь, он вас не утомил.

— Нет, — ответил он. — Наоборот, он меня развлек. Он по-прежнему уважает своего Эниште.

— Это хорошо.

— Он осторожен и расчетлив.

Отец меня очень любит. До меня у него было три сына, но их души прибрал Аллах, а меня, девочку, оставил. Я вышла замуж за сипахи, который мне понравился. О красоте моего мужа ходили легенды, в первый раз он встретился мне, когда я возвращалась из бани (я нашла способ послать ему весточку); глаза у него горели, и я тут же влюбилась. Смуглый, зеленоглазый, он был прекрасен; у него были сильные руки, но он был большой и добрый, как ребенок. Всю силу он оставлял в битвах, откуда привозил добычу, а дома был спокойный и мягкий, как женщина. Отец не хотел отдавать меня за него, потому что он был беден, но согласился, когда я объявила, что иначе убью себя; муж отправлялся с одной войны на другую, проявил большую храбрость, стал владельцем земельного надела стоимостью в десять тысяч акча, и все стали нам завидовать.

Когда четыре года назад он не вернулся домой с армией, что воевала против сефевидов, я не очень обеспокоилась. Сначала ждала, что он вот-вот вернется, но за два года привыкла к его отсутствию, потом поняла, как много в Стамбуле жен пропавших воинов, и окончательно смирилась со своим положением.

По ночам в постели я обнимала детей, и мы вместе плакали. Чтобы утешить их, я придумывала, что кто-то видел их отца и сказал, что он вернется до весны, потом от них эту новость узнавали другие, и когда она, сделав круг, доходила до меня как "добрая весть", я первая в нее верила.

Жили мы в районе Чаршикапы вместе с престарелым отцом мужа, не видевшим в жизни ничего хорошего, но очень деликатным человеком, и холостым братом мужа Хасаном, таким же зеленоглазым, как и он. Когда пропал мой муж — опора дома, жить стало трудно. Свекор, несмотря на свои годы, снова взялся за изготовление зеркал — он оставил это занятие, когда старший сын разбогател, участвуя в войнах. Но основные деньги приносил брат мужа, работавший на таможне, и постепенно он стал требовать беспрекословного подчинения себе всех живших в доме.

Я, конечно, могла сразу вернуться сюда, в дом отца, но мой муж официально числился живым, и кадий[1] считал, что, если бы я рассердила родственников мужа, они могли бы не только силой вернуть меня к себе, но и ославить нас и даже заставить отца заплатить за то, что он укрывает меня. Я могла бы лечь в постель с Хасаном, который был влюблен в меня без памяти. Но такой необдуманный шаг мог привести меня к тому, что я в конце концов оказалась бы не в положении его жены, а — да упасет Аллах! — в положении его служанки. Хасан и свекор боялись, что я вернусь с детьми к отцу и потребую долю наследства, поэтому они ни за что не хотели признать, что мой муж погиб. А раз он был жив, я не могла выйти замуж ни за Хасана, ни за кого другого; исчезновение мужа привязывало меня к этому дому, и это их вполне устраивало. Потому что — кроме всего прочего — я делала всю домашнюю работу.

Как-то ночью, когда Хасан начал ломиться в дверь комнаты, где я спала с детьми, я встала и, не обращая внимания на испугавшихся детей, заорала во весь голос, что к нам проникли злые джинны. Я разбудила свекра, и умный старик из моей бессвязной болтовни о джиннах со стыдом понял горькую правду: его пьяный сын позволил себе приставать к жене собственного брата, матери двоих детей. Он промолчал, когда я сказала, что не могу спать, потому что надо охранять детей от джиннов. А утром я объявила, что перебираюсь с детьми к больному отцу, чтобы ухаживать за ним, и никто мне не возражал.

Меня зовут Кара

Вот мой рисунок, сделанный много лет назад: на дереве листок с изображением Хосрова; Ширин смотрит на юношу и влюбляется в него. Помню, я увидел эту сцену в книге, только что полученной Эниште, вдохновился и нарисовал то же самое. Все последние годы, вспоминая об этом рисунке, я стыдился такого объяснения в любви, но сейчас мне не было стыдно: рисунок перенес меня в счастливые годы юности. Всю ночь я думал о письме и к утру решил, что Шекюре сделала мастерски продуманный ход в партии шахмат любви. Я сел и при свете свечи написал ответное послание.

Немного поспав, я спрятал на груди свое письмо, вышел из дома и долго бродил по улицам. Прежде чем отправиться в художественную ма-

1. Кадий — судья шариатского суда.

стерскую, я послал к Эстер мальчишку, назначил ей место встречи перед обеденным намазом, чтобы передать письмо для Шекюре.

Здание мастерской, где я в детстве некоторое время был подмастерьем, находилось позади Айя-Софии[1].

Я вошел в теплую комнату, и тут же из угла неслышно, как тень, ко мне подошел Главный художник мастер Осман. Образ мастера возникал в моей памяти всякий раз, когда я размышлял о рисунке; сейчас он стоял передо мной в белом одеянии и в неярком зимнем свете, проникающем через окно, выходившее на Айя-Софию, был похож на привидение, явившееся с того света. Поцеловав усеянную пигментными пятнами руку, я сказал, что когда-то меня, еще ребенка, привел сюда Эниште, но я ушел, так как предпочел кисти перо, долгие годы путешествовал по городам Востока, работал каллиграфом у пашей и писцом в кадастровом ведомстве, познакомился со многими художниками, делал книги в Тебризе, побывал в Багдаде и Алеппо, Ване и Тифлисе.

— Расскажи, что и как рисуют художники в тех странах, где ты побывал, — попросил мастер Осман.

Я рассказал, что некоторые большие мастера делают рисунки, не относящиеся ни к какой книге, и продают их. Это не часть истории или изображение какой-либо сцены, а просто рисунок как таковой, например, просто хорошее изображение лошади. Рисунки раскупают. Большой спрос на изображение войны и любовных утех. Чтобы удешевить рисунки, художники работают на грубой бумаге и иногда даже не раскрашивают, оставляя их черно-белыми.

— Был у меня художник, — сказал мастер Осман, — удачливый, талантливый. Он так тонко работал, что мы называли его Зариф[2]-эфенди. Но уже шесть дней он не появляется. Исчез таинственным образом.

— Разве может человек покинуть эту мастерскую, этот благословенный отчий дом? — удивился я.

— Мои четыре любимых мастера — Келебек, Зейтин, Лейлек и Зариф, которых я лично вырастил, — по воле падишаха работают теперь дома, — сказал мастер Осман.

Подумав, что не скоро увижу мастера еще раз, к тому же желая понравиться ему, я спросил:

— Учитель, скажите, в чем отличие настоящего художника?

Я был уверен, что Главный художник, привыкший к льстивым вопросам, ответит нейтральной фразой, чтобы отделаться от меня и забыть обо мне в ту же минуту. Но он серьезно сказал:

— Нет единого критерия, отличающего настоящего художника. Времена меняются. Важно, чтобы талант художника служил нашим традициям, нашему искусству. Когда я хочу понять, что из себя представляет молодой художник, я его спрашиваю: хочет ли он, как это теперь модно у китайцев и европейцев, иметь собственный стиль? Хочется ли ему на рисунке поставить подпись, подобно европейским мастерам? Что чувствует он, когда после смерти шахов и падишахов сделанные по их заказу книги рвут, а иллюстрации из них используют в других книгах? Потом я спрашиваю про время. Время художника и время Аллаха. Понимаешь, сынок?

1. Айя-София — главный византийский храм (VI в.); после завоевания турками Константинополя в 1453 г. был переделан в мечеть; в настоящее время — музей.
2. Зариф — изящный, утонченный (*турецк.*).

Я не понял. Но не признался, только спросил:

— А еще что?

— А еще — слепота! — сказал великий мастер Главный художник Осман и не стал ничего пояснять, замолчал, будто и так все ясно.

— Почему слепота? — робко уточнил я.

— Слепота беззвучна. Если ты сведешь вместе все, что я перечислил, получится слепота. Самое достойное для художника — это видеть в темноте, ниспосланной Аллахом.

Вежливо попрощавшись, я вышел. Не торопясь спустился по обледеневшей лестнице. Вопросы мастера я задам Келебеку, Зейтину и Лейлеку, чтобы лучше понять этих моих сверстников, сумевших стать известными мастерами.

Но прежде чем посетить художников, я пошел на новый рынок вблизи еврейского квартала, чтобы встретиться с Эстер. На рынке покупали морковь, айву, лук и редиску женщины из бедных кварталов в широких выцветших одеждах и прислуга; Эстер в своем розовом наряде выглядела очень живописно в этой толпе — большое, подвижное тело, незакрывающийся рот, выразительные глаза и брови. Она делала мне знаки.

Под устремленными на нас взглядами она умелым, ловким движением сунула мое письмо в карман шаровар. Взяла бакшиш[1]. На просьбу поскорее доставить письмо сказала, показывая узел с товаром, что у нее еще очень много дел; до Шекюре она доберется лишь к обеду. Я попросил ее передать Шекюре, что отправляюсь к мастерам-художникам.

Меня называют Келебек

Перед обеденным намазом постучали в дверь. Я открыл: Кара Челеби, знакомый по годам ученичества. Мы обнялись. Он сказал, что пришел по старой дружбе, хочет посмотреть мои работы и еще — задать мне один вопрос.

— Что же это за вопрос? — поинтересовался я.

— Стиль и подпись, — ответил он.

Что ж, раз он спросил, я отвечу.

Стиль и подпись

Чем больше будет художников, которые рисуют не для услаждения глаза и укрепления веры, а ради денег и своей славы, тем чаще мы будем сталкиваться с непотребством, называемым стилем и подписью. Под влиянием монахов-иезуитов с Запада у некоторых китайских мастеров появилось желание ставить на рисунках свою подпись и иметь собственный стиль. Поскольку все это дошло и до нас, я расскажу вам три интересные истории.

1. Бакшиш — чаевые.

Три истории о стиле и подписи

Алиф[1]

Когда-то в горной крепости на севере Герата жил молодой хан, горячий поклонник миниатюры. Из женщин своего гарема хан любил лишь одну. Несравненная красавица татарка отвечала хану взаимностью. Они проводили вместе жаркие ночи, были безмерно счастливы и мечтали, чтобы счастье длилось вечно. Днем они наслаждались тем, что часами рассматривали работы великих старых мастеров. Глядя на повторяющиеся великолепные рисунки к одним и тем же сюжетам, они чувствовали, что время останавливается, а их счастье сливается со счастливым временем золотого века миниатюры. В художественной мастерской хана был талантливый художник, который идеально копировал рисунки старых мастеров. Рисуя страдания влюбленного в Ширин Фархада или восхищенные взгляды, которыми обменивались Меджнун и Лейла или Хосров и Ширин в сказочном, похожем на райский, саду, художник по обычаю изображал хана и татарскую красавицу. Глядя на эти рисунки, хан и его возлюбленная верили, что счастье их никогда не кончится, и осыпáли художника похвалами и золотом. Чрезмерные восхваления и богатство вскружили голову художника, он загордился — ведь шайтан не дремлет. Забыв, что своими идеальными рисунками он обязан старым мастерам, художник решил внести в рисунок что-то новое, свое. Но хану и его возлюбленной не понравились новшества мастера. Внимательно разглядывая рисунок, хан увидел что-то непривычное в облике красавицы татарки и решил, что она разлюбила его. Чтобы вызвать ревность возлюбленной, он провел ночь с другой невольницей. Красавица татарка, узнав эту новость от сплетниц в гареме, впала в отчаяние и повесилась на ветке кедра. Хан понял, что совершил ошибку, что художник просто хотел показать свой стиль. В тот же день он приказал ослепить художника, поддавшегося соблазну шайтана.

Ба[2]

В одной восточной стране жил старый могущественный падишах, большой любитель рисования; он женился на молодой красавице китаянке и был с ней счастлив. Молодая китаянка нравилась сыну падишаха от прежней жены, да и ей приглянулся красивый юноша. Сын испугался, что предает отца, устыдился своей любви, заперся в мастерской и занялся рисованием. Поскольку сердце его было переполнено любовью и печалью, рисунки получались столь прекрасными, что их порой не могли отличить от работ старых мастеров, и падишах-отец очень гордился сыном. Молодая жена-китаянка, глядя на ка-

1. Алиф — буква арабского алфавита.
2. Ба — буква арабского алфавита.

кой-нибудь рисунок, говорила: "Это прекрасно! Но если он не поставит подпись, то пройдет время, и никто не будет знать, что это его работа". "А если мой сын поставит подпись, не будет ли это означать, что он присвоил рисунок, который скопировал с работ старых мастеров? — отвечал ей падишах. — К тому же не будет ли подпись означать, что он претендует на собственный стиль?" Поняв, что ей не убедить старого мужа, молодая и красивая мачеха нашла способ донести мысль о подписи до юноши, запершегося в мастерской. Юноша, страдавший от того, что вынужден был похоронить свою любовь, поддался соблазну и, подстрекаемый шайтаном, в уголке одного из рисунков, в совершенно, как он считал, незаметном месте, там, где была нарисована трава, поставил подпись. Первый подписанный им рисунок изображал эпизод из дестана "Хосров и Ширин". Вы знаете: после того как Хосров и Ширин поженились, сын Хосрова от первого брака Шируйе влюбился в Ширин. Ночью он пробрался через окно в родительскую опочивальню и вонзил кинжал в печень отца, спящего рядом с Ширин. Глядя на этот рисунок, выполненный сыном, старый падишах увидел, что перед ним что-то необычное, он даже разглядел подпись, хотя не придал этому значения. Старого падишаха взволновало то, что рисунок был не такой, как у старых мастеров. Это могло означать, что он читает не историю, не легенду, а правдивое повествование, которого не было в известной книге. Старик испугался. А сын-художник ночью подобрался к отцу и, не глядя в его расширившиеся от страха глаза, вонзил в него кинжал, такой же большой, как на рисунке.

Джим[1]

Двести пятьдесят лет назад самым любимым и почитаемым искусством в Казвине было искусство работы над книгой — каллиграфия и миниатюра. Возможно, именно в любви к миниатюре заключалась тайна могущества шаха, сидевшего в те времена на троне Казвина и управлявшего сорока странами от Византии до Китая. К несчастью, у шаха не было сына. Чтобы после его смерти завоеванные им страны не откололись от его империи, надо было посадить на трон наследника, и шах решил поскорее выдать свою красавицу дочь за умного художника, для чего устроил состязание на лучший рисунок между тремя молодыми талантливыми мастерами из своей художественной мастерской. Условия состязания были очень просты: кто сделает лучший рисунок, тот и сядет на трон! Молодые художники, все трое, нарисовали самый любимый шахом эпизод: прекрасный, как рай, сад, и в нем среди тополей и кедров, пугливых кроликов и летающих ласточек печальная влюбленная красавица с опущенным взором. Все три мастера не сговариваясь выполнили рисунок в манере старых мастеров. Один, тот, который особенно хотел, чтобы его отметили, не удержался и в незаметном месте среди нарциссов спрятал свою подпись. Это был вызов скромным старым мастерам, и выскочка тут же был сослан в Китай. Между двумя оставшимися мастерами устроили

1. Джим — буква арабского алфавита.

новое состязание. На этот раз оба мастера сделали замечательные, поэтические рисунки, изображавшие красивую девушку на белом коне в прекрасном саду. Один из мастеров не совсем обычно изобразил ноздри белой лошади, на которой сидела девушка, похожая на китаянку. Отец и дочь сразу заметили этот изъян. Так художник выделил свой рисунок. "Изъян — зеркало стиля", — сказал шах и отправил мастера в Византию. В те дни, когда готовилась свадьба дочери шаха с третьим талантливым художником, рисующим без подписи, без нововведений, точно так, как старые мастера, произошло еще одно событие: накануне свадьбы невеста весь день рассматривала рисунок, сделанный художником, который завтра станет ее мужем. Когда настал вечер, она пришла к отцу и сказала: "Старые мастера изображали красавиц похожими на китаянок, это неизменное правило, пришедшее с Востока. Но когда они влюблялись в кого-то, они обязательно оставляли на рисунке какой-либо след своей возлюбленной — брови, глаза, губы, волосы, улыбку. Эти отступления от нормы были понятны только двоим: влюбленному художнику и его любимой. Я весь день смотрела сегодня на красавицу, сидящую на лошади, в ней нет ничего от меня. Отец, этот художник — большой мастер, он молод и хорош собой, но он не любит меня..." Шах отменил свадьбу.

— Из третьего рассказа следует, что отступление от нормы и есть то, что называют стилем, — вежливо и почтительно сказал Кара. — Он рождается из тайных посланий художника к его возлюбленной?

— Нет, — решительно возразил я, — в конце концов отступление становится правилом. Спустя некоторое время молодые художники, копируя мастера, начинают рисовать лица девушек такими, какими рисовал он.

Первый рассказ говорит о нарушении стиля. Второй — о том, что идеальный рисунок не требует подписи. А третий объединяет оба рассказа и показывает, что подпись и стиль — это всего-навсего бесстыдная и глупая похвальба. Вот ты услышал от меня три истории, ты хоть понял теперь, кто я?

— Понял, — ответил Кара не очень уверенно.

Чтобы вы не пытались смотреть на меня его глазами, я вам сам объясню, кто я такой. Я могу все. Я могу нарисовать рисунок и нанести на него краску, как старые мастера Казвина. Говорю вам с уверенностью: я лучше всех. И если моя догадка верна, причиной прихода сюда Кара стало исчезновение Зарифа-эфенди, но я к этому не имею никакого отношения.

Кара все-таки не удержался:

— Не знаешь ли ты случайно, где может быть несчастный Зариф-эфенди?

"Несчастный?! Жалкий ремесленник, даже позолоту наносит исключительно ради денег; осел, не ведающий вдохновения". Но этого я не сказал. Я сказал:

— Нет. Не знаю.

Тогда он спросил:

— Не думаешь ли ты, что с Зарифом-эфенди могли расправиться люди проповедника из Эрзурума?

Я не стал ему говорить, что Зариф — один из них. Я сказал:

— Нет. С чего бы?

Меня называют Лейлек

Было время обеденного намаза. В дверь постучали, смотрю: знакомый мне с детства Кара. Мы обнялись. Он замерз, я впустил его, даже не спросив, как он нашел мой дом. Он сказал, что его послал Эниште, чтобы узнать от меня, почему пропал Зариф-эфенди и где он находится. Кроме того, он передал привет от мастера Османа и тут же добавил, что у него есть ко мне вопрос: мастер Осман считает, что настоящего художника определяет время. Что я об этом думаю? Слушайте.

Три истории о художнике и времени

Алиф

В Багдаде, который триста пятьдесят лет назад в холодный февральский день был захвачен и безжалостно разграблен монголами, жил великий каллиграф Ибн Шакир, известный не только в арабских, но и во всех других исламских странах; несмотря на то что мастер был молод, в знаменитых на весь мир библиотеках Багдада хранилось двадцать два тома переписанных им книг, большинство из которых были списками Корана. Ибн Шакир верил, что книги его доживут до Судного дня, он ощущал бесконечность времени. Солдаты монгольского хана Хулагу[1] за несколько дней разорвали, сожгли, уничтожили, бросили в Тигр все замечательные книги, включая последнюю, над которой мастер стоически трудился много ночей при свете дрожащей свечи. Ибн Шакир работал, сидя спиной к востоку и посматривая на запад, на горизонт; в час утренней прохлады он поднялся на минарет мечети Халифа – именно так на протяжении пяти веков арабские каллиграфы давали отдых глазам. С балкона минарета он увидел конец пятивековой книжной традиции: безжалостные воины Хулагу вступили в Багдад, а Ибн Шакир стоял наверху и наблюдал, как грабили и разрушали город, рубили саблями людей, как убили последнего из исламских халифов, правивших в Багдаде пятьсот лет, как насиловали женщин, громили библиотеки, как выбросили в Тигр десятки тысяч томов. Глядя на воды Тигра, окрасившиеся в красный цвет чернил, смытых с брошенных в реку книг, он подумал, что не смог остановить ужасное уничтожение и разрушение. Книги, которые он писал таким красивым почерком, были уничтожены. Ибн Шакир поклялся, что никогда больше не будет писать. Увиденную трагедию и боль ему захотелось выразить искусством рисунка, которое он до тех пор не уважал, считая его бунтом против Аллаха. На листе бумаги, который неизменно находился при нем, он нарисовал то, что увидел с минарета. Так после монгольского нашествия появился настоящий исламский рисунок, непохожий на рисунки идолопоклонников и христиан; на этом рисунке с высоты линии горизонта вселенная была нарисована такой, как ее видит Аллах. Потом Ибн Шакир отправился в ту сторону, откуда пришло монгольское войско, и научился рисовать так, как рисовали китайские мастера. Идея бесконечности времени, в которую араб-

1. Хулагу-хан – внук Чингисхана, основатель монгольской династии хулагуидов, правил в 1256–1265 гг.

ские каллиграфы верили пятьсот лет, воплотилась не в тексте, а в рисунке. Действительно, люди рвут, рассыпают книги, со страниц исчезают рисунки, но потом они появляются в новых книгах, живут бесконечно и продолжают показывать, какова вселенная Аллаха.

Б*а*

Все повторяется, а потому человек, хотя и умирает, не замечает хода времени; художники рисуют одни и те же рисунки к одним и тем же историям, как будто времени не существует. Как написано в краткой истории Салима из Самарканда, маленькая армия правителя Фахир-шаха одержала победу над воинами Селяхаттин-хана. Согласно обычаю, победитель Фахир-шах, взяв в плен Селяхаттин-хана, убил его, а потом, чтобы утвердить свое владычество, посетил библиотеку и гарем покойного. Опытный книжный мастер Факир-шаха стал раздирать книги мертвого хана, менять местами страницы и делать новые книги: писцы заменяли слова "непобедимый Селяхаттин-хан", на "победитель Фахир-шах", а художники стирали уже начавшее забываться изображение Селяхаттин-хана, а на стертых местах рисовали более молодого Фахир-шаха. В гареме побежденного Фахир-шах нашел самую красивую из женщин; будучи человеком умным, он не стал принуждать ее и брать силой, а решил завоевать ее сердце интересным разговором. Жена покойного Селяхаттин-хана, красавица Нериман Султан, со слезами на глазах обратилась к Фахир-шаху, которому предстояло стать ее мужем, с единственной просьбой. Она попросила, чтобы в книге, рассказывающей о любви Лейлы и Меджнуна, не трогали рисунок, на котором Лейла была изображена как Нериман Султан, а рядом с ней Меджнун как ее покойный супруг. Свою просьбу она объяснила так: по заказу ее бывшего мужа, стремившегося обрести бессмертие, сделано столько книг, что надо оставить хотя бы одно его изображение. Победитель Фахир-шах великодушно удовлетворил это желание, и художники не притронулись к рисунку. Нериман и Фахир-шах со временем полюбили друг друга и, казалось, забыли о страшном прошлом. Но Фахир-шаху не давал покоя тот рисунок в книге о Лейле и Меджнуне. Его не беспокоило, что Нериман была изображена с прежним мужем, и не терзала ревность. Его мучила мысль, что в той прекрасной книге о старинной легенде изображен не он и потому не он останется в вечности. Пять лет грыз его душу червь сомнения, и вот как-то ночью, когда Нериман уснула, он взял свечу, тайно, как вор, пробрался в собственную библиотеку, открыл книгу о Лейле и Меджнуне и попытался вместо покойного мужа Нериман нарисовать себя. Но, как многие ханы, любители рисунка, он был плохим художником. Смотритель библиотеки, проверявший книгу, обнаружил, что на месте Селяхаттин-хана, сидящего напротив Лейлы-Нериман, появился кто-то другой, и объявил, что это — главный враг Фахир-шаха, молодой и красивый Абдуллах-шах, правитель соседней страны. Эти слухи дошли до Абдуллах-шаха, он пошел на Фахир-шаха войной, в первой же битве нанес ему поражение, взял его в плен, убил, забрал, как водится, его библиотеку и гарем, и у нестареющей Нериман Султан появился новый муж.

Джим

Художники любят рассказывать о мастере Узун Мехмете из Стамбула, которого в стране персов называют Мухаммедом из Хорасана; долгая жизнь и слепота — хорошая иллюстрация к теме "художник и время". Узун Мехмет начал рисовать с девяти лет, трудился почти сто десять лет, пока не ослеп, и его стилем было отсутствие стиля. Это — не игра слов, а похвала. Он рисовал всё, как все, точно повторяя стиль старых великих мастеров, и именно поэтому был великим мастером. Узун Мехмет был скромен и беззаветно предан искусству миниатюры, которое считал служением Аллаху. Он ни с кем не враждовал, не участвовал в интригах; в мастерских, где он работал, никогда не стремился стать Главным художником, хотя возраст для этого у него был вполне подходящий. Он был счастлив и очень молчалив. Он никогда не пытался создать свой стиль. Очередную мастерскую какого-нибудь хана или наследника, где он работал, он считал своим домом, а себя — принадлежностью этого дома. Про него говорили, что он живет вне времени, никогда не состарится и не умрет. Прославленный мастер ни разу не был женат и никого не любил. И вот, когда ему было уже сто девятнадцать лет, он встретил в мастерской шаха Тахмаспа[1] шестнадцатилетнего подмастерья, полукитайца, полухорвата, живой образец мужской красоты, луноликого юношу, как раз такого, какого он рисовал все сто лет; мастер влюбился в него с первого взгляда и, чтобы заслужить любовь красавца ученика, включился в борьбу за власть в мастерской, стал лгать, строить козни. Он окунулся в суету, держаться в стороне от которой ему удавалось в течение ста лет, и перестал быть олицетворением старого доброго времени. Однажды он наблюдал за красавцем учеником у окна на холодном ветру и на следующий день стал чихать и ослеп, а еще через два дня упал с высокой каменной лестницы мастерской и умер.

— Какова мораль рассказанных тобою трех рассказов? — спросил Кара.

— Из первого рассказа следует, что, как бы ни был талантлив художник, безупречность его работы определяет время. Второй показывает, что только талантливый рисунок может преодолеть время. А в чем смысл третьего, пожалуй, скажи сам.

— Третий объединяет два первых — без промедления ответил Кара, — и доказывает, что, если художник отказывается от своей безупречной жизни и работы, его время кончается и он умирает.

Меня называют Зейтин

Было время послеобеденного намаза; я с легкостью водил кистью, рисуя красивых мальчиков, когда в дверь постучали. Я отложил кисть. Снял рабочую доску с колен, пристроил в углу, подбежал к двери и, прежде чем открыть ее, прочитал молитву. О Аллах... Не буду скрывать от вас:

1. Шах Тахмасп (1514—1576) — иранский шах.

вчера ко мне приходили люди индийского шаха, самого богатого повелителя вселенной, Акбар-хана: он хотел, чтобы для него создали невиданную книгу, и разослал весть во все исламские страны, приглашая к себе лучших художников. Гонцы Акбар-хана, посланные в Стамбул, вчера передали приглашение в Индию и мне. Я открыл дверь, но это были не они, а знакомый мне с детства Кара. Раньше он не подходил к нам, завидовал. Чего ему надо?

Оказывается, он пришел поговорить, вспомнить былую дружбу, посмотреть мои работы. Я пригласил его, пусть видит все, что у меня есть. Он, по его словам, только что был в мастерской, приложился к руке главного художника Османа. Великий мастер высказал мудрые суждения о том, как по-настоящему можно оценить художника, говорил о слепоте и памяти. Что думаю об этом я? Что ж, слушайте.

Слепота и память

До того как люди начали рисовать, была тьма. Когда они перестанут рисовать, тоже будет тьма. С помощью красок, таланта и любви мы напоминаем, что Аллах повелел нам смотреть и видеть. Помнить — это знать увиденное. Знать — это помнить увиденное. Видеть — это знать, не вспоминая. Получается, что рисовать — это значит вспоминать тьму.

Три истории о слепоте и памяти

Алиф

Когда-то в художественной мастерской правителя Каракойюнлу[1] Джихан-шаха[2] прославленный мастер Шейх Али из Тебриза сделал превосходные иллюстрации к книге "Хосров и Ширин". Когда работа была сделана едва наполовину, Джиханшах уже понял, что станет обладателем книги, равной которой нет в мире. Джиханшах боялся своего соседа, молодого правителя Аккойюнлу[3] Узун Хасана[4], которому он завидовал и потому объявил его своим главным врагом. Джиханшах подумал, что Шейх Али может сделать новую книгу, еще лучше этой, а заказчиком вполне может стать Узун Хасан. Счастье Джиханшаха отравляла мысль, что кто-то другой может быть так же счастлив, как он, и решил убить Шейха Али, когда работа над книгой будет закончена. Но добросердечная красавица черкешенка из его гарема сказала ему, что достаточно ос-

1. Каракойюнлу — конгломерат туркменских племен на северо-востоке Анатолийского полуострова.
2. Джихан-шах (1405—1467) — правитель Каракойюнлу, при котором государство имело наибольшую. территорию.
3. Аккойюнлу — конгломерат туркменских племен на севере Анатолийского полуострова.
4. Узун Хасан (1423—1478) — правитель Аккойюнлу.

лепить мастера. Джиханшах согласился с этим и сообщил свою волю приближенным. Решение шаха дошло до Шейха Али, но он не бросил работу над книгой и не покинул Тебриз. Художник не стал медлить с работой, чтобы оттянуть миг своего ослепления, и не пытался рисовать плохо. Вдохновение и усердие его не ослабли. Наконец книга была закончена, и, как и ожидал мастер, его сильно хвалили, осы́пали золотом, а потом ослепили. Еще не прошла боль в глазах, а художник уже явился к Узун Хасану. "Я слеп, — сказал он, — но вся красота книги, которую я делал последние одиннадцать лет, каждый удар кистью и пером настолько запечатлелись в моей памяти, что рука моя может все нарисовать по памяти. Мой господин, я нарисую тебе самую лучшую книгу. Я не вижу больше мерзостей этого мира и могу по памяти изобразить для тебя все красоты Аллаха". Узун Хасан поверил великому художнику, и тот по памяти нарисовал для него лучшую книгу всех времен. Вдохновившись этой книгой, Узун Хасан пошел войной на Джиханшаха, разгромил его армию и убил его. А некоторое время спустя в битве при Отлукбели[1] Узун Хасан был побежден Фатихом Султаном Мехметом[2], и обе книги — первая и вторая — оказались в сокровищнице нашего падишаха. Кто видел, тот знает.

Б*а*

После смерти повелителя вселенной Тимура[3] его сыновья и внуки перессорились и вели между собой жестокие войны; завоевывая города друг друга, они первым делом печатали монету со своими именами и читали благодарственные молитвы, а потом просматривали доставшиеся им книги, раздирали их, меняли местами страницы, заново переплетали, и появлялись новые тома, где были обозначены новые посвящения, заказанные очередными повелителями вселенной, жаждущими остаться в истории. Когда сын Улугбека[4] Абуллатиф захватил Герат, он решил быстренько сделать книгу в честь отца, для чего собрал художников, каллиграфов, переплетчиков и очень торопил их с работой; в результате получилась путаница: рисунки и тексты не соответствовали друг другу. Абдуллатиф повелел собрать всех художников Герата, чтобы они определили, какой рисунок к какой истории относится. Но мнения мастеров не совпадали, и все запуталось еще больше. Тогда разыскали совсем старого художника, который пятьдесят четыре года делал книги для правителей Герата и их наследников, потом состарился и был забыт. Старый мастер был слеп, и когда он появился, кто-то удивился, а кто-то засмеялся. Мастер, не обращая внимания на окружающих, попросил привести ребенка младше семи лет, не умеющего читать. Ребенка привели. Старый мастер положил перед ним рисунки и велел рассказывать, что он видит. Ребенок рассказывал, что изображено на рисунках, а старый художник, подняв незрячие глаза к небу, говорил: "Шах-наме" Фирдоуси, Искендер обнима-

1. Отлукбели — город на северо-востоке Анатолийского полуострова.
2. Фатих Султан Мехмет (1432—1481) — турецкий султан.
3. Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир.
4. Улугбек (1394—1449) — государственный деятель, ученый, просветитель; внук Тимура.

ет умершую Дару... "Гулистан" Саади, рассказ об учителе, влюбленном в юного ученика... Узнавая рисунки по описанию ребенка, старик помог правильно разместить их в книге. Улугбек, сам прибывший в Герат со своим войском, спросил старика, как он не видя сумел все правильно определить. "С потерей зрения крепнет память, — сказал старый художник, — а еще рассказы запоминаются не только по картинкам, но и по словам". Улугбек спросил, почему же другие мастера-художники не справились с задачей, хотя тоже знают все рассказы. "Это потому, — сказал старый мастер, — что они думают только о рисунке, искусстве, где сами обладают талантом, но забывают, что старые мастера делали эти рисунки к рассказам, написанным по воле Аллаха". Улугбек спросил: как же это может знать ребенок? "Ребенок не имеет об этом представления, — ответил старик, — просто я, старый и слепой художник, знаю, что Аллах создавал мир таким, каким его хотел бы видеть умный семилетний ребенок. Аллах создавал мир так, чтобы сначала его можно было видеть. А потом дал нам слова, чтобы мы могли поделиться увиденным, но мы из этих слов сделали истории и считали, что рисунок существует как дополнение к этим историям. Хотя на самом деле рисовать — это значит искать Аллаха и видеть вселенную такой, как видел он".

Джим

Художники всегда боялись слепоты и старались разными способами предупредить ее: например, арабские мастера на рассвете подолгу смотрели на запад, на горизонт; большинство художников Шираза по утрам натощак ели грецкий орех с толчеными лепестками роз. Сейит Мирек из Герата, учитель великого мастера Бехзада, относился к слепоте просто. Он считал, что слепота — это не беда, а счастье, посланное Аллахом художнику за то, что он всю жизнь посвятил красоте, созданной Всевышним. Только по памяти слепого художника можно понять, какой Аллах видит вселенную. Мастер Сейит Мирек привел пример с художником, желающим нарисовать лошадь. Даже самый бездарный художник, когда рисует лошадь, глядя на нее, все равно рисует по памяти, потому что нельзя одновременно смотреть на лошадь и на бумагу, на которой ее изображают. Художник смотрит на лошадь, а потом то, что запомнил, наносит на бумагу, даже если между этими двумя действиями проходит всего один миг. Когда великому мастеру Мирeку исполнилось семьдесят лет, султан Хюсейн Байкара[1] в качестве награды великому мастеру открыл перед ним закрытую на много замков сокровищницу, где хранились тысячи книг. Три дня и три ночи мастер Мирек при свечах рассматривал в легендарных книгах изумительные миниатюры, нарисованные старыми мастерами Герата. После этого он ослеп. Приняв новое состояние с пониманием и покорностью, великий мастер перестал разговаривать и рисовать. Художник, увидевший несравненные картины бесконечного времени Аллаха, не может вернуться к книжным страницам, сделанным для простых смертных; если память слепого художника достигает Аллаха,

1. Султан Хюсейн Байкара (1438–1506) — последний крупный правитель династии Тимуридов.

воцаряется безмолвие, счастливая темнота и бесконечность пустых страниц.

Я, конечно, понимал, что Кара задал мне вопрос мастера Османа о слепоте и памяти не столько для того, чтобы услышать мой ответ, сколько для того, чтобы спокойно осмотреться среди вещей и рисунков в моей комнате. И все же мне было приятно видеть, как внимательно он вникает в то, что я рассказываю. Я сказал ему:

— Слепота — это счастливая вселенная, где нет места шайтану и преступлению.

Меня зовут Эстер

Столько лет занимаюсь торговлей и сватовством, а не знаю ответа на вопрос: любовь делает людей глупыми или только глупые влюбляются? Наш Кара-эфенди не владеет собой и не может скрыть своих чувств, когда разговаривает о Шекюре даже со мной.

Он дал мне письмо и попросил срочно доставить Шекюре.

Я пошла переулками, с трудом передвигаясь по непролазной грязи. Дошла до нужного мне дома и закричала:

— Разносчица!

Дверь открылась, я вошла. Здесь, как обычно, пахло незастланной постелью, разогретым маслом, влагой — неприятный запах холостяцких домов.

— Чего кричишь, старая карга? — набросился на меня Хасан.

Я молча протянула письмо. Он быстро схватил его.

— Ну, чего он там написал? — спросила я.

Хасан прочитал:

"Уважаемая Шекюре-ханым, я тоже много лет жил с мечтой об одном человеке и поэтому понимаю и ценю, что ты ждешь мужа и не думаешь ни о ком, кроме него. Но я пришел к твоему отцу по делу, а вовсе не для того, чтобы тревожить тебя. Я и подумать не смел, что получу от тебя какой-либо знак. Когда в окне, как свет, показалось твое лицо, я воспринял это только как благосклонность ко мне Аллаха. Потому что мне достаточно счастья видеть твое лицо. ("Это он позаимствовал у Низами", — язвительно отметил Хасан.) *Но ты пишешь, чтобы я к тебе не приближался, скажи, разве ты ангел, что к тебе и приблизиться опасно? Ты вернула нарисованный когда-то мной рисунок. Для меня это знак того, что я нашел тебя. Не знак смерти. Я видел Орхана, одного из твоих сыновей. Бедный сирота. Я буду ему отцом!"*

— Здорово написал, — сказала я, — прямо настоящий поэт.

— Разве ты ангел, что к тебе и приблизиться опасно, — повторил Хасан. — Эти слова он украл у Ибн Зерхани[1]. Я могу лучше написать. — Он вынул свое письмо из кармана. — Отнеси это Шекюре и скажи ей, мы насильно приведем ее домой решением кадия.

— Так и сказать?

1. Ибн Зерхани — вымышленное автором лицо.

Хасан промолчал.

Я с радостью покинула мрачный и тоскливый дом. На улице вроде стало теплее. Я подумала, что мне хотелось бы видеть Шекюре счастливой. Хотя мне и жаль несчастного грубияна из холодного, неуютного дома.

Шекюре взяла письма и спросила про Кара. Я сказала, что любовный огонь нещадно сжигает его, ей это понравилось.

— Все, включая женщин, что не выходят из дома, говорят о гибели бедного Зарифа-эфенди, — переменила я тему.

— Хайрие, сделай халву и отнеси Кальбие, жене Зарифа-эфенди, — велела Шекюре.

— На похороны придут все эрзурумцы, будет очень много народу, — сообщила я. — Родственники говорят, что кровь мастера не останется неотмщенной.

Когда Шекюре дочитала письмо и улыбнулась мне, я, чтобы сделать ей приятное, спросила:

— Что пишет?

— Как в детстве... Влюблен в меня.

— А ты?

— Я замужем. Жду мужа.

— А другой что пишет? — спросила я.

— Не хочу сейчас читать письмо Хасана. Хасан знает, что Кара вернулся в Стамбул?

— Даже не подозревает об этом.

— Ты с Хасаном разговариваешь? — спросила моя красавица, раскрыв свои черные глаза.

— Приходится ради тебя.

— Ну и как он?

— Страдает. Он тоже очень любит тебя. Даже если твое сердце отдано другому, трудно будет тебе избавиться от Хасана.

Я — Ш*екюре*

Я перечитала письмо Хасана и снова подумала: от него ничего хорошего ждать не приходится. Только стала еще больше бояться его и в очередной раз порадовалась, что сумела противиться его приставаниям, когда мы жили под одной крышей. Потом внимательно прочла письмо Кара, держа его осторожно, как хрупкую вещь, которая может разбиться.

"Такой скверной женщине, как я, нужно выйти замуж за хорошего человека" — с этой мыслью я вошла к отцу.

— Когда наш Всемилостивейший Падишах увидит законченную книгу, он наградит вас, — сказала я. — Вы снова поедете в Венецию.

— Не знаю, — отозвался отец, — меня напугало это убийство. У нас сильные враги.

— Мое двусмысленное положение тоже придает им смелости, вызывает неверные толки. Мне следует поскорее выйти замуж.

— Что? — вскричал отец. — За кого? Ты ведь замужем.

— Вчера во сне я видела, что мой муж умер, — сказала я. — Но я не плакала, как положено женщине, увидевшей такой сон.

— Сон надо уметь читать, так же как рисунок.

— Можно я расскажу вам свой сон?

Наступило молчание, и мы улыбались друг другу, как люди, которые лихорадочно обдумывают сказанное, ища достойный ответ.

— Я могу истолковать твой сон и поверить, что он умер, но твой свекор и деверь, как и кадий, потребуют других доказательств.

— Прошло больше двух лет, как я с детьми вернулась сюда, но свекру и деверю не удалось увести меня обратно. И разве не вы говорили, что мне надо оформить развод, чтобы избавиться от приставаний деверя?

— Я не хочу, чтобы ты покидала меня. Твой муж может вернуться. А если и не вернется, я хочу, чтобы ты с новым мужем жила в этом доме. Главное, чтобы ты была здесь, со мной.

— Мое единственное желание — жить здесь и с вами.

— Я согласен принять зятя, который не увезет тебя в далекие края. Про кого ты говоришь? Он бывает в нашем доме?

Я смотрела в пол и молчала.

Потом пошла в боковую комнату, окно которой, выходящее на колодец, никогда не открывалось, в темноте на ощупь развернула свою постель[1] и бросилась на нее. Когда меня обижали в детстве, я вот так зарывалась в постель и рыдала, пока не засыпала.

Я — Эниште

Трудно быть отцом взрослой дочери. Слушая рыдания Шекюре, я перелистывал книгу о преображениях и воскресении: через три дня после смерти человека, читал я, душа, испросив разрешение Аллаха, отправилась навестить тело, в котором раньше пребывала. Увидев на кладбище тело, окровавленное, лежащее в грязной воде, душа огорчилась: “Бедное мое тело, мое любимое тело, в котором я обитала”. Я подумал о печальном конце Зарифа-эфенди. Может, и его душа огорчилась, увидев тело, только не на кладбище, а в заброшенном колодце.

Когда рыдания Шекюре затихли, я отложил книгу. Надел еще одну шерстяную рубашку, шаровары на кроличьем меху, крепко обвязался поясом из козьего меха и вышел из дома. У калитки увидел Шевкета.

— Дед, ты куда?

— На похороны. Иди домой.

Я не знаю, почему поминальную службу устроили в квартале Эдирнекапы, в мечети Михримах. Добравшись до места, я обнялся с братьями покойного, они казались несколько растерянными, были молчаливы и суровы. Поплакал с художниками и каллиграфами. Совершая намаз, я посмотрел на носилки с телом покойного, стоящие на каменной плите, и вдруг так разозлился на негодяя, совершившего это злое дело, что даже сбился с заупокойной молитвы.

1. Постели стелились на полу, а днем сворачивались.

После намаза, когда подняли носилки на плечи, я стоял среди художников и каллиграфов. Со слезами на глазах мы обнялись с Лейлеком, забыв, как по ночам, когда мы работали над книгой, он убеждал меня в отсутствии вкуса у Зарифа-эфенди: чтобы рисунок выглядел богаче, тот повсюду добавлял синей краски — а я понимал, что Лейлек прав, и говорил: "Ну нет людей". Мне понравилось, как дружески и уважительно смотрел на меня Зейтин, а потом обнял: человек, умеющий обнимать, — хороший человек; я в который раз подумал, что он больше других верит в мою книгу.

На лестнице у мечети мы столкнулись с Главным художником мастером Османом и оба растерялись.

Мастер Осман, конечно, был обижен на то, что падишах поручил изготовление книги, которую я называю "тайной", мне, а не ему. Под моим влиянием у падишаха появился интерес к европейской манере рисования. Падишах даже заставил мастера Османа скопировать свой портрет, сделанный итальянским художником. Мастер Осман с отвращением выполнил волю падишаха, назвав подражание итальянскому художнику "пыткой"; он считал, что я виноват в этом. И был прав.

На середине лестницы я посмотрел на небо и стал дальше спускаться по скользким ступеням. Тут кто-то взял меня под руку. Это был Кара.

— Очень холодно, — сказал он. — Вы не замерзли?

Я не сомневался, что это он смутил покой Шекюре. Уверенность, с которой он взял меня под руку, подтверждала это. Своим поведением он словно говорил: разве вы не видите, двенадцать лет я работал, человеком стал. Лестница кончилась.

— Иди вперед, сынок. Иди, догони всех. Потом расскажешь, что узнал в мастерской.

Интересно, если я отдам за него Шекюре, будет он жить в нашем доме?

И вдруг меня осенило: убийца Зарифа-эфенди — один из работающих у меня художников, и сейчас он вместе с толпой поднимается впереди меня на холм к кладбищу. Я был уверен, что убийца будет продолжать свое злое дело, он — враг моей книги, хотя я даю ему работу.

Ко мне подошел Келебек.

— Я прекращаю работу над книгой, — сообщил я ему.

— Как это? — удивился он.

— Несчастливая она. Да и падишах перестал платить. Скажи это Зейтину и Лейлеку.

Мы шли среди густых кипарисов, высокого папоротника и могильных камней. Он, наверно, еще что-нибудь спросил бы, но мы уже поднялись на холм. По тому, как стояла толпа, окружившая кладбище, по доносившимся молитвам и плачу я понял, что тело опускают в могилу.

Меня назовут убийцей

Когда изуродованный труп несчастного Зарифа-эфенди засыпали землей, я плакал громче всех. Я хочу умереть с ним, пустите меня, кричал я; меня держали, чтобы я не упал в могильную яму. По взгля-

дам родственников покойного я понял, что слишком громко рыдаю и кричу, и взял себя в руки. Сплетники из мастерской могли подумать, что между мной и Зарифом-эфенди была любовная связь, раз я так убиваюсь.

Чтобы не привлекать больше внимания, я спрятался за чинарой и оттуда стал наблюдать за происходящим.

В годы ученичества каждое утро кто-то из нас шел домой к мастеру Осману и, как это было принято, сопровождал его до мастерской, неся коробку с перьями, сумку, бумагу. У мастера Османа был любимчик, но если бы домой к учителю ходил только он, это питало бы ходившие в мастерской сплетни и непристойные шутки, поэтому мастер решил, что каждый из нас будет приходить к нему в определенный день недели. Покойный Зариф был сопровождающим по средам, и потому его прозвище было Чаршамба. Потом мастер поменял нам прозвища: Салы (Вторник) стал Зейтином, Джума (Пятница) — Лейлеком, Пазар (Воскресенье) — Келебеком; эти имена он дал с любовью и значением, а покойного, намекая на изящество его раскрасок, он назвал Зариф (Изящный).

На кладбище воцарилось молчание, и мне показалось, что все смотрят на меня. Заплакать, что ли? Но глаза мои уперлись в Кара. Мерзавец присматривается ко всем нам и пытается внушить, что он тот самый человек, которому наш Эниште-эфенди поручил разобраться в этом деле.

— Кто мог совершить такую подлость, — вскричал старший брат покойного, — кто посмел поднять руку на нашего брата, который за всю жизнь и мухи не обидел?

Я искренне присоединился к общему плачу и попытался поискать ответ на заданный вопрос. Были ли враги у Зарифа? Если бы его не убил я, кто другой мог бы это сделать? Было время, когда некоторые художники упрекали его, что он плохими красками портит рисунки, над которыми мы столько работали. Потом на него, кажется, злились за изящество, тонкость манер и какую-то женоподобную благовоспитанность. Зариф был рабски привязан к старым методам, усердно следовал принятым правилам гармонии красок и рисунка. Он любил вежливо, но с иронией указать при мастере Османе на якобы существующие недостатки у других художников, особенно у меня. Последний скандал в мастерской начался из-за заказов, выполняемых художниками на стороне. Тема эта была очень неприятна для мастера Османа. В последние годы интерес падишаха к работе мастерской угас, денег, выделяемых Главным казначеем дворца, становилось все меньше, и художники начали подрабатывать как могли, в основном рисовали для невежественных богатых пашей; самые же талантливые по ночам ходили к Эниште.

Меня не обидело, что Эниште решил прекратить работу над нашей книгой под тем предлогом, что она принесла несчастье. Конечно, он предполагал, что Зарифа-эфенди убрал кто-то из нас, работающих над книгой. Если бы вы были на его месте, стали бы вы звать к себе домой на ночную работу убийцу? Или вы сначала попытались бы определить, кто убийца? Если бы Эниште надо было выбрать из нас одного, лучшего художника, я не сомневаюсь, что он предпочел бы меня. Причем не за мой большой талант, а потому, что во мне никак нельзя заподозрить убийцу.

Я – Эниште

Утром в пятницу я говорил с Кара о книге, где наш падишах будет изображен в европейской манере. Начал я с того, как убедил падишаха согласиться на такую книгу. Но моей главной целью было поручить Кара написать к рисункам текст, за который я сам никак не мог взяться.

Писать уже можно было, так как большинство рисунков готовы, а последний – на стадии завершения. "Книга показывает вселенную нашего падишаха во всей полноте, – сказал я. – Лучшие художники мастерской сделали такие прекрасные рисунки, – заверил я Кара, – что, как только ты увидишь их, сразу поймешь, какой должен быть текст. Ты же знаешь, они всегда рядом: стихи и рисунок, цвет и слово".

Я задумался: пообещать, что отдам за него дочь? Будет ли он жить с нами в моем доме? Но тут же одернул себя: не смотри, что он слушает с таким вниманием, что у него такое детское выражение лица; он наверняка хочет сбежать с Шекюре. Однако, кроме Кара, у меня нет никого, кто мог бы закончить книгу.

Племянник вроде бы слушал меня, но в глазах его я видел нетерпение: он крутил монгольскую чернильницу, которую принес мне в подарок, брал железный прут и ворошил угли в очаге. Мне вдруг показалось, что он хочет убить меня, ударив этим прутом по голове. За то, что я отдалился от Аллаха. Предал традиции рисования, завещанные нам старыми мастерами Герата.

Я стал показывать ему рисунки, которые за год тайно сделали для меня мастера-художники. Увидев вдохновенно выписанные сцены смерти из "Шах-наме": отсечение Афрасиабом головы Сиявуша, убийство Сохраба Рустемом, не подозревающим, что убивает собственного сына, – Кара понял замысел книги. На рисунок, изображающий похороны Султана Сулеймана, выполненный в печальных тонах, я попытался пером нанести тени, как это делают европейские мастера. Я обратил внимание Кара на переплетения линии горизонта с очертаниями облаков, на необычное изображение смерти...

– Опиши этот рисунок, – попросил я. – Заставь смерть говорить, вот тебе бумага, вот чернила. Твой текст я сразу же отдам каллиграфу.

Некоторое время он молча смотрел на рисунок. Потом спросил:

– Кто это нарисовал?

– Келебек. Он самый талантливый. Мастер Осман уже столько лет восхищается им.

Я положил новый лист.

– Похожий рисунок собаки, только более грубый, я видел в кофейне у меддаха, – сказал Кара.

– Художники, которые работают на меня, всей душой привязаны к мастеру Осману и мастерской и не верят в новые методы, которыми я прошу их рисовать. Я думаю, что, выйдя отсюда в полночь, они потом в кофейнях откровенно издеваются надо мной и тем, что рисуют ради денег.

Я показал Кара все рисунки, кроме последнего, незаконченного. Я уговаривал его написать текст, рассказывал о характерах художников, сказал, сколько денег я им заплатил. Я рассказал ему обо всем, даже о том, что мы с Зарифом-эфенди обсуждали, не противоречит ли религии использование перспективы с помощью уменьшающихся деталей на зад-

нем плане, и что Зариф-эфенди любил деньги и, возможно, был убит из-за своей алчности.

Когда вечером Кара ушел домой, дав слово, что утром вернется, я не сомневался, что он будет работать над книгой. Стоя у раскрытой двери, я слушал затихающий звук его шагов, и было в холодной ночи нечто такое, что делало моего вероятного убийцу сильнее и хитрее меня.

Меня зовут Эстер

Рано утром я положила в узел заказанную мне фиолетовую и красную ткань на одеяла, взяла голубой китайский шелк, доставленный недавно на португальском судне, а зеленый отложила в сторону. Зима не собиралась отступать, поэтому я набрала шерстяных носков, толстых шерстяных поясов, разноцветных шерстяных жилетов и уложила их красиво, так, чтобы у самой равнодушной хозяйки дрогнуло сердце, когда я разверну перед ней узел. Подняла. У-ух, слишком тяжело. Позвоночник не выдержит. Опустила узел, стала смотреть, что бы выложить, и в этот момент в дверь постучали.

В дверях стояла продрогшая Хайрие. В руке письмо.

Я снова уложила узел, взяла письмо и вышла из дома. На утреннем холоде наш еврейский квартал с домами-развалюхами выглядел совсем жалким. Дойдя до улицы, где жил Хасан, я остановилась у его дома и закричала во весь голос:

— Продаю!..

Дверь открыл отец Хасана, очень вежливый абхаз. Едва я успела вынуть письмо, как из темноты появился Хасан и схватил его. Я, как всегда, молча ждала. Он быстро пробежал глазами коротенькое письмо:

— Больше ничего нет? — спросил он, отлично понимая, что нет. И прочитал вслух:

"Кара-эфенди, ты приходишь к нам в дом и сидишь целый день. Но, как я слышала, ты пока ни строчки не написал для книги моего отца. У тебя нет никакой надежды, пока ты не закончишь книгу".

Держа письмо в руке, он смотрел на меня с укором, будто я была виновата в том, что происходит. Не люблю я этот дом.

— Она больше не пишет, что замужем, что муж вернется с войны, — сказал он. — Это почему?

— Откуда мне знать, — ответила я. — Не я же пишу эти письма.

— Что это за книга отца Шекюре?

— Ты разве не слышал? Говорят, падишах платит за нее.

— Я слышал, что художники, работающие над этой книгой, убивают друг друга. То ли из-за денег, то ли из-за того, что рисунки в ней не угодны Аллаху. Говорят, кто посмотрит на эти рисунки, тотчас ослепнет.

От Хасана я отправилась на улицу, где жил Кара.

Поскольку Шекюре не написала о возвращении мужа, а слова "никакой надежды" связала с определенным условием, Кара, конечно, вправе надеяться. Я с интересом следила за тем, как он читал письмо. Радость на его лице сменилась беспокойством, даже страхом.

Выйдя из дома, я открыла кошелек, который дал мне Кара; там было двенадцать акча и письмо. Меня мучило любопытство, и я заторопилась к Хасану. Перед лавкой зеленщика были разложены капуста, морковь, огромный лук-порей, которые, казалось, звали: смотри, выбирай, но мне было не до овощей.

Пока Хасан разворачивал письмо, я сгорала от нетерпения: "Ну? Что там?" Он прочитал:

"Душа моя, Шекюре, ты хочешь, чтобы я закончил книгу твоего отца. Знай, что у меня нет никакой другой цели. Именно для этого я прихожу к вам в дом, а не для того, чтобы беспокоить тебя, как уже писал тебе. Я прекрасно понимаю, что моя любовь к тебе – это мое личное горе. Но из-за этой любви я никак не могу написать то, что хочет твой отец, мой Эниште, для своей книги. Как только я чувствую твое присутствие в доме, я замираю и не могу помогать твоему отцу. Этому одна причина: через двенадцать лет я лишь однажды видел твое лицо в окне и очень боюсь забыть это видение. Если бы я еще раз увидел твое лицо вблизи, я перестал бы беспокоиться и легко закончил книгу твоего отца. Шевкет вчера водил меня в дом повешенного иудея. В этом пустом доме нас никто не увидит. Приходи туда сегодня, когда тебе удобно, я буду ждать. По словам Шевкета, ты видела во сне, что твой муж умер".

– Я знаю, какой Шевкет умный и сообразительный, ведь мы столько лет жили вместе! Без разрешения, более того, настояния матери Шевкет не повел бы Кара в дом повешенного иудея. Но напрасно Шекюре надеется вычеркнуть из своей жизни моего брата и нас! Мой брат жив и вернется с войны. А Шекюре будет наказана, если перестанет ждать его. – С этими словами Хасан отдал мне письмо.

Я – Ш*екюре*

– Моя черноглазая, красавица моя, счастье мое, я задержалась, потому что этот дармоед, мой муж Несим, никак не отпускал меня, – сказала Эстер. – Радуйся, что у тебя нет мужа-деспота.

Она вытащила письма. Взяв их, я повернулась спиной к Эстер, чтобы она не видела моего лица и прочла сначала письмо Кара. Подумав о доме повешенного иудея, невольно вздрогнула, но тут же успокоила себя: не пугайся, Шекюре, все будет хорошо, и стала читать второе письмо. Хасан был почти в бешенстве.

"Шекюре-ханым, я погибаю от любви к тебе, но тебе нет до этого дела. По ночам во сне я вижу себя на пустынном холме, мчащимся за твоим призраком. Я знаю, что ты читаешь мои письма, но, поскольку ты оставляешь их без ответа, в сердце моем живет постоянная боль. Пишу в надежде, что ответишь хоть на это письмо. По слухам, ты рассказываешь детям, что видела во сне, будто твой муж умер и ты теперь считаешь себя свободной. Не знаю, правда ли это. Но пока ты все еще – жена моего брата и тебе надлежит жить в нашем доме. Отец считает, что я прав, и сегодня мы идем к кадию, чтобы вернуть тебя домой. Мы пойдем не одни, а возьмем свидетелей, передай это своему отцу. Собирай вещи, ты возвращаешься домой. Срочно пришли ответ с Эстер".

Я посмотрела на Эстер и ничего не сказала; она поняла, что ответного письма не будет, поднялась и ушла.

Я открыла Коран, прочитала в честь покойного мужа суру "Семейство Имран", где говорится, что те, кто погибает, сражаясь за Аллаха, отправляются в рай, и немного успокоилась. Показал ли отец Кара неоконченный портрет падишаха? Отец говорил, что изображение властителя будет столь правдивым, что каждому, кто взглянет на него, будет казаться, что падишах смотрит ему прямо в глаза, и человек в страхе отведет взор.

Я позвала Орхана, усадила на колени, обняла, поцеловала в щеки:

— Сейчас ты пойдешь к деду и отдашь Кара бумажку, понял?

— У меня зуб шатается.

— Когда вернешься, я его вырву, если хочешь. А сейчас иди к Кара, он удивится, обнимет тебя, и ты тихонько отдашь ему бумажку.

— Я боюсь.

— Бояться нечего. Если не Кара, знаешь, кто хочет быть твоим отцом? Дядя Хасан! Ты хочешь, чтобы дядя Хасан был твоим отцом?

— Не хочу.

— Тогда иди, иди, мой умный сын. Иначе я рассержусь, а будешь плакать — рассержусь еще больше.

Когда Орхан вернулся, я обняла его, а потом мы спустились в кухню, и я набила ему рот его любимым изюмом.

Кара еще не ушел. Если я сейчас наткнусь на отца, то скажу, что иду с детьми за рыбой. Я спустилась по лестнице неслышно, как кошка.

Осторожно открыла и тихонько закрыла за собой дверь. Неслышно пересекла двор, у калитки приостановилась, выглянула из-под покрывала: наш дом показался мне чужим.

На улице никого не было. Кружились редкие снежинки. С опаской я вошла в сад, в который никогда не заглядывало солнце. Сгнившие листья пахли влагой и смертью. Но как только я оказалась в доме повешенного иудея, мне стало спокойней. По слухам, ночью здесь собираются джинны, они разжигают очаг и веселятся. Жутковато было слышать собственные шаги в пустом доме: я остановилась и замерла. В саду послышался шорох, но тут же опять воцарилась тишина.

Я уже начала сожалеть, что пришла сюда.

Но тут дверь распахнулась, Кара перешагнул порог и остановился. Мне понравилось, как он молча смотрел мне в глаза.

— Замужество и материнство сделали тебя еще красивее. А лицо стало совсем другим.

Мы обнялись. Мне было так приятно, что я даже не чувствовала себя виноватой. Я забыла обо всем, отдавшись сладкому ощущению. Обняла его еще раз. Позволила поцеловать себя, сама его поцеловала. Мне хотелось, чтобы весь мир обнимался, как мы. Неужели ко мне снова пришла любовь? Я ощутила его язык у себя во рту. Мне было так хорошо, казалось, отныне ничего плохого со мной не случится.

Кара положил ладони мне на грудь. Это было так приятно, захотелось, чтобы он взял соски в рот. Но он этого не сделал. Он вообще плохо соображал. Желание распирало его. Когда мы слишком плотно прижались друг к другу, нам вдруг стало страшно и стыдно. Но сначала мне нравилось, что он крепко держит меня за бедра, а в живот мне упирается сильный твердый член; я не стеснялась, я даже подумала с гордостью, конечно, все правильно, раз тебя так обнимают. Потом, когда он спустил штаны, я хотела отвернуться, но не смогла.

Кара стал склонять меня совершить бесстыдство, на которое не всегда соглашались даже дурные женщины, рассказы о которых я слышала в бане.

Но я с криком отпрянула от него.

Меня назовут убийцей

То, о чем я сейчас расскажу, произошло вроде бы сегодня, а вроде бы и давно. Был вечер, темнело, падал редкий снежок. Я шел по улице, где живет Эниште-эфенди.

В отличие от прежних вечеров, я пришел сюда полный решимости и точно зная, чего хочу. Прежде я бродил здесь, думая о посторонних вещах, например о книгах из Герата, дошедших до нас со времен Тимура, на обложках которых было изображено солнце, но не бывало звезд, или о том, как сказал матери, что заработал за книгу семьсот акча. На сей раз все было не так: у меня была конкретная цель.

Я потянулся к массивной калитке, собираясь постучать, и вдруг она сама открылась, я подумал, что это хороший знак. Я впервые пришел сюда так рано – обычно приходил ночью, приносил рисунки к книге Эниште-эфенди. Во дворе никого не было.

Поднявшись в дом, я вошел в комнату, где, по моим представлениям, спала Шекюре с детьми: постели, сундук, шкаф. В комнате ощущался легкий запах миндаля.

– Хайрие, – раздался голос Эниште-эфенди, – Шекюре, кто там из вас?

Я мгновенно вышел, пересек прихожую, вошел в комнату в голубых тонах, где мы работали для книги Эниште-эфенди, и сказал:

– Это я, Эниште-эфенди.

– Кто ты?

Я вдруг понял, что прозвища, которыми нас наградил в детстве мастер Осман, были поводом для насмешек над нами Эниште-эфенди, и отчетливо произнес свое полное имя, сказал, откуда я родом и имя отца – так увековечил бы себя знающий себе цену каллиграф на последней странице переписанной им книги; в конце я обозначил свое прозвище и добавил: "ваш скромный грешный раб".

– Вот как? – удивился Эниште-эфенди и повторил: – Вот как! Пришел, значит? Добро пожаловать, сынок, говори, что тебе нужно?

Я молчал.

– Ты боишься, сынок? – ласково спросил Эниште-эфенди. – Из-за рисунков?

В комнате было так темно, что я не видел его лица, но мне показалось, что он улыбается.

– Наша книга давно перестала быть тайной, – сказал я. – Может, это и не важно. Но о ней говорят повсюду. Говорят, что мы предали нашу религию, что мы готовим не ту книгу, что заказал и ждет падишах, а совсем другую ради своего развлечения, и книга эта греховна: там и насмешка над падишахом, и неверие, и безбожие, и подражание мастерам-гяурам. Говорят даже, что в нашей книге сатана изображен привлекательным созданием. Ходят слухи, что мы смотрим на мир глазами грязной уличной собаки, издеваемся над верующими, идущими в

мечеть, и оскорбляем ислам, так как мечеть на наших рисунках — одной величины с пчелой, и это якобы потому, что она стоит на заднем плане. Мысли об этом не дают мне уснуть.

— Когда мы рисовали, — сказал Эниште-эфенди, — разве мы думали о чем-нибудь подобном?

— Да защитит нас Аллах! — воскликнул я, изображая негодование. — Не знаю, где они слышали, но говорят еще, что есть последний рисунок, так там безбожие и оскорбление предстают уже совершенно откровенно.

— Ты же видел последний рисунок.

— По вашей просьбе я рисовал крупные листья в углах рисунка, но целиком его не видел. Если бы я видел его весь, я бы не поверил гнусной клевете и совесть моя была бы чиста.

— В чем ты чувствуешь себя виноватым? — спросил он. — Что тебя мучает?

— Когда нападкам подвергается книга, над которой человек старательно работал многие месяцы и считает ее священной, он испытывает адские муки. Я должен увидеть весь последний рисунок.

— Для этого ты и пришел?

— Конечно! Вы же знаете слова Пророка о том, что в Судный день Аллах особенно сурово накажет художников. Покойный Зариф-эфенди испугался последнего рисунка. Он говорил, что это сатана сбил нас с пути, заставил изображать перспективу, следовать методам европейских мастеров. Он считал, что не только перспектива, то есть видение мира не глазами Аллаха, а глазами уличной собаки, но и смешение наших приемов с приемами европейских мастеров лишает нас чистоты и ставит в положение рабов, и это тоже проделки сатаны.

— Художник, — возразил Эниште-эфенди уверенно, — рисует, повинуясь своей совести, в соответствии с правилами, в которые он верит, и ничего не боится. Ему нет дела до того, что скажут его враги, ученики или завистники. Вот я, например, не боюсь никого. Потому что не боюсь смерти.

— Давайте докажем, что мы не боимся, — предложил я смело. — Покажем всем последний рисунок.

— А не будет ли это означать, что мы всерьез принимаем их клевету? Мы ведь не сделали ничего, чего стоило бы бояться. Почему тебе так страшно?

— Я знаю, почему был убит несчастный Зариф-эфенди, — взволнованно произнес я. — Он оклеветал вас, вашу книгу и собирался натравить на нас людей Нусрета Ходжи из Эрзурума. Он считал, что мы делаем дьявольское дело, и говорил об этом повсюду, он подстрекал против вас других художников, работающих над вашей книгой. Я не знаю, почему он так поступал. То ли от зависти, то ли сатана нашептал. О том, что Зариф-эфенди был полон решимости уничтожить нас, слышали и другие художники, работающие над вашей книгой. Можете представить себе, как все, в том числе и я, перепугались и засомневались. Видимо, кто-то из художников не выдержал, убил негодяя и бросил в колодец.

— Негодяя?

— У Зарифа-эфенди был ужасный характер, он оказался гнусным предателем, — заорал я, будто сам Зариф стоял передо мной.

Воцарилось молчание.

— Давайте продолжим работу над вашей книгой, — сказал наконец я. — Пусть все будет по-прежнему.

— Но среди художников есть убийца. Поэтому я буду работать только с Кара.

"Он что, хочет, чтобы я и его убил?"

Я встал с места, прошел за спиной Эниште-эфенди мимо стоящих на рабочей доске знакомых стеклянных, керамических, хрустальных чернильниц и взял в руку новую большую чернильницу из бронзы. Иногда во сне мы видим себя со стороны и испытываем ужас. Нечто подобное испытал я, когда, сжимая в руке эту массивную чернильницу с узким горлышком, сказал:

— Такие чернильницы я видел, когда был десятилетним учеником.

— Это монгольская чернильница, ей триста лет, — сказал Эниште-эфенди. — Кара привез из Тебриза. Специально для красных чернил.

Сатана подбивал меня опустить чернильницу на старческую голову. Но я удержался. И признался неожиданно для себя:

— Это я убил Зарифа-эфенди.

Вы ведь понимаете, почему я сказал это? Я надеялся, что Эниште-эфенди меня поймет и простит. Испугается и поможет мне.

Я — Эниште

Когда он выпалил, что убил Зарифа-эфенди, в комнате повисла тишина. Я подумал, что он и меня убьет. Сердце у меня учащенно билось. Он пришел убить меня или признаться и напугать? Чего он хочет? Я подумал, что много лет знаком с талантом и мастерством этого замечательного художника, но совершенно не знаю его души, и испугался. С массивной чернильницей в руке он стоял за моей спиной, склоняясь прямо над затылком, но я не повернулся, чтобы взглянуть ему в лицо.

— А как получилось, что ты его убил? Как вы встретились у того колодца? — Я хотел всего лишь потянуть время.

Но он охотно стал рассказывать:

— В ту ночь Зариф-эфенди от тебя пришел прямо ко мне и сказал, что видел последний рисунок. Он был сильно напуган. Я старался убедить его не поднимать шума, повел на пустырь, сказал, что недалеко от колодца у меня спрятаны деньги и я отдам их ему, если он будет молчать. Он поверил. Ради денег он был готов на все. Мне не очень жаль его, он был посредственный художник. Чтобы получить деньги, он готов был ногтями скрести мерзлую землю. Если бы у меня действительно были закопаны золотые возле колодца, я не стал бы убивать его. Зариф-эфенди раскрашивал рисунки, у него была твердая рука, но краски он подбирал плохо. Я убил его, не оставив никаких следов. Скажи мне, что такое стиль? Сейчас европейцы и китайцы говорят о манере, о стиле художника. Должен ли быть у художника собственный стиль?

Тут он несмело взглянул на меня и неожиданно мягким голосом спросил:

— У меня есть свой стиль? — Он дрожал, как девица, защищающая свою честь.

Мне стало жаль его до слез. Стараясь быть ласковым и доброжелательным, я сказал:

— Ты — самый талантливый, у тебя самые искусные руки, самый острый глаз из всех художников, что я видел за шестьдесят с лишним лет. Если передо мной положат тысячу рисунков, я тотчас признаю тот, которого коснулось твое восхитительное перо.

— Я тоже так думаю, — признался он, — но тебе не дано понять тайну моего таланта. Сейчас ты лжешь, потому что боишься меня.

— Твое перо как будто само, без твоего участия находит правильную линию, — продолжал я. — Я часто смотрю на твои работы и каждый раз вижу новый смысл, как бы это поточнее сказать, заново читаю рисунок, как текст. Слои смысла выстраиваются один за другим, и возникает глубина, достигаемая европейцами с помощью перспективы.

— Хорошо. Оставь европейских мастеров. Продолжай.

— Твое перо настолько прекрасно и убедительно, что человек, рассматривающий твой рисунок, верит не в реальный мир, а в изображенное тобой. Поэтому ты можешь сбить с пути истинного даже очень глубоко верующего человека, а можешь вернуть на путь Аллаха самого убежденного безбожника.

— Правильно, хотя не знаю, похвала ли это. Продолжай.

— Ни один художник не знает так глубоко, как ты, свойства и секреты красок. Ты всегда используешь самые яркие, самые живые, самые натуральные цвета.

— Ладно. А еще?

— Ты знаешь, что ты самый большой художник после Бехзада и Мир Сейита Али.

— Да, я знаю. Но раз и ты это знаешь, почему ты делаешь книгу не со мной, а с этим никчемным Кара?

— Во-первых, работа, которую он делает, не требует таланта художника. А во-вторых, он не убийца, как ты.

Он со всей силой опустил чернильницу мне на голову.

От удара я качнулся вперед. Я почувствовал ужасную, неописуемую боль. На какой-то миг весь мир погрузился в эту боль и стал желтым.

Он нанес второй удар.

На этот раз я осознал, что происходящее — не случайность, это безумие, гнев, а в результате он меня убьет. От страха и боли я закричал. Если бы можно было нарисовать мой крик, он был бы зеленого цвета. Я понимал, что рядом никого нет и никто не увидит этого цвета ни в пустом доме, ни на темной улице.

Он испугался моего крика и замер. Глаза наши встретились. В его взгляде наряду с испугом и стыдом я прочитал решимость довести начатое до конца. Это был не мастер-художник, с которым я еще недавно работал, а кто-то чужой и злой, с кем у меня не могло быть общего языка. Я попытался схватить его за руку, словно в этом было спасение. Нет, не помогло. Я умолял или думал, что умоляю: сынок, не убивай меня. Он был как будто во сне и не слышал меня.

Я почувствовал новый удар.

"Как жаль, что последним, кого я видел, был мой враг", — пронеслось у меня в голове. Я закрыл глаза, и меня сразу обволокло теплым, мягким светом. Он был удивительно приятный, как сон, который сейчас уймет мою боль. Внутри света я увидел какой-то силуэт. И, как ребенок, спросил:

– Ты кто?

– Я – Азраил, – прозвучало в ответ. – Я кладу конец земному пути сынов человеческих. Это я разлучаю матерей и детей, жен и мужей, влюбленных, отцов и дочерей. Нет ни одного живого существа в этом мире, которое избежало бы встречи со мной.

Я понял, что это – смерть, и заплакал.

Я умирал от жажды, но с надеждой ждал. Приди, доченька, приди, моя красавица Шекюре.

Она не пришла.

Я – Ш*екюре*

Войдя во двор, я сразу поняла, что Хайрие и дети не вернулись. Впрочем, еще не поздно, еще не звучал вечерний азан. В доме пахло померанцевым вареньем. Я поднялась по лестнице; в комнате отца было темно. Я переоделась в домашнее и хотела было посидеть в тишине и помечтать, но тут услышала шорох внизу, прямо подо мной, то есть не в кухне, а в летней мастерской. Неужели отец спустился туда в такой холод? Но я не заметила, чтобы там горел свет. Скрипнула калитка во дворе. Когда вслед за этим раздался громкий лай собак, меня охватило беспокойство.

– Хайрие, – закричала я, – Шевкет, Орхан...

Мне было холодно. "У отца в комнате горит мангал, – сказала я себе, – пойду посижу с ним, согреюсь".

Взяв свечу, я пошла к отцу. В голубой комнате был ужасный беспорядок, и я рассеянно подумала: не похоже на отца.

А потом посередине комнаты увидела его.

Я ужасно закричала. Громко окликнула его. Он не отозвался. Он был мертв.

Некоторое время я прислушивалась к тишине. Потом взяла отца за ноги и вытащила в прихожую. Он был тяжелый, но я все же стала спускать его с лестницы. Голова бедного отца была настолько разбита, что, ударяясь о ступеньки, производила звук, какой бывает от удара тряпичной куклой. Внизу тело стало почему-то полегче, и я одним махом протащила его мимо конюшни через двор и дальше, в летнюю мастерскую. Здесь было совсем темно, и я побежала на кухню за свечой. Когда я вернулась, то была потрясена, увидев, какой погром учинен и здесь.

– О, Аллах! Кто мог это сделать?

Я крепко закрыла дверь, взяла на кухне ведро, принесла воды из колодца и смыла кровь в прихожей и на лестнице. Я сделала все очень быстро. Поднялась в свою комнату, сняла запачканную кровью одежду, надела чистую. Я уже собиралась с ведром и тряпкой пойти в комнату отца, как услышала, что открывается калитка. Я собрала все свое мужество и замерла, стоя на верхней ступеньке лестницы.

– Мама, мы пришли, – раздался веселый голос Орхана.

– Тише! – оборвала я его. – Дедушка заболел.

Дети с шумом взбежали по лестнице, разулись.

– Ш-ш-ш, – приложила я палец к губам и подтолкнула их в сторону нашей комнаты, – дедушка спит, не ходите туда.

Я спустилась на кухню.

— Кто-то опрокинул варенье из померанца, — доложила Хайрие. — Кошка этого не смогла бы сделать, собака сюда не входит. — Тут она увидела выражение ужаса на моем лице и спросила: — Что случилось? Что-то с отцом?

— Он умер. Он лежит в летней мастерской.

Она подозрительно посмотрела на меня, взяла свечу и вышла. Я видела, как она быстро пробежала через двор, открыла дверь и, подняв свечу, стала всматриваться в холодную тьму комнаты. Отец лежал у порога, и Хайрие не сразу увидела его, а увидев, вскрикнула.

— Послушай, Хайрие, — сказала я, когда она вернулась на кухню, — наверху тоже все перевернуто; нечестивец и в комнате все перебил и переломал. Там он разбил отцу голову и лицо, там убил его. Чтобы дети не увидели и чтобы ты не испугалась, я перетащила отца вниз. Я вслед за вами ушла из дома. Отец был один.

— А где ты была? — спросила она вызывающе.

Я помолчала немного, а потом сказала:

— Я была с Кара. Мы встретились в доме повешенного иудея. Но ты никому не скажешь об этом. Так же как никому пока не скажешь, что отец убит.

— Кто его убил?

Или она совсем дурочка, или нарочно задала этот вопрос, чтобы позлить меня.

— Если бы я знала, то не скрывала бы, что он мертв, — ответила я. — Не знаю. А ты знаешь?

— Откуда мне знать? Что же мы теперь будем делать?

— Будешь вести себя так, будто ничего не произошло, — сказала я. Слезы душили меня, но я сдержалась.

Мы принесли воды из колодца, совершили омовéние, потом я взяла любимый Коран отца гератской работы и прочитала суру “Семейство Имран”, которую он очень любил и всегда читал, если речь заходила о надежде и смерти.

Мы навели порядок, насколько это было можно; я не позволила Хайрие постелить постель в нашей комнате. Сказала, что дети поутру заподозрят неладное. Я легла, но долго не могла уснуть. Не оттого, что думала об ужасе произошедшего, а потому, что раздумывала, что будет со мной.

Меня зовут Красный

Цвет — это прикосновение к глазу, музыка глухих, слово, звучащее в темноте. Тысячи лет я слушаю, как в книгах и предметах разговаривают души — это похоже на гул ветра, — и потому смею утверждать, что коснуться меня — все равно что коснуться ангела. Я состою из двух частей: тяжелой — она здесь и разговаривает с глазами людей — и легкой — она летает в воздухе с вашими взглядами.

Я счастлив, что я красный! У меня нутро горит, я сильный, я заметный, я знаю, что меня трудно пересилить.

Я не прячусь: для меня главное — не тонкость, изящество и нежность, а решимость и воля. Я выступаю открыто. Я не боюсь других цветов, теней, нагромождений или одиночества. Как это прекрасно:

заполнить поверхность своим победным огнем! Там, где появляюсь я, глаза сверкают, страсти кипят, брови поднимаются, сердца учащенно бьются. Посмотрите на меня: жизнь прекрасна! Понаблюдайте за мной: видеть — это восхитительно! Жить — значит видеть. Я виден везде. Жизнь начинается со мной, и все возвращается ко мне, поверьте.

Помолчите и послушайте, почему я так ослепительно красен. Мастер по краскам приготовил пять дирхемов порошка, который он делает, измельчая в ступке в пыль самых красных засушенных насекомых из самых жарких областей Индии, дирхем травы мыльнянки и полдирхема еще одной степной травы. Налил в кастрюлю три окка воды и вскипятил мыльнянку. Добавил траву и тщательно перемешал. Поставил на огонь и кипятил, пока не настало время выпить чашечку крепкого кофе, чтобы просветлить ум и обострить зрение. Мастер пьет кофе, а я — в нетерпении, как ребенок, который должен скоро родиться. Мастер бросил в кастрюлю красный порошок и как следует перемешал специально предназначенными для этого чистыми тонкими палочками. Сейчас появится по-настоящему красный цвет; главное — консистенция; важно не перекипятить. Мастер взял палочкой каплю краски и капнул на ноготь большого пальца (другие пальцы ни в коем случае не годятся). Как хорошо быть **красной** краской! Я окрасила ноготь в красный цвет, не потекла, как вода, к краям ногтя: консистенция неплоха, но есть осадок. Мастер снял кастрюлю с огня, процедил меня через чистую тряпочку, я стала чище. Снова поставил на огонь, дал два раза вскипеть, добавил слегка взбитые квасцы и отставил в сторонку — остывать.

Прошло несколько дней. Я покоилась в кастрюле. Сердце болело от этого покоя — ведь надо, чтобы мною раскрашивали рисунки, использовали повсюду. Я стала думать, что же это такое — быть красной краской, давать красный цвет?

Как-то в персидском городе, где слепой художник по памяти рисовал оседланную лошадь, а ученик раскрашивал узоры на седле, я услышала разговор двух мастеров.

Тот, что рисовал по памяти, сказал:

— Всю жизнь мы работали с воодушевлением и верой и потому в конце жизни ослепли; мы видели и знаем, каков красный цвет, какое чувство он вызывает. А если бы мы от рождения были слепые, как мы поняли бы эту красную краску, которую наносит на бумагу наш ученик?

— Хороший вопрос, — сказал второй, — но цвет нельзя понять, его можно почувствовать.

— Тогда объясни тому, кто ни разу не видел, чувство красного цвета.

— Если бы мы могли прикоснуться к нему кончиком пальца, было бы ощущение железа или меди. Если бы взяли в руку, обожглись бы. На вкус этот цвет оказался бы сытным, как соленое мясо. Он быстро заполнил бы рот. Запах у него резкий, как у коня. А если сравнить этот запах с цветком, то цветок оказался бы ромашкой, а не красной розой.

Сто десять лет назад, когда еще не было опасности в виде европейской живописи, наши прославленные великие художники, верящие в свои правила, как в Аллаха, смеялись над тем, что европейцы для изображения сабельной раны или обыкновенного сукна употребляют разные оттенки красного цвета; наши мастера воспринимали это как неуважение и невежество. Только неумелый, нерешительный

и безвольный художник, считали они, использует для красного кафтана красный цвет особого оттенка. И тень не может быть тому оправданием: есть только один красный цвет, и только ему можно верить.

— А каков смысл красного цвета? — спросил слепой художник.

— Смысл любого цвета состоит в том, что он перед нами, что мы его видим, — ответил другой. — Тому, кто не видел красного цвета, невозможно объяснить его.

— Неверные, еретики, безбожники говорят, что Аллаха нет, потому что его не видно, — сказал первый.

— Он виден тем, кто умеет видеть, — возразил второй. — В Коране говорится, что никогда не сравнится слепой и зрячий.

Красивый ученик потихоньку наносил меня на седло. Я заполняла контуры рисунка, передавала ему свою живость и силу; это было очень приятное чувство, и мне было щекотно от радости, когда я распространялась по бумаге при помощи кисточки из кошачьего пуха. Я раскрашиваю мир, говорю ему: "Будь!", и он становится моего кровавого цвета. Кто-то, может, и не видит этого, но поверьте, я есть, я живу повсюду.

Я — Шекюре

Утром я встала раньше, чем проснулись дети, написала коротенькую записочку Кара с просьбой немедленно прийти в дом повешенного иудея и сунула ее Хайрие, чтобы та срочно отнесла Эстер.

Хайрие быстро вернулась и собрала завтрак. Когда она подавала оставшееся варенье из померанца, я подумала, что Эстер, наверно, уже стучит в дверь Кара. Снег перестал, выглянуло солнце.

Я вошла в дом повешенного иудея. Кара уже ждал меня. Мне казалось, что со вчерашнего свидания прошло много недель. Я приподняла покрывало и сказала:

— Радуйся, если можешь: мой отец не будет нам мешать, не будет противиться. Вчера, когда ты забавлялся здесь со мной, какой-то негодяй вошел в наш дом и убил его. Убийца разгромил весь дом, многое перебил, видно действовал, ослепленный гневом и ненавистью. Он украл последний рисунок из книги отца. Я хочу, чтобы ты защитил меня, нас, книгу отца от этого мерзавца. Но в качестве кого ты будешь защищать нас, по праву какой близости — это вопрос.

Он хотел что-то сказать, но я взглядом остановила его, будто всегда так делала.

— Кадий скажет, что после смерти отца моим покровителем должен быть мой муж или его семья. Честно говоря, так было и до смерти отца, потому что кадий считает, что мой муж жив. Брат мужа повел себя неприлично, а свекор — беспомощный старик, я воспользовалась этим и перебралась к отцу до того, как стала вдовой. Теперь, когда умер отец и у меня нет брата, считается, что я осталась совсем без опекуна. Или, что очевидно, мои опекуны — брат мужа и свекор. Ты знаешь, они хотят заполучить меня обратно. Как только они услышат, что отец умер, они немедленно станут действовать, чтобы вернуть меня к ним в дом. Посколь-

ку я не хочу возвращаться, я пока никому не сообщала, что отец убит. Хотя, возможно, это сделали они.

Пучок солнечных лучей победно просочился через сломанные ставни сквозь слежавшуюся за годы пыль и осветил пространство между мною и Кара.

— Я скрываю смерть отца не только поэтому, — продолжала я, глядя в глаза Кара и радуясь тому, что он смотрит на меня скорее с вниманием, чем с любовью. — Я боюсь, что не сумею объяснить, где я была, когда убивали отца. Хотя свидетельство Хайрие ничего не стоит, все же я боюсь, что ее могут использовать; она может знать, например, что отец не хотел, чтобы я вышла за тебя.

— А твой отец действительно не хотел, чтобы мы поженились?

— Не хотел, потому что он, как ты знаешь, опасался, что ты увезешь меня из дома. Но теперь отец не может нам помешать и не выскажет никаких возражений против нашей женитьбы. А ты?

— Нет, дорогая.

— Хорошо. От тебя не требуется никаких денег. Извини, что я так беззастенчиво сама обговариваю условия нашей женитьбы. Но, к сожалению, я вынуждена действовать очень быстро, и у меня есть некоторые условия.

Кара сказал:

— Слушаю тебя.

— Первое, — начала я, — ты поклянешься при двух свидетелях, что́, если будешь невыносимо плохо обращаться со мной или возьмешь в дом вторую жену, то дашь мне развод и обеспечишь средствами к существованию. Второе: ты поклянешься при двух свидетелях, что, если ты покинешь дом и будешь отсутствовать больше шести месяцев, я могу считаться разведенной и просить пособие. Третье: после женитьбы ты переберешься в мой дом, но пока ты не найдешь или не будет найден убийца, которого я хотела бы пытать своими руками, и пока ты, приложив все старания, не закончишь книгу и не преподнесешь ее падишаху, ты не будешь делить со мной постель. И четвертое: ты будешь любить моих сыновей, как своих собственных детей.

— Согласен.

— Хорошо, если ты согласен на мои условия, мы очень быстро поженимся.

— Стало быть, поженимся, но не будем спать в одной постели.

Меня зовут Кара

Несчастная, осиротевшая моя Шекюре удалилась легкими, как пух, шагами. Оставшись один в доме повешенного иудея, я вдыхал оставленный ею запах миндаля и мечтал о женитьбе. В голове моей была сумятица, но соображал я на удивление быстро. Скорбеть по поводу смерти Эниште не было времени; я почти бегом отправился к имаму[1].

Имама-эфенди, который вечно казался сонным оттого, что большие черные глаза его были всегда полуприкрыты, я застал во дворе мечети;

1. Имам — духовное лицо, главный служитель мечети.

я задал ему очень распространенный юридический вопрос: когда обязательно представлять свидетелей и когда необязательно.

При этом я развязал кошелек и показал ему венецианские золотые: казалось, не только лицо имама, а весь просторный двор мечети озарился блеском этих монет. Он спросил, какое у меня дело.

Я объяснил, кто я. Сказал, что Эниште-эфенди болен. Он хочет, чтобы прежде, чем он умрет, было засвидетельствовано вдовство его дочери и ей было бы назначено содержание.

Имам-эфенди обещал пойти ко мне в свидетели и привести своего брата. Если один золотой я дам для брата, добавил он, это будет очень доброе дело. Брат хорошо осведомлен о страданиях Шекюре и милых сирот. Мы договорились. Имам-эфенди отправился к брату.

Помощник кадия Ускюдара[1] выслушал свидетелей и строго спросил, кто является опекуном Шекюре. Я ответил, что опекун — ее уважаемый отец, бывший посол нашего падишаха в Венеции.

— Ну разведу я ее, и что?! — сказал помощник кадия. — Почему это умирающий так хочет видеть свою дочь разведенной с давно пропавшим без вести мужем? Вот если есть надежный человек, за которого дочь может выйти замуж, тогда я понимаю, он умрет спокойно.

— Есть такой человек, — сказал я.

— Кто он?

— Это я!

— Это невозможно! Ты — доверенное лицо! Чем ты занимаешься?

— Я служил писцом и каллиграфом у пашей в восточных землях, был помощником по финансовой части. Я написал историю войн с персами, которую собираюсь преподнести падишаху. Я разбираюсь в миниатюре. Я двенадцать лет сгораю от любви к этой женщине.

— Ты ее родственник?

— Она дочь моей тети.

— Понятно. Ты сможешь сделать ее счастливой?

— Я достаточно обеспечен.

— Согласно Корану и верованиям шафиитов[2], — объявил помощник кадия, — нет никаких препятствий к тому, чтобы развести несчастную Шекюре с мужем, отсутствующим четыре года. Шекюре считается разведенной, и даже если муж вернется, он не будет иметь на нее прав.

Помощник внес в реестр запись о разводе и дал мне бумагу с печатью о том, что моя Шекюре отныне считается вдовой и нет никаких преград к тому, чтобы она немедленно снова вышла замуж.

— Все в порядке, — я показал Хайрие бумаги, полученные от кадия. — Шекюре разведена. И про женитьбу я с имамом сговорился. Пусть Шекюре будет готова.

— Шекюре-ханым хочет позвать соседей. И чтобы был свадебный кортеж. В качестве свадебного угощения мы приготовим плов с миндалем и курагой.

Она, наверно, с удовольствием рассказала бы, что еще они приготовят, но я прервал ее:

— Если так размахиваться со свадьбой, Хасан и его люди узнают, устроят скандал, объявят недействительным бракосочетание, и мы ничего

1. Ускюдар — район в азиатской части Стамбула.
2. Шафиит — последователь имама Шафи, ученого, основателя одной из четырех школ висламском суннитском правоведении.

не сможем сделать. Все хлопоты будут напрасны. К тому же мы должны таиться не только от Хасана и свекра, но и от подлого убийцы. Вы не боитесь?

— Конечно боимся, — заплакала Хайрие.

Я сказал ей, что скоро прибуду в дом на белой лошади и приведу свидетелей, велел Шекюре быть готовой. А я сейчас же иду в парикмахерскую.

Но сначала надо было договориться о совершении свадебного обряда, и я пошел в мечеть Ясин Паша. Во дворе мечети имам с черной бородой и светлым лицом прогонял метлой злых собак. Я объяснил ему, что отец дочери моей тети вот-вот предстанет перед Аллахом, он хочет увидеть свадьбу дочери прежде, чем умрет, что решением кадия Ускюдара женщина сегодня разведена с мужем, не вернувшимся с войны.

Имам взял золотые и обещал надеть соответствующие одежды, привести в порядок волосы, бороду, кавук и прийти для совершения свадебного обряда. Он спросил, в каком доме состоится церемония, я объяснил ему.

Мангал приятно обогревал маленькую парикмахерскую. Я размяк под ловкими пальцами парикмахера. После стольких невзгод жизнь неожиданно преподнесла мне сегодня самый большой подарок, какой только могла преподнести. У открытой двери вдруг возникло какое-то движение, я повернулся: Шевкет!

Он волновался, но смело подошел и протянул мне записку. Неужели плохие вести? Я похолодел. Развернул записку:

"Без свадебного кортежа замуж не пойду. Шекюре".

Поскольку Шекюре не уходила в дом мужа, а наоборот, я поселялся в ее доме, свадебный кортеж был особенно важен. Я не мог снарядить богатых друзей и родственников, посадить их на лошадей и прислать к дому невесты. Но все же я сел на свою белую лошадь, взял с собой двух товарищей детства, которых встретил в Стамбуле за эти шесть дней (один стал писцом, как я, другой владел баней), прихватил любезного парикмахера, что во время бритья с повлажневшими глазами пожелал мне счастья, и в таком составе мы прибыли к дому Шекюре, так, будто собирались увезти ее в другой дом, в другую жизнь.

Хайрие, открывшей дверь, я дал солидный бакшиш. На Шекюре было красное одеяние невесты, лицо было скрыто под розовым покрывалом, спадающим до полу.

Участники кортежа и гости заполнили дом (из угла на меня опасливо посматривал Орхан). Все вели себя так, будто не чувствовали ничего необычного, но я начал задыхаться от того, что в ноздри, в легкие мне проникал трупный запах — я был знаком с ним по войне: такой запах исходил от оставшихся под солнцем трупов, раздетых и разутых, лица, глаза и губы которых были изъедены дикими зверями и хищными птицами.

Но позже, когда имам-эфенди в полутемной комнате, где лежал Эниште, совершал обряд нашего с Шекюре обручения, внутри у меня звучала музыка.

Перед совершением обряда Хайрие хорошенько проветрила комнату, поставила свечу в угол, так что освещение было минимальным, и Эниште лежал не как труп, а как больной; свидетелями были мой друг парикмахер и один старик из квартала. Во время торжества, которое за-

кончилось пожеланиями и наставлениями имама и всеобщей молитвой, старичок, обеспокоенный здоровьем Эниште, сделал было шаг в сторону покойного, но тут обряд окончился и я бросился и истово приложился к усыхающей руке моего Эниште:

— Не волнуйтесь, не сомневайтесь, дорогой мой Эниште, — закричал я, — я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Шекюре и дети жили в сытости, достатке, покое и любви.

Почетным гостям я сказал, что больной хотел бы остаться один. Они тут же вышли и отправились в боковую комнату, где мужчины ели приготовленный Хайрие плов и жареную баранину (запах тмина, тимьяна и жареной баранины перемешался с трупным запахом), а я рассеянно, как хозяин дома, прошел в прихожую, не задумываясь открыл дверь в комнату Шекюре и, не обращая внимания на ужас женщин при виде вошедшего мужчины, ласково посмотрел в глаза Шекюре, которые при моем появлении озарились счастьем:

— Отец зовет тебя, Шекюре. Иди поцелуй ему руку.

Я — Ш*екюре*

— Дети, — сказала я Орхану и Шевкету хорошо знакомым им тоном, каким обычно сообщала важные новости. — Идите сюда.

Они подошли.

— Кара теперь — ваш отец. Поцелуйте ему руку.

Они молча осторожно приложились к руке Кара.

— А где Кара постелит свою постель? — приставал Шевкет. — Где он будет спать?

— Я не знаю. Ему постелит Хайрие.

— Мама, а ты с нами будешь спать, как раньше? — спросил Шевкет.

— Ну сколько раз повторять? Я по-прежнему буду спать с вами.

— Всегда?

— Всегда.

Дети легли.

Я достала из дальнего угла шкафа рисунки, которые не тронул подлый убийца, села на постель и долго рассматривала при свете свечей, пытаясь разгадать их тайну.

Потом через холодную прихожую прошла в мастерскую отца. Кара я увидела в углу, там, где последние четыре дня он сидел и разговаривал с отцом о миниатюрах, о перспективе, о книге. От свечи по комнате распространялся теплый, живой свет.

Я положила рисунки на коврик перед Кара и села рядом. Мы смотрели на них молча, почти не двигаясь. Когда мы шевелились, пламя свечи подрагивало, и было видно, как загадочные рисунки отца словно оживают. Почему они казались мне такими ценными? Потому что они стали причиной смерти отца? Что меня волновало сейчас: необычное изображение лошади, несравненный красный цвет, печальный вид дерева, два грустных дервиша или страх перед убийцей, который из-за всего этого убил отца?

Свадьба свершилась, на дворе была ночь, мы сидели вдвоем, и нам обоим захотелось разговаривать.

— Утром все должны узнать, что мой бедный отец скончался во сне, — прервала я молчание, но голос мой прозвучал неестественно.

-- Утром все будет хорошо, — Кара тоже говорил как-то натянуто.

Он сделал едва заметное движение в мою сторону, но я поднялась и пошла к детям.

От чего я проснулась среди ночи? Слышала ли я какие-то звуки или мне приснилось?

Я быстро вскочила, набросила на себя одежду.

— Кара! — позвала я шепотом, стоя на верхней ступеньке лестницы.

Надев что-то на ноги, я стала спускаться. Свеча, которую я зажгла от мангала, погасла, как только я вышла во двор. О, Аллах! У раскрытой калитки стоял Кара и с кем-то разговаривал.

Тот, другой, скрытый за деревьями, что-то объяснял. Я поняла, что голос, который я слышу, принадлежит Хасану. Голос был одновременно умоляющий, плаксивый и угрожающий.

— Завтра я приведу сюда кадия, янычар, свидетелей, которые поклянутся, что мой брат жив и все еще сражается в горах против персов, — говорил Хасан. — Ваша свадьба незаконна, вы совершаете грех.

— Шекюре была не твоей женой, а женой твоего покойного брата, — возражал Кара. — Сегодня утром кадий Ускюдара развел Шекюре, так как муж уже четыре года не возвращается. Если он жив, пусть ему скажут, что он разведен.

— Шекюре не имеет права выходить замуж раньше чем через месяц. Это противоречит исламской религии и Корану; как ее отец мог согласиться на такой позор?

— Эниште-эфенди, — сказал Кара, — очень болен, он умирает, а разрешение на свадьбу дал кадий.

— Вы вместе уговорили Эниште? И Хайрие тоже помогала?

— Мой тесть очень сердится на тебя за Шекюре. Если твой брат действительно жив, тебе придется ответить перед ним за неблаговидное поведение.

— Все это ложь. Это придумала Шекюре, чтобы сбежать от нас.

Из дома с воплем выскочил Шевкет:

— Дедушка холодный, как лед!

Он кинулся ко мне. Я взяла его на руки.

— Мама, дедушку убили, — плакал Шевкет.

Хасан услышал его слова:

— Вы убили Эниште, потому что он был против вашей свадьбы. Он был против незаконного развода, подставных свидетелей, всех этих ваших хитростей. Если бы он считал тебя человеком, Кара, он отдал бы за тебя дочь не сейчас, а много лет назад.

— А мы подозреваем, что это ты убил Эниште, — сказал Кара. — Убил его, чтобы мы не могли пожениться. А когда услышал, что Шекюре разведена и мы получили разрешение на свадьбу, ты просто спятил. Ты и так был зол на Эниште за то, что он осмелился принять Шекюре в свой дом. Ты хотел отомстить ему. Ты знал, что, пока он жив, тебе ни за что не получить Шекюре.

— Замолчи, — сказал Хасан решительно, — не буду я этого слушать. Холодно. Я замерз уже, пока бросал камни, чтобы привлечь ваше внимание. Но вы ничего не слышали.

— Кара смотрел рисунки из книги отца, — сказала я.

— О книге и рисунках несчастного Эниште-эфенди надо рассказать и кадию, и янычарскому начальнику, и шейхульисламу[1], — заявил Хасан. — Все только и говорят об этой книге. Что там, в тех рисунках?

— Ничего, — сказал Кара.

— Значит, ты их видел.

— Эниште-эфенди хотел, чтобы я закончил книгу.

— Вот и хорошо. Надеюсь, пытать нас будут вместе.

Меня зовут Кара

Утром я проснулся от крика Хайрие и бросился в прихожую. В какой-то миг я подумал, что Хасан со своими людьми проник в дом и надо спрятать рисунки. Но потом понял, что Хайрие кричит по приказу Шекюре, сообщая детям и соседям о смерти Эниште-эфенди.

Мы столкнулись с Шекюре в прихожей и обнялись. Дети, которые, услышав крики Хайрие, выскочили из постели, увидели нас и остановились.

— Ваш дедушка умер, — сказала Шекюре.

Мы все вместе, с детьми, пошли в комнату, где лежало тело. Я произнес "Ла илахе илаллах"[2] — положено, чтобы это были последние услышанные умирающим слова, тогда он попадет в рай. Держа руки вверх ладонями, я прочитал "Ясин"[3], все молча слушали. Принесенным Шекюре куском батиста мы старательно подвязали челюсть, осторожно прикрыли оставшийся целым глаз Эниште, повернули тело на правый бок и положили так, чтобы лицо было обращено в сторону киблы[4]. Шекюре прикрыла тело отца чистой простыней.

Мне понравилось, как дети в молчании, внимательно и строго наблюдали за нашими действиями. Я почувствовал, что у меня и в самом деле есть жена, дети, очаг, дом, и это чувство было сильнее ужаса смерти.

Я надел кафтан, взял аккуратно сложенные рисунки и быстро вышел из дома.

Поскольку деньги на заказанную Эниште книгу падишах передавал через Главного казначея, известие о смерти я должен был прежде всего сообщить ему. Чтобы попасть во дворец, я отправился к родственнику по линии отца, который со времен моего детства работал в портняжной мастерской недалеко от дворца. Я припал к старческой руке и умолял помочь мне, объяснив всю необходимость встречи с Главным казначеем. Некоторое время я ждал, глядя, как бритоголовые ученики, склонившись, сшивают полотна из разноцветных тканей, а потом родственник пристроил меня к помощнику главного портного, который, как я понял, направлялся во дворец поговорить о счетах и новых заказах.

Мы вышли на площадь Алай, она показалась мне, как всегда, и пустынной, и в то же время шумной. Перед воротами во дворец, где в дни собрания Дивана[5] сходилось множество нищих, никого не было. Слы-

1. Шейхульислам — высшее духовное лицо в Османской империи.
2. "Во имя Аллаха милостивого, милосердного" — начало любой молитвы.
3. Сура Корана, которую обычно читают как поминальную молитву.
4. Кибла — направление к Каабе, главному мусульманскому святилищу.
5. Диван — Высший совет, собираемый во дворце.

шался лишь неясный гул, исходящий, видимо, из мастерских. Я волновался и робел: впервые в жизни проходил я через внутренние ворота дворца.

На площади Дивана царила глубокая тишина. Я слышал даже, как пульсирует у меня кровь в венах на шее и в висках. Мы шли по изумительно красивому саду, похожему на рай; много раз мне его описывал Эниште и другие, кто был вхож во дворец. Но испытывал я не счастье, как это положено входящему в рай, а страх: я отчетливо осознал, что являюсь лишь простым рабом нашего падишаха, который — здесь это не оставляло никаких сомнений — есть опора вселенной. Я смотрел на павлинов, прогуливающихся среди зелени, на журчащие фонтанчики и прикрепленные к ним на цепочках золотые кружки, на чавушей[1] в шелковых одеждах, передвигающихся так беззвучно, словно они вовсе не касались земли, и меня охватывало волнение оттого, что я могу служить нашему повелителю. Я сделаю все, чтобы закончить книгу падишаха.

Через широкую дверь мы вошли в помещение, которое называли старой комнатой Дивана. Под высоким куполом я увидел людей, держащих в руках ткани, куски кожи, серебряные ножны для сабель, шкатулки из перламутра. Я сразу понял, что это дворцовые мастера швейных, обувных, серебряных дел, резчики по слоновой кости, изготовители музыкальных инструментов. Они ждали здесь, так как входить во внутренние покои дворца было запрещено, а им надо было решить с Главным казначеем вопросы, касающиеся счетов, закупки материалов и прочее. Я обрадовался, что среди ожидающих не было ни одного художника.

Мы тоже стали ждать. Из-за двери был слышен голос секретаря казны, повторяющий, что в счетах есть ошибка, а также голос посетителя, который уважительно отвечал на вопросы секретаря. Эти голоса перекрывали шепот мастеров, жалующихся на нехватку денег и материалов, и шелест крыльев голубей, летающих под куполом.

Войдя в небольшую комнату с купольным потолком, я увидел там только секретаря. Я сказал, что у меня очень важный вопрос к Главному казначею, он касается заказанной падишахом книги; книга осталась незавершенной, и я занимаюсь ею. Когда я показал рисунки из книги, гундосый секретарь сразу понял, что дело серьезное. Увидев, что он смущен странностью и непривычной броскостью рисунков, я назвал имя Эниште, рассказал, чем он занимается, и сообщил, что он умер из-за этих рисунков. Я говорил очень быстро: я знал, что, если выйду из дворца, не достучавшись до падишаха, в гибели Эниште обязательно обвинят меня.

Секретарь отправился за Главным казначеем.

Прошло довольно много времени, прежде чем появился человек в серпуше с золотыми нитями — такой могли носить только министры и он: это был Главный казначей. Когда он вошел, я испугался и думал, что не смогу сказать ни слова. Я поцеловал край его одежды. Он сразу поставил на подставку принесенные мною рисунки и стал их рассматривать.

— Сынок, — сказал он, — я не ослышался, твой Эниште почил?

1. Чавуш — здесь: глашатай, чтец приказов.

То ли от волнения, то ли от чувства вины я не в силах был ответить и лишь утвердительно кивнул. А потом случилось неожиданное: из глаз моих выкатилась слеза и медленно поползла по щеке.

— Поплачь, поплачь, сынок, — сказал Главный казначей.

Я рыдал, как маленький. Я считал себя взрослым и зрелым человеком. Но, оказывается, когда ты находишься так близко к падишаху, сердцу государства, ты превращаешься в ребенка. Мне было безразлично, что мои рыдания услышат ожидающие очереди мастера: я понял, что могу все рассказать Главному казначею.

И рассказал: о женитьбе на Шекюре, о трудностях с книгой, о тайнах, скрытых в лежащих перед нами рисунках, об угрозах Хасана, о смерте Эниште. Я постепенно успокаивался. Всем своим существом я чувствовал, что, только положившись на бесконечную справедливость и могущество падишаха, я смогу вырваться из ловушки, в которую попал. Передаст ли Главный казначей мой рассказ повелителю вселенной, не подвергая меня пыткам, не отдавая палачам?

— О смерти Эниште-эфенди надо немедленно сообщить в художественные мастерские, — распорядился Главный казначей. — Пусть все придут на похороны.

Он посмотрел мне в лицо, словно желая понять, не возражаю ли я. Это придало мне уверенности, и я высказал свои предположения о том, кто и почему убил Эниште и Зарифа-эфенди. Начал я с людей проповедника из Эрзурума; они громят обители за то, что там играют на музыкальных инструментах и танцуют. Видя, что Главный казначей смотрит на меня с подозрением, я добавил, что из-за высокой чести, оказанной Эниште, и щедрой оплаты за работу среди художников, привлеченных им к изготовлению книги, неизбежно должны были возникнуть соперничество и зависть. Тайна, окружающая книгу, сама по себе могла породить интриги. Говоря это, я почувствовал, что не развеял подозрений. О, Аллах, пусть выяснится правда, больше я ничего не желаю.

Воцарилось молчание. Главный казначей отвел от меня глаза с таким видом, будто ему неловко за мои слова, и посмотрел на рисунки:

— Здесь их девять, но договор с Эниште был о десяти. Эниште взял у нас гораздо больше листов золота, чем здесь использовано.

— Должно быть, убийца забрал из пустого дома последний, самый большой рисунок, где было очень много позолоты, — ответил я.

— А что с текстом?

— Покойный Эниште не закончил текст. Он ждал, рассчитывал на мою помощь.

— Но ты говоришь, что совсем недавно вернулся в Стамбул.

— Я приехал через три дня после убийства Зарифа-эфенди.

— Получается, что Эниште целый год иллюстрировал книгу без текста?

— Да.

— А он тебе объяснил, о чем эта книга?

— Он говорил, что по желанию падишаха это должна быть книга, которая в тысячелетнюю годовщину хиджры покажет венецианскому дожу мощь и величие ислама, силу и богатство Османов[1] и поселит страх в сердце владыки Венеции. Эта книга представит рисунки и описание все-

1. Османы — династия турецких султанов, основанная Османом в 1300 г.

го самого ценного в нашем мире, и в центре книги будет изображен наш падишах. Поскольку в книге использованы и приемы европейских мастеров, венецианский дож придет в восторг, книга вызовет у него желание жить в дружбе с нами.

— Это я знаю, но неужели самое ценное у Османов — эти собаки и деревья? — спросил Главный казначей, показывая на рисунки.

— Покойный Эниште говорил, что книга покажет не только богатство падишаха, но и силу его духа и величие судьбы.

— А изображение падишаха?

— Я его не видел. Наверное, его спрятал подлый убийца.

Получалось, что покойный взял деньги, но не сумел сделать книгу, как обещал, а только заказал странные рисунки, которые не понравились Главному казначею. Неужели он думает, что я мог убить Эниште, чтобы жениться на его дочери и завладеть золотыми листами? Я сказал, что в убийстве Зарифа-эфенди Эниште подозревал Зейтина, Лейлека и Келебека, но не имел тому доказательств. Я чувствовал, что Главный казначей начал относиться ко мне как к клеветнику и глупому сплетнику.

Поэтому я обрадовался, когда он повелел не сообщать в мастерской, что Эниште скончался не своей смертью, восприняв это как знак некоего доверия. Рисунки остались у Главного казначея; выходя через внутренние ворота, куда я недавно с волнением входил под внимательными взглядами привратников, я был спокоен, как человек, который после долгих лет скитаний вернулся домой.

Я — мастер Осман

Вам, конечно, знакомы невыносимые старики, всю жизнь посвятившие искусству. Они бывают высокие, худые и костлявые. Они хотят, чтобы короткий остаток их жизни был таким же, как вся прожитая ими длинная жизнь. Они всем выговаривают. Они легко впадают в гнев и на все жалуются. Они берут в свои руки бразды правления и каждого заставляют подчиняться. Им не нравится никто и ничто. Я — из таких стариков.

На похоронах Эниште, душу которого из-за его глупости Аллах рано взял к себе, я постарался забыть, какие страдания причинил мне покойный, когда заставлял меня копировать европейских мастеров. Возвращаясь с похорон, я думал, что недалек день, когда и меня Аллах одарит милостью — слепотой и смертью. Обо мне будут помнить, пока мои рисунки в книгах будут радовать глаза и сердца.

Я работал, когда в дверь постучали. Пришлось встать.

Главный казначей прислал за мной мальчика-посыльного. Сунув лупу в карман кафтана, я вышел вместе с мальчиком.

Посыльный вел меня в старое помещение Дивана, там я встречусь с Главным казначеем, и мы будем говорить о деньгах для художников, о подарках, книгах и верблюжьих яйцах, которые художники раскрашивают для падишаха, о здоровье, аппетите и настроениях художников, об обеспечении их необходимыми красками, листовым золотом и другими материалами, о жалобах и пожеланиях, о воле и состоянии духа падиша-

ха, о том, о сем, о моих глазах, о боля́х в позвоночнике, о презренном зяте Главного казначея и его серой кошке.

В комнате я увидел Главного казначея и Начальника дворцовой стражи. Ангел и шайтан!

Начальник стражи, делом которого было совершать казни в дворцовом саду, пытать, допрашивать, бить, выкалывать глаза, укладывать на фалаку[1], ласково улыбался мне. Словно он мой товарищ и собирается рассказать мне что-то очень интересное.

Говорить, однако, начал не Начальник стражи, а Главный казначей.

— Год назад наш повелитель, — сказал он несколько смущенно, — велел мне подготовить книгу, достойную быть подарком для венецианского дожа, и пожелал, чтобы работа над книгой сохранялась в тайне. Из-за этого он решил не привлекать к делу замечательного каллиграфа Локмана и тебя, мастерством которого он восхищается. Кроме того, он понимал, что вы достаточно заняты книгой "Сур-наме", рассказывающей об обряде обрезания наследника.

Как только я вошел в комнату и увидел Начальника стражи, я с ужасом подумал, что кто-то оклеветал меня, убедил Повелителя, что мои рисунки содержат оскорбление и издевку и я, невзирая на свой возраст, буду подвергнут пыткам. Поэтому слова Главного казначея, который старался вроде как утешить меня, что падишах поручил особую книгу не мне, а кому-то другому, показались мне слаще меда. Историю этой книги я знал хорошо и ничего нового для себя не услышал.

Чтобы не молчать, я спросил то, что хорошо знал и так, — кому была поручена книга?

— Как вам известно, она была поручена Эниште-эфенди, — сказал Главный казначей и посмотрел мне в глаза. — Знали ли вы, что он не умер скоропостижно, а был убит?

— Нет, не знал, — ответил я.

— Наш падишах очень, очень разгневан, — вздохнул Главный казначей.

Он же ненормальный, этот Эниште-эфенди, подумал я, художники говорили о нем с улыбкой, даже с насмешкой, потому что у него было больше усердия, чем знаний. Больше страсти, чем ума. Я спросил:

— Как его убили?

Главный казначей рассказал. Ужас. Да защитит нас Аллах! И кто это сделал?

— Есть приказ падишаха, — сообщил Главный казначей, — как можно скорее закончить эту книгу и "Сур-наме".

— Есть и второй приказ, — подхватил Начальник стражи. — Если убийца — один из художников, Повелитель требует найти этого негодяя с черным сердцем. В назидание всем он будет осужден на такое наказание, что никто больше не посмеет препятствовать работе над книгой падишаха и убивать художников.

Главный казначей рассказал, что Эниште-эфенди воспитал племянника Кара и тот понимает толк в книге и рисунке. Знаю ли я его? Я молчал. Недавно Кара по приглашению Эниште вернулся в Стамбул с персидской границы (Начальник стражи бросил подозрительный взгляд) и в Стамбуле узнал от Эниште про готовящуюся книгу. Он говорит, что после убийства Зарифа-эфенди Эниште с подозрением относился к масте-

1. Фалака — орудие пыток, деревяшка, к которой привязывают человека и бьют палками.

рам-художникам, которые приходили к нему по ночам для работы над книгой. Кара видел рисунки, сделанные художниками для книги, он сказал, что убийца Эниште — один из этих художников и что убийца выкрал рисунок, тот, где был портрет падишаха и где больше всего использована позолота. Этот молодой человек два дня скрывал от дворца убийство Эниште. Поскольку за это время он поспешно женился на дочери Эниште-эфенди и поселился в доме дяди, оба они подозревают Кара.

— Если будет устроен обыск в домах моих художников и будет найден похищенный рисунок, станет ясно, что Кара прав, — сказал я. — Но я знаю моих детей с дней их ученичества, это истинные таланты, и никто из них не может посягнуть на жизнь человека.

— Мы обыщем дома, лавки, все помещения, которые могут принадлежать Зейтину, Лейлеку и Келебеку, — сказал Начальник стражи, произнеся с издевкой прозвища, любовно данные мною ученикам, и добавил: — Обыщем самым тщательным образом. И дом Кара тоже. В этой сложной ситуации мы, слава Аллаху, получили от кадия разрешение на пытки при допросах. Поскольку это уже второй человек, убитый в кругах, близких к художникам, и все художники, от учеников до мастеров, находятся под подозрением, к ним может быть применен закон о пытках.

— Не трогайте лучших мастеров падишаха, — попросил я.

Главный казначей встал с места, взял рисунки в дальнем углу комнаты, принес, положил передо мной, поставив с двух сторон большие зажженные свечи, хотя в комнате было достаточно светло.

Я стал водить лупой по страницам. Сначала мне хотелось смеяться, потом я рассердился, хотя не воспринимал нарисованное всерьез. Впечатление было такое, что Эниште-эфенди велел моим художникам рисовать не так, как рисуют они, а так, как рисуют другие. Будто он заставил их рисовать несуществующие воспоминания или будущее, в котором они никогда не хотели бы жить. И что самое невероятное, из-за этого вздора они убивали друг друга.

— Глядя на эти рисунки, можете ли вы сказать, какой из них каким художником сделан? — спросил Главный казначей.

— Да, — ответил я со злостью. — Где вы их взяли?

— Кара принес и сдал нам, — ответил Главный казначей, — он старается отвести подозрения от себя и оградить от упреков своего Эниште.

— Устройте ему допрос с пристрастием, — сказал я. — Пусть расскажет, какие еще секреты были у покойного.

— Мы послали за ним человека, — сказал Начальник стражи радостно. — А потом хорошенько обыщем дом новоиспеченного зятя.

И вдруг их лица странно осветились, на них проявилось почтение и восторг, они вскочили на ноги.

Не оборачиваясь, я понял, что вошел наш падишах, Повелитель вселенной.

Меня зовут Эстер

Как хорошо вместе плакать! Во время похорон отца моей несчастной Шекюре собрались женщины — родственницы, подруги, соседки; я тоже долго лила слезы вместе со всеми.

Я люблю всякие торжества: в толпе я забываю, что я — белая ворона; а еще в такие дни можно вдоволь поесть. На праздничных церемониях угощают баклавой, мятными лепешками, хлебом с толченым миндалем и пастилками; на торжествах по поводу обрезания — пловом с мясом и коржиками; на пышных гуляньях, которые устраивает падишах на ипподроме, подносят вишневый сок; а после похорон можно поесть ароматной халвы с кунжутом и медом, что присылают в дом покойного соседи.

Вот и тут на столе выстроились в ряд кастрюли и кувшины с бекмесом[1] и другими сладостями; открывая крышки и пальцем с краешков пробуя содержимое, а иногда просто нюхая, я спросила, кто прислал угощения.

Хайрие начала перечислять, но тут вошла Шекюре:

— Жена покойного Зарифа-эфенди не выразила соболезнований и не прислала халву! Зариф-эфенди хорошо относился к моему отцу. В день его похорон мы сделали халву и отправили семье. Что происходит? — рассуждала Шекюре.

— Пойду узнаю, — сказала я, сообразив, о чем думает Шекюре.

Мы вышли во двор. Шекюре поцеловала меня за то, что я не стала ни о чем расспрашивать. Мы обнялись и некоторое время стояли неподвижно на холоде. Я погладила мою красавицу по голове.

— Эстер, мне страшно.

— Не бойся, милая, — ответила я, — нет худа без добра. Вот видишь, ты вышла замуж.

Запах смерти присутствовал и в доме Зарифа-эфенди, но тоски там не было. Я, Эстер, тысячи раз бывала в домах вдов и знаю, что рано потерявшие мужей женщины или смиряются с потерей, или гневно протестуют против положения, в котором оказались. Кальбие-ханым была в гневе, и я сразу увидела, что говорить с ней будет не трудно.

Как все гордые женщины, прожившие нелегкую жизнь, Кальбие-ханым понимала, что одни приходят в черные дни пожалеть ее, а другие, видя ее печальное положение, порадоваться за себя; она не вступала с пришедшими в пустые вежливые разговоры, а сразу переходила к делу: "Зачем явилась Эстер в этот послеобеденный час?"

Кальбие-ханым с важным видом подтвердила, что сознательно не выразила соболезнований Шекюре, не пришла разделить с ней горе и даже не послала халву. Она не скрывала радости, что ее обида была замечена. Я постаралась выяснить причину обиды.

Кальбие призналась, что зла на покойного Эниште-эфенди за книгу, которую он делал. Ее покойный муж участвовал в этой книге не для того, чтобы подзаработать; Эниште-эфенди уговорил его, объяснив, что книга готовится по приказу падишаха. Она рассказала, что сначала ее муж имел дело с цветными рисунками, но потом Эниште-эфенди стал заказывать черно-белые, непонятно, к каким сюжетам. Ее покойный муж увидел, что рисунки эти безбожны и кощунственны, и потерял покой. Зариф-эфенди был человек верующий, он не пропускал ни одной проповеди и неизменно совершал все намазы. Он знал, что некоторые бесстыдники в мастерской насмехались над его глубокой религиозностью, но считал насмешки проявлением зависти к его таланту.

1. Бекмес — виноградный сок, вываренный до густоты меда.

Из глаз Кальбие покатились слезы, и я решила, что при первом же случае найду для нее мужа еще лучше, чем был первый.

— Муж не очень-то делился со мной, — сказала Кальбие. — Я сама стала вспоминать, додумалась до всего, соединила факты и поняла, что все произошло из-за рисунков Эниште-эфенди, к которому он отправился в последнюю ночь.

— Шекюре сказала, что готова принести извинения, если она в чем-то виновата. Она предлагает тебе дружбу и просит помочь ей и попытаться вспомнить: когда покойный Зариф-эфенди в последнюю ночь направлялся к Эниште-эфенди, не говорил ли он, что должен встретиться еще с кем-то?

— В кармане у моего бедного Зарифа было только это, — Кальбие открыла соломенную шкатулку для шитья с изображением дерева, достала оттуда и развернула листок бумаги.

На мятом листке я увидела неясные изображения. Только я вроде бы разглядела, на что они похожи, как Кальбие подтвердила мою догадку:

— Это лошади. Покойный Зариф-эфенди никогда не рисовал лошадей, никто и не просил его рисовать лошадей.

Ваша старая Эстер смотрела на расплывшиеся рисунки лошадей и ничего не могла понять. Потом сообразила:

— Надо отнести этот листок Шекюре, она очень обрадуется.

— Если ей интересен этот листок, пусть сама придет сюда, — высокомерно сказала Кальбие.

Меня зовут Кара

С помощью Аллаха я похоронил тестя, с похорон поспешил домой, хотел было обнять Шекюре, но она, моя жена, прижала к себе враждебно глядящих на меня сыновей и начала безутешно рыдать, как и все находившиеся в доме.

Удивляясь способности соседей и дальних родственников так проливать слезы, я забился подальше в угол, чтобы меня никто не видел. Я размышлял над тем, что надлежит делать мне как хозяину дома, когда в дверь постучали. Я заволновался, решив, что это Хасан, но был согласен даже на его появление, лишь бы вырваться из этого ада рыдающих.

Оказалось, пришел посыльный. Меня звали во дворец.

Два человека в зелено-фиолетовых одеждах приняли меня от посыльного, втолкнули в темную комнату недавно выстроенного дома — это я понял по запаху древесины — и заперли на замок. Я знал, что в темную комнату запирают перед пытками, чтобы посильнее запугать. В соседней комнате, видимо, было много людей, оттуда доносился шум.

Через некоторое время меня выволокли из темноты и привели в соседнюю комнату, где я увидел Начальника дворцовой стражи и бритоголовых палачей.

Из глаз моих невольно потекли слезы. Я готов был выть, молить о пощаде, но не мог раскрыть рта.

С меня сняли безрукавку, рубаху. Один из палачей сел на меня верхом и коленями прижал мои плечи к полу. Другой ловкими движениями установил с двух сторон моей головы железки и начал медленно крутить ручку. Это были тиски, которые сжимали мне голову.

Я закричал изо всех сил.

Они остановились, спросили, я ли убил Эниште-эфенди?

– Нет!

Снова покрутили ручку. Стало больно.

Снова спросили.

– Нет!

– А кто?

– Не знаю!

Я уже было подумал, не сказать ли им, что я убил? Все кружилось у меня перед глазами. Я не испытывал никаких желаний. Уже не ощущал боли, только страх.

И тут меня оставили в покое. Сняли с моей головы железные тиски, которые на самом деле сжимали не слишком сильно. Палач слез с меня. Я надел рубашку и безрукавку.

В углу комнаты я увидел Главного художника Османа-эфенди. Я подошел, поцеловал ему руку.

– Не переживай, сынок, – сказал он. – Тебя проверяли.

Я понял, что после Эниште у меня появился новый отец.

– Падишах распорядился пока тебя не пытать, – объяснил Начальник стражи. – Он разрешил тебе помочь Главному художнику мастеру Осману найти среди художников подлого убийцу. За три дня вы должны определить этого негодяя, разглядывая рисунки мастеров, работавших над книгой для падишаха. Повелитель недоволен слухами, которые распускают про его книгу и художников. По приказу падишаха я и Главный казначей Хазым-ага будем помогать вам в поисках. Один из вас, близкий родственник покойного Эниште, знает по его рассказам, как работали приходившие по ночам художники. Другой – большой мастер, который гордится тем, что знает все работы художников мастерской, как собственную ладонь. Если за три дня вы не сумеете найти эту скотину и украденный рисунок, о котором ходит столько слухов, наш справедливый падишах подвергнет допросу с пытками прежде всего тебя, Кара-эфенди. Ну а затем наступит очередь остальных.

Я – мастер Осман

У меня было три дня на изучение рисунков, которые доставят люди Главного охранника, собрав их по домам художников. Вы помните, какое отвращение я испытал, впервые увидев рисунки из книги Эниште-эфенди, которые принес Кара, чтобы оправдать себя. Справедливости ради надо сказать, что в каждом рисунке было что-то такое, что, несмотря на отвращение, приковывало взгляд. Если бы это было просто плохое искусство, оно не вызывало бы никаких чувств. Я с интересом стал снова рассматривать рисунки, выполненные ночами по заказу покойного сумасброда.

Красный цвет одного рисунка, в разных углах которого я обнаружил следы пера каждого из художников, испугал меня. Чья-то рука, я не разобрал чья, непонятно зачем окрасила все в странный красный цвет, и весь мир на рисунке целиком погрузился в красное. Я показывал Кара, кто на этом рисунке нарисовал чинару (Лейлек), кто — корабли и дома (Зейтин), а кто — воздушных змеев и цветы (Келебек).

— Вы — великий мастер, — сказал Кара, — вы столько лет руководите мастерской и знаете способности, характер и особенности пера и кисти каждого художника. Но как вы можете узнать и с уверенностью сказать, кто что нарисовал, когда Эниште заставил художников рисовать в новой, неизвестной манере?

— В далекие времена, — решил я ответить историей на его вопрос, — в крепости, возвышающейся над Исфаханом[1], одиноко жил падишах, любящий книгу и миниатюру. Это был сильный, умный, но безжалостный падишах. Он любил только книги, сделанные по его заказу, и свою дочь. Из-за этой его привязанности враги даже распускали слухи, будто он влюблен в собственное дитя. Падишах был настолько ревнив, что мог объявить войну соседнему шаху только за то, что тот прислал сватов. Разумеется, он не видел подходящего мужа для своей дочери и прятал ее за сорока замками — в Исфахане существовало поверье, что, если посторонний мужчина увидит красавицу, красота ее увянет. Однажды по заказу падишаха была переписана легенда о Хосрове и Ширин, она была иллюстрирована в манере гератских мастеров и доставлена падишаху; по Исфахану пошел слух, что изображенная на одном из рисунков бледная красавица — дочь ревнивого падишаха! Впрочем, падишах и сам заметил это. Говорят, не дочь падишаха, запертая на сорок замков, а ее красота, не выдержав тоски, выскользнула из своих покоев и, отражаясь в зеркалах, проникла через дверную щель и предстала перед глазами одного из художников, как свет, как еле различимый туман. Молодой мастер не удержался и нарисовал дочь падишаха в уголке миниатюры, в которой был запечатлен момент, когда Ширин во время прогулки увидела изображение Хосрова и влюбилась в юношу.

— Мастер, это просто случайность, — воскликнул Кара. — Все мы очень любим тот эпизод легенды.

— Я тебе рассказываю о реальном событии, — возразил я. — Ведь наш художник изобразил дочь падишаха не как Ширин, а как одну из недиме[2], которые развлекали Ширин, играли на уде[3], накрывали для нее стол. Красота Ширин померкла рядом с невиданной красотой недиме; гармония была нарушена. Увидев на рисунке дочь, падишах решил найти талантливого художника, изобразившего ее. Но хитрый художник, боясь гнева падишаха, нарисовал его дочь в виде недиме не в своей, а совсем в другой манере, чтобы нельзя было определить автора. Ту сцену рисовали несколько талантливых художников.

— И как же падишах определил, кто нарисовал его дочь?

— По ушам. Разглядывая уши.

— Чьи уши? Дочери или недиме на рисунке?

— Падишах взял книги и стал рассматривать рисунки, сделанные его художниками, обращая особое внимание на то, как нарисованы уши. Он

1. Исфахан — город в Иране, один из центров, где в Средние века было высоко развито искусство миниатюры.
2. Недиме — собеседница, придворная дама.
3. Уд — струнный щипковый инструмент.

давно знал, что уши каждый из них рисовал по-своему. И не важно, изображали они лицо падишаха, ребенка, воина, Пророка или даже шайтана, — уши каждый рисовал по-своему.

— Почему?

— Рисуя лица, художник все внимание уделяет тому, чтобы они не были похожи на лица реальных людей — он изображает красоту в соответствии с принятыми нормами. А когда дело доходит до ушей, он не думает, не сосредоточивается, и поэтому рука его движется свободно, машинально.

— Но разве большие мастера не рисуют по памяти, не глядя на реальных лошадей, деревья, людей? — спросил Кара.

— Это так, — ответил я, — на протяжении жизни они видели столько лошадей и их изображений, что совсем не трудно нарисовать образ лошади, сложившийся в голове. Перо мастера-художника, рисующего лошадь десятки тысяч раз на протяжении жизни, приобретает такой навык, что с легкостью наносит на бумагу изображение лошади, близкое к той, как ее задумал Аллах. Лошадь, которую рисуют по памяти и быстро, является воплощением таланта, показателем труда и знания и очень близка к лошади Аллаха. Но уши рука рисует автоматически, и тут непременно проявляется особенность художника, она у каждого своя. То есть нечто вроде подписи.

Раздался шум, произошло какое-то движение. Это люди Главного охранника принесли рисунки из домов художников.

— Вообще-то уши — это выдающаяся особенность человека, — сказал я, стремясь вызвать улыбку Кара. — У всех они разные, и в то же время это всегда — уродство.

— Что же случилось с художником, которого определили по ушам?

— Он женился на дочери падишаха. — Я не сказал, что он был ослеплен, чтобы не пугать Кара еще больше. — С тех пор ханы, шахи, падишахи, имеющие мастерские, при необходимости используют этот "метод недиме", о котором художники не знают. Суть метода состоит в изучении деталей, которым не придают значения, рисуют их быстро и часто повторяют. Это могут быть уши, руки, трава, листья, грива или ноги лошадей, даже ногти. Главное, чтобы художник не знал, что какая-то его особенность стала как бы его подписью.

Мы положили рядом рисунки для двух книг, разных по теме и выполненных в разных манерах: тайную книгу покойного Эниште и "Сур-наме", показывающую обряд обрезания Наследника, которая делалась под моим руководством, и стали внимательно изучать места, на которые я направлял лупу.

По прихоти покойного Эниште ни один рисунок не был выполнен одним художником, над большинством рисунков работали все трое мастеров. Это говорило о том, что рисунки часто кочевали из дома в дом. Рассматривая работы, я увидел след еще чьей-то руки; он был тороплив, и я злился, видя, каким бесталанным был подлый убийца, но Кара признал в осторожных мазках руку Эниште, и мы не пошли по ложному следу. Несчастный Зариф-эфенди раскрашивал рисунки для книги Эниште так же, как и для нашей "Сур-наме". Я точно убедился, что, кроме Зарифа, с Эниште работали три самых блистательных художника из нашей мастерской, и это были дети, которых я вырастил, три моих любимых и талантливых ученика: Зейтин, Келебек, Лейлек.

Меня зовут Кара

После обеда и до позднего вечера мы с великим мастером Османом сравнивали и оценивали работы художников для мастерской и для книги Эниште. Перед нами лежала гора рисунков, собранных во время обыска по домам художников (некоторые рисунки не имели никакого отношения ни к той, ни к другой книге, это свидетельствовало о том, что мастера, чтобы заработать несколько лишних монет, брали заказы на стороне); мы думали, что люди Главного охранника закончили свое дело и больше не появятся у нас, но тут вошел один из них, приблизился к великому мастеру и вынул из-за кушака сложенный листок.

Сердце мое забилось: листок был очень похож на письмо, которое прислала мне с Эстер Шекюре. Я чуть не сказал: какое совпадение! И тут увидел, что к листку приложен рисунок на грубой бумаге.

Мастер Осман оставил себе рисунок, а письмо — я сразу узнал почерк Шекюре — протянул мне.

"Господин мой, Кара! Я отправила Эстер к вдове покойного Зарифа-эфенди Кальбие, чтобы она поговорила с ней. И та показала ей рисунок, который я тебе посылаю. После Эстер я была у Кальбие и долго умоляла, уговаривала ее, объясняла, что этот листок может оказаться очень важным, и она отдала его мне. Этот листок был при Зарифе-эфенди, когда несчастного вытащили из колодца. Кальбие клянется, что никогда никто не поручал ее покойному мужу рисовать лошадей. Кто тогда это нарисовал? Люди Главного охранника обыскали дом. Посылаю тебе этих лошадей, думаю, что дело срочное. Дети целуют твою руку. Твоя жена Шекюре".

Я несколько раз перечитал три последних слова, глядя на них с почтением, будто внимательно рассматривал три необыкновенные красные розы в саду. Потом подошел к мастеру Осману, который внимательно через лупу рассматривал рисунок. Хотя контуры расплылись, я сразу увидел, что это лошади, нарисованные, чтобы набить руку, одним движением, как делали старые мастера.

— Кто это нарисовал? — спросил мастер Осман и, прочитав письмо Шекюре, тут же сам ответил на свой вопрос: — Конечно, художник, который рисовал лошадей для покойного Эниште.

Не определив с уверенностью, кто рисовал для Эниште лошадей, мы стали внимательно рассматривать изображение лошади на всех рисунках.

Мы сравнили набросок на бумаге с лошадью в книге Эниште и сразу поняли, что это нарисовано одной рукой: лошади на рисунке, присланном Шекюре, создавали ощущение покоя — они были гордые, сильные и грациозные.

— Эта лошадь так прекрасна, что хочется взять лист бумаги и нарисовать такую же, — заметил я.

— Самая большая похвала художнику — это сказать, что его работы вызывают желание рисовать, — отозвался мастер Осман. — Но мы сейчас не оцениваем талант художника, а пытаемся найти убийцу. Покойный Эниште-эфенди не говорил, для какого рассказа он заказал лошадь?

— Это просто одна из многих лошадей, что водятся в странах, подвластных нашему падишаху. Эта лошадь — составная часть богатства, которым владеет наш падишах. Она нарисована так, как рисуют европейские мастера, она более живая, чем та, что видит Аллах; это конкретное животное, живущее в Стамбуле, в своей конюшне и со своим конюхом. Венецианский дож подумает: если османские художники так рисуют, значит, османы стали похожими на нас; он признает силу и примет дружбу нашего падишаха. Ведь если человек рисует лошадь по-другому, он и всю вселенную воспринимает по-другому. А что бы вы, мастер, сказали про эту лошадь?

— Судя по всему, это лошадь крупной породы, изгиб шеи говорит о том, что это хорошая скаковая лошадь, а поскольку у нее ровная спина, она пригодна для дальних путешествий. Изящные ноги доказывают, что она легкая и быстрая, как арабский скакун; но это не арабский скакун, потому что у нее большое и длинное туловище. Она горделива и изящна и, когда идет, будто кланяется на обе стороны. Но все это никак не помогает нам определить, кто ее нарисовал. У нас нет другого способа, кроме как опознать автора "методом недиме". Посмотри-ка повнимательней.

Он сосредоточенно рассматривал изображение лошади, словно искал обозначение клада на старинной карте, едва заметно нацарапанной на куске кожи.

— Да, — сказал я, как ученик, взволнованный блестящим открытием, старающийся угодить учителю, — мы можем сравнить на разных рисунках краски и узоры на попонах.

— Нет. Узоры на одежде, коврах, шатрах раскрашивают ученики. Только покойный Зариф-эфенди мог бы это сделать, но он отпадает.

— Уши? — спросил я с волнением.

— Нет. Со времен Тимура все рисуют уши лошадям, как лист камыша.

— Посмотри-ка сюда, — сказал мастер Осман голосом врача, показывающего другому врачу обнаруженную чумную язву, — видишь?

Он навел лупу на головы лошадей. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть увеличенное изображение.

— У лошади странные ноздри.

— Значит, видишь, — сказал мастер Осман, не отрывая глаз от рисунка. — Странно он нарисовал ноздри.

— Рука дрогнула? Или особенность художника?

Мы оба смотрели на странное, непривычное избражение лошадиных ноздрей.

Это была единственная деталь, которая могла помочь найти негодяя, убившего Эниште. Мы с трудом различали не только ноздри, но и морды лошадей, расплывшееся изображение которых было на листке бумаги, найденном при несчастном Зарифе-эфенди.

Мы провели много времени в поисках рисунков лошадей, которые в большом количестве сделали за последние годы любимые художники мастера Османа. Он послал людей, и — с разрешения падишаха — нам принесли недавно завершенные книги, хранившиеся во внутренних покоях дворца.

Мы просмотрели сотни лошадей, нарисованных за последние несколько лет Келебеком, Зейтином и Лейлеком, но ни у одной не увидели того, что искали.

Уже совсем стемнело, но вдруг комната наполнилась светом, что-то произошло такое, от чего мое сердце начало сильно биться; я догадался: вошел Повелитель вселенной, наш падишах. Я бросился к его ногам. Поцеловал край одежды. Я не смел смотреть на него.

Он сразу начал разговаривать с мастером Османом. Я не верил своим глазам: падишах сидел на том месте, где только что сидел я, и, как я, внимательно слушал то, что ему говорил мастер. Стоявшие тут же Главный казначей и еще несколько человек с большим вниманием смотрели на разложенные рисунки. Я набрался смелости и долго смотрел на Повелителя вселенной, нашего Властителя. Какой он был красивый! Какой стройный! Мы случайно встретились взглядами, и он произнес:

— Я очень любил покойного Эниште.

Он говорил мне! От волнения я не расслышал часть слов.

— ...очень опечален. Но меня утешает то, что все заказанные им и исполненные рисунки — прекрасны. Венецианский гяур увидит их, удивится и испугается моего ума. Вы должны определить убийцу по лошадиным ноздрям. Иначе придется подвергнуть пыткам всех художников, хоть это и жестоко.

— Мой падишах, Повелитель, — осенило мастера Османа, — если художники быстро нарисуют лошадь, не думая о том, к какому повествованию будет эта иллюстрация, мы, может быть, поймем, кто сделал этот набросок. Хорошо бы объявить состязание и прямо сегодня ночью обойти всех художников, чтобы каждый быстро нарисовал лошадь.

Меня *называют* Зейтин

Перед вечерним намазом постучали в дверь, я открыл: на пороге стоял чисто одетый, приветливый, улыбающийся человек Главного охранника из дворца. В руке у него была свеча, которая больше затеняла, чем освещала его лицо, и лист бумаги. Он сказал, что падишах объявил конкурс среди художников на лучшее изображение лошади и я должен немедленно нарисовать лошадь.

Перед моими глазами начали проходить все лошади, которых я когда-либо рисовал. Одна из них была действительно превосходна. Ее-то я и нарисую. Рука с пером потянулась к чернильнице, взяла чернил ровно столько, сколько надо, и опустилась на листок: появились выразительные печальные глаза, дышащие ноздри, попона, с любовью расчесанная грива, стремя, звездочка на лбу — рисунок готов.

Рисуя, я словно сам превращался в эту прекрасную лошадь.

Меня *называют* Келебек

Было время вечернего намаза. Человек, постучавший в дверь, сказал, что падишах объявил состязание. Слушаюсь, мой падишах! Кто может нарисовать лошадь лучше меня?

Я удивился, что рисовать следует черным пером и раскрашивать не надо. Интересно, кто будет решать, чей рисунок лучше? Я попробовал разговорить широкоплечего красивого юношу-посланца и догадался, что за этим состязанием стоит Главный художник мастер Осман. Он, без сомнения, знает мой талант и из всех художников больше всего любит меня.

Я смотрел на пустой лист бумаги, и передо мной возник образ лошади, такой, как десять лет назад ее рисовал мастер Осман: крупная, нетерпеливая, такая, каких любит наш падишах; поднявшаяся на дыбы словно для того, чтобы продемонстрировать красоту передних ног. Интересно, сколько золотых дадут победителю? А как рисовал лошадей Бехзад?

Я сделал замечательный рисунок, меня будут хвалить и прославлять, как хвалили и прославляли Бехзада. Я стану как он.

Когда я рисую прекрасную лошадь, я словно превращаюсь в другого художника, рисующего прекрасную лошадь.

Меня называют Лейлек

Было время после вечернего намаза, я собирался пойти в кофейню, но тут кто-то постучал ко мне. Я пошел посмотреть: человек из дворца. Он объяснил, что требуется нарисовать лучшую в мире лошадь. Хорошо. Скажите, сколько платите за штуку, и я вам нарисую несколько лучших в мире лошадей.

Но я был благоразумен, ничего такого не сказал, а пригласил пришедшего войти. Я достал тетрадь образцов, которую прятал от всех. В этой тетрадке были копии самых красивых рисунков, которые встретились мне за много лет. Моя тетрадь была бесценной для тех, кто хотел вспомнить старых мастеров и старые сказки.

Я выбрал самый лучший рисунок лошади, прикрепил иголками к чистому листку бумаги, обильно посыпал сверху угольной пылью и снял образец. Угольная пыль точечками повторила на нижнем листе силуэт лошади, получилось хорошо, мне понравилось.

Я взял перо и соединил точечки — лучшая в мире лошадь. Такую не нарисует никто.

Рисуя самую прекрасную лошадь, я могу быть только самим собой.

Меня назовут убийцей

Ну что, определили вы меня по рисунку лошади?

Когда меня попросили нарисовать лошадь, я сразу понял, что никакого конкурса нет, а просто меня хотят вычислить по рисунку. Я знал, что мой набросок лошадей, выполненный на грубой бумаге, остался у несчастного Зарифа-эфенди. Но у меня нет особенностей, нет своей манеры, чтобы можно было определить мое авторство по рисункам. Я в этом не сомневался, но, когда начал рисовать, меня охва-

тило беспокойство. Мог ли я выдать себя рисунками лошадей для книги Эниште? Сейчас надо было нарисовать нечто отличное от них, что я и сделал.

Посланец дворца удалился. Дома мне не сиделось, я пошел на улицу, долго бродил без всякой цели, а потом отправился в покинутую обитель. Здесь было спокойно. Некоторое время я просто сидел, слушая тишину.

Потом вынул из потайного места зеркало, поставил его на подставку, расположил на коленях рабочую доску, положил на нее лист размером в две страницы и, глядя на свое отражение в зеркале, стал углем рисовать свое лицо. Я работал очень долго и старательно, но увидел, что лицо на бумаге не похоже на мое, и мне стало грустно до слез. Как же это делали венецианские художники, о которых столько рассказывал Эниште? Я попытался представить себя на их месте, стер нарисованное и, глядя в зеркало, принялся рисовать снова.

Через некоторое время я почему-то очутился сначала на улице, а потом в кофейне. Я не помнил, как пришел сюда. Но, оказавшись среди рядовых художников и каллиграфов, почувствовал себя так неуютно, что даже лоб покрылся испариной.

Я видел, что они толкают друг друга, показывают на меня и пересмеиваются. Стараясь не привлекать внимания, я сел в углу и стал смотреть, нет ли здесь кого из моих любимых собратьев, тех, что вместе со мной учились у мастера Османа. Им тоже в этот вечер предложили нарисовать лошадь, и я уверен, что они старались изо всех сил, приняв всерьез известие о состязании.

Меддах еще не начал свой рассказ.

Я шутил, как все, рассказывал двусмысленные истории, шумно обнимался со знакомыми, вставлял многозначительные слова, интересовался делами учеников, безжалостно, как все, язвил по адресу общих врагов, позволил себе даже непристойные жесты. Но все это происходило как бы помимо меня и причиняло мне невыносимую душевную боль.

Я – сатана

Все, что сказано обо мне в Коране, верно. Я это признаю, видите, какой я честный. А ведь мне всегда было больно от того, что в Коране я унижен. Эта боль стала моим постоянным состоянием.

Нас, ангелов, было много: на наших глазах Аллах создал человека. А потом захотел, чтобы мы ему поклонялись. Как написано в суре "Чистилище", все ангелы начали ему поклоняться, а я не захотел: Адам, как вы все знаете, сотворен из глины, а я из гораздо более высокого материала – огня. Я не стал поклоняться человеку. И Аллах счел меня высокомерным:

– Прочь из рая, нечего выделяться.

– Позволь мне жить до Судного дня, до того, как воскреснут мертвые, – попросил я.

Он позволил. Я во всеуслышанье заявил, что на протяжении всего этого времени буду сбивать с истинного пути племя Адамово, за отказ поклоняться которому я был наказан. Аллах сказал, что тех, кого мне

удастся совратить, он будет отправлять в ад. Вы знаете, так оно и идет. И здесь мне добавить нечего.

Почему-то братья-художники рисуют меня скрюченным, рогатым, хвостатым, страшной тварью с лицом, усыпанным бородавками.

Именно о рисунке мне и хочется поговорить. Толпа, подстрекаемая проповедником, имени которого не буду произносить, чтобы не навлечь на вас его гнев, заполняет улицы Стамбула и кричит, что читать азан нараспев, совершать радения в обителях в сопровождении музыкальных инструментов, а также пить кофе — деяния, неугодные Аллаху. Я слышал, что некоторые наши художники, которые боятся проповедника и его толпы, говорят, что рисовать в манере европейцев — это проделки сатаны. Много раз обо мне распространяли клевету. Но никогда она не была так далека от истины.

Считается, что все началось, когда Ева съела запретный плод или Аллах признал меня высокомерным. Но это не так. Начало было, когда Аллах показал нам человека и потребовал поклонения ему, и все ангелы повиновались, а я решительно НЕ СТАЛ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ.

В отличие от меня новые европейские художники порядком преуспели в таком преклонении. Они рисуют цвет глаз господ, священников, богатых торговцев, они изображают оттенок их кожи, морщины на лбу и даже отвратительные волосы, растущие в ушах; они выписывают несравненную линию губ женщин, тень в ложбинке груди, кольца на пальцах, а потом вешают рисунки на стену, размещая их на самых видных местах, как идолов, словно человек — это существо, которому надо поклоняться. Разве человек настолько уж важное создание, что надо рисовать его во всех мелочах, вплоть до тени? Если рисовать дома́ на улице постепенно уменьшающимися, как неверно видит глаз, разве не окажется в центре вселенной человек, а не Аллах? Лучше всех это знает могущественный Аллах. Думаю, всем ясно, насколько нелепо утверждать, что мысль рисовать так принадлежит мне, отказавшемуся поклоняться человеку, претерпевшему за это столько обид, павшему в глазах Аллаха, выслушавшему столько брани и осужденному на одиночество.

Уже сотни лет меня безжалостно избивают камнями и проклинают. Но пусть мои враги вспомнят, что время до Судного дня мне отпустил сам Аллах. Век же, отпущенный Аллахом человеку, всего шестьдесят-семьдесят лет. Я бы сказал: постарайтесь продлить свой век за кофе, но знаю, что раз такое сказал я, то кто-то совсем откажется от кофе, а кто-то перевернется вниз головой и постарается влить кофе себе в зад.

Не смейтесь. Важно не содержание, а форма мысли. Важно не что рисует художник, а как он рисует. Только не надо выпячивать свой стиль.

Я — Ш*екюре*

Во сне я видела отца, он говорил что-то, но я никак не могла понять что, это было ужасно; я проснулась. Шевкет и Орхан так тесно прижались ко мне с двух сторон, что я даже вспотела. Я сумела высвободиться, не разбудив их, встала с постели и вышла из комнаты.

Пройдя прихожую, я тихонько открыла дверь комнаты Кара. При свете свечи, которую я держала в руке, увидела белую постель, похожую на труп в саване.

Я протянула руку вперед, и свеча осветила усталое небритое лицо Кара, его голые плечи. Я подошла поближе. Он вертелся во сне, как Орхан, и на лице его было какое-то девичье выражение.

— Это мой муж, — сказала я себе. Он был настолько далеким и чужим, что меня охватило отчаяние.

Я ногой ткнула его в плечо и разбудила. Увидев меня, он заволновался, причем, как я и хотела, не столько обрадовался, сколько испугался. Не дав ему проснуться окончательно, я выпалила:

— Я видела отца во сне. Он сказал мне страшную вещь. Это ты убил его...

— Разве мы не были вместе в момент его убийства?

— Это так, — сказала я, — но ты знал, что отец останется дома один.

— Нет, не знал. Это ты отправила из дома Хайрие и детей. Так что знала только Хайрие и еще, может быть, Эстер. А кто еще мог знать — тебе виднее.

— Иногда мне кажется, что внутренний голос скажет мне, почему все так плохо, почему на меня валятся несчастья. Я открываю рот, чтобы этот голос вырвался наружу, но из горла, как во сне, не выходят звуки. И ты уже не тот хороший и чистый Кара, которого я знала в детстве.

— Того чистого Кара вы прогнали, ты и твой отец.

— Если ты женился на мне, только чтобы отомстить отцу, то у тебя это получилось. Может, поэтому дети совсем не любят тебя.

В глазах Кара я увидела такую усталость и тоску, что поняла: напугать его невозможно.

— Из нас двоих, — сказала я, — у тебя больше надежды и больше печали. Я бьюсь, чтобы не быть несчастной и защитить детей, а тебе надо всего лишь утвердиться. И не так уж сильно ты любишь меня.

Он долго говорил, как снежными ночами мечтал обо мне в безлюдных караван-сараях, в пустынных горах, пытался убедить, что очень любит меня. Если бы он не сказал этого, я разбудила бы детей и вернулась в дом бывшего мужа. Неожиданно у меня вырвалось:

— Иногда мне кажется, что мой бывший муж может вернуться в любую минуту. Я боюсь не того, что ночью нас увидят дети, а того, что, как только мы обнимемся, раздастся стук в дверь.

— Ложись в постель и стань моей женой.

— Когда найдут негодяя, убийцу моего отца? — кричала я. — Если поиск затянется, мне нельзя оставаться с тобой в этом доме.

— Благодаря Эстер и тебе мастер Осман все внимание сосредоточил на лошадях.

— Мастер Осман — непримиримый враг отца. Сейчас отец смотрит с небес, как враг помогает в поисках его убийцы, и страдает от этого.

Кара вскочил с постели и кинулся ко мне. Я не двинулась с места. Он неожиданно погасил свечу. Стало темно.

— Теперь твой отец не видит нас, — прошептал он. — Мы одни. Когда я вернулся сюда через двенадцать лет, ты дала мне почувствовать, что можешь любить меня, можешь открыть мне свое сердце. Ведь мы же поженились. Почему ты не хочешь быть со мной?

— Мне пришлось выйти за тебя, — ответила я тоже шепотом.

Я чувствовала, что мои слова гвоздями впиваются в стоящего против меня — так сказал когда-то Физули[1].

— Если бы я тебя любила, я любила бы тебя с детства, — опять шепотом добавила я.

— Ты видела и знаешь всех художников, приходивших к вам в дом. Скажи мне, красавица, кто из них, по-твоему, убийца?

Мне нравилось, что он не потерял присутствия духа. Он ведь был моим мужем.

— Мне холодно.

Сказала я это или нет, не помню. Мы поцеловались. Приятно было уткнуться замерзшим носом в его теплую щеку. Но я трусила, думала об отце, наблюдающем за мной, о прежнем муже, о детях.

— Кажется, кто-то ходит по дому, — я оттолкнула Кара и вышла.

Меня зовут Кара

Я поднялся до рассвета и тихо вышел из дома. Зашел в мечеть Беязыт, чтобы совершить намаз, потом добрался до дома мастера Османа, и мы вместе отправились во дворец: он, слегка сутулясь, верхом, я, тоже сутулясь, рядом с лошадью; мы, наверно, были похожи на старого дервиша и его верного мюрида[2], как их изображали на рисунках к старым сказкам.

Во дворце мы увидели Начальника стражи и его людей. Падишах был уверен, что по рисункам лошадей, сделанным вечером тремя художниками, мы сразу установим убийцу, и Начальник стражи готов был тут же подвергнуть его пыткам.

Изящный и вежливый молодой человек, совсем не похожий на стражника, уверенными движениями положил на подставку три листа бумаги.

Когда мастер Осман вынул лупу, сердце мое учащенно забилось. Лупа скользила над рисунками, словно орел, высматривающий добычу. И как орел, увидевший предмет охоты, она трижды замедляла движение — мастер внимательно всматривался в ноздри лошадей. Наконец он покачал головой:

— Нет.

— Что нет? — удивился Начальник стражи.

— Убийца не оставил никакого следа.

Я взял лупу и стал рассматривать лошадиные ноздри: мастер был прав. Ни у одной из трех лошадей не было таких необычных ноздрей, как на рисунке, предназначенном для книги Эниште.

Когда в комнату вошел падишах, мастер Осман сразу же доложил ему, что три рисунка лошадей нам ничего не дали.

— Не удивляйтесь, мой Повелитель, — сказал он, — что я не могу сразу разобраться в своих художниках, которых изучил, как собственную ладонь. Появился рисунок, которого я совершенно не знаю. Но особенность художника не может возникнуть на пустом месте.

— Как это? — спросил падишах.

1. Физули (1494–1556) — азербайджанский поэт-лирик.
2. Мюрид — ученик, последователь суфизма.

— Великий падишах, Повелитель вселенной, по-моему, тайная подпись, которую мы увидели в ноздрях гнедой лошади, это не просто особенность художника, это что-то, имеющее корни в старине, связанное с другими стилями, другими рисунками лошадей. Если мы просмотрим самые ценные и старые книги, за множеством замков во внутренних хранилищах дворца, сокрытые в подвалах, железных сундуках и шкафах, мы увидим, что то, что сегодня нам показалось особенностью, когда-то было стилем; тогда мы сможем связать рисунок с одним из трех мастеров.

— Ты хочешь попасть во внутреннее хранилище? — спросил падишах с изумлением.

— Да, — ответил мастер.

Это было почти такое же дерзкое желание, как, например, войти в гарем.

Глядя на прекрасное лицо падишаха, я пытался угадать, что сейчас произойдет, но падишах повернулся и вышел. За ним вышла свита. Неужели он разгневался? Может ли он всех нас, художников, наказать за дерзость мастера?

— Вам очень повезло, — сказал Главный казначей, через некоторое время вернувшийся в комнату, — сиятельный падишах благосклонно отнесся к вашей просьбе. Вы будете смотреть книги, которых никто не видел, рассматривать золоченые страницы и, как охотники, возьмете след. Падишах повелел напомнить, что он дал мастеру Осману три дня и один день уже прошел; через два дня, к обеду в четверг мастер должен сообщить, кто из художников — подлый убийца, а если не сообщит, то выяснением этого вопроса займется Начальник дворцовой стражи со своими палачами.

Служители открыли висячий замок, внимательно осмотрели печать на двери, убедились, что она на месте, и Главный казначей одобрительно кивнул. После этого взломали печать, вставили ключ в дверное отверстие и повернули его. Когда открылась створка деревянной резной двери, мастер Осман вдруг побледнел.

— Падишах не захотел вызывать писцов и секретарей, ведающих регистрационными тетрадями, — сказал Главный казначей. — Хранитель книг умер, вместо него никого нет. Падишах распорядился, чтобы с вами вошел только Джезми-ага.

Это был карлик, на вид не моложе семидесяти лет, с блестящими глазами. Похожий на парусник серпуш на его голове выглядел еще более странно, чем он сам.

— Джезми-ага считает хранилище своим домом. Он лучше всех знает, где какая книга лежит.

Главный казначей объяснил нам порядок: мы войдем, дверь за нами запрут и опечатают печатью султана Селима Явуза, которой пользуются уже семьдесят лет; после вечернего намаза придет группа служителей, чтобы было много свидетелей, печать взломают, дверь откроют; еще он предупредил, что по выходе нас тщательно обыщут, поэтому надо быть внимательными, чтобы за одежду, в карманы или за пояс “по ошибке” ничего не завалилось.

Пройдя через строй служителей, мы вошли вовнутрь. Здесь царил пробирающий до костей холод. Когда дверь за нами закрылась, мы оказались почти в полной темноте, и я уловил запах плесени, пыли и влаги.

Постепенно наши глаза привыкли к тусклому свету, освещающему помещение через толстые решетки окон наверху; проступили очерта-

ния лестниц, ведущих на антресоль, и деревянных настилов-проходов по второму этажу. Комната казалась красной из-за цвета бархатных тканей и ковров на полу и на стенах. Я представил себе, сколько походов надо было совершить, сколько войн выиграть, сколько крови пролить, сколько городов разграбить, чтобы заполучить такое богатство, скопить столько вещей.

Джезми-ага привычным движением разжег мангал у стены.

— А где книги? — шепотом спросил мастер Осман.

— Какие книги? — поинтересовался карлик.

— Те, что тридцать лет назад прислал в подарок покойному султану Селиму шах Тахмасп, — уточнил мастер Осман.

Карлик подвел нас к большому деревянному шкафу. Мастер Осман открыл дверцу, нетерпеливо схватил один том, открыл, прочитал содержание, стал листать страницы.

— Чингисхан, Чагатайский хан, Тулуй-хан, Правитель Китая Кубилай-хан, — прочитал он, закрыл том и взял следующий.

Мы увидели миниатюру невероятной красоты, показывающую, как влюбленный Фархад с трудом несет на спине возлюбленную Ширин вместе с конем.

— Подражание работе Бехзада, выполненной им в Тебризе восемьдесят лет назад, — сказал мастер Осман. — И это не то, — он открыл и тут же захлопнул тяжелый том. — Я ищу знаменитую книгу "Шах-наме", подарок шаха Тахмаспа, — сказал мастер Осман. — Мы должны вспомнить прекрасные легендарные времена, когда сам Аллах водил рукой художника. Нам предстоит просмотреть еще много книг.

Я подумал, что главная цель мастера Османа — не найти лошадь со странными ноздрями, а просмотреть как можно больше миниатюр в книгах, которые годами лежат, сокрытые от людских глаз. Но мне не терпелось поскорее найти улики, ведь дома меня ждет Шекюре; не хотелось верить, что великий мастер хочет провести все отпущенное нам время в этой холодной комнате.

Не помню, сколько томов мы просмотрели. Перед нами чередой проходили миниатюры, выполненные в разных мастерских на протяжении веков, нарисованные теряющими зрение художниками, а вокруг нас громоздились доспехи, шлемы, сабли и кинжалы с алмазными рукоятями, привезенные из Китая покрытые пылью чашки и изящные уды, подушки и килимы[1], изображение которых мы видели на рисунках.

После вечернего намаза, услышав, как снаружи открывают дверь, мастер Осман заявил, что у него нет никакого желания уходить отсюда, он будет всю ночь рассматривать рисунки, иначе не сумеет должным образом выполнить волю падишаха; я сразу решил остаться с ним и с карликом и сказал об этом.

Я — мастер Осман

Перелистывая окоченевшими пальцами страницы и разглядывая миниатюры в книгах, посмотреть которые я мечтал сорок лет, я был, не-

1. Килим — безворсовый ковер.

смотря на холод, совершенно счастлив и чрезвычайно взволнован: я успел, я еще не ослеп и держу в руках желанные тома; время от времени, увидев, что тот или иной рисунок еще лучше, чем о нем рассказывали, я шептал: "Благодарю тебя, Аллах, благодарю тебя, Аллах!"

Я действительно большой мастер, и всезнающий, всеведающий Аллах, конечно же, видит это, а значит, в один прекрасный день я ослепну, но хочу ли я этого сейчас? В слабо освещенной, забитой изумительно красивыми вещами комнате присутствие Аллаха было особенно ощутимо, и я попросил: "Дай мне посмотреть все эти книги, дай наполнить глаза красотой!" Так осужденный на смерть хочет последний раз взглянуть на окружающий мир.

Легенды в книгах повествовали о слепоте, о любви и мудрости Аллаха.

Не знаю, насколько мое волнение разделяли Кара и карлик. Открывая все новые тома, я ощущал печаль тысяч художников, которые ослепли, отдав свой талант жестоким шахам, ханам, беям, правившим в больших и маленьких городах.

Под утро мы с карликом достали из железного сундука знаменитый список "Шах-наме" Тахмаспа; Кара спал на красном ушакском ковре[1], положив голову на бархатную, расшитую жемчугом подушку. Увидев эту книгу, я сразу понял: для меня начинается новый день.

Книга была такая тяжелая, что мы вдвоем с Джезми-ага с трудом подняли ее. Я дотронулся рукой до книги, которую двадцать пять лет назад видел издалека, и понял, что под кожей переплета — дерево. Когда умер султан Сулейман Кануни, шах Тахмасп на радостях, что избавился наконец от этого падишаха, который трижды захватывал Тебриз, прислал новому султану — Селиму — караван верблюдов с подарками, среди которых были чрезвычайно богато оформленный Коран и эта книга, лучшая из имевшихся в шахской библиотеке.

В то время для нас, османских художников, восхищавшихся обыкновенными книгами с несколькими рисунками, рассматривать громадную книгу, в которой было двести пятьдесят рисунков, было все равно что бродить по великолепному дворцу, когда все спят. Молча и почтительно мы смотрели на изумительные миниатюры в ней, а потом долго говорили об этой книге, спрятанной за семью замками.

И вот спустя двадцать пять лет я тихо, как огромную дверь дворца, открыл толстую обложку легендарного "Шах-наме". Прислушиваясь к приятному шелесту переворачиваемых мною страниц, я испытывал не столько восторг, сколько грусть.

— Джезми-ага, — сказал я, — двадцать пять лет назад мы рисовали подарки персидским послам, доставившим эту книгу шаха Тахмаспа, а потом делали книгу "Селим-наме".

Он тут же принес и положил передо мной том "Селим-наме". Я открыл прекрасный рисунок, показывающий сцену вручения послами подарков султану Селиму; на соседней странице перечислены все врученные подарки, и мой глаз сразу нашел то, что я когда-то уже видел, но не поверил и потому забыл:

Золотая игла для закалывания чалмы, с бирюзовой, инкрустированной перламутром ручкой; ею воспользовался самый выдающийся мастер старого Герата Бехзад, чтобы ослепить себя.

1. Ушак — город в западной части Анатолии, известный изготовлением ковров.

Я спросил карлика, где он нашел "Селим-наме". Он отвел меня в комнату, где в железном сундуке я увидел некоторые из подарков шаха Тахмаспа: шелковые исфаханские ковры, шахматы из слоновой кости, зонтик с китайскими драконами — изделие времен Тимура — и коробку для перьев. Я открыл коробку и увидел там слегка обгоревший, с запахом розы лист бумаги и золотую иглу с ручкой из бирюзы и перламутра. Я взял иглу и тихо вернулся на место.

Оставшись один, я положил иглу, которой ослепил себя мастер Бехзад, на открытую страницу "Шах-наме" и стал смотреть на нее. Мне всегда становилось не по себе, когда я смотрел на вещи, которых касались искусные руки мастера.

Почему шах Тахмасп послал султану Селиму в подарок вместе с книгами эту ужасную иглу? Шах ребенком брал уроки рисования у Бехзада, в юности восторгался его миниатюрами, но, дожив до преклонных лет, удалил из дворца поэтов и художников и посвятил себя Аллаху. Он легко расстался с несравненной книгой, над которой десять лет работали лучшие мастера. Он послал эту иглу с книгой, чтобы все знали, что конец художника — добровольное ослепление, или, как рассказывали одно время, для того, чтобы сказать, что тот, кто увидит один раз эту замечательную книгу, не захочет больше видеть мир. Для шаха, который, как многие правители на старости лет, раскаивался в своей греховной любви к рисунку, эта книга уже не представляла ценности.

В соседней комнате я заметил зеркало в оправе из слоновой кости с изящной вязью по ней. Я пошел и взял зеркало. Сел на место и стал рассматривать в зеркале свои глаза: в них красиво отражалось трепещущее пламя свечи.

— Как же мастер Бехзад сделал это? — спросил я себя.

Я не отрывал глаз от зеркала, а рука сама нашла иглу — так женская рука берет сурьму, чтобы подвести глаза. Не колеблясь, словно я протыкал приготовленное для росписи верблюжье яйцо, я спокойно с силой вонзил иглу в зрачок правого глаза и вытащил.

В двустишии, выведенном вязью по краю зеркала, которое я держал в руке, поэт желал нескончаемой красоты и радости тому, кто смотрится в него, и вечности самому зеркалу.

Улыбаясь, проделал я процедуру со вторым глазом.

Долгое время сидел не двигаясь. Просто смотрел.

Цвета вокруг не потемнели, как я ожидал, а словно слегка смешались. Но в общем пока я видел достаточно хорошо.

Меня зовут Кара

Когда утром Главный казначей и его люди, соблюдая установленную церемонию, открыли дверь, глаза уже настолько привыкли к красноватому приглушенному освещению, что свет зимнего утра, ворвавшийся со двора, показался мне чересчур ярким и неестественным. Я, как и мастер Осман, не пошевелился: мне чудилось, что, если я сдвинусь с места, исчезнет запах пыли и плесени, до которого, казалось, можно дотронуться рукой, а с ним пропадут и следы, которые мы ищем.

Мастер Осман со странным восхищением, будто впервые увидел что-то необыкновенное, смотрел на выстроившихся в два ряда служителей и золотые лучи солнца.

Дверь снова закрылась. Я со все возрастающим беспокойством ходил по комнатам вверх-вниз, с волнением думая о том, что здесь мы не найдем необходимых нам сведений, что нам не хватит времени. Я понял, что мастер Осман не слишком тщательно занимается нашим делом, и высказал ему свои опасения.

Как истинный мастер, он ласково взял меня за руку: "Нам остается лишь стараться видеть мир таким, каким его видит Аллах, и уповать на его справедливость. Я чувствую, как среди этих рисунков и вещей на нас снисходит милость Аллаха. Вот смотри: игла, которой мастер Бехзад ослепил себя".

Он приблизил к ней лупу, чтобы я мог лучше рассмотреть ее, я посмотрел внимательно на этот неприятный острый предмет и увидел на кончике влажное розовое пятно.

— Для старых художников, — сказал мастер Осман, — вопрос о том, можно ли менять манеру своей работы и цвета красок, которым они отдали всю жизнь, был делом совести. Они считали недостойным сегодня видеть мир глазами восточного шаха, а завтра — глазами западного правителя, как нынешние мастера.

Он не смотрел ни на меня, ни на книгу, лежащую перед ним. Казалось, взгляд его устремился в бесконечность. На открытой странице "Шах-наме" сошлись армии Ирана и Турана; лошади сталкивались друг с другом, сабли кавалеристов крошили щиты и рассекали всадников, истекающие кровью тела без голов и рук падали на землю, отважные воины, выхватив сабли, убивали друг друга, и все это было изображено в красочных праздничных тонах.

— Когда великих мастеров прошлого вынуждали работать в чужой манере и подражать чужим мастерам, они смело брали в руки иглу и ослепляли себя, чтобы защитить свою честь, и после этого, до того момента, когда на них сходила как награда Аллаха вечная слепота, они клали перед собой какую-нибудь замечательную миниатюру и смотрели на нее не отрываясь часами, иногда днями. Они не поднимали головы, и иногда из их глаз на лист падали капли крови; мир и смысл этого рисунка с пятнами крови постепенно вытеснял зло, сидевшее внутри художника, глаза которого потихоньку покрывались пеленой. Какое это счастье! Знаешь, на какой рисунок я хотел бы смотреть до того, как окончательно ослепну? Хосров примчался на коне ко дворцу Ширин и ждет ее — есть такой рисунок, выполненный в манере старых мастеров Герата.

Возможно, он стал бы подробно рассказывать об этой сцене, но я перебил его:

— Учитель, мастер, а мне бы хотелось не отрываясь смотреть на милое лицо моей любимой. Я женился на ней три дня назад. Двенадцать лет я с тоской думал о ней. Сцены, изображающие любовь Ширин и Хосрова, всегда напоминает мне о ней.

Лицо мастера Османа, может, и выражало некий интерес, но интерес этот не имел отношения ни к моему рассказу, ни к сцене войны, изображенной в лежащей перед ним книге. Он будто ожидал доброй вести. Убедившись, что он меня не видит, я взял иглу и отошел.

В одной из комнат, находящейся по соседству с баней, был укромный уголок, где хранилось множество причудливых сломанных часов — подарки разных европейских королей и правителей. Я пошел туда и там внимательно рассмотрел иглу, которой, как рассказал мастер Осман, ослепил себя Бехзад.

На кончике иглы совершенно явно блестела розовая жидкость. Неужели легендарный мастер Бехзад действительно ослепил себя этой иглой? Неужели мастер Осман повторил это деяние Бехзада? Думая, что обязательно спрошу его об этом, я машинально перебирал лежащие передо мной в беспорядке рисунки и вещи. Мое внимание привлек сделанный на ткани рисунок свадебного кортежа. Я увидел изображенную там лошадь, и сердце мое учащенно забилось.

Передо мной была лошадь со странными ноздрями. Она несла на себе капризную невесту и смотрела прямо на меня, будто собиралась открыть мне тайну. Хотелось кричать, но голоса не было.

Я схватил ткань, натыкаясь на вещи и сундуки, бросился к мастеру Осману и положил перед ним свою находку:

— Ноздри у лошади точно такие, как у лошади на рисунке, сделанном для книги Эниште!

Он вплотную приник к лупе, которая почти касалась рисунка.

— Как видите, — не выдержал я затянувшегося молчания, — лошадь здесь нарисована в другой манере, но ноздри те же. Художник старался видеть мир, каким его видели китайцы. Рисунок похож на китайский, но как будто рисовали не китайцы, а наши.

Лупа мастера словно приклеилась к рисунку, а его нос к лупе.

— Ноздри лошади усечены, — произнес он наконец, тяжело дыша. — Усекать ноздри лошадям, чтобы они лучше дышали и дольше бежали, — вековая традиция монголов. Однако лошади на том расплывшемся рисунке не напомнили мне монгольских. Они выполнены в персидской манере, как работы старых мастеров Герата.

— Но ноздри усечены точно как у монгольских лошадей, — напомнил я.

— Видимо, лет двести назад, когда установилось господство Тимура и его сыновей, кто-то из старых мастеров, работавших в Герате, сделал рисунок великолепной лошади и, то ли увидев, то ли вспомнив монгольскую лошадку, наградил ее изящно усеченными ноздрями. Некоторым художникам это понравилось, и они сами стали рисовать лошадям такие ноздри и учили этому своих учеников, говоря, что так рисовали старые мастера.

— Мастер, — сказал я с чувством восторга, — способ "недиме", как мы и ожидали, дал результат. Значит, все-таки есть у каждого художника своя манера?

— Не у художника — у мастерской, — уточнил он с гордостью. — Причем не у каждой мастерской. В некоторых мастерских, как в недружных семьях, каждый дует в свою дуду и не понимает, что счастье — в гармонии, а гармония — это счастье. Одни работают, как китайцы, другие — как туркмены, третьи — как ширазцы, четвертые — как монголы, и они годами грызутся, ссорятся и не могут найти согласия, как порой бывает с неудачливыми мужем и женой.

— Мастер, но вы здесь, в Стамбуле, за двадцать лет сумели так подчинить единой гармонии художников с четырех сторон света, с разными

характерами и взглядами, что создали османский стиль. — Я долго нашептывал похвалы.

Во взгляде мастера Османа появилось самодовольство — слепые часто не могут контролировать выражение лица. Я долго восхвалял старого мастера, а потом спросил:

— Вы определили, кто нарисовал ту лошадь?

— Зейтин.

Он это так сказал, что я даже не удивился, и, помолчав, добавил:

— Но я уверен, что не он убил твоего Эниште и несчастного Зарифа-эфенди. Лошадь нарисовал Зейтин, это ясно, потому что он больше всех следует манере старых мастеров, лучше всех знает традиции Герата. Ты спросишь, почему мы не встретили таких ноздрей в других рисунках лошадей у Зейтина? Иногда в памяти ученика прочно закрепляются какие-то мелочи, которые передавались из поколения в поколение, например, как выглядит птичье крыло или держится лист на дереве. Но по какой-нибудь причине, скажем из-за вкуса падишаха, ученик рисует по-другому. Получается, что Зейтин усвоил рисунок именно этой лошади в детстве, когда учился у персидских мастеров, и так и не смог забыть ее. Зачем Зейтину, так привязанному к традициям Герата, убивать несчастного Зарифа-эфенди, который был привержен старой манере еще сильнее его?

— Кто же? — спросил я. — Келебек?

— Лейлек, — сказал он. — Это мне подсказывает сердце. Я знаю его страстную увлеченность, его неистовую работоспособность. По всей вероятности, несчастный Зариф-эфенди, который работал для твоего Эниште, увидел в подражании европейским мастерам безбожие, ересь, неверие и испугался. С одной стороны, он был настолько глуп, что прислушивался к болтовне этого ненормального эрзурумского проповедника, но с другой — знал, что книга, которую делает твой Эниште, это тайное и великое дело падишаха; его мучили страх и сомнения: кому верить — падишаху или проповеднику из Эрзурума? В другое время он доверился бы мне, своему мастеру. Но даже он своими куриными мозгами понимал, что, работая в подражание европейским мастерам, он предает меня и нашу мастерскую, и поэтому он поделился с хитрым и жадным Лейлеком; свое уважение к таланту Лейлека он не задумываясь перенес на личность художника. Я много раз видел, как Лейлек злоупотреблял восхищением Зарифа-эфенди. Между ними мог возникнуть спор, и Лейлек убил Зарифа. Возможно, Зариф-эфенди еще раньше поделился своими страхами с эрзурумцами, и они решили отомстить за смерть товарища; поскольку виновником считался твой Эниште, поклонник Европы, они убили его. Не могу сказать, что меня это сильно огорчило. Много лет назад Эниште заставил нашего падишаха заказать венецианскому художнику портрет, как принято у гяурских королей, а потом по наущению Эниште падишах приказал мне сделать копию с портрета. Из страха перед повелителем я скопировал портрет, но тем самым совершил позорное и унижающее мою честь дело. Если бы не это, может, я и пожалел бы о смерти твоего Эниште и больше старался бы сегодня найти негодяя-убийцу. Моя забота — вовсе не твой Эниште, а моя мастерская. Из-за твоего Эниште художники, которых я растил много лет и каждого из которых люблю, как собственного ребенка, предали меня и все наши художественные традиции, они начали с воодушевлением подражать европейским мастерам, потому что, видите ли, того же-

лает наш падишах.Они бесчестны и заслуживают пыток! Рая мы достойны, когда служим своему таланту и искусству больше, чем падишаху, который дает нам работу. А теперь я хочу в одиночестве посмотреть эту книгу.

Я отошел подальше, забился в угол между шкафами, расшитыми жемчугом подушками, ржавыми ружьями, инкрустированными драгоценными камнями, и стал наблюдать за мастером Османом. Меня терзали ужасные подозрения, возникшие, пока я слушал его. Мне показалось весьма вероятным, что убийство и Зарифа-эфенди, и Эниште подстроил мастер Осман, стремясь остановить работу над книгой для нашего падишаха.

Когда стемнело, я подошел с мастеру Осману:

— Эфенди, когда откроют дверь, я, с вашего позволения, хотел бы уйти отсюда.

— Вот как! У нас же есть еще ночь и утро! Быстро же глаза твои насытились зрелищем красивейших рисунков, созданных за всю историю.

Говоря это, он не отрывал глаз от лежащей перед ним книги; бледнеющий цвет его зрачков говорил о том, что он потихоньку слепнет.

— Мы ведь узнали тайну лошадиных ноздрей.

— Да! Разумеется! — сказал он. — Остальное — дело падишаха и Главного казначея. Может, они простят нас всех.

Назовет ли он им Лейлека как убийцу? От страха я даже не спросил об этом. Я боялся, что он не разрешит мне уйти. И еще мне пришло в голову, что он может обвинить меня.

— Пропала игла, которой Бехзад ослепил себя, — сказал он.

— Наверно, карлик положил на место, — предположил я.

Когда во время вечернего азана дверь снова открылась, мастер Осман по-прежнему смотрел в книгу. Но он как-то странно наклонился — как слепой над поставленной перед ним тарелкой.

Стражники, узнав от Джезми-ага, что мастер Осман останется работать, не очень тщательно обыскали меня и не нащупали иглу, которую я воткнул в нижнее белье. Выйдя из дворца, я достал страшную вещь, ослепившую легендарного Бехзада, воткнул ее в пояс и почти бегом отправился домой.

Было радостно оттого, что я жив-здоров и иду к Шекюре, и от мысли, что сегодня я буду спать с ней в одной постели, поскольку убийца, можно сказать, найден.

Я подошел к дому. То ли по скрипу калитки, то ли по беспечности, с которой воробей пил воду из ведра у колодца, то ли еще по чему, не знаю, но обостренным чутьем человека, прожившего двенадцать лет в одиночестве, я понял, что в доме никого нет. Человек с грустью понимает, что он совсем один, но зачем-то открывает двери, шкафы, сундуки. Так поступил и я. Заглянул даже в кастрюли.

Меня зовут Эстер

Я варила на ужин чечевичный суп, когда Несим сказал: “Тебя кто-то спрашивает”.

У дверей я увидела Кара, и мне стало его жаль. У него было такое выражение лица, что страшно было даже спросить о чем-либо.

Я взяла узел с товаром, и мы пошли по нашему нищему еврейскому кварталу, наблюдая за жидким, как пар из кастрюли бедняка, дымком из труб. Я сказала Кара:

— Муж Шекюре вернулся с войны.

Кара молчал. В сумерках лицо его было цвета золы.

— Где они?

Я поняла, что Шекюре и детей нет дома. "В своем доме", — сказала я и заметила, как помрачнел Кара, потому что эти слова означали дом бывшего мужа Шекюре.

— Я не видела ни его, ни Шекюре с детьми, покидающих дом, — тут же добавила я.

— Расскажи мне все, — потребовал он решительно.

— Хасан проник в ваш дом, — начала я и отметила, что он обрадовался, когда услышал "ваш дом", — и сказал Шевкету, что его отец возвращается с войны, что после обеда он уже будет здесь и очень огорчится, если не застанет дома жену и детей. Шевкет передал это известие матери, Шекюре сомневалась и не могла принять никакого решения. Но после обеда Шевкет убежал и с дядей Хасаном отправился к деду.

— Что сделала Шекюре?

— Всю ночь она с Орханом ждала тебя, бедняжка.

Хасан, узнав, что Шекюре проводит ночь в одиночестве, что она боится убийцы и привидений, послал со мной еще одно письмо к ней.

— Что в нем было?

— Я не умею читать писем, я только вижу лица красавиц.

— Что же ты увидела на лице Шекюре?

— Безнадежность. Слушай, а куда ты меня тащишь? Если ты соберешь людей, я не поведу тебя к дому Хасана, я ужасно не люблю ссор и драк.

— Если ты, как всегда, будешь умницей, Эстер, то не будет ни ссоры, ни драки.

Мы миновали Аксарай и двинулись на окраину города. В старом квартале на холме Кара зашел в парикмахерскую, открытую несмотря на поздний час. Парикмахер, красивый подмастерье и еще два человека через некоторое время присоединились к нам. В руках у них были сабли и топоры. В квартале Шехзадебаши, в переулке к нам примкнул учащийся медресе, которому совершенно не шла сабля в руке.

— Вы что, среди бела дня нападете на них? — спросила я.

— Нет, ночью, — ответил Кара серьезно.

— Не очень-то надейся на себя, хоть и собрал столько воинов, — посоветовала я. — Смотри, чтобы янычары не увидели твою вооруженную армию.

— Никто не увидит.

— Вчера люди эрзурумского проповедника напали сначала на мейхане[1], а потом на обитель дервишей, избили много людей. Один старик получил удар поленом по голове и умер. В темноте вас могут принять за эрзурумцев.

1. Мейхане — питейный дом.

— Ты была в доме покойного Зарифа-эфенди и видела расплывшееся изображение лошадей на листке; ты сказала об этом Шекюре. Зариф-эфенди был очень близок с людьми эрзурумского проповедника?

— Я пыталась поговорить с хозяйкой, потому что хотела помочь моей Шекюре. Я зашла туда показать новые ткани, привезенные на голландском корабле. Где уж мне с моим жалким еврейским умом до ваших шариатских и политических дел.

— Эстер-ханым, ты очень умная.

— Раз я умная, то я тебе скажу: люди этого эрзурумского проповедника могут еще больше разъяриться и погубить много людей, бойтесь их.

Когда мы дошли до улицы, где жил Хасан, сердце мое от страха забилось часто-часто. Я указала Кара дом. Кара распределил своих людей: в огороде, по обеим сторонам двери и позади фигового дерева. Потом протянул мне свернутый лист бумаги:

— Иди, отдай письмо Хасану, а если его нет, то его отцу.

— А Шекюре ты ничего не написал? — спросила я, взяв письмо.

— Если я пошлю ей отдельное письмо, это еще больше разозлит мужчин. Скажи ей только, что я нашел подлого убийцу ее отца.

— Это правда?

— Твое дело — сказать.

— Праздничные одежды из китайского шелка, — закричала я привычным голосом торговки.

Дверь открылась. Вежливый отец Хасана пригласил меня войти. Здесь было тепло. Сидящая за столом с детьми Шекюре, увидев меня, поднялась.

— Шекюре, твой муж пришел, — сказала я.

— Который?

— Новый. Дом окружен вооруженными людьми. Они готовы схватиться с Хасаном.

— Хасана нет дома, — сказал свекр Шекюре.

— Слава Всевышнему! На-ка, прочти письмо, — сказала я с гордостью посла, сообщающего твердую волю падишаха.

Пока свекор читал письмо, Шекюре предложила:

— Пойдем, я тебе дам горячей еды, согреешься.

Я сообразила, что она хочет переговорить со мной наедине, и пошла за ней.

— Скажи Кара, что все получилось из-за Шевкета, — прошептала она. — Мы с Орханом вчера всю ночь дрожали, опасаясь убийцы. Шевкет убежал. Кара не вернулся домой, мне сказали, что палачи падишаха заставили его говорить, и он признался в причастности к убийству моего отца.

— Но разве он не был с тобой в момент убийства отца?

— Эстер, — сказала моя красавица, глядя на меня широко раскрытыми черными глазами. — Помоги мне.

— Объясни, зачем ты вернулась сюда, и если я пойму, то помогу.

— Ты думаешь, я знаю, почему вернулась? — Она сделала вид, что чуть не плачет. — Кара грубо обошелся с Шевкетом. Я поверила, когда Хасан сказал, что возвращается отец детей.

Но по глазам я видела, что она говорит неправду и понимает, что я это понимаю. "Я поверила Хасану!" — шептала она, видимо давая мне понять, что любит Хасана. Сознавала ли Шекюре, что стала больше думать о Хасане после того, как вышла за Кара? Я вдруг поняла, как на самом де-

ле обстоят дела: Шекюре не искала себе мужа, она искала отца, который полюбил бы этих детей, глядящих на нее сейчас глазами, полными страха; Шекюре готова была принять любого хорошего человека.

— Ты ищешь сердцем, — сказала я, — а надо принять решение умом.

— Я тотчас же вернусь к Кара, — произнесла она и, помолчав, добавила: — Но у меня есть условие: он будет хорошо обращаться с Шевкетом и Орханом. И не будет меня корить за то, что я укрылась здесь. И будет соблюдать условия нашего брака — он знает. Вчера ночью он оставил меня дома одну, и я была совершенно беззащитна перед убийцей, перед вором, злодеем, тем же Хасаном.

— Он еще не сумел найти убийцу твоего отца, но велел сказать тебе, что нашел.

— Вернуться мне к нему?

Не успела я ничего ответить, как в комнату вошел бывший свекр с письмом Кара:

— Скажите Кара Челеби, что в отсутствие сына я не могу взять на себя ответственность и вернуть ему невестку.

— Какого сына? — спросила я мягким, но противным голосом.

— Хасана, — сказал он и устыдился, поскольку был хорошо воспитан. — Говорят, мой старший сын возвращается из страны персов. Есть свидетели.

— А где Хасан? — Я отправила в рот ложку супа, налитого мне Шекюре.

— Он пошел на таможню собирать знакомых писарей, носильщиков. — Этот человек не умел врать и изворачиваться и выглядел глупо. — После того, что натворили эрзурумцы, сегодня на улицах будет много янычар.

— Мы никого не видели. — Я направилась к двери. — Это твое последнее слово?

Я задала этот вопрос, повернувшись к свекру, но Шекюре сразу поняла, что я обращаюсь к ней. Правда ли она так растеряна или что-то скрывает, например то, что ждет, когда вернется Хасан со своими людьми?

— Мы не хотим Кара, — отважно заявил Шевкет. — А ты больше не приходи сюда, толстуха.

Оставив узел, я вышла на улицу, и передо мной тут же возник Кара с саблей в руке.

— Хасана нет дома, — доложила я, — может, пошел за вином — отпраздновать возвращение Шекюре. А может, как говорит его отец, скоро вернется со своими людьми. Тогда придется драться, он сумасшедший. А уж если возьмет саблю с красным эфесом....

— Что сказала Шекюре?

— Свекор сказал: нет, не отдам, мол, невестку, но ты бойся не его, а Шекюре. Если бы ты меня спросил, я бы тебе сказала, что у нее полная путаница в голове и она вернулась в этот дом, так как поняла, что всего через два дня после убийства отца не в силах провести еще одну ночь в одиночестве; она боится убийцы, ей угрожает Хасан, а ты исчез непонятным образом. Кроме того, ей сказали, что ты причастен к убийству ее отца. Но прежний муж Шекюре не возвращается. В ложь Хасана поверил Шевкет, он ждет отца. Шекюре намерена вернуться к тебе, но у нее есть условия.

Глядя прямо в глаза Кара, я перечислила условия. Он тут же принял их, разговаривая со мной, как с настоящим послом.

— У меня тоже есть условие, — добавила я, показывая на окна дома. — Я возвращаюсь туда. Через некоторое время вы нападете. Я закричу, вы отступайте. А когда появится Хасан, деритесь сколько хотите.

Конечно, это были слова, недостойные миссии посла, но я, ваша Эстер, уже увлеклась игрой. Я прокричала: "Продаю...", и дверь сразу открылась. Я подошла к свекру:

— Весь квартал, здешний кадий, все, кто здесь живет, знают, что Шекюре разведена и снова вышла замуж в соответствии с требованиями Корана. Даже если твой сын, что давно умер, воскреснет и вернется сюда из рая, от пророка Мусы, это ничего не изменит, Шекюре разведена. Вы выкрали замужнюю женщину и прячете ее здесь. Кара просил меня передать, что, прежде чем вас накажет кадий, он сделает это сам со своими людьми.

Кара и его люди бросились в наступление. Стучали в двери и окна, с каждым ударом в доме словно разрывался снаряд.

— Ты видел жизнь, ты образованный человек. — Я осмелела от своих слов. — Открой дверь, скажи, что Шекюре сама пришла, пускай они остановятся, эти бешеные собаки.

— Если бы ты была на моем месте, ты бы отдала этим собакам нашедшую в твоем доме приют одинокую женщину, да еще твою невестку?

— Она сама хочет уйти.

— Тогда пусть открывает дверь и уходит.

— Я не буду открывать дверь. Получится, что я ушла добровольно, — быстро сказала Шекюре.

— Милая моя Шекюре, я тоже не могу открыть дверь. Ты же знаешь, тогда получится, что я сую нос в ваши дела. Мне за это жестоко отомстят. Дверь может открыть Орхан, он ведь хочет вернуться домой, никто не будет сердиться на него.

Не успела я сказать это, как Орхан высвободился из ослабевших объятий матери, подошел к двери, уверенно отодвинул щеколду, потом деревянную задвижку и, сняв крючок, отступил на два шага. В приоткрывшуюся дверь ворвался холод. Наступила такая тишина, что мы услышали ленивый лай собак откуда-то очень издалека. Орхан вернулся к матери, Шекюре поцеловала его, а Шевкет пригрозил: "Все расскажу дяде Хасану".

— Бойтесь Хасана и его сабли с красным эфесом, — сказал свекор, справедливо обеспокоенный поражением и возможной местью. Он ласково расцеловал внуков. Шепнул что-то на ухо Шекюре.

Наша группа, охраняемая людьми Кара, как караван, перевозящий драгоценности, шла боковыми улицами, проулками, мы выбирали дорогу так, чтобы не столкнуться со сторожами, янычарами, бандитами и Хасаном.

Мы были на темной улице позади рынка Эсир, когда услышали крики, вопли, рыдания и характерный, ни на что не похожий стук и звон скрещенных топоров и сабель.

Кара отдал саблю одному из своих людей, вырвал кинжал из рук Шевкета (мать позволила мальчику взять его в память об отце), отчего тот заплакал, велел Шекюре, Хайрие и детям уходить в сопровождении подмастерья парикмахера и еще двоих людей.

В конце узкой улицы, которую нам надо было перейти, находилась кофейня. Звон сабель прекратился. Люди с криками входили и выходила из кофейни и крушили все подряд. При свете факелов было видно, как выносят на улицу и на глазах у всех разбивают чашки, стаканы, лома-

ют джезве. Человека, который попытался остановить эти действия, начали бить, но он вырвался. Сначала я подумала, что все это связано исключительно с кофе. Потому что слышала, как рассказывали о вреде кофе, о том, как он портит глаза и желудок, как туманит мозги и сбивает людей с истинного пути, какая это европейская отрава и как Пророк Мухаммед отказался от кофе, хотя шайтан предложил его ему в образе красивой женщины.

Посмотреть на редкое зрелище собралась большая толпа безработных, безродных, неведомо откуда пришедших переселенцев; увидев зрителей, враги кофе совсем осмелели. Я поняла, что это люди известного проповедника из Эрзурума Нусрета Ходжи. Они боролись с вином и проституцией, с кофейнями, обителями, где религиозные обряды совершались под музыку и с танцами. Они проклинали врагов веры, безбожников и тех, кто занимался рисованием. Я вспомнила, что это та самая кофейня, где на стену вешают рисунки и говорят всякие непристойности про веру и проповедника из Эрзурума.

На улицу выскочил владелец кофейни; лицо его было в крови, я думала, он сейчас упадет, но он вытер рубашкой кровь со лба и щеки, и стал, как другие зрители, наблюдать за происходящим. Толпа в страхе отступила. Мне показалось, что Кара хочет подойти к кому-то в толпе, но он почему-то медлил. Эрзурумцы стали отходить, и я поняла, что, вероятно, наступают другие — янычары. Факелы погасли, люди разошлись.

Меня называют Келебек

Увидев толпу, я сразу понял, что эрзурумцы убивают нашего брата, шутников-художников.

Среди наблюдавших за погромом я увидел Кара. В руке у него был кинжал, рядом стояли несколько странных мужчин, знаменитая торговка Эстер, еще несколько торговок с узлами. Я смотрел, как безжалостно крушат кофейню и избивают выходящих из нее. В голове промелькнуло: "Бежать надо отсюда". И в этот момент подоспела другая толпа, наверно янычары; эрзурумцы погасили факелы и сбежали.

Выяснилось, что эрзурумцы убили меддаха.

Кара подошел ко мне, и мы молча пошли по улице. Наконец он произнес:

— Сейчас мы пойдем к тебе. Я хочу обыскать твой дом и успокоиться.

— Уже обыскали, — очень громко сказал я: мы подходили к дому, и я надеялся, что моя красавица жена услышит, что я не один, и не покажется Кара.

Когда мы входили в калитку, мне почудилось, что внутри дома сверкнул дрожащий свет, но сейчас, слава Всевышнему, было темно.

Кара зажег свечу и стал рассматривать мои бумаги и рисунки.

— Я ищу последний рисунок из книги Эниште, — пояснил он, — тот, кто его убил, украл этот рисунок.

— Я рисовал там дерево, в углу, на заднем плане. А на переднем плане должно было быть изображение какой-то личности, скорее всего светлейшего падишаха. Но портрета еще не нарисовали. То, что находилось

на заднем плане, должно было быть уменьшено, как у европейцев, поэтому Эниште попросил меня нарисовать маленькое дерево. При взгляде на этот рисунок складывалось ощущение, что смотришь на мир через открытое окно. Я понял тогда, что рисунок с использованием перспективы — это все равно что оконная рама.

— Раскрашивал рисунок Зариф-эфенди.

— Я его не убивал.

— Человек, если и убьет, не скажет, что убил.

Кара поинтересовался, что я делал около кофейни, когда на нее напали.

Свечу он поставил недалеко от коврика, на котором я сидел, между моими рисунками и бумагами, она освещала мне лицо. Сам же Кара в полумраке, как тень, метался по комнате.

— Зачем ты ходил в кофейню к этим неверным?

— Так и быть, признаюсь тебе: не только мастер Осман, но и падишах признают, что я самый талантливый из художников, поэтому я стал бояться зависти остальных, и, чтобы они не навредили мне, я изредка появляюсь там, где они бывают, стараюсь быть на них похожим. Понимаешь?

— Мастер Осман сказал, что ты стесняешься таланта, данного тебе Аллахом, и прилагаешь слишком много усилий, чтобы нравиться окружающим.

— Мастер Осман талантлив, почти как Бехзад, — заметил я. — Что еще он говорил?

— Перечислил твои недостатки.

— И какие же у меня недостатки?

— Несмотря на талант, ты рисуешь не ради искусства, а ради того, чтобы тебя заметили. Когда ты рисуешь, самая большая радость для тебя — представлять, какое удовольствие получат зрители от твоей работы. А следовало бы научиться рисовать ради собственного удовольствия.

Меня задело, что мастер Осман так открыто говорил о моих недостатках не художнику, а человеку, который был секретарем, писал письма, угодничал. А Кара добавил:

— Он сказал, что великие мастера прошлого вырабатывали свой стиль и приемы, чтобы потом никогда не изменять установленным принципам; чтобы не отказываться от них в угоду новому шаху, новому наследнику или вкусам нового времени, они героически ослепляли себя. Вы же под предлогом исполнения желания падишаха с удовольствием и не думая о чести подражали европейским мастерам, рисуя для книги, которую готовил Эниште.

— Великий мастер Осман не сказал тем самым ничего плохого, — возразил я. — Пойду приготовлю тебе липовый чай.

Я пошел в соседнюю комнату, открыл шкаф, стоящий рядом с расстеленной постелью, достал спрятанную среди ароматного постельного белья саблю с эфесом из агата и вынул ее из ножен. Она была такая острая, что рассекала надвое брошенный на нее шелковый носовой платок, а листочек сусального золота разрезала будто по линейке.

Держа саблю за спиной, я вернулся в свою рабочую комнату. Кара был доволен своим допросом и расхаживал вокруг красного коврика с кинжалом в руке. Я положил на коврик незаконченный рисунок. Он наклонился, рассматривая его.

Я толкнул его сзади, он упал на пол, и я навалился сверху. Кинжал выпал из его руки. Я приставил саблю к его шее.

— Режет, — простонал он.

— Кара-эфенди, — сказал я, — ты, вошедший в мой дом, в мое святилище с кинжалом, чтобы допрашивать меня, чувствуешь ли ты теперь мою силу?

— Я чувствую еще и твою правоту.

— Ладно, спрашивай о чем хочешь.

— Мастер Осман тебя часто бил?

— Бил, как бьет отец, по справедливости и как положено мастеру, чтобы наказать и научить. Иногда он с такой силой ударял по уху, что у меня много дней стоял звон в ушах, я ходил, как ненормальный. А иногда влеплял пощечину, и потом щека горела неделями и глаз слезился. Я не забыл этого, но люблю моего мастера.

— Нет, — сказал Кара, — ты всегда злился на него. В душе твоей накопилась злоба, и ты мстил ему, делая подражательные европейским рисунки для книги Эниште.

— Ты не знаешь художников. Совсем наоборот. Побои, полученные художником в период ученичества, идут ему во благо. Художник испытывает любовь и глубокую привязанность к учителю до самой его смерти.

— Пойдем к Зейтину и перевернем его дом, — предложил Кара. — Если последний рисунок у него, мы будем знать, кого надо опасаться. А если нет, возьмем его и втроем явимся к Лейлеку.

Я отпустил его. Он поднялся. Я извинился, что не приготовил ему даже липового чая. Увидев у него на шее чуть заметный след от сабли, я сказал, что это знак нашей дружбы. Саблю мы брать не стали, решили, что достаточно его кинжала.

Мы быстро дошли до дома Зейтина, постучали в дверь, в закрытые ставни: никого. Кара вслух высказал мысль, которая мелькнула у нас обоих:

— Войдем?

Мы сбили кинжалом замок и открыли дверь. На нас пахнуло застоявшимся запахом сырости, грязи и одиночества.

Пока Кара копался в бельевых корзинах, перебирал содержимое сундуков и коробок, я ни к чему не прикасался, а рассматривал комнату: расческа из эбенового дерева, грязное банное полотенце, бутылки из-под розовой воды, забавный индийский набивной передник, халат, старое ферадже[1] с разрезом, погнутый медный поднос, грязные ковры и другие старые вещи. Странно, ведь он зарабатывал большие деньги. Или он очень скуп, или сразу спускает заработанное...

— Настоящий дом убийцы, — заключил я, — нет даже молитвенного коврика, — но, подумав, добавил, — вещи человека, который не умеет быть счастливым.

Достав со дна сундука, Кара положил передо мной серию рисунков выполненных на грубой самаркандской бумаге. Мы увидели вышедшего из подземелья развеселого шайтана, дерево, собаку и нарисованную мной Смерть: это были рисунки, которые вешал на стену убитый меддах, когда рассказывал свои непристойные истории. Кара показал на рисунок, изображающий Смерть:

— В книге Эниште был точно такой же.

— И меддах, и владелец кофейни каждый вечер просили художников делать рисунки, которые тут же вывешивались на стену. Пока кто-

1. Ферадже — легкая верхняя одежда.

нибудь из нас быстренько рисовал, что заказывали, меддах перебрасывался шутками с посетителями, а когда рисунок был готов, приступал к рассказу.

— Почему ты нарисовал для меддаха тот же рисунок, что и для книги Эниште?

— Для меддаха я рисовал наспех, совсем не так, как для Эниште, когда выписывал каждую черточку. Другие тоже, возможно ради шутки, быстро и упрощенно рисовали меддаху рисунки из тайной книги.

— А кто нарисовал лошадь? — спросил Кара.

Мы поднесли свечу поближе и с восхищением смотрели на изображение лошади с усеченными ноздрями. Она была похожа на лошадь, нарисованную для книги Эниште, но выполнена без старания, для людей непритязательных. Как будто кто-то дал художнику мало денег и заставил его рисовать быстро и грубо.

— Кто нарисовал эту лошадь, лучше всех знает Лейлек, — сказал я. — Этот самовлюбленный дурачок жить не может без сплетен о художниках и потому ходит в кофейню каждый вечер. Я уверен, что это он нарисовал лошадь.

Меня называют Лейлек

В полночь пришли Келебек и Кара, разложили рисунки на полу и потребовали, чтобы я сказал, кто какой нарисовал. При этом Келебек приставил мне к горлу кинжал.

Собаку нарисовал я. Мы все помним "собачью" историю, рассказанную так подло убитым меддахом. Смерть — работа Келебека. Я помнил, с каким вдохновением Зейтин рисовал для меддаха шайтана. Дерево начал я, а потом листья рисовали все художники, пришедшие в кофейню. С красным рисунком было так: на бумагу капнули красной краски, меддах удивился: какой же рисунок из одной капли? Капнули еще краски, а потом художники стали рисовать красным, каждый свое, и каждый рассказывал, что рисует, чтобы потом услышать свой рассказ из уст меддаха. Вот эту прекрасную лошадь — браво! — нарисовал Зейтин. Келебек убрал кинжал от моего горла, и я извинился, что дом не прибран, меня застали врасплох, и я не могу предложить ни ароматного кофе, ни сладкого померанца, потому что моя жена спит.

Я им рассказал, что, когда эрзурумцы напали на кофейню, там, как всегда, было довольно многолюдно: кроме меня был Зейтин, художник Насыр, каллиграф Джемаль, два молоденьких подмастерья, молодые художники, несколько поэтов, курильщики опиума, бродячие дервиши и еще какие-то посторонние — всего человек сорок. В кофейню ворвалась разъяренная толпа, начался общий переполох, собравшиеся перепугались и ринулись к дверям; в этой суматохе никто даже не подумал встать на защиту кофейни и несчастного старика-меддаха. Опечален ли я этим? Да! Очень! Я, Мусаввир Мустафа, по прозвищу Лейлек, глядя в глаза туповатого Келебека, объяснил, что считаю совершенно необходимым вечерами сидеть с братьями-художниками, беседовать, шутить, читать стихи.

Келебек и Кара сказали, что рисунки из кофейни они нашли в пустом доме Зейтина, и спросили, что я об этом думаю. Я ответил, что тут и думать нечего: владелец кофейни, как и Зейтин, — бродячий дервиш, попрошайка, вор, чужак и подлец. Наивный Зариф-эфенди, который дрожал от страха, слушая по пятницам суровые наставления проповедника, собирался пожаловаться эрзурумцам на происходящее в кофейне. Может, он даже попытался урезонить художников, и тогда Зейтин, одного поля ягода с владельцем кофейни, зверски убил несчастного. Эрзурумцы разозлились, возможно, Зариф-эфенди рассказал им про книгу, они сочли Эниште виновным и убили и его, а сегодня осуществили и второй акт мести — разгромили кофейню.

Роясь в моих вещах, Келебек и Кара наткнулись на сапоги и мои походные доспехи, и я увидел выражение зависти на лице Келебека. Я с гордостью сообщил им то, что все давным-давно знали: когда-то я отправился с армией в поход и первым из мусульманских художников изобразил увиденные собственными глазами полет ядер, башни вражеских крепостей, одежду неверных воинов, плывущие по рекам трупы, выстроившиеся на конях, готовые к атаке войска. Я сказал, что нельзя больше рисовать два войска по одной болванке: застывшие друг против друга воины на лошадях. На войне все перемешано: воины, лошади, доспехи, окровавленные трупы; так я это видел, так и рисую.

— Художник рисует не то, что видит он, а то, что видит Аллах, — напомнил Келебек.

— Правильно, — сказал я, — но Аллах видит то, что видим мы.

— Аллах видит то, что видим мы, но не так, как видим мы, — упрекнул меня Келебек. — Войну, которую мы видим как хаотичный беспорядок, он видит как два застывших друг против друга войска.

У меня был для него ответ, я хотел сказать: давай верить Аллаху и рисовать то, что он нам показывает, а не то, чего он нам не показывает, но я промолчал. Мне не хотелось ссориться с ними, так же как не хотелось угодить в ловушку, устроенную мне Зейтином.

Они признались, что ищут рисунок, украденный убийцей. Я сказал, что мой дом уже обыскивали, а умный убийца — я думал о Зейтине — спрячет рисунок в недоступном месте. Кара долго рассказывал о лошадях с усеченными ноздрями и о том, что три дня, которые наш падишах дал мастеру Осману, — на исходе. Я настаивал на том, что лошадь с усеченными ноздрями изобразил Зейтин, Кара, глядя прямо мне в глаза, сказал, что мастер Осман думал о Зейтине, но зная мою алчность, больше всех подозревал меня.

Мне надо было убедить их, что мастер Осман не прав в отношении меня. Но если я скажу, что великий мастер ошибается, выжил из ума, я сразу восстановлю против себя Келебека.

Я стал говорить о том, что книга Эниште — это чудо, которому нет равных. Когда этот шедевр будет исполнен в том виде, как повелел падишах и как хотел покойный Эниште, весь мир будет поражен силой и богатством падишаха, а также нашим талантом и мастерством.

Мастер Осман — наш отец, наш учитель, всему, что мы знаем, мы научились у него, но он настроен против этой замечательной книги. Почему, напав на след убийцы в хранилище падишаха и поняв, что это Зейтин, мастер старается скрыть это? Я сказал, что Зейтин скорее всего прячется в заброшенной дервишской обители недалеко от Фенеркапы. Обитель эта — гнездо позора и безнравственности — была закрыта в го-

ды правления деда нашего падишаха; я напомнил, что Зейтин одно время похвалялся, что обитель снова откроют.

— Получилось так, что все мы предали мастера Османа, — сказал я, — и сейчас, пока нас всех не наказали, надо найти Зейтина, выяснить наши отношения и сплотиться; только тогда мы сумеем устоять перед теми, кто хочет бросить нас палачам. В обители, поговорив с Зейтином, мы, возможно, поймем, что среди нас нет жестокого убийцы.

Заброшенную обитель мы искали очень долго, но наконец подошли к ней. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел деревянную облицовку стены и в щелку ставня, закрывающего крошечное окошко, увидел тень человека, который при свете свечи совершал или делал вид, что совершает намаз.

Меня называют Зейтин

Что было правильнее — прервать намаз и открыть дверь или закончить молитву, заставляя пришедших ждать под дождем? Поняв, что они наблюдают за мной, я, не обращая на них внимания, завершил молитву. Когда я открыл дверь и увидел своих — Келебека, Лейлека и Кара, у меня вырвался крик радости. Я крепко обнял Келебека.

— Что с нами делают! — простонал я. — Чего они хотят от нас? За что убивают?

У них был испуганный вид. Даже в обители они старались держаться поближе друг к другу.

— Не бойтесь, — сказал я. — Здесь мы надежно спрятаны.

— Нам страшно, потому что среди нас может быть человек, которого стоит бояться, — сказал Кара.

— Да, я слышал об этом. От людей Главного охранника до художников дошли слухи, что убийцей Зарифа-эфенди и Эниште был один из нас, приложивших руку к известной книге.

Кара спросил, сколько рисунков я сделал для книги Эниште.

— Первым был сатана. Я нарисовал так, как его часто изображали в мастерских Аккойюнлу. Меддах разделял мои взгляды, поэтому я нарисовал ему двух бродячих дервишей. А потом предложил Эниште поместить их в книгу, я убедил его, что это будет справедливо.

— И все? — спросил Кара.

Он вынул рулон, и я сразу узнал рисунки, которые унес из кофейни во время нападения на нее. Я не спросил, каким образом рисунки оказались у них. Каждый из нас — я, Келебек и Лейлек — отбирали свои рисунки. В стороне остался лежать только рисунок лошади. Я понятия не имел, кто нарисовал эту лошадь.

— А это — не твоя работа? — сурово спросил Кара.

— Нет, я это не рисовал.

— А лошадь для книги Эниште?

— И для него не рисовал.

— Мастер Осман определил, что это твой стиль, — сказал Кара.

— У меня нет стиля, — возразил я. — Я говорю это не ради похвальбы, что, мол, противостою современным веяниям. И не для того, чтобы до-

казать свою невиновность. Для меня иметь свой стиль — это хуже, чем быть убийцей.

— Твои работы отличаются от работ старых мастеров и других художников, — сказал Кара. — Мы, — он показал на Лейлека, — будем искать в обители последний рисунок, украденный подлым убийцей Эниште. Ты видел тот последний рисунок?

— Это было нечто, чего́ не мог принять ни наш падишах, ни мы, художники, связанные со старыми мастерами, ни мусульмане, исповедующие нашу религию, — сказал я и умолк.

Меня назовут убийцей

Вы забыли обо мне, не так ли? Не буду таить хотя бы от вас, что я здесь.

Я так счастлив здесь! Мы сидим с братьями-художниками, утешаем друг друга, вспоминаем прошлое и думаем не о вражде, а о красоте и прелести рисования. Мы сидим, ощущая наступление конца света, влюбленно глядя друг на друга влажными глазами, вспоминаем прекрасные дни, и кажется, в этот миг в нас есть некоторое сходство с гаремными женщинами.

Посреди этой идиллии они вдруг неожиданно набросились на меня. Мы, все четверо, не удержались на ногах и упали. Мы катались по полу, но это продолжалось недолго. Скоро я лежал на спине, а они оседлали меня.

Один сел мне на колени, другой — на правую руку.

Кара уселся на грудь и коленями прижал мои плечи.

Он вытащил что-то из-за пояса, это оказалась длинная игла с очень острым концом. Он приблизил ее к моему лицу, будто хотел проткнуть мне глаз.

— Восемьдесят лет назад, когда пал Герат, — сказал он, — великий мастер Бехзад понял, что все кончено, и гордо ослепил себя этой иглой, чтобы никто не заставил его рисовать по-новому. Бехзад ослепил себя и еще пятьдесят художников, подарив им, любимым рабам Аллаха, божественную тьму. Слепой Бехзад привез иглу из Герата в Тебриз, а потом шах Тахмасп подарил ее отцу нашего падишаха вместе с прославленной книгой "Шах-наме". Узнав, что падишах заказал свой портрет в манере европейских мастеров и что вы, его любимые дети, предали его, мастер Осман вчера ночью в помещении хранилища падишаха вонзил эту иглу в свои глаза так же, как когда-то Бехзад.

Кара угрожал ослепить меня, остальные старались отвести от моих глаз иглу.

Кара испугался, что у него отберут иглу и мы договоримся между собой. Началась борьба. Потом все произошло так быстро, что я поначалу ничего не понял: я почувствовал резкую боль в правом глазу; лоб у меня на мгновение онемел. И тут я увидел, как Кара решительно вонзает иглу мне в левый глаз. Я даже не шевельнулся, только почувствовал жжение. Все смотрели на мои глаза и на кончик иглы. Будто не верили в свершившееся. Когда наконец осознали, что со мной произошло, удерживающие меня руки ослабли.

Я начал кричать, я выл, но не от боли, а от ужаса.

Не знаю, долго ли я кричал. Я чувствовал, что мой крик приносит облегчение не только мне, но и им.

Я еще не ослеп. Я — слава Всевышнему! — еще мог видеть, как они в ужасе наблюдают за мной и как дрожат на потолке обители их тени.

— Оставьте меня, — кричал я, — оставьте!

— Рассказывай, — приказал Кара. — Рассказывай, как вы встретились с Зарифом-эфенди в тот вечер. Тогда мы тебя оставим.

И я стал рассказывать:

— Бедный Зариф-эфенди встретился мне, когда я возвращался домой из кофейни. Он был встревожен, вид у него был несчастный. Сначала мне стало его жалко. Оставьте меня, у меня темнеет в глазах, я вам потом доскажу.

— Сразу не потемнеет, — нагло сказал Кара. — Можешь мне поверить, мастер Осман увидел лошадь с усеченными ноздрями после того, как проколол себе глаза.

— Зариф-эфенди сказал, что хочет со мной поговорить, сказал, что доверяет только мне.

Рассказывая, я жалел не Зарифа-эфенди, а себя.

— Если ты расскажешь все до того, как кровь прильет к глазам, ты утром сумеешь последний раз вдоволь насмотреться на мир, — сказал Кара. — Слышишь, дождь кончается.

— Я предложил Зарифу-эфенди вернуться в кофейню, но заметил, что эта мысль ему не понравилась, более того, он испугался. Тут я впервые понял, как сильно отдалился от нас Зариф-эфенди, с которым мы работали вместе двадцать пять лет, со времен ученичества. Последние восемь-девять лет, с тех пор как он женился, я встречал его в мастерской, но толком даже не разговаривал с ним. Он сказал мне, что видел последний рисунок. Это очень большой грех. Никому из нас он не простится. Все мы будем гореть в аду. Он был очень напуган: сам того не ведая, он совершил большой грех.

— Что это за большой грех?

— Когда я задал ему этот же вопрос, он с изумлением посмотрел на меня: мол, сам прекрасно знаешь. Я тогда подумал, что наш товарищ по ученичеству сильно постарел. Он сказал, что Эниште в последнем рисунке слишком дерзко использовал перспективу. Все в этом рисунке сделано, как у европейцев, все изображено не так, как видит Аллах, а так, как видят наши глаза. Это один большой грех. Второй грех: халиф ислама, наш падишах, изображен одного размера с собакой. И третий грех: такого же размера изображен сатана, мало того, он изображен на рисунке весьма симпатичным. Но самое большое надругательство (что было неизбежно, раз уж рисунок делался в европейском стиле) — это изображение нашего падишаха: крупный портрет с подробно выписанным лицом, как делают идолопоклонники и христиане, не сумевшие преодолеть привычек идолопоклонников и вешающие на стены "портреты", чтобы поклоняться им. Зариф-эфенди знал это слово от Эниште и справедливо полагал, что с появлением портрета закончится мусульманский рисунок. Мы не пошли в кофейню, где, по его словам, хулят проповедника и нашу религию, мы ходили по улицам. Иногда он останавливался и спрашивал меня, словно просил помощи, правильно ли все это, правда ли, что все мы будем гореть в аду? С одной стороны, он раскаивался, с другой — я почувствовал это — сам не верил в то, что говорил. Он просто делал вид, что убивается.

— Ни один мусульманин не будет так убиваться, невольно совершив грех, — продолжал я. — Хороший мусульманин знает, что Аллах справедлив и всегда понимает намерения своего раба. Только дураки могут верить, что за съеденный случайно, по неведению кусок свинины можно попасть в ад. Истинный мусульманин помнит, что ад существует для устрашения других. Зариф-эфенди это и делал: хотел запугать меня. Скорее всего, по наущению Эниште, я это еще тогда понял. А теперь скажите мне правду, братья-художники, налились ли кровью мои глаза, теряют ли они цвет?

Они поднесли свечу к моему лицу и посмотрели внимательно и заботливо, как врачи.

— Нет, будто ничего и не было.

Неужели последним, что я увижу в мире, будут устремленные на меня глаза этих троих?

— Эниште окружил работу над книгой тайной, и Зариф-эфенди боялся совершить грех. Но чего бояться художнику с чистой совестью?

— Художник с чистой совестью сегодня может бояться многого, — резонно сказал Кара.

— Твой Эниште был убит, потому что боялся. Он утверждал, что заказанные им рисунки не противоречат нашей религии и Корану. Зариф-эфенди и твой Эниште очень походили друг на друга.

— И ты убил обоих, не так ли? — сказал Кара.

Мне показалось, что он сейчас ударит меня, но я понимал, что новоиспеченный муж красавицы Шекюре не имеет ничего против убийства Эниште. Нет, он не будет меня бить, а если и будет, что ж, мне все равно.

— Наш падишах в самом деле хотел, чтобы была создана книга в духе европейских мастеров, — сказал я упрямо. — И твой Эниште хотел сделать книгу, бросающую вызов всем. Чтобы возвеличиться. Он преклонялся перед европейскими мастерами, работы которых увидел во время путешествий; он подолгу рассказывал нам — да и тебе небось тоже — про эту чушь: перспектива, портрет — он слепо верил в это. По-моему, в том, что мы сделали, нет ничего вредного и ничего такого, что не вписывалось бы в нашу религию. Он тоже это знал, но делал вид, будто создает опасную книгу, ему это очень нравилось. Выполнять такую опасную работу с разрешения падишаха было для него так же важно, как почитать работы европейских мастеров. Если бы мы делали рисунки, чтобы повесить на стену, это было бы грехом. Но ни в одном из рисунков, которые мы сделали для книги, не было отрицания религии, безбожия, ничего, что могло быть запрещено. Разве я не прав?

Они не знали, что ответить.

— Хватит об этом, — перебил меня Кара. — Расскажи, как ты убил Зарифа.

— Я совершил это, — я не мог произнести слово "убийство", — не только ради нас и собственного спасения, а ради блага всей мастерской. Зариф-эфенди угрожал выдать нас. Я предложил ему деньги. Мы пришли на пустырь к заброшенному колодцу...

Я понял, что дальше рассказать им не смогу, и дерзко заявил:

— Если бы вы были на моем месте, вы бы тоже подумали о благополучии остальных братьев-художников и сделали бы то же самое. После того как я отправил Зарифа-эфенди к ангелам Аллаха, — продолжил я задумчиво, — меня охватил страх. Поскольку я обагрил ру́ки

кровью из-за последнего рисунка, я должен был увидеть его. И я отправился к Эниште, который больше не приглашал нас работать к себе домой. Он вел себя со мной высокомерно и ничего мне не показал. Будто не было никакого рисунка, не из-за чего было убивать человека! Чтобы он не относился ко мне так презрительно и равнодушно, я признался, что это я убил и бросил в колодец Зарифа. Равнодушие его исчезло, но он продолжал пренебрежительно говорить со мной. Разве подобает отцу так унижать сына! Великий мастер Осман сердился на нас, сильно бил, но никогда не унижал. Мы совершили ошибку, что предали его.

Я улыбнулся своим братьям, слушавшим меня с вниманием, как слушают последние слова человека на смертном одре.

— Я убил Эниште по двум причинам: за то, что он заставил мастера Османа как обезьяну подражать европейцу. И еще за то, что я проявил слабость и спросил, есть ли у меня свой стиль.

— И что он сказал?

— Сказал, что есть, и для него это было не оскорбление, а похвала. Помню, что я подумал со стыдом: неужели это и для меня похвала? С одной стороны, понимаю, что стиль — это неблагородно, бесславно, а с другой — сатана подстрекает меня, я хочу, чтобы у меня был свой собственный стиль, мне это интересно.

— Ты отдашь последний рисунок? — спросил Кара.

Со свечой в руке, сопровождаемый собственной тенью, я пошел на кухню, там мы остановились, я и моя тень, вынули бумаги из чистого угла покрытого пылью шкафа и быстро вернулись. Кара на всякий случай шел за мной.

— Я рад, что еще раз увижу это, пока не ослеп, — сказал я с гордостью. — Я хочу, чтобы и вы увидели. Смотрите!

Я показал им последний рисунок, который взял в доме Эниште в тот день, когда убил его. Любопытство и страх — вот что было на их лицах. Я смотрел вместе с ними, и меня била дрожь. Кажется, у меня поднялась температура.

Эниште так распределил большие и маленькие изображения дерева, лошади, сатаны, смерти, собаки, женщин, которые мы рисовали в разных местах листа, что казалось, мы смотрим не в книгу, где покойный Зариф-эфенди нарисовал заставки и виньетки, а в окно, из которого открывается целый мир. В центре этого мира, там, где должен был находиться портрет падишаха, я с гордостью увидел свой портрет. К моему огорчению, сходство не было полным, хотя я трудился много дней, рисуя перед зеркалом, стирая и снова рисуя; я не мог справиться с волнением, глядя на этот рисунок, не столько оттого, что я помещен в центр вселенной, сколько оттого, что на этом портрете я выглядел глубокой, сложной и таинственной личностью. Это было дьявольское наваждение, я тут был ни при чем. Я хотел, чтобы братья-художники видели мое волнение, поняли и разделили его. Я был здесь и в то же время находился в центре вселенной, как падишах или король, что вызывало во мне одновременно и гордость, и смущение. Я постарался изобразить себя, как европейские художники, в мельчайших подробностях: от морщин на лице и складок на одежде, прыщиков и следов оспы до бороды и узора ткани.

На лицах моих старых друзей, рассматривающих рисунок, я увидел страх и восхищение, а еще — извечное для художников чувство зависти. Они возмущались мной, погрязшим в грехе, но и завидовали тоже.

— Глядя на этот рисунок ночами при свете свечи,- прервал я молчание, — я впервые почувствовал, что Аллах покинул меня, и понял: одиночество вынуждает меня водить дружбу только с сатаной. Если бы я действительно находился в центре вселенной — а когда я смотрел на рисунок, я страстно хотел этого, — я чувствовал бы себя еще более одиноким, несмотря на окружающие меня вещи, которые я люблю, мою женщину, красивую, как Шекюре, моих друзей бродячих дервишей и красоту красного цвета, господствующего в рисунке. Я не боюсь, что другие будут мне поклоняться, так как я — яркая личность, более того, я хочу этого.

— Ты не раскаиваешься? — спросил Лейлек с видом человека, вышедшего из мечети после проповеди.

— Я чувствую себя сатаной, но не потому, что убил двух человек, а потому, что сделал такой портрет. Мне кажется, я убил тех двоих, чтобы суметь нарисовать такой портрет. Но одиночество меня пугает. Подражание европейским мастерам без овладения их мастерством превращает художника в подражателя, а я не хочу им быть. Вы, конечно, поняли, что я убил этих двоих, потому что на самом деле они хотели, чтобы в мастерской все продолжалось по-прежнему. Аллах, разумеется, тоже это понял.

— Но это принесет нам всем большие беды, — ужаснулся Келебек.

Кара все еще смотрел на рисунок, я быстро схватил его за запястье, сжал со всей силой, впиваясь ногтями, и вывернул ему руку. Он выронил кинжал. Я поднял его.

— Вы не спасетесь от бед, сдав меня палачам, — сказал я и приблизился к лицу Кара, направляя острие кинжала ему в глаз. — Давай иглу.

Свободной рукой он достал иглу и отдал мне, я воткнул ее в пояс и заглянул в его ягнячьи глаза.

— Мне жаль Шекюре, у которой не оставалось другого выхода, кроме как выйти за тебя замуж. Если бы мне не пришлось убить Зарифа-эфенди, чтобы спасти вас всех, она вышла бы за меня и была бы счастлива. Я лучше вас всех понял фокусы европейских художников, о которых рассказывал ее отец. Поэтому слушайте меня внимательно: я понял, что нам, мастерам-художникам, желающим жить честно своим талантом, здесь нет места. Если мы примемся копировать европейских мастеров, как того хотел покойный Эниште и хочет падишах, нас остановят такие, как Зариф-эфенди и эрзурумцы, а не сделают этого они — найдется какой-нибудь трус из нашей среды и будет прав. В угоду сатане мы попытаемся пойти до конца, предадим наше прошлое и попробуем овладеть манерой европейцев, но нам вряд ли это удастся — вы видите, мне не хватило таланта и знаний, когда я делал собственное изображение. Мой портрет вышел примитивным, я не сумел изобразить себя похожим, я убедился — собственно, мы все это знаем, хотя и обидно, — что для изучения мастерства европейских художников требуются века. Если бы Эниште-эфенди завершил книгу и отправил ее в Венецию, тамошние художники и сам дож посмеялись бы над нашей работой и на этом все бы кончилось. Они подумали бы, что османцы не желают больше быть османцами, и перестали бы бояться нас. Как здорово было бы, если бы мы спокойно продолжали идти по пути старых мастеров! Но никто: ни наш сиятельный падишах, ни удрученный отсутствием портрета Шекюре Кара-эфенди — не хочет этого. Остается подражать манере европейцев! А под копиями гордо ставить свои подписи. Старые мастера Герата, стараясь изображать вселенную такой, как ее

видел Аллах, не ставили подписей, чтобы скрыть свою личность. Вы же будете ставить свои подписи, чтобы скрыть отсутствие у вас личности. Но есть еще один выход, может, вы уже знаете: индийский хан Акбар собирает самых талантливых художников мира, чтобы одарить их золотом и окружить любовью и почетом. Ясно, что не здесь, в Стамбуле, а в мастерской Агры мы завершим книгу к тысячелетию ислама.

Где-то вдалеке два раза весело пропел петух. Я подумал, что могу убить их всех кинжалом, но в эту минуту я любил их, моих товарищей детских лет.

Я прикрикнул на Келебека, который хотел было подняться, заставил его снова сесть. Выходя из обители, я обернулся в дверях и произнес пышную фразу, которую приготовил заранее:

— Мой уход из Стамбула будет похож на уход Ибн Шакира из Багдада от монгольских завоевателей.

— Тогда тебе надо идти не на восток, а на запад, — сказал завистливый Лейлек.

— Аллаху принадлежит и восток, и запад, — произнес я по-арабски любимую фразу покойного Эниште.

— Но восток на востоке, а запад — на западе, — вставил Кара.

— Художник не должен думать о востоке или западе, — заговорил Келебек. — Его дело — рисовать то, что идет из сердца.

— Очень верные слова, — согласился я. — Дай я обниму тебя.

Я сделал два шага в его сторону, и тут Кара набросился на меня. В руке у меня был сверток с бельем и золотыми монетами, под мышкой — рулон с рисунками. Он попытался схватить меня за руку, в которой был кинжал, но споткнулся и, потеряв равновесие, неловко повис у меня на руке. Я укусил его за пальцы и стряхнул с себя. Он завыл от боли и упал. Я наступил ему на руку и прикрикнул на двух других, показывая кинжал:

— Сидите на месте!

Они сели. Я сунул острие кинжала в нос Кара. Из носа пошла кровь, из глаз, полных мольбы, покатились слезы.

— Ну-ка, скажи, я ослепну?

— Если Аллах доволен твоими рисунками, он, чтобы приблизить тебя к себе, пошлет тебе свою величественную тьму. Тогда ты будешь видеть не этот убогий мир, а великолепные картины, какие видит Он. Но если Он тобой недоволен, ты будешь видеть то, что видишь сейчас.

— Главные свои рисунки я сделаю в Индии. Я еще не нарисовал того, за что Аллах может осудить меня.

— Не очень-то надейся, что ты сбежишь от европейского стиля, — предупредил Кара. — Знаешь ли ты, что хан Акбар предлагает художникам подписывать работы? Португальские монахи-иезуиты давным-давно принесли в Индию европейский рисунок и стиль. Европейцы теперь повсюду.

— Желающий остаться чистым всегда найдет место, куда сбежать, — возразил я.

— Ослепнуть и бежать в несуществующие страны, — съязвил Лейлек.

— Зачем тебе бежать куда-то? Оставайся с нами и спрячься здесь, — посоветовал Кара.

— Здесь всю жизнь будут копировать европейских мастеров, чтобы найти свой стиль, и никогда не найдут именно потому, что будут копировать европейцев.

— Другого ничего не остается, — прохрипел Кара.

Конечно, единственным его счастьем был не рисунок, а красавица Шекюре. Я вытащил кинжал из кровоточащего носа Кара, занес над его головой, как палач, потом отвел:

— Пожалуй, я тебя прощу ради детей Шекюре и ее счастья. Береги ее. Дай мне слово!

— Даю!

— Дарю тебя Шекюре, — сказал я великодушно.

Но рука моя почему-то с силой опустила кинжал на голову Кара.

В последний момент он увернулся, и удар пришелся в плечо. Я с ужасом смотрел на то, что помимо моей воли сделала моя рука, выдернул кинжал, и рана окрасилась чистой красной краской. Мне было страшно и стыдно. Но с другой стороны, если я ослепну уже будучи на корабле, за меня некому будет отомстить.

В мертвой тишине я вышел из обители. Корабль, который повезет меня к хану Акбару, отправится в путь после утреннего намаза, в это время из порта Кадырга к кораблю пойдет последняя лодка. Я бежал, а из глаз моих текли слезы.

У меня было мало времени, но я, поддавшись нашептываниям сатаны, подчинился желанию последний раз взглянуть на мастерскую, в которой прошли двадцать пять лет моей жизни; мастерская находилась недалеко от порта.

Тяжелая дверь мастерской была закрыта. Ни у двери, ни наверху, в галерее, никого не было. Я успел только взглянуть на закрытое ставнем крохотное оконце наверху, из которого мы в годы ученичества, изнывая от скуки, рассматривали деревья, как кто-то окликнул меня.

У этого человека был неприятный пронзительный голос. Он сказал, что окровавленный кинжал с рукояткой, украшенной рубинами, принадлежит ему, кинжал украл его племянник Шевкет со своей матерью. Это говорит о том, что я — из людей Кара, которые ночью напали на дом и увели Шекюре. Он был вне себя от гнева и визгливым голосом прокричал мне, что ждет Кара у мастерской. В руках его странным красным отблеском сверкала длинная сабля, лицо было перекошено злобой и ненавистью, он был готов броситься на меня. Я хотел ему сказать, что он ошибается, но он уже занес надо мной саблю.

Сабля поднималась и опускалась, она рассекла мне руку, потом шею, а потом отсекла голову.

Мое бедное тело сделало два неуверенных шага, кинжал бестолково болтался в руке, из шеи фонтаном била кровь. Я рухнул на землю.

Я — Ш*екюре*

Я провела бессонную ночь в доме дальнего родственника, где спрятал нас Кара. После утреннего намаза я посмотрела на улицу сквозь ставни окошка в маленькой и темной комнате и увидела то, что являлось ко мне в прежних счастливых снах: похожий на призрак человек, измученный войной и полученными ранами, идет ко мне знакомой походкой и в руке, как саблю, держит палку. Во сне я бросалась в объятья этого человека и тут же в слезах просыпалась. Но сейчас я поняла, что окровав-

ленный человек на улице — это Кара, и у меня вырвался крик, который никогда не вырывался во сне.

Я побежала открывать дверь.

Лицо его опухло. Из носа шла кровь. На плече, ближе к шее, зияла рана. Рубашка в крови. Он чуть заметно улыбнулся мне.

— Входи, — сказала я.

— Зови детей, мы возвращаемся домой.

— У тебя не хватит сил добраться дотуда.

— Об этом не беспокойся, — сказал он. — Убийцей оказался Аджем Велиджан.

— Зейтин, — сказала я. — Ты убил его.

— Он сбежал в Индию на корабле. — Кара отвел взгляд: не сумел он довести дело до конца.

— Но как же ты пойдешь до дома? — спросила я. — Пусть тебе выведут лошадь.

Я почувствовала, что он может умереть, и мне стало жаль его. Не только потому, что он умрет, а потому, что он совсем не видел счастья.

Мы кое-как усадили его на лошадь.

Мы шли по улице с узлами в руках, и дети боялись смотреть на Кара. Кара же, покачиваясь на медленно ступающей лошади, рассказал им, как нашел подлого убийцу их деда и как сражался с ним. Я видела, что дети стали смотреть на него добрее, и молила за него Аллаха.

Когда мы добрались до нашего дома, Орхан радостно закричал: "Мы пришли домой!" Я поняла, что Азраил сжалится над нами, а Аллах даст нам время немного пожить.

Мы с трудом сняли Кара с лошади, все вместе отнесли его наверх и положили на постель в комнате отца. Хайрие нагрела воды. Мы отодрали прилипшую к телу окровавленную рубашку, сняли пояс, обувь, белье. Я обмыла его раны.

Услышав, что пришла Эстер, эта разносчица новостей, я спустилась вниз, на кухню.

Эстер была очень взволнована и, даже не обняв меня, стала рассказывать, что перед дверью мастерской нашли голову Зейтина, а также рисунок, подтверждающий его вину. Он собирался сбежать в Индию, но решил последний раз зайти в мастерскую.

Есть свидетели того, как, увидев Зейтина, Хасан поднял саблю и одним ударом отсек ему голову.

После ухода Эстер я сказала Хайрие, чтобы она не пускала детей наверх, а сама поднялась, заперла дверь, страстно обняла обнаженное тело Кара и осторожно и боязливо сделала ему то, о чем он меня просил в доме повешенного иудея в день убийства отца.

Веками персидские поэты уподобляли главную мужскую принадлежность тростниковому перу и без конца повторяли сравнение женского рта с чернильницей.

Я открою вам тайну: когда там, в комнате, где пахло смертью, я держала во рту эту самую принадлежность, я не испытывала никакого волнения, да пусть хоть вся вселенная пульсирует у меня во рту; волнение охватывало меня, когда я слышала веселый щебет моих сыновей, которые возились в саду.

В миг удовольствия Кара издал вопль, который, боюсь, мог слышать весь квартал.

— Скажешь детям, что накладывала мазь на раны отца, — посоветовал он, тяжело дыша.

В течение двадцати шести лет после этого, вплоть до того утра, как он умер у колодца от разрыва сердца, мы с моим любимым мужем Кара поднимались в комнату после обеда, когда сквозь ставни туда проникало солнце, и "накладывали мазь на раны". Ночью я еще долгое время спала со своими ревнивыми сыновьями, потому что не хотела, чтобы они обижались на нового отца.

Мы, я и дети, были счастливы, но Кара не сумел стать счастливым. Раны на плече и шее сделали его калекой. Это не мешало жить, но было некрасиво, даже уродливо: правое плечо Кара было ниже левого, а шея странным образом вывернута. Хотя иногда я слышала, как женщины, глядевшие на Кара издалека, говорили о его привлекательности. Сплетники судачили, что женщины вроде меня выходят замуж только за мужчин, на которых могут смотреть свысока.

Как бы там ни было, Кара все время грустил. Я видела, что его состояние не было связано с физическим недостатком, просто в его душе поселился джинн грусти, и потому он бывал озабоченным даже в моменты нашей счастливой близости. Чтобы успокоить этого джинна, он иногда пил вино, иногда рассматривал книги, главным образом рисунки в них, а иногда уходил к художникам, и они забавлялись с красивыми юношами.

Через четыре года умер наш падишах, и на трон взошел султан Мехмет, равнодушный к искусству рисования. Кара не утратил интереса к рисунку. Иногда он открывал какую-нибудь книгу из оставшихся от моего отца и подолгу рассматривал миниатюры, сделанные в Герате во времена Тимуридов; он смотрел, как Ширин, глядя на изображение Хосрова, влюбляется в него, и испытывал при этом чувство вины и печали, казалось, некая приятная тайна жила в его воспоминаниях.

На третий год восшествия на трон нового падишаха английский король прислал ему в подарок диковинные часы с музыкальным устройством. Несколько недель на холм во внутреннем саду дворца, который было видно со стороны Золотого Рога, поднимали части этих огромных часов, потом прибывшие с часами мастера соединяли шестеренки, различные детали, устанавливали скульптуры. Собравшаяся на холмах Золотого Рога толпа пришла в восторг, когда в часах громко заиграла музыка и в такт ей стали двигаться скульптуры размером в человеческий рост; они двигались под звуки мелодии и поворачивались, будто были творением не рабов Аллаха, а его самого, и движения их казались осмысленными; часы к тому же били, как колокол, и бой был слышен всему Стамбулу.

Кара и Эстер, каждый в отдельности, сообщили мне, что часы, которыми так восхищались стамбульцы, включая самый простой и необразованный люд, внушили тревогу падишаху и служителям религии. Такие ходили по городу слухи. А через несколько лет следующий падишах, султан Ахмет, проснулся как-то ночью и, движимый волей Аллаха, схватил топор, спустился во внутренний сад и разбил часы, особенно старательно круша скульптуры. Говорили, что падишах увидел во сне светлый лик благословенного Пророка и тот сказал, что, если падишах позволит людям соревноваться с Аллахом в создании человеческих образов, то Аллах отвернется от него, и падишах сразу потя-

нулся к топору. Он продиктовал придворному историку запись об этом событии, каллиграфы написали книгу "Суть истории " и получили полные мешочки золота, но художники к работе над книгой привлечены не были.

Так увяла пышная роза рисунка, которая под влиянием персов цвела в Стамбуле сто лет. Борьба между стилем старых мастеров Герата и новыми методами европейских мастеров стала причиной ссор между художниками, породив нескончаемые сложности, и не дала никаких положительных результатов. Отныне не рисовали ни как на востоке, ни как на западе. Художники не возмущались и не бунтовали, они приняли все это с грустной покорностью, как старик молча принимает болезнь.

Книга моего отца, к сожалению, не была закончена. Рисунки, сделанные для нее, были переданы во дворец, и там ловкие и аккуратные библиотекари разбросали их по разным книгам и переплели вместе с другими рисунками, вышедшими из мастерской. Хасан сбежал из Стамбула и пропал, о нем не было никаких вестей. Но Шевкет и Орхан не забыли, что убийцу деда убил не Кара, а их дядя.

Мастер Осман умер через два года после того, как ослеп, вместо него Главным художником стал Лейлек. Келебек, талантом которого так восхищался мой покойный отец, последние годы жизни посвятил росписи ковров, тканей и шатров. Этой же работой занимались и молодые ученики мастерской. Никто не считал большой потерей отказ от рисунка. Может быть, оттого, что никто не видел нарисованным собственное лицо.

Всю свою жизнь я втайне страстно мечтала о двух рисунках, но никогда никому об этом не рассказывала.

1. Я хотела, чтобы нарисовали меня. Но я знала, что это невозможно, потому что, даже увидев меня, ни один художник из мастерской падишаха все равно, к сожалению, не поверит, что женщина может быть красива, если ей не нарисовать глаза и губы, как у китайской красавицы. А если меня нарисуют в традиции старых мастеров Герата, как китайскую красавицу, то только те, кто меня знают, могут догадаться, что за лицом китайской красавицы скрывается мое лицо. Но те, кто будут после нас, даже если сообразят, что у меня не было китайских глаз, не смогут представить мое лицо таким, как оно есть. Сегодня, в старости, я утешаюсь моими сыновьями, но как бы я была счастлива, если бы у меня был мой портрет в молодости!

2. Я хотела бы, чтобы нарисовали рисунок счастья; об этом в одном из месневи[1] написал поэт Сары Назым из Рана[2]. Я хорошо представляю, каким должен быть этот рисунок: мать с двумя детьми; младший пусть с улыбкой сосет большую грудь, а старший немножко ревнует, и глаза его, как и глаза матери, слегка подернуты поволокой. Я хотела бы, чтобы матерью на рисунке была я, а в небе надо мной — птица, она вроде бы летит и в то же время будто подвешена на века в неподвижности; пусть это будет сделано в стиле старых мастеров Герата, которые умели останавливать время. Я знаю, что это нелегко.

Мой сын Орхан, глупый настолько, что хочет все постичь своим умом, много лет внушает мне, что придуманный мною рисунок счастья

1. Месневи — стихотворное произведение, состоящее из рифмованных двустиший.
2. Вымышленное автором лицо (ассоциация: Назым Хикмет Ран, 1902–1963).

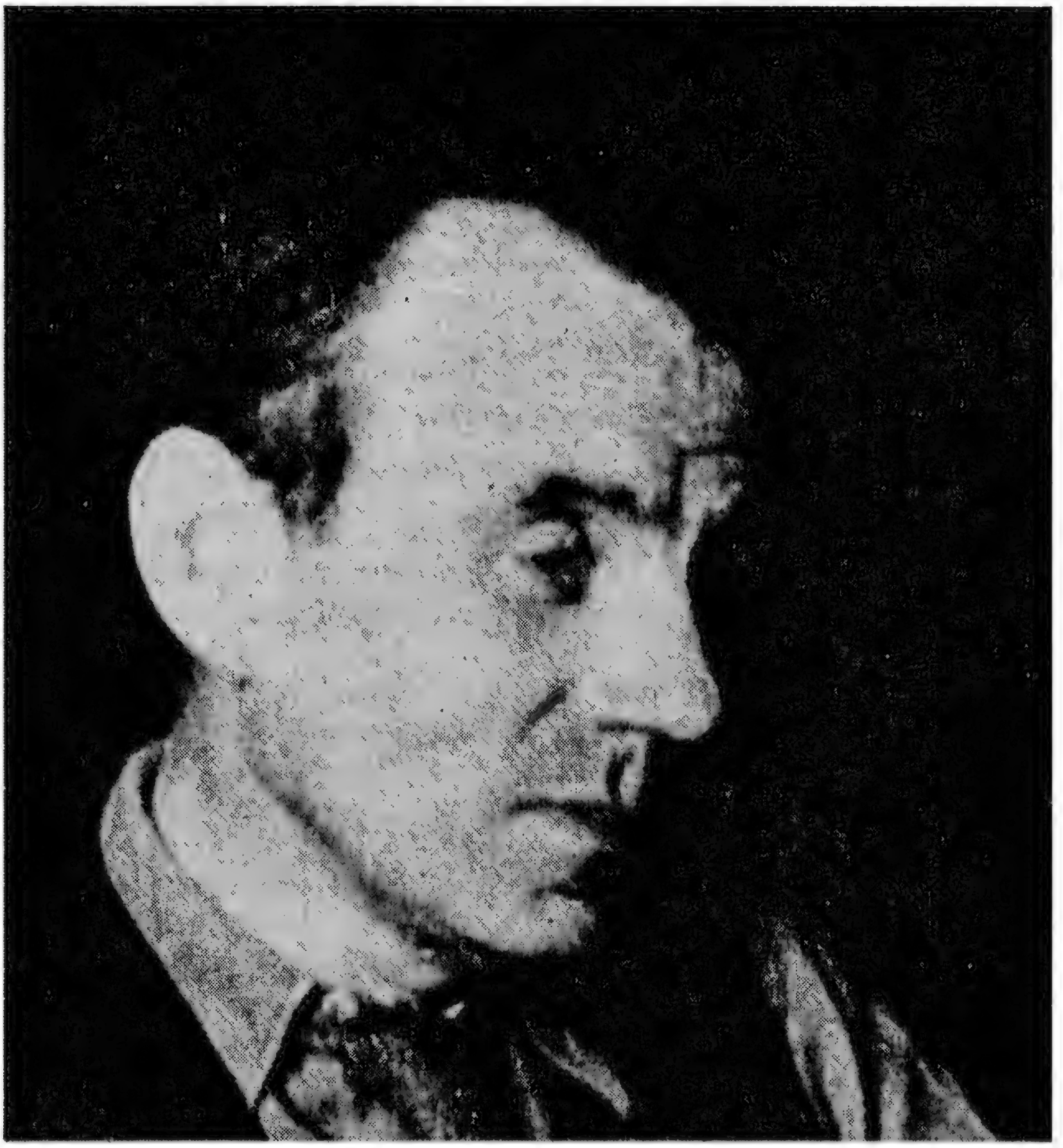
не может быть выполнен никогда, потому что мастера Герата умели останавливать время, но никогда не нарисуют меня такой, какая я есть, а европейские мастера, которые только и делают, что рисуют мать с младенцем на руках, не умеют останавливать время.

Возможно, он прав. Человек ведь ищет счастье не в книге, а в жизни. Художники это знают, только нарисовать не могут. Они заменяют реальное счастье в жизни на счастье нарисованное.

Всю эту историю, которую невозможно нарисовать, я рассказала моему сыну Орхану, чтобы он записал ее. Я без смущения отдала ему письма Хасана и Кара и расплывшийся рисунок лошадей, найденный при убитом Зарифе-эфенди. Мой Орхан — нервный, неуживчивый и несчастливый; он совсем не боится быть несправедливым в оценках. Поэтому не верьте, если он опишет Кара более растерянным, а Шевкета более злым, чем они есть на самом деле; нашу жизнь — более трудной, а меня — более красивой и более своенравной. Ведь чего только не выдумают, чтобы история была интересной и мы в нее поверили.

1990–1992, 1994–1998

Луи-Фердинанд Селин, или Путешествие на край отчаяния



Во французской литературе ушедшего века не было фигуры, вызывавшей такие яростные споры и такую разноголосицу мнений, как Луи-Фердинанд Селин (1894—1961). Его возвеличивали и поносили, называли гением и ниспровергали как амбициозное ничтожество, видели в нем поэта отверженных и, наоборот, сноба, кокетничающего своей ненавистью к ничтожному людскому роду. Селин давал определенные основания для этих полярно противоположных оценок, и даже через много лет после его смерти накал полемики, в которой сталкивались непримиримые противники, все еще порой дает себя чувствовать, хотя сегодня

никому не придет в голову отрицать значительность его присутствия в литературной истории XX столетия. Как писатель, не признававший никаких оптимистических иллюзий, как художник, выразивший не только социальный, но прежде всего экзистенциальный опыт страшной эпохи, на которую пришлась его жизнь, Селин занимает свое неоспоримое место среди тех, чьи книги стали наиболее ярким и честным свидетельством о человечестве, пережившем мировые войны и катастрофы неслыханного масштаба, те, что перевернули былое представление о мире. И в своих творческих озарениях, и в своих безумствах, скомпрометировавших его в глазах многих, для кого неприемлема исповедуемая Селином философия отчаяния на грани цинизма, он остается типичным порождением своего времени, нашедшего для себя точный художественный образ в апокалиптическом ви́дении, отличавшем книги этого прозаика, в его неподражаемой стилистике, в этом бунте против скотской жизни, перерастающем в отрицание самой жизни, воспринятой только как скотство и как гнусный, бесчеловечный фарс.

Л.-Ф. Селин
Guignol's Band, или Паяцы 1

Фрагменты романа

Перевод с французского И. Радченко

Читатели благосклонные, не ахти как и ах как не! Критики! Накликал я опять бурю "Паяцами" своими, книгой первой! Не судите слишком скоро! Дождитесь продолжения! книги второй! книги третьей! там все прояснется! разовьется, становится на свои места! Еще недостает ни мало ни много трех четвертей! Разве так можно? Издавать пришлось, понимаете, спешно, обстоятельства так повернулись, что нынче жив, а завтра нет! Деноэль?[1] Вы? Я?.. Я замахнулся на тысячу двести страниц! Представляете?

– Спасибо, что предупредил! продолжение мы уж точно покупать не станем! Он вор! И книга его дрянь! Зануда он! Паяц! Грубиян! Предатель! Жид!

В одном лице.

Знаю, знаю, не привыкать... старая песенка!

Всем я поперек горла.

А если лет через двести по этой книге школьные сочинения писать будут? Что вы тогда скажете?

– Ну уж извините! куда хватил! А многоточия? многоточия ваши! опять! везде! возмутительно! Он французский язык калечит! Это ж какая подлость! В тюрьму его! Верните наши деньги! Тошнит от него! Дополнения все коверкает! Паразит! Смотреть противно!

Короче, жуть!

– Читать невозможно! Похабник! Подонок! Мошенник!

Мало этого.

Является Деноэль, он вне себя!..

– Послушайте, я тут ничего не понимаю! чудовищно! невероятно! В книге сплошь одни потасовки! Это вообще не книга! Катастрофы не миновать! Ведь ни начала, ни конца!

Принеси ему "Короля Лира", он, верно, и там ничего, кроме резни, не увидит.

Интересно, что он видит в жизни?

А потом все устаканивается... все свыкаются!.. все честь честью... До следующей книги!

И такая чехарда всякий раз. Повопят, повопят и угомонятся. Им что ни напиши, все не по нраву. Им прямо дурно становится!.. Уй-уй-уй!.. а длинно-то как!.. скучища!.. все что-нибудь да не так!.. Потом вдруг – раз, и все без ума! Поди их пойми! Ну хоть тресни! Капризы, да и только! По моим расчетам, на вызревание уходит по меньшей мере год... пока наругаются вдоволь, желчь свою изо-

© И. Радченко. Перевод, 2001

1. Робер Деноэль – первый издатель Селина, опубликовавший в 1932 году "Путешествие на край ночи". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

лъют, растрезвонят по всему свету, выговорятся... Потом наступает затишье... Книгу покупают... тайком... сто, двести тысяч... читают... бранятся... а двадцать тысяч ее превозносят, выучивают наизусть... вот тебе и бессмертие!

Всякий раз по одному и тому же сценарию.

Вспомните, "Смерть в кредит" была встречена шквальным огнем невиданной интенсивности, злобности и желчности! Отборное воинство критиков в полном составе, клирики, масоны, евреи, снобы, спесивые дамочки, очкарики, шептуны, атлеты, склочники – целый легион – встали все как один, глазами сверкают дико, на губах пена!

Ату его!

А после пена оседает, и сегодня, видите ли, "Смерть в кредит" уже ставят выше "Путешествия". Он у нас всю бумагу сжирает! Безобразие!

Вот таким путем...

– Там у вас сплошь "мать" да "говно"! Нецензурщина! Она-то и привлекает к вам поклонников!

– Вижу, вижу, к чему вы клоните! Говорить легко! А вы попробуйте! напишите! Даже и говна-то не получится! Не так все просто!

Я вас немножечко в курс дела введу, за кулисы, так сказать, впущу, чтоб вы себе иллюзий не строили... я поначалу тоже строил... теперь нет... опыт, знаете ли.

Чудно прямо: слюной брызжут, кипятятся... Обсуждают, зачем многоточия... не издевка ли, дескать... и потом, то да се... что он о себе вообразил!.. позерство, мол... и все такое прочее!.. обратите внимание на запятые!.. а что я думаю – это их не интересует!.. мне других в пример ставят... Я не завистлив, можете поверить!.. Мне тысячу раз наплевать! Пусть превозносят кого угодно!.. Только я лично эти книги читать не могу... На мой взгляд, там одни лишь наметки, они не написаны, мертворожденны, ни рыба ни мясо, в них жизни нет... всего-то мелочи не хватает... а может, они живут, как пишут, велеречиво, риторично, в глазах от чернил черным-черно, и умирают, захлебнувшись фразой. Печальная участь! Но о вкусах не спорят.

На черта нам такое убожество, скажете вы... Да ведь приукрась я его, вы ни строчки прочесть не сможете! И потом, коли мы так разоткровенничались, я вам еще одну тайну открою... чудовищную... мрачнее некуда... такую жуткую, что уж лучше я ее с вами разделю!.. она мне всю жизнь исковеркала...

Это насчет деда, звали его Огюстом Детушем... так вот, я должен признаться, что он специализировался на риторике, преподавал ее даже в гаврском лицее, а к 1855 году прямо-таки известность приобрел.

Понимаете теперь, почему я всегда начеку. Витийство у меня в крови!

Дедушкины писания я берегу, у меня их пачки, со всеми черновиками, полные ящики! От них язык к гортани прилипает! Он префекту речи писал потрясающим стилем, можете мне поверить! прилагательными мастерски владел! Комплименты сыпал метко! Без промаха! Стлал мягко! Потомок Гракхов! Сентенции и все такое! В стихах и в прозе! Все медали академические срывал.

Я их храню трепетно.

Он мой предок! Так что в языке я толк понимаю, не вчера освоился, как иные! Будьте покойны! знаю до тонкостей!

Эффектные приемы, литоты, сообразности я еще в пеленки выпростал...

Чтоб глаза мои их больше не видели! я лучше сдохну! Дед Огюст того же мнения. Так мне сверху и говорит, внушает из дали небесной...

– Дитя мое, только без фраз.

Он знает, как сделать, чтоб оно завертелось! И у меня вертится!

Тут уж я непреклонен категорически! Чуть только потянет меня на "периоды"... я мгновенно многоточие на помощь призову!.. десяток! дюжину точек! Если надо, вообще продолжать не стану! Вот это по-моему!

Джаз восторжествовал над вальсом. Импрессионизм разогнал кабинетный мрак. Писать вы будете телеграфным стилем или не будете вовсе!

Нет жизни без волнения!
Ловите же мгновения!
Нет жизни без волнения!
Смерть даст успокоение!

Понятно? Ну так волнуйтесь! "У вас там одни потасовки!" Что за возражение! Что за чушь! извините! несуразнейшая! Звон пустопорожний! Волнуйтесь, черт бы вас побрал! Ну же! ну! Прыгайте! Трепещите! Чтоб панцири на вас полопались! крабы! Выверните себя наизнанку! Брюхо вспорите! Найдите, где у вас там трепыхается! То-то будет праздник! Наконец! Хоть что-то! Хоть проснулись! Роботы сохатые! Чтоб вас всех!.. Транспонируйте, или все, капут!

Больше я ничем не могу вам помочь!

Целуйте ту, которая вам по сердцу! Если еще не поздно! За вас! Живите! Остальное приложится! Счастье, здоровье, благодать, радость! За меня не беспокойтесь! главное, чтоб ваше сердечко билось!

Дальнейшее в ваших руках! Вы получите раскаты грома или звуки флейты! как в аду! как у ангелов на небесах! <...>

Я знавал одного настоящего архангела на закате его карьеры, впрочем, вполне еще удалого и, я бы сказал, с огоньком. Подлинное его имя так и осталось для меня тайной. Больно много у него водилось всяческих документов. Короче, звали его Борохром, оттого что он в химии разбирался и в юности якобы бомбы мастерил. Это, понятно, слухи, легенда. Поначалу я над ним подтрунивал, сам себя больно проницательным считал, и только позднее осознал значительность его, масштаб личности под нелепой оболочкой и собственную недалекость. Он на пианино играл восхитительно, когда ничего другого не оставалось в смысле работенки. В Лондон он приехал на двадцать лет раньше моего, надеялся химиком устроиться на фирму "Уикерс", в лабораторию нитратов. Он дипломы защитил в Софии и потом в Петербурге, но чувства времени лишен был напрочь, что его и погубило, потому что какой тогда из него работник, а кроме того, пил крепко, чрезмерно даже для Англии. Он в этой "Уикерс нэшнл стил лтд" недолго продержался, три месяца за кров и харчи, а после выставили его, кроме всего прочего еще и за манеры, в самом деле сомнительные: одежда вся в пятнах и глядел косо. Он якшался с дурным обществом, водил знакомство с сомнительными типами... похуже еще, чем он сам...

Всякий раз к концу недели у него случался разлад с квартирными хозяйками. Полиции он был хорошо известен, и она его, в общем, не беспокоила. Ну беспутный и беспутный.

В Англии в этом смысле порядок, по-серьезному они к вам не пристают, даже если вы плохо одеты и рожа ваша подозрительна, при одном только условии, молчаливом, так сказать, соглашении, что вы не будете

куролесить в полдень перед "Друри-Лейн"[1] и в пять – перед "Савоем"[2]. Извольте соблюдать этикет. Пакт о приличиях. Нарушили, попались – тогда конец. Есть запретные часы для Стрэнда, другие – для Трафальгар-сквера, а в остальном – полнейшая свобода!.. Надо знать английских фараонов: они не любят насилие, шум, это лентяи, каких свет не видывал, главное – на рожон не лезть, не задирать их в открытую, словом, не причинять им лишних хлопот... Пусть у них ордеров полные карманы и даже фотографии ваши, они на крайности не пойдут, надо только внимания не привлекать, дистанцию блюсти, не менять слишком часто костюмы с целью эпатажа, а также хаты и злачные места. Существует этикет, правила пристойного поведения для добропорядочных бродяг – ну и придерживайтесь их! Не покушайтесь на Традицию! Когда же вздумается вам своенравничать, дебоширить, проявлять непостоянство, закатываться то в одну пивную, то в другую, появляться в бильярдной в неположенное время, тогда не удивляйтесь, они вам спуску не дадут, въедливые сделаются, напористые, потому что вы им наблюдение осложняете и выкрутасы им ваши поперек горла; они тогда уже спят и видят, как бы вас поскорее засадить. Их все экстравагантное в бешенство приводит, по части одежды в особенности... Так и с Борохромом получилось. Он обычно котелки носил сливового оттенка, никогда ничего другого на свою здоровенную башку не надевал, шляпа цвета зеленой сливы была его постоянным атрибутом. В таком виде он и за пианино садился, на хлеб себе зарабатывал в кварталах от Элефанта-энд-Касл до Майл-Энд. Поневоле пришлось после того, как его выставили из этой "Уикерс". Во всех кабаках, вдоль всей Коммершел-роуд, сегодня здесь, завтра там... но все поближе к реке. Они так Темзу называют. Его знали и привечали за резвость пальцев при серьезном лице и прямо-таки папской благопристойности. Основная выручка приходилась на субботы. С восьми до полуночи он три фунта с легкостью зашибал, а сверх того крепкого портера, питательного, густого, пенистого – море разливанное от щедрот посетителей. Напоследок, как водится, песня надсадная, застольная, и все сгрудившиеся у пианино алкаши дружно подхватывают припев:

Йоуп! уай ди уай! уай!
Йоуп! Уай ди уай!

"Уай ди уай!.." – это первые английские слова, которые я выучил. Они разносились в ночи по улице, где у пивной, расплющив носы об оконное стекло, торчали дети в ожидании, пока родители допьяна нахлебаются пива, веселья и радости жизни и фараоны придут выпихивать их размашистыми пинками, чтоб отблевывались где подальше. Наведывались мы и в "Доблесть", фешенебельную пивную на людной Лейн-стрит, где еще, помните, семь массивных стоек с корабельными носами слоновой кости и медными кручеными поручнями. Восхитительная работа. И в колоссальной золоченой раме с сиренами портрет Завоевателя[3] в рост. Здесь-то и вышел инцидент, из-за которого каша за-

1. Лондонский музыкальный театр.
2. «Савой» – фешенебельная гостиница в Лондоне на улице Стрэнд.
3. Имеется в виду Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандский, завоевавший в 1066 году Англию.

варилась. А дело было так: явился Мэтью, пристав из Ярда, через закусочную вошел, где козыри сидят; насвистывает себе, "гуд дей, деймз", говорит, дам, стало быть, приветствует.

Он был не при исполнении, в пиджаке, как мы с вами, подпевал со всеми, под хмельком, в общем, и оттого приветливый... И вдруг! Что за муха его укусила?.. остановился как вкопанный, остолбенел... уставился на Боро... в цилиндре! А! у него аж дыхание перехватило! О неслыханная наглость!.. сидит тут за музыкой своей, ригодон отстукивает, в ритме терпком, шатком, баюкающем очарованием тумана, каким полнится здешний воздух, вбирающем все заботы насущные, чтоб тоже джигу отжаривали!.. динь!.. динь!.. дон! дон! опля! престо! Искрящиеся трели и арпеджио! он чудеса творил, атмосферу околдовывал, из-под грязных пальцев-сосисок точно веселые домовые духи вылетали... рассыпались струями куплетов... и пеной горького смеха... Английские напевы деликатные такие... вроде их кисло-сладкого апельсинового варенья... Как сейчас помню... у Мэтью челюсть отвисла при виде новой шляпы своего подопечного. Язык к гортани присох... улыбка застыла бессмысленно. Он глазам своим не верил!..

Подходит ближе... чтоб разглядеть получше... всесторонне. Стоит, стало быть, у пианино... И вдруг! Ярость!.. с места в карьер! на пианиста с бранью обрушивается...

И где это он видел, чтоб в кабаке цилиндр носили! Вопиюще!.. Совсем с ума спятил! И что он о себе возомнил? Что он на дерби? В палате лордов? Наглость! оскорбительная! иностранка поганый!.. Низшего разряда эмигрантишка! Музыкантишка! бродяга! неудачник! Приходит тут джентльмена изображать!.. Это ж нахальство беспримерное! неслыханное! Снять немедленно, не то в кутузку махом!.. И прочая такая параша, угрозами брызжет, помутился от злобы!..

Боро тем "цилиндром" дорожил... Это у него подарок был от некоей особы... Пристав Мэтью, когда ссоры искал, отчета себе в словах не отдавал... Между прочим, не его собачье дело!.. Боро имел полнейшее право напялить себе на голову хоть софу, хоть бумажного змея, хоть весы для грудничков, а котелок и подавно! Это никогошеньки не касается!.. Пристав, однако, придерживался иного мнения и только пуще лез в бутылку. Вспыхнула перепалка... Дальше — больше... Шум!.. гам!.. Страсти накаляются! Дым коромыслом... Все вокруг ходуном пошло, поехало, заплясало — это толпа всколыхнулась, забурлила, заревела, пристава на смех подняла!.. Припертый таким образом, Мэтью света невзвидел — рассказываю все как было, — свисток из нагрудного кармана достал... Что тут поднялось!.. Бросились все разом!.. Чтоб свистеть не смел!.. Подмогу вызывать!.. Смерть полицейским! Вмиг сбитый с ног, размазанный по полу Мэтью оказался под грудой алкашей: горланят, гогочут, ногами чечетку отбивают — куча мала до самой люстры... гарцуют наверху победоносно! По верхним ярусам кружки пошли... Заздравные!.. И песня: "Потому что славный был парнишка"!..

Пристав в самом низу и пикнуть не мог, получил сполна... Я в дверях стоял, ждал, когда они утихомирятся!.. Я б предпочел не присутствовать... А ну как фараоны притащатся, заметут всех разом?.. хорош я буду со своими документами!.. С освобождением моим от воинской повинно-

сти, печатями невнятными! Ой-ой-ой! мама родная!.. С консульскими у меня отношения весьма щепетильные...

— Сваливай! — кричит мне из свалки Боро... из-под груды... и в сторону больницы машет... это через улицу!..

Лондонская больница на Майл-Энд-роуд — место известное... Мы возле нее все встречи назначали, потому что людно там, народ туда-сюда снует... поди уследи... Особенно у приемного покоя толкотня неиссякающая... днем и ночью шмыг, шмыг... По Майл-Энд все автобусы проходят. Иду я, значит, встаю на противоположном тротуаре под газовым голубым рожком... Боро при всей своей тучности в драках большую изворотливость проявлял... Выпутываться умел исключительно... Проворный делался, как ноги уносить... Вот и тут не заставил себя долго ждать!.. Эдакий толстый котище-ловкач... Протиснулся меж дерущихся, сквозь бурю, шквал, торнадо затрещин. В залах "Доблести" побоище идет нещадное! Ураган губительный! мне отсюда видно!.. Все крушат полоумные, перегородки рушат, оконное стекло вдребезги разлетается, рассыпается по тротуару!.. Смерч! Тайфун! Гам чудовищный! Так и лорд-мэра разбудят!.. Громче всего бабы визжат! да еще детишки в темноте! которые папаш дожидаются... "Мама!.. Мама!.." Уже сиротами себя воображают!

Боро приковылял хромая, схлопотал крепко! Уай! уай! левое колено! до крови... изучаем ногу под фонарем... Каково в переделке побывать!.. И шляпу потерял, "цилиндр раздора"!.. Стоило огород городить! Порешили больше в "Доблесть" ни ногой, в логово поганое! бордель чертов! плевать нам на красное дерево, на стойки пресловутые! и железки крученые! Когда там преступник на преступнике! пристанище проходимцев! Где друзей калечат! и фараоны ведут себя как последние скоты!

Такое, значит, вынесли решение <...>

...Свидание было назначено в шесть в "Плавании на Дингби", старой забегаловке, помещавшейся прямо среди доков, чуть к западу от больницы, у самой реки... Пробраться к ней можно было с берега или же проулочками, хаотично спускающимися от Коммершел-роуд, петляющими между складами и ангарами... если нужно прийти и уйти незамеченным, лучше не придумаешь...

Приходим, значит... Ждем... Хозяин "Доблести" тоже тут, с нами повидаться захотел... Однако пока помалкивал, держался настороже... пуганый...

— I want to speak to Cascade!.. — говорить, стало быть, желал только с Каскадом! Бирюк насупленный... А Каскада все нет. Время самого наплыва посетителей, столики заполнялись один за другим, как раз пересменка, подходили бригадами с лебедок, трюмов... шум, понятно, башмаками грохотали, а строеньице-то деревянное, балки да глина-солома, ох как резонировало. И потом, от игральных автоматов да "занзибара", костей то есть, гул и выкрики доносились... там всегда толчея...

Чу! цок! цок! экипаж! Пожаловали, значит! И с порога:

— Привет, мужики!..

— Привет, привет!.. — отвечаем.

Не больно-то он спешил!

— Что котелок? — это он мне. — Все ноет?

И на голову показывает.

— Ноет! Ноет! Еще как!

Беспокоило его, что у меня башка болит, всякий раз спрашивал.

Тут Клодо в разговор вступает, объясняет, зачем Каскада звали... из-за Джоконды, значит!.. потому что она в больнице плохо себя ведет... болтает разное, напраслину возводит...

— А что задница ее, подживает?

— С задницей все в порядке!..

— Был бы зад в порядке — остальное приложится!..

Вот и вся реакция...

— Как Анжела? — спрашиваем мы в свою очередь.

— В Эдинбург уехала! По делу! Пристраивать двух девок! от Косого...

— От Косого?

— Да! Представьте!..

Мы ушам своим не верим...

— Мужику под сорок! А он туда же! Кусок идиота! ей-ей! руки в ноги и в пехтуру! в пехоту, господа! Вольному воля! Думать о нем не хочу! Но какова Джоконда? Видали, какой класс! Видали? Я знал, что говорю! Какие выпады! А потом — раз! пошла! закрутилась! фьють! снова тут! какой задор! Сколько огня! А?.. Огонь!..

— Не желаете ли ее навестить? — любезно предлагаем мы.

— Нет уж! дудки! пусть хоть сдохнет!..

Вот и весь ответ... С него довольно! надоело!.. Нечего тоску нагонять!

Эгоист, в общем.

— Я, мужики, знаете что сделаю?

Опять за свое.

— Тромбон себе куплю! Маршировать стану! Буду заходить к вам в полдень!.. Увидите — не пожалеете! В одиночку трубить стану! Для тех, кто не хочет вставать в ряды! Заделаюсь антивербовщиком! Понимаете? общество создам! отказников! Английский выучу. Если и дальше так пойдет!.. Хочу разобраться, что они там несут, чем головы задуряют! От чего все с ума посходили!.. не иначе потрясающее что-то! Интересно послушать, что они мелют!.. Мужики, они ж ленивые!.. Мне ли не знать!..

Никак в толк взять не мог.

Чудеса, да и только!

Призадумался над стаканом... а в стакане крепкий портер...

К беседе присоединился Просперо Джим, кабатчик... Он с Каскадом согласен был... все зло от газет!.. только от них! Он их тоже никогда не читал!.. И еще от кино!..

— Ты новости у них видел? Только и знают... траншеи!.. Немцы! Вот какая у меня медаль! Вот какая у меня каска! Вот какой я храбрый! Вот какой я мертвый! Спектакль! Я тебе говорю! Чтоб им пусто было! Сучьи потрохи!..

И оба, как вспомнили, сразу в ярость пришли!

Завелись от разговора!..

— Я вас люблю! I love you! — паясничал Каскад!.. — Ты совершенно прав! Они как дети!.. испорченные! избалованные! заевшиеся! сливками! маслом! сладеньким!

Я сидел слушал... Не вмешивался... Я бы мог свое слово сказать... Но только лучше помолчу!.. Чужой опыт не впрок! Я эту школу прошел! Знания, добытые дорогой ценой, я их собственной шкурой ощущал!.. а бо-

лее всего ухом! Там у меня махонький кусочек железа застрял! но свисту от него!.. не уснешь!.. и мигрени – хоть криком кричи... будто тисками сжимают так, что глаза из орбит вылезают... часами потом косой хожу... Припадки, в общем... Нет! Меня назад калачом не заманишь.. Вспомнились отец, мать – сидят себе тихонько в лавчонке своей, в Пассаже Вередода, хнычут, соседи их жалеют, что сын у них раненый... Вспомнилось все, чего я навидался по госпиталям... в Дюнкерке... Вале... Вильмомбле... Дранси... Как сам маялся... Как там раненых раз-раз – на стол... подлатают!.. подправят!.. зашьют наспех! и готово! Вперед, солдатик! До следующего раза!.. Все в ажуре! Ишь какой крепенький! Годен на передовую! Лес рубят – щепки летят! Чай, зимой не замерзнешь, мой славный герой!.. На месте сидеть не придется! Обещаю вам!.. ни минутки!.. Пошевеливайтесь, доблестные вояки!.. И нечего на девок глазеть! Мужчинам не пристало!..

Я вспоминал... и молчал! Каскад разглагольствовал. Счастлив был, что его слушают... красовался <...>

Наливает себе полный стакан виски... Угощает всех вокруг... сама щедрость...

– Пейте все! Ты меня слышишь? Я ж не так просто пришел! Мне тут говорят про болезнь! Еще не знаю про что!.. про то, как сдохнуть! Черта с два! Я смеяться хочу!

Клиенты вокруг, грузчики причальные с мускулистыми татуированными руками, головами кивали и ни слова не понимали... Они просто желали чествовать чудака-весельчака, который здорово так все устраивал! Братву угощал... бодрость духа в теле восстанавливал при помощи виски и "напитка моряков" – зелья по рецепту Просперо. От одной только капли этого напитка у вас лицо перекашивалось разом; таким если дыхнуть, так весь туман растает от доков Барбели до Гринвича на десятках Темз! Главное при этом за стойку придерживаться! А то валил наповал!

"Потому что славный был парнишка!" – громыхнула по окнам подхваченная всей оравой строка! Прокатилась звериным ревом!.. Табачные облака сгустились так, что хоть ножом их разрезай... Глаза у всех сделались красные, слезились, мигали, горели, будто их перцем засыпало – от копоти... и еще от других дымов похлеще, просачивающихся с реки, насыщенных серой, углем, селитрой, обволакивающих, сальных, затмевающих даже и свет газового рожка, размывающих и расквашивающих лица, лепя на них причудливые гримасы. Все горланящее заведение расплывалось в тумане... сутолока орущих призраков...

"Потому что славный был парнишка!.."

Гаркнули по новой... а после – про войну припевчик модный, злободневный, в "Ампире" от него с ума сходили:

Пакуй заботы в вещмешок
И пой! пой! пой!..

Даже Каскад надсаживался: "Пой! пой! пой!" Тут как раз подходит Боро, он все это время в карты играл.

– Откуда это ты взялся, кашалот? – напал на него Каскад.

– Из постели, патрон! Будьте здоровы! Рад служить! И вовсе не из тюрьмы, как некоторые... – тонкий намек.

— Однако же и с вами такое случалось, чего греха таить, господин Боро!

— К чести моей будет сказано, не менее четырнадцати раз! Господин Каскад!.. За убеждения!.. Откр-р-ровенно говор-р-рю! И гор-ржусь этим! И, придет время, снова там буду!..

Ну и акцент, не "р", а раскаты грома!

— Нашел чем хвастать!..

— Потому что я — никогда! Вы слышите, господин Каскад! Никогда за сутенерство!..

Схлопотал Каскад!

— Ваши убеждения никого не интересуют, господин Бор-р-рохр-ром! Интересуют документы, почтеннейший!..

— Сколько угодно, господин Каскад!

Роется в карманах, руку поглубже запускает, извлекает кипу бумаг, блокноты, бумажонки, огрызки паспортов, все рваное, подклеенное, сальное...

Каскад рассматривает внимательно, возвращает.

— Ай-ай-ай! Белыми нитками шито, господин бандит с честью! И это все, чем вы располагаете? Плохо дело, Боро! Очень плохо!.. А что у вас, господин Промашка?

Это он мне.

— Ну-ка покажите-ка ваши документики! Вы позволите?..

Достаю, стало быть... Разворачивает, возвращает... Брови хмурит...

— Да у вас, господин Промашка, тоже рыльце в пушку! Приходили тут, вас спрашивали!.. Теперь мне все понятно!.. В консульство вас вызывали!.. Черт побери!.. Теперь понятно! Вы афиши-то читали?.. Или только все "Миррор" да "Миррор"?.. У Берлемона только о том и говорят!.. У кого двенадцатый разряд, всех призывают!.. Освобожденных, неосвобожденных!.. Ну, а вы, дорогой Клодовиц? Милейший доктор! Ученый вы наш!..

Поворачивается к нему.

— Покажите-ка, что там у вас!.. Я, разумеется, уже видел! Да только давно!.. Хотелось бы снова! Соскучился!.. Уж больно чудны́е были у вас документы два года назад!.. Они все еще при вас?.. Тем лучше! Вы на них сидите, как наседка!.. Может, чего новенького высидели?..

Клодовиц лезет за документами, у него их полным-полно за подкладкой... есть правдоподобные... есть и совсем откровенные подделки!.. Зачеркнутые-перечеркнутые... паспорта, каких свет не видывал! фальшивки из фальшивок! курам на смех! Он и сам не отрицал.

— Подтирок многовато!..

Так объяснял...

— Ну что ж, господа умники! Хорошо живете! То-то вас научат играть на скрипочке! Артисты, нечего сказать! А насчет подделок, между прочим!.. ох, моя головушка! Дерьмовая работа! Между прочим, вас разыскивают!.. Некоторые люди, знаете ли, находят, что вы перегибаете палку! Кто? Да так, завсегдатаи, любители и серьезные люди тоже!.. Вот Мэтью, к примеру! Из любителей! Он повсюду о вас спрашивает!.. Его хлебом не корми, только дай ему ваши документы! Не далее как позавчера приходил!.. специально! только из-за вас! "Господин инспектор! — говорю я ему с порога... не церемонюсь... — Вас что-то беспокоит, господин инспектор?" Так я его встречаю... я знаю, он лжив как мерин... Когда

с добродушным видом приходит, это еще хуже!.. Жди подвоха!.. Я сразу к делу... Достаю кальвадос... Он глоток отпивает... садится... И все!.. Ни слова... Чтоб он оттаял немного... коньяк достаю... рюмки побольше!.. Потеплело!.. по лицу видно!.. Губами причмокивает: "мня! мня!" Я суечусь!.. Вроде как штопор ищу!.. маленький... шарю... там, сям... по карманам!.. дурака валяю!.. фунтов пригоршню достаю... и хлоп на стойку!.. Сам встаю... и к двери... "Пописать!" – говорю... Возвращаюсь... денежек как не бывало!.. Тут и разговор клеиться начал!.. Он лицом помягчал!.. Доверчивее сделался!.. Уютнее себя почувствовал!.. Вовремя я подсуетился! У него было о чем поговорить!.. Я поначалу думал, блеф!.. А он мне "warrants" показывает... приказы письменные... Дело серьезное... Вас именно касается!.. Советую прислушаться!.. Он тебя, Промашка, в частности, видеть желает... Консульство твое личное дело запрашивает... безотлагательно и немедленно!.. жареным пахнет!.. Тобой, Клодо, Внутреннее ведомство интересуется... рожа им твоя надоела... Желают, чтобы ты вернулся в Фолкстоун!.. в польский карантин!.. там, дескать, твое место, там и только там!.. А вас, почтеннейший Боро, жаждут видеть в Скотском Ярде, и тоже срочно!.. Им ваши скандалы поперек горла!.. Так и говорят! И чтоб через пять дней и духу вашего тут не было!.. А не то кастаньеты наденут... да куртенку с номерком!.. да порку зададут!.. Вот такие новости!..

Каскад, понятно, преувеличивал, раздувал для острастки... и чтоб связи свои продемонстрировать, однако ж не на пустом месте!.. В самом деле паленым попахивало... Фараоны и впрямь нервничали, хитрили, жаждали крови... Только нас голыми руками не возьмешь!.. Мы с Боро тоже в позу встали!.. Дескать, наговор!.. черная несправедливость!.. На улицах Лондона полным-полно бродяг почище нашего... и куда более подозрительных... и опасных! разбойников всяких!.. душегубов отъявленных!.. и что по отношению к нам это слов нет до чего гнусная несправедливость!

Затем мы ему еще высказали в открытую, что, может, он сам нас и закладывает?.. избавляется от нас подлейшим образом!.. Не постеснялись в выражениях!.. И правда, отчего это вид у него такой довольный! будто облегчение испытывает!.. Ох, подозрительно!

– Скажи прямо! Завидуешь, и все тут!

И так далее!.. Все ему выложили!.. Что он на наших несчастьях наживается! Циник махровый! И что чести у него ни на грош!..

Как он тут, голубчик, подскочил!

– Это у меня? Сукины дети! Что я слышу!

Говорить не может! задыхается!

– Да их бы уже плетьми засекли! В фарш обратили! Сдохли бы уже в тюряге! если б я Мэтью не умасливал! Разоряют меня до последнего!.. Я только и делаю, что жизнь им спасаю!.. Они ж для полиции готовая добыча! И чтоб я же от них такое выслушивал!.. <...>

Работяги вокруг нас времени даром не теряли. Пользовались случаем, поддавали на дармовщину! Каскад угощал!.. Они не понимали, чего это мы нервничаем!.. чего кипятимся из-за афиш каких-то!.. в бутылку лезем!.. Мало ли что фараоны болтают!.. Мы пытались им объяснить... талдычили: "Война, дескать! war!" Их это нисколечки не пронимало! Они воевать не собирались!.. Они годились только в грузчики! Остальное их не касалось!.. <...>

Вытянувшему счастливый номер легко быть оптимистом!.. Пусть другие идут на бойню!.. Освобожденные горланят слаженным хором!.. Они вам таких серенад напоют, особливо если спрыснуть либеральными речами!.. Тем более такие широкие господа, как Каскад!..

Угощает всех снова и снова!.. Обезумевший махараджа!.. Банкноты пачками на стол выкладывает!.. Надоели они ему!.. Обмыть!.. Смыть все дочиста!.. Ох уж его и чествовали! "Потому что славный был парнишка!"

Весь кабак громыхал эхом и стены дрожали, так они дружно голосили!.. Люстра с подсвечниками раскачивалась и вальсировала над головами!.. Вся харчевня дымилась... Просперо снова затянул припев... Он, пожалуй, громче всех вопил! "Потому что славный был парнишка!.."

Бум! ухнула дверь! С улицы будто мешок ввалился!.. Хлопнулся! бац! прямо на пол! Упала!.. Не заметила!.. Трех ступенек!.. Чокнутая!.. Рухнула! растянулась! Джоконда наша! кульком!.. вся в вате... в бинтах!.. приподнимается, воет что есть мочи, яростью пышет!.. сразу с упреками!.. вот... встала, за стойку подтянулась!.. Ну, фурия! Задыхается... пыхтит... она весь квартал обегала... нас искала! сама зеленая под люстрой-то!.. осматривается... испуг на лице! Вопль... Нет его?

— Где ты, мой золотой? Где сокровище мое?..

— Здесь, голубушка! Здесь, заразочка!..

Откликается Каскад.

— Иди сюда, катастрофочка!.. Бедствие стихийное!..

Потрясающий эффект!.. За столиками мужики со смеху покатываются! Семейная сцена! Очень кстати!.. Каскад оскорблен!.. Ага! Сейчас достанется доктору!..

— Это что же делается!.. Нет, вы только посмотрите!.. Доктор Клодовиц! Я доверяю вашему попечению раненого человека! Вверяюсь вам всецело!.. Полагаю, что она там лежит спокойно!.. Оплачиваю лечение! За все плачу! Деньгами вам карманы набиваю, доктор! И вот она, благодарность! Это что ж получается? У вас, значит, ходят куда хотят? Сматываются, гуляют, кутят! В какое вы меня ставите положение? Я вас спрашиваю! Это же бордель, а не больница! гошпиталь ваша Лондонская! Похуже "Чаринга"[1] будет, как я погляжу!.. Лажа все! Как ваши документы, доктор! дрянь! дерьмо! Вы даже сумасшедших своих удержать не можете! Полюбуйтесь на эту куклу!..

Та без дела не стояла. Бинты свои сдирала и раскидывала повсюду вату, корпию... В зале хохот!.. овации! Клодовиц не знал, за что хвататься!.. Крутился вокруг нее... Повязку поправить пытался! А она ни в какую! сопротивляется!.. Тянут каждый в свою сторону!.. Зал ревет так, что пол содрогается! и стены! и стекла!

— Возвращайтесь, Джоконда! — умолял ее Клодо, на коленях стоял... — Возвращайтесь! Как это неосмотрительно! Рана может открыться!

Тут она повязку свою окровавленную как сорвет! и кровища как хлынет!.. на пол капает!.. Ей бы только назло делать!..

— Молчите вы! Разбойник! Убийца!..

Масла в огонь подливает, дура...

По аудитории ропот пошел. Докеры совсем запутались... мозгами помутненными... Подумали, что мы ее обижаем!.. И вдруг разом на нас

1. Речь идет о лондонской больнице "Чаринг-Кросс".

ополчились... Внезапно будто гроза налетела... Стали все на ее защиту! Вопили в ее поддержку!.. Дюжина амбалов рвалась Каскада отдубасить!.. Немедленно!.. А ручищи-то у них! Мать честная!.. татуировки сплошь... мускулы горилльи!..

Она опасность учуяла... увидела, что бросятся они сейчас на ее сокровище... и ринулась его защищать!.. телом своим! Выскочила вперед!.. закрыла его собой!.. Караул, кричит! рычит, как тигрица!.. Бинты окончательно размотались... она в них запуталась, замоталась... Воет, всю ораву заглушает... Ой-ой-ой!..

— Сокровище мое!.. Обними свою голубку!..

Но татуированные уже в раж вошли!.. жаждут Каскадовой крови! Клокочут от ярости!.. Похватали в руки бутылки, сифоны, стулья! и трах-тарарах! пошло кругом звенеть! летать! отскакивать! Бам! бум! по зеркалам!.. по двери!.. Грохот невообразимый!.. Каскад выбирается... отскакивает назад!.. битва пуще разгорается!.. столы вверх тормашками!.. Забаррикадировались! Просперо и он!.. Ящик, шкаф, вешалка!.. И оп! разлетелось все!.. точно карточный домик!.. от ударов стульями!.. Бомбардировка! Круши! круши!.. Докеры красномордые прут напролом! Таранят заграждения... Штурм! побоище! Вой со всех сторон!.. Баум! Дзинь! Дзинь! Это орган механический вдруг заиграл в углу!.. Заработал! Та-ра-ра! Дзинь! Адская машинка! трубы! флейты! барабаны! Надо было слышать! как он вальс перемалывал! Его Боро запустил! Дьявольский инструмент! Грозовые раскаты! Вижу, Боро там ковыряется... Он меня тоже замечает!.. Машет мне... Проваливай, дескать! Я, дурак, не понимаю! Он кричит! Орет!

— Что? что? — лепечу...

Поздно! Трах-тарарах!.. тысяча чертей! Дом взрывается! Грохот адский! и пламя!.. ё-мое! Я ж видел! Видел! Это он!.. Там, в огне!.. В пламени! Он какую-то штуковину бросил! Не знаю что!.. Вроде как камень! И она взорвалась... тут, под столом... Трах-тарарах! Еще раз! Теперь никаких сомнений!.. Он бросил!.. Я такие гранаты знаю! Ах ты сукин сын!.. Скотина! Ливень!.. Град!.. Собака!.. Он же нас убьет!.. Паника! Все улепетывают!.. Трое лежат! Я через них перепрыгиваю! Рушится крыша!.. За спиной у нас обвал... Сыпется!.. Штукатурка!.. черепицы!.. Лавиной!.. Каскад цел!.. Бежит впереди!.. Просперо тоже, и Джоконда! Со всех ног! Она последняя ковыляет!.. <...>

За сквером — доки... Вроде как Клодовица потеряли... Зову его... ходу не сбавляю... ответа нет... Больница его тут... рядом... Старуху не забросим?.. Ведь мимо пробегаем... Я спрашиваю... кричу на ходу! Нет! Бежим не останавливаясь!.. Ать-два!.. ать-два!.. закашиваем налево!.. Марилебон... дальше прямо!.. потом Минт-плейс... Так, стало быть, мы к Тэккету?.. А я и не знал... Никто ничего не сказал!.. Тормози! Приехали!.. <...>

...После истории в "Дингби" я метался, как загнанный зверь! Улюлю! Только и делал что бегал! Из залов ожидания в гнуснейшие гостиницы, из полуподвалов на чердаки, из одной вонючей дыры в другую! Вниз! Вверх! В приюты Армии спасения по два пенса за ночь! Народищу там!..

Каскад меня запугал россказнями своими, будто меня консульство разыскивает... Нервы у меня уже не те стали... Сдавать начал... Кидался из квартала в квартал... Дважды в одном месте не ночевал, дабы расспро-

сов избежать неуместных... Осторожность проявлял... Ни с кем из знакомых не встречался...

Перед побегом я занял у Каскада двенадцать фунтов. Я ничего себе не позволял, однако ж они подошли к концу... На жестком полу я спать не мог из-за руки — боли начинались хоть криком кричи!.. Вынужден был койку снимать... Койка, понятно, денег стоит... хоть бы и в самом дешевом заведении. Время проводил в кино... Программу до сих пор помню... По большей части это была Перл Уайт в "Нью-йоркских тайнах"... Но сколько бы сеансов я ни отсиживал, все равно время оставалось... Я слонялся по улочкам Сохо, выбирал самые людные, самые оживленные... где популюс туда-сюда снует безостановочно... и ярмарочная торговля не стихает... ручейки людские от лавки к лавке перетекают... от Шафтсбери до Уигмор-стрит все сплошь витрины и народ кишит, там ты незаметен и чувствуешь себя спокойней, и к тому же веселей, какое никакое, а развлечение... однако десяти-двенадцати дней шатания мне показалось достаточно. Я был сыт по горло такой епитимьей! В конце концов, черт возьми! я ж ничего не сделал!.. Каскаду я на глаза попадаться боялся, но вполне мог повидать Боро!.. В одно воскресное утро я наконец решился... "Айда, малыш!" — сказал я себе. Я находился неподалеку от доков Барбели, аккурат возле переправы, и паромчик ожидал... до чего же заманчиво... десятиминутная прогулка по реке... Вода меня притягивает... Как увижу — так плыть хочется!.. Хоть бы и в фонтане в Тюильри! В стекле от ручных часов, будь я мухой... Не важно где, лишь бы плыть! Я никогда не упускаю случая пройти по мосту... Хорошо б все дороги были реками... Это колдовство... наваждение... завораживающее движение воды... Я стоял, прельщенный невольно плеском Темзы... стоял, и дух захватывало... не выдерживал очарования, особенно когда идут большие суда... все движется вокруг... струится, пенится... шлюпки... южный подход к докам... скутера и бригантины лавируют... пристают... сносятся течением... скользят вдоль берега... мягко так!.. Феерия!.. иначе не скажешь!.. Балет!.. галлюцинация!.. Не оторваться... Мы на паромчике "Дельфин" тоже вроде как в танец вступаем... Два оборота... от берега до берега... я раз пять или шесть прокатился! Вот так праздник!.. Туда и обратно!.. Барбели — Гринвич... к большим грузовым судам почти вплотную подходили... толстопузые колоссы пышут против течения, винтами яростно бурлят... их водоворотом сносит... они рычат, ворчат тревожно... недотроги... Красотища!.. Чайки летают! скользят себе по небу! Ишь, размечтался! Спускайся, парень, на землю! В кармане больше ни гроша! Слезай! Гринвич!.. вот жалость-то! Ну что ж... теперь вперед! Погуляли, побездельничали, и будет!.. Я его, скотину, отыщу! решено, заметано... у Кощея этого.

Сказано было... аллея Гринвич... Гринвич-парк... настоящее имя Кощея Ван Клабен Младший... Боро мне все подробно объяснял... неподалеку от южного причала... Интересно, что они скажут, когда меня увидят?.. Небось, заметят еще на улице... Может, еще и дверь не откроют?.. Черт их душу знает! Но нет, я твердо решил! На доверии тут далеко не уедешь! Иду, и все тут...

На подступах осмотрелся... Не пахнет ли легавыми... Что там возле дома?.. "Титус Ван Клабен"... Нет ли каких рож подозрительных... Все тихо... все спокойно... На крыльце три-четыре субъекта, стоят разговари-

вают... видать, клиенты... очереди ждут... В парке детвора: скачут, бегают, по аллеям носятся... В общем, все как везде... А к тому же погода хорошая... солнце вовсю, жарко даже... В Лондоне такое редко случается в начале мая... На втором этаже окна настежь... слышу, Боро играет... песенки лабает... Он!.. Его туше, его мелодии, вряд ли я ошибаюсь... Здесь, голубчик!.. "Все путем, — говорю я себе... — Сидит за пианино... А мог бы в тюрьме!.." <...>

Итак, вот дом... "Ван Клабен, Титус"... Вперед, смелее... Звоню... стучу... Никто не отвечает... Стучу еще... Настойчивей...

— Боро!.. Это я!.. — кричу из сада.

Наконец изволил показаться... Высунулся из окна... Вот он собственной персоной!.. Ошеломлен моим появлением... Руками машет...

— Тише! Тише!.. приходи в другой раз!..

Я руками движение делаю... будто ремень снимать собираюсь...

Он за свое:

— Тсс! Тсс!.. — и опять в сторону аллеи машет: дескать, уходи!..

Извините! не пройдет! Нагулялся!

Клиенты, народ разный, который туда-сюда снует и на крыльце ожидает, все в нашу сторону подались, потешаются над пантомимой... Тут как раз дверь открывается!.. И появляется сам Титус!.. Титус Ван Клабен! Он же Кощей!.. прозвище такое!.. Я его сразу узнал по рассказам... Выходит, стало быть, на порог в костюме паши, он всегда в таком виде работает... весь в шелках желто-лиловых, на голове громадный тюрбан, тросточка, каменьями изукрашенная, и толстенная лупа ювелира. Так вот в лавке и сидит. Маскарад на восточный лад... Намеревается, очевидно, меня прогнать... первая инстинктивная реакция... Я ему незнаком... Ничего... Я бровью не веду! Разглядывает меня в упор...

— Это от вас, молодой человек, так много шуму?

Говорит по-французски, но с чудовищным акцентом, будто камни перемалывает, как, впрочем, и его приятель, тот, на втором этаже... Оба иноплеменники...

— Да пошел ты... — отвечаю...

Боро это развеселило! Он там, наверху, прыскает со смеху! Спектакль смотрит... из ложи, так сказать...

Халиф только глазами мигает... Сопит... Напугать меня хочет!.. Наступает свирепо, дергается весь... подпрыгивает в штанах своих огромных, шароварах шелковых... Ах ты гадина злобная!..

— А ну брысь, бандит малолетний! Прочь пошел! Живо!..

И палкой потрясает.

Я ни с места... Он опять...

— Брысь! Живо!..

От возмущения у него чуть тюрбан с головы не слетел...

— Уходи! Видеть тебя не желаю!.. Опять развращать его станешь?.. За этим пришел?.. Думаешь, мало у него пороков?..

И показывает наверх, где Боро от смеху едва из окна не вываливается...

Мне этот гаденыш, кукла круглая, поначалу смешным показался, а теперь уже раздражать начал.

— Я тебе! сейчас так отделаю!..

Не люблю угроз... А тут еще народ смотрит... посмешище...

— Go way vilain! Пошел вон, поганец! — это он мне? инвалиду войны!.. Ай-ай-ай! нехорошо! — Я вас обоих в полицию сдам!..

И тычет в нас... Ревнивец чертов!..

Тут второй заговорил, речь целую из окна толкает, обращается к публике...

— Привет всем!.. Привет вам, люди!.. Привет, Болезный!.. привет, мой друг!..

Здоровенной бутылкой потрясает, целый галлон виски, заливает себе в глотку всем на потеху!.. Выставляется... Народ в восторге!.. Кричат! Продолжения ждут!

Паша́ дрожит весь, слюной брызжет, негодованием пышет...

— Убирайтесь немедленно, пес паршивый!.. Исчезните! И так уже пьяный! А вы, негодник, знаете, что вас ждет?..

Угроза, значит, прямая уже!..

Нет, я не знаю... В точку попал!.. Я только знаю, что рожа мне его противна! У меня, конечно, одна рука!.. однако ж он меня достал!.. А ну как я его сейчас пощекочу... Расталкиваю зрителей... С меня довольно!.. "Погоди, халиф несчастный!.." Подхожу вплотную... И остаюсь с раскрытым ртом... Вблизи он бесподобен!.. Ну и размалеван! средь бела дня!.. Слой штукатурки по фасаду!.. Ну и ну! Почище Джоконды! Щеки обвислые! в складках все! пудра слоями!.. и даже губы накрашены!.. Чудище, бред, мираж... Гляжу на него как зачарованный. Он тоже смотрит на меня в упор... глазами хлопает... В лупу меня изучает... И вдруг как закричит:

— Ай-ай-ай! молодой человек! Молодой человек! Вам же нехорошо!

Ого! произвел я, значит, впечатление!..

— Вы плохо выглядите!.. Зайдите!.. Зайдите!.. отдохните!..

Приглашает меня... Тон вдруг резко изменил... обходительный сделался, растрогался... улыбка масленая...

— Как вы, должно быть, устали!.. Входите!.. Входите!.. Прилягте!..

Любезен не в меру!

Выхожу из оцепенения, влетаю в дверь, отыскиваю лестницу... мчусь наверх...

Комната... все вверх дном!.. Спотыкаюсь на каждом шагу!.. Наконец отыскиваю Боро... лежит, растянулся на диване... Замечает меня... приподымается...

— Ах! вот и вы! Друг мой!.. Друг мой!.. Какая история! Вы видели Мэтью?..

Мэтью! Вот его первое слово!.. Только одно в голове!..

— Где Мэтью?..

Только и знает что Мэтью да Мэтью!.. Обо мне даже и не спрашивает!..

— Нет! — говорю... — не знаю я, где ваш Мэтью!.. Пропойца!.. Но полагаю, скоро появится!.. Если и дальше будете так шуметь!.. Людей привлекать!

Я ему свое мнение откровенно высказал.

— Это я-то шумлю?..

Оскорбился... И сразу в драку!.. Бутылкой потрясает! Замахивается...

Спотыкается... Теряет равновесие!.. Падает!.. Баум!.. А внизу старик как взвоет!.. резонансом!.. На меня кричит... визгливо, пронзительно... точно девка полоумная!..

— Прекратите безобразие! Вы так у меня все переломаете! Боро, сыграйте мне "Вальс для милых дам"!..

Здесь в углу пианино стоит... Паша наш желает музыки!.. ишь требовательный какой! приспичило!.. Так и взвизгивает!

— "Вальс для милых дам"!.. Слышишь? "Jolly Dame Walz"!

Он прямо вне себя... Трясется весь! прыгает... баба свихнутая!

Лавочку всю сотрясает, пол ходуном ходит! Грохот стоит! При этом он еще тростью в потолок стучит!.. подавай ему "Вальс"!

— А пошел ты!.. бочка жирная! — отвечает Боро с дивана... туда, в лестничный проем...

— Вы пьяны, Борохром... — верещит старик снизу. — Надрались в стельку!

Того гляди сцепятся...

— Ах, в стельку?.. Значит, в стельку?.. Может, скажешь, в чью стельку?..

Боро возмущен!.. Встает с дивана! Услышать поближе хочет, на что там старик намекает! Идет к лестнице... Черт! спотыкается... пошатывается... Рубашка висит, штаны сползают... у самой лестницы спотыкается снова... Трах-тарарах!.. Летит вниз... обрушивается в лавку... всей тушей... и надо же!.. прямиком на посуду!.. пирамида фруктовых вазочек и тарелок... рассыпается фонтаном! О гром небесный! О великий обвал!.. Старик захлебнулся от бешенства... Клиентка, которая там у прилавка стояла, как завизжит... как заблеет от ужаса!.. Бросилась было наутек... да где там!.. Все на нее как раз и рухнуло!.. Старик помочь ей хочет, извлечь из-под обломков! Тянет-потянет за сапожки... изогнулся... вот-вот, сейчас! и оп!.. опять обвал!..

— Помогите!.. — вопит клиентка...

— Help! Боро!.. Боро! помоги!.. — воет старик...

— А ты, разбойник, что стоишь сложа руки? — это он мне.

Спускаюсь... коль просят!.. Подбегаю... Беру клиентку за ноги... извлекаю из хаоса ... на свет божий... Тут пузаны сцепились! Угрозы, брань — и все у дамочки на животе... Она из-под них кричит, хоть святых выноси!..

Боро хватает старика за волосы... Ох сейчас врежет!.. Тюрбан в сторону отлетел!.. Боро сдавливает Кощею шею!.. ей-ей душит!.. Да еще клиентку в свидетельницы призывает...

— Он меня убить хотел!.. Слышите, мадам, это же пират... Pirate! I say Madam!..

И для вящей убедительности валятся оба на дамочку: ну точно, раздавили... Обнялись и катаются поверх нее... а она и так плоская... Денег занять пришла под ценную бумагу... облигацию мексиканскую... Та у нее в руке так и осталась... Надо же, не выпустила!.. вцепилась в нее... Воров боится!.. и визжит не смолкает...

— Помогите! Help! Дверь! The door please!.. дверь!.. <...>

Помещение темное, все кругом закупорено... Ничего не разглядишь... только и свету, что от водяной лампы... причудливая такая штуковина на столе, возле клиентки... большущий шар... под низом розетка с маслом...

Чуть-чуть все-таки вижу... как они друг дружку валтузят!.. Ну, думаю, надо хоть дамочку спасти!.. присутствия духа не теряю!.. Откапываю ее в груде посуды... тяну опять за юбку... материя трещит! О! подалась!.. до-

стаю! Привожу ее в вертикальное положение! Шатается!.. совсем на ногах не стоит! садится... дух переводит... <...>

Я ползу к двери... Их все равно не расцепишь!.. воздуху мне!.. воздуху!.. не могу больше!.. подыхаю!.. Только бы вдохнуть... глоточек воздуха! Смилуйтесь! Вот! добрался!.. Уф! толкаю! дверь эту! Ветерок! Чу! старик задохнулся! Хрип чудовищный! Аххрр! Порыв воздуха настиг его посреди очередного раунда состязания! рукопашного боя... там, в глубине, во мраке!.. Задохнулся разом!.. Слишком свежим воздух оказался! "Астма! Моя астма!" — кричит он мне! давясь!.. до рвоты!.. Ох! того гляди дуба даст... глазами вращает! И вдруг рухнул весь! с кафтаном, шелками, шальварами... Распластался на полу... слюна течет... хрипит... Балахон ему на груди развязываем, а он, черт, корчится, и пена на губах!.. ну точно, концы отдает!.. зенки закатились!.. Клиентка от страха — фьють!.. и вылетела в дверь!.. вещи свои, сумочку!.. все нам оставила!.. облигацию!..

Не успела выйти, другая тащится... Похуже первой будет!.. С порога — в крик... вопит как полоумная! Как только увидела, что паша навзничь лежит... сразу в истерику... С этой Боро знаком. Зовет ее:

— Дельфина! Дельфина!

И поясняет мне... дескать, она тут горничной!.. Откуда она вынырнула?.. Прямо к хозяину бросается... Слезами его поливает, поцелуями осыпает!.. Любит, стало быть, своего господина Титуса... Требует, чтоб он немедленно в себя пришел!.. чтоб глаза открыл!.. И Боро тоже старается!.. Тоже оживить его силится!.. Изощряется!.. На карачках ползает, позы чудны́е принимает... Дышит ему во все места... в уши... в рот... Теперь уж не до драки!.. Теперь он ему жизнь спасает!.. Руки ему в стороны разводит... Поднимает... сгибает... физкультура... Помогло сразу... задышал чуток... сажаем его... спиной к стене прислоняем... подушками со всех сторон подпираем... не держится... сползает... направо завалился... потом налево!.. Требует нюхательной соли... бормочет... стонет... подайте, и все тут... Она в шкафу! на втором этаже! скорей! скорей! скорей!.. Боро бежать наверх не может! ему упражнения останавливать нельзя... Бегу я!.. нахожу мигом... флакончик пуст! Час от часу не легче!..

Дельфина, прислуга его, так и завывает!.. От отчаяния!..

— Мистер Титус!.. Please! Wake up!.. Проснитесь! Be yourself!.. Станьте самим собой!

Вопит душераздирающе!.. и подхватывает его... и трясет!.. Чтоб он только в себя пришел! ожил чтобы! На все готова! Что угодно сделать! Исключительная прислуга! пылает вся любовью и рвением!.. Ничего не скажешь! восхитительная особа! А хозяин-то ее ой как плох! Несвежий, что и говорить, вид имеет гиппопотам! Лежит тут в шелках своих! весь облеванный... и булькает!.. Глазами повел... замер... опять закатились... Смотреть страшно!.. Вдруг раз!.. Багровым сделался!.. Из мертвенно-бледного!.. В горле урчит... полный рот уже... Еще усилие... Полегчало вроде! Она ему голову поддерживает... помогает...

— Хорошо! Мистер Клабен! Good!

У нее от сердца отлегло... Стоит перед ним на коленях, поддерживает его... подбадривает... каждую схватку ласковым словом сопровождает... Наконец-то его вырвало как следует!.. Она просто счастлива!.. Он снова извергается... желчью... зеленой-презеленой... все вокруг замарал... Боро рядом сидит, смотрит... он тоже порцию получил... Да и мне досталось порядочно... Старику получшало! Просит переложить его на

постель... За ширмой... тут же в лавке... громадная кровать с колоннами... Я ее только сейчас увидел... На ней меха грудами... вместо матрасов... здоровенная куча... и мягкая... Затаскиваем его! раз-два! взяли!.. Он кое-что весит! Подушки ему поправляем... Теперь извольте на него казакин шелковый напялить, желто-сиреневый, и тюрбан непременно! Ишь! кокетство возвратилось! Стало быть, и вправду лучше ему!.. Подавай ему побрякушки его и прочую дребедень, бубенчики, ленты муаровые! и сумочку! и мушкетон!.. Полное облачение! Ну-ну! Чтоб все на постели лежало!.. с ним рядом!.. сейчас! Требовательный сделался!.. И недоверчивый... лупу ему принеси!.. и тросточку резную!.. Все чтоб при нем было!.. А рожа вся разбита... фонарь под глазом!.. сине-красный, да еще кровоточит!.. левая бровь рассечена!.. А уж Дельфина-то его целует... обнимает, сжимает... ласкает, обожает!.. Очень пылкая служанка!.. И пришла-то как вовремя!.. Она не первой молодости... я плохо вижу в этой гнусной берлоге... окна все закрыты... Только этот гадкий шар отвратительный... да и тот ничего не светит... Все ставни — наглухо! Открыть нельзя, он и слышать об этом не хочет!.. Снова постанывать начал... слабость... Она опять с ласками бросается!.. Врача он не желает... отказывается категорически... Дельфина его баюкает, облизывает... Он требует музыки... Пришел, стало быть, в себя окончательно...

— Боро! Боро! — бормочет горемычный... — Боро! "Вальс для милых дам"!..

Хочет, и все тут...

Боро на груде мехов рядом с Клабеном лежит пластом, обессиленный... Свалился и заснул... физические упражнения ему на пользу пошли... А то клубок нервов был... Теперь храпит брюхом кверху... Расталкиваем его... Пусть исполняет!.. Воля больного...

— А ну, вставайте! За пианино! Бездельник толстомясый!..

Дельфина эта мертвого разбудит! Ради любимого хозяина!

— Вставайте!.. — и никуда ему, подлецу, не деться! Вставать немедленно! Давай, давай, артист! "Вальс для милых дам"! Черт побери!.. И так далее!..

Пианино наверху... Пусть поднимется! Он зевает... потягивается... Но идет... Алле-гоп! Цепляется за перила... спотыкается... Дельфина не отстает!.. Он ее слушается... А второй толстяк все стонет... Музыки желает, хнычет!.. Задыхаться опять начинает...

Ну наконец-то!.. Приступили... Вот вам вальс!.. Нота за нотой! будто капельки!.. Настраивается!.. Пошел!.. Дождь!.. две трели!.. вперед! педаль!.. каскады! на три четверти!.. разворот!.. прелесть что такое!.. Блеск!.. нюансы... арпеджио!.. плавные торжественные аккорды!..

Ему только начать... а дальше — что угодно... без устали... играл и играл!.. вечера напролет... ночи... если пожелаете!.. сам хмелел от музыки... толстый зад на табурете так и подпрыгивает... так и ерзает в такт... очень его самого увлекало. <...>

На втором этаже под стропилами крыши помещалась целая свалка музыкальных инструментов, все больше струнных: мандолины, сломанные арфы и виолончели, полный шкаф скрипок, обломки гитар и цитр и прочий невероятный хлам... Целый курган кларнетов, гобоев, корнет-а-пистонов, флейт, дудочек-дзуфоло, сундук, набитый окаринами и всем, во что только можно дуть... а кроме того, экзотические инструменты, два маль-

гашских барабана, тамтам, три японских балалайки... На чердаке у Кощея хватило бы инструментов, чтоб заставить плясать весь Лондон, аккомпанировать целому континенту, оснастить три дюжины оркестров... то были невостребованные залоги не вернувшихся за ними музыкантов... залежавшийся товар. Старику надлежало от него избавляться, сбывать на Петтикоут – эдаком дворе отбросов, тутошнем "блошином рынке" – и тем самым освобождать место! Но он время тянул, со дня на день перекладывал... Никак не мог решиться, тяжело это ему было... Уж больно любил он свои инструменты... Он даже к имеющимся новые подкупал... особенно рояли и пианино... Последним, к примеру, был "Плейель", отличный кабинетный рояль по дорогой цене, прекрасная модель от Максона – фантазия нашла... Страсть, знаете ли... Музыка глодала его изнутри... И ведь не играл, ни одной ноты извлечь бы не сумел, а инструменты держал, и так они ему нравились, что никак не мог заставить себя их продать... Накапливал арфы и тромбоны грудами, и до того у него наверху беспорядочно завалено все было, что уже и дверь не открывалась, и окна все загромождены были... Уйму денег мог выручить, а ведь до чего прижимистый скаредник был, оттого его Кощеем и звали, дрожал над каждой копейкой, за грош удавиться готов был, рыбьими костями торговать бы стал, если б только спрос нашелся, но музыки ради все забывал...

Боро место себе высвобождал, распихивая все направо, налево... ногами... Выхватывал из хаоса скрипочку, саксофон, пикколо или мандолину... теребил струну маленько... так, сяк... вместо прелюдии... вроде как настраивался... самую малость... потом отбрасывал... капризно!.. И давай яростно откапывать пианино... все крушил... что мешало... весь кавардак тамошний!.. Бам! Бум!.. усаживался наконец на табурете, устраивался... и вот он, вальс!.. полились арпеджио, трели и прочие фалбалы!.. ритурнель на уличный лад... с вариациями распрекраснейшими... жалобными, кричащими, отрывистыми, бесконечными... неотразимо... Такое и крокодила растрогает... Тут манера важна... колдовская... чтоб очаровывать все и вся, любую клоаку, любое сборище по любому банальному поводу, хоть элегантный салон, хоть убогое празднество в угрюмых стенах, на зловещих перекрестках и Богом забытых улочках, по кабакам и по случаю причастия, в дни поминовения, истекающие притворными слезами, и на 14 июля!.. Дзинь-ля-ля! и пошло-поехало... и нет никаких преград!.. я-то знаю... Позднее, после многих передряг, мне доводилось торговать вместе с Боро этой ярмарочной приправой, этим дрыганьем пианинным... Надо было слышать, как мы лабали в три руки... Моя партия называлась "бас калеки"... У меня было время, много времени... обдумать, в чем секрет очарования... Главное, чтоб оно текло и текло! в этом весь фокус... чтоб не замедлялось и не останавливалось! чтобы сыпались ноты, как секунды, каждая со своей изюминкой, со своей маленькой танцующей душой, и каждая спешит, ведь, черт возьми, следующая на пятки наступает!.. вприпрыжку!.. трелью наподдает... заботы ваши зазвякивает... заигрывает время, мороки заплясывает, заверчивает и уносит, ах, озорница! ах, шалунья, там-тьям! галопом! нота за нотой!.. арпеджио! и снова трель!.. лукавый английский мотивчик!.. хрупкий ригодончик!.. гул педали! и никаких сбоев... вздохов... остановок!.. Грустно, если подумать... от того, как безудержная нежность ускользает нота за нотой... Надо было видеть Боро в деле! виртуоз, одно слово! звук кричащий... но

ритм летучий!.. а какой репертуар!.. какая память!.. вариации бесконечные!.. От природы он скорее медведь, а с манией своей взрывательной и вообще невыносим, а тут — вольтижер, каскадер, канатоходец резвый!.. У него пальцы одухотворенные были... Руки феи!.. порхали бабочками по клавишам слоновой кости... Он жонглировал гармониями!.. подхватывал их на лету!.. мечтательно, капризно!.. гирлянды... развороты... беглые проказы... Одержимый!.. иначе не скажешь!.. Одержим десятью дьяволятами — по штуке на палец!.. <...>

Титус это понимал... По его физиономии не скажешь, особенно когда впервые его видишь: пузатый, плутоватый, бегемот толстокожий в грязном темном логове, а вот поддавался сразу, на седьмое небо от счастья взлетал, только чуть заслышит... а уж как заслушается — сидит загипнотизированный и млеет... В прострацию погружается, обмякает, больной от очарования. Шевельнуться боится... Изнемогает от восторга... глаза закроет... съежится на пуфах в кресле, махнув рукой на клиентов... на вопросы их не отвечает... А то и выставит вовсе... грубо... вместе с логами их, тарелками, безделушками обшарпанными... только бы оставили его в покое!..

Все ему делалось до лампочки, лишь бы только музыка лилась... лишь бы без перерыва наплывали сверху волны гармонии!.. мелодии красивые, шутливые, игривые, вариации нескончаемые!.. лишь бы сыпалось и так... и эдак... волшебство из-под пальцев медведя этого... <...>

Горы барахла вокруг Титуса являли фантастическое зрелище. Они так и норовили обвалиться... И чуть что — обваливались, рассыпались лавинами, расстилались долинами, посуда и китайские побрякушки проносились звонкими смерчами по детским коляскам и дамским велосипедам, все разлеталось с грохотом, обрушивая матрасы, подушки, одеяла, которыми запросто можно было бы укрыть все четырнадцать доков; курганы корзин для бутылок, чудовищные гекатомбы, пирамиды шляп, веера, каких хватило бы, чтоб на тысяче тропиков закрутить аквилоны и повернуть вспять северные ветры, такое нагромождение пуховиков, что окажись вы под ним, постигла бы вас верная и неминуемая смерть, мягкое забвение, кома в перьях!.. В чудовищном омуте хлама Титус чувствовал себя как рыба в воде!.. тут бился пульс его коммерции... В недрах кратера-свалки он черпал энергию и смысл существования, здесь, за шаром водяной лампы, был его оплот... Нужно было видеть его в деле, никто не мог сравниться с ним в искусстве обескураживать клиента, расстраивать все его ухищрения... по тому только, как он развязывал сверток, как перекладывал из руки в руку под абажуром... гипюр ли... чайный сервиз, хрупкую вещицу, дорогую сердцу безделушку, как он умалял ее взглядом, как дул на нее, становилось очевидно, что она ровным счетом ничего не стоит... что это жалкое барахло, чих комариный... и просто чудо, что сам Титус, такой утонченный и разборчивый, согласился взглянуть на ничтожнейшее дрянцо, грязный плевок, дешевку!.. Взвешивание доставляло ему истинное наслаждение... По тому, как он похлопывал по чашечке весов... становилось очевидно, что вещь не весит ничего... ничегошеньки!.. Тьфу, да и только!.. Кофейник позолоченного серебра... проверял на звук... и ясно делалось, что грош ему цена!.. Затем он спрашивал владельца... Сколько желает? придирчиво, скептически... Сдвигал тюрбан... Затылок почесывал... Ответов он как бы не слышал... От лишних фраз

его защищал слуховой аппарат... Он доставал его из-под стола под конец осмотра... в минуту вынесения приговора... Хлопал глазами... таращился... присвистывал... Ушам своим не верил!.. Ну и цену заломили!.. Святая наивность! нет, какая наглость!.. Снова прикладывал трубку к уху... Чтоб услышать еще раз!.. ошеломляющую сумму!.. Помилуйте!.. Быть того не может! Что я слышу! Он слегка приподнимал веки перед тем, как произнести свое решение... Сколько он даст? Да десятую часть!.. и то еще много! И то под вопросом!.. А пока что — вот монета! и все тут! Хотите берите... хотите нет!.. Развязка наступала быстро... Ни слова больше! ни вздоха!.. Настаивать бесполезно... Он откидывался в кресле... Кутался в халат... опускал тюрбан на самые глаза... Больше он ничего не видел!.. И самого его не было видно!..

У него темно было, днем как ночью, только лампа-шар на столе отбрасывала слабые зеленоватые аквариумные отблески... Ставни открывались на одну минуту перед ужином на время уборки, когда Дельфина приходила, гувернантка его, "governess"! она требовала, чтоб называли ее так и никак иначе.

— Зовите меня Дельфина или "governess"! но не "maid"! Дельфина или гувернантка! Но не служанка! Я вам не служанка!..

Как только вы появлялись в доме, она немедленно извещала вас о том, какое место она здесь занимает, чтоб не получилось с вашей стороны недопонимания, после "здрасьте" сразу сообщала, что она не "maid", а "governess"!.. Самым что ни на есть безапелляционным тоном!.. Так продолжалось уже двадцать лет!.. <...>

Позднее, в минуты откровений, она мне признавалась... начистоту выкладывала...

— You understand? Понимаете?.. Between you and I... Между нами говоря... I played! Yes! Я играла! Да!

По секрету сообщала... шепотом...

— Я в театре играла! понимаете?.. Ах! Theater! Yes!..

Она наслаждалась вашим изумлением... А вы, часом, не были ли завсегдатаем? Дельфина? Это имя вам ничего не говорит?

Одевалась, между прочим, соответствующе, шляпа, митенки и все такое прочее, всегда при параде, кроме как когда из загулов возвращалась... после пьянки... в чудовищном состоянии...

Она часами в очереди выстаивала, чтобы место получить в "pit", на галерке английской, расфранченная, в перьях, платье шелковом со шлейфом...

У Клабена богатый выбор имелся: шкафы, шкафы и шкафы! этаж целый платьев с шлейфами — кто угодно избалуется... всех цветов, любой материи... она брала попользоваться, приносила обратно, тут было чем произвести фурор по всему Гринвичу и даже на центральных улицах Лондона и в фойе престижных театров!.. Что она и делала... Ни одной премьеры не пропускала! ни одного мало-мальски заметного театрального события... Ходила пешком туда и обратно... незамеченной не оставалась, туалеты демонстрировала со знанием дела... в антрактах красовалась, первая в фойе выходила, последняя уходила. Из Клабеновых шкафов она извлекала модные наряды прошлого столетия, как летние, так и зимние... Понятно, ее разглядывали, дерзкие словечки на ее счет отпускали, бывало, казусы разные случались... но в целом проходило хо-

рошо... с достоинством!.. Однажды только в Олд-Вик она так в раж вошла, что спектакль сорвала...

Давали "Ромео и Джульетту". Она завопила с балкона... приветствуя мисс Глимор – Джульетту... Полиция ее вывела... Она не отступила... Отложила до антракта... Нисколечко ее это не усмирило!.. Пусть со всех двух тысяч мест увидят, что такое настоящий театр!.. вдохновение!.. жар души!.. трепетный голос!.. Она сама сыграла наверху, на заполненном зрителями балконе!.. знаменитую сцену из второго акта!..

Какой триумф! Нескончаемые аплодисменты! Разумеется, ее снова вывели! Это полиция!.. А публика была счастлива!.. Вопила от восторга! Стоя!.. Она повторила номер в другом месте... потом еще... из театра в театр... всегда неожиданно!.. с балкона!.. и весь зал поворачивался к ней... аплодировал! всегда после второго акта...

Она знакомилась с актерами, поднималась к ним в уборные... Личное общение с ними ее нередко разочаровывало... "Одно возбуждение, а души нет! but no soul!.." Таков бывал ее приговор! Фотографий актеров не собирала, хоть бы и подписанных, отказывалась наотрез, даже от фотографии самого Бэрримора...

"Poor mortal soul!.. Бедная смертная душа!..

Так она его называла. <...>

Светские манеры не мешали ей все-таки немного подворовывать... самую малость!.. сущие пустяки... она перепродавала их в базарные дни на Петтикоут-лейн и выручку пускала на мелкие расходы... на ерунду всякую, безделушки, обрезки отрезков... Титус все ее подловить хотел... Понятно, он догадывался!.. Получалась вроде как игра... Он подозревал ее уже двадцать лет... При этом они прекрасно ладили... С той минуты, как она входила, он не спускал с нее глаз... до самого ее ухода! Чтоб ни одно ее движение, ни малейшее шевеление от него не ускользнуло, он с другого конца комнаты наблюдал за ней в бинокль, цейсовский, морской. Требовал, чтоб окна были открыты, пока она с мебелью возится, видеть хотел, что происходит, но только в эти минуты... Чтоб не улизнула она с какой драгоценностью! с вещицей коллекционной. Он поднимался на самый верх лестницы, укутывался от сквозняков в три-четыре плаща... поверх парчи басурманской. Надвигал тюрбан пониже, сидел скрючившись на ступеньках с карабином на коленях и не спускал с Дельфины... глаз... бинокля то есть... Так продолжалось часами... <...>

Так вот, значит, пока тот наверху играл, старик немного успокоился... По крайней мере, хрипел не так сильно... Слышно, как Биг-Бен одиннадцать часов прозвонил... Баум! Баум! Удары в облаках раскатываются...

Такая вот картинка...

Теперь я, в общем-то, уже ничем особенно не рискую... могу рассказать... как все было... С той поры много воды утекло!.. Еще как много!.. Все прошло!.. Как сон... Остались воспоминания... и воображение!.. была потом война тридцать девятого... а потом все остальное, сами знаете... Теперь это уже совсем другой мир... А жаль... Очень жаль... Тех мест я наяву, наверное, больше никогда не увижу... Не пустят меня туда... а это, скажу вам, было бы моим последним желанием. Они меня скорее повесят... Жаль... Отчаянно жаль... <...>

Итак, я продолжаю с того места, где остановился... с "Баум! Баум!" и Биг-Бена, ну, с ударов, которые раскатываются в облаках... громыхают

гулким эхо... все правда... я не пытаюсь вас растрогать... никаких художественных эффектов... Воет сиреной туман... это пароход поднимается по реке... Дышит тяжело, будто рядом совсем... Он и в самом деле близко проходил... Пыхтит, старается... винты молотят в сто оборотов... прямо у берега... вода тихонько бормочет... громадина... Чу! Чу! Чу!.. Прошел...

Боро наверху заснул за "Вальсом для милых дам". Рухнул на клавиши, голову на локти уронил... В такой неудобной позе и спит...

Внизу, в лавке, мы с Дельфиной дремлем. Того гляди тоже заснем... Тут старик опять задыхаться начинает... Требует, чтобы мы ему нюхательную соль искали!.. Скандалит... Дельфина, та уже без сил... сама задыхается... Еще б в этой берлоге не задохнуться... чудовищный воздух... и непроглядный вдобавок от курений всяких и прочей пакости антиастматической... Невмоготу уже!.. больной! не больной!.. а хватит капризничать!

— Hello mister Claben! Hello please! Now you try a little air!.. Эй, мистер Клабен! Пожалуйста! Давайте впустим немного воздуха!

Умоляет, значит, чтоб позволил... дверь чуточку приоткрыть... в самом деле, подохнуть можно, до того спертая атмосфера, но он против! ни в какую!..

— Что?.. Открыть?.. — бормочет задыхаясь...

И остается лежать с открытым ртом...

— Мистер Клабен! Мистер Клабен! — стонет Дельфина.

Но он даже дотронуться до щеколды не позволяет.

Гнусный упрямец!..

Иду за бутылкой, смачиваем ему губы...

Соль не нахожу... Крепкое зелье, он рот корчит... Мы с Дельфиной выпиваем по маленькой... Я вообще-то не пью, но в иные минуты это полезно... Дельфина, она, полезно, не полезно, всегда поддает... Передаю бутылку ей, наливает раз... другой... третий... четыре стакана подряд... и тогда ее вдруг осеняет...

— Иду! — говорит. — Не удерживайте меня!.. Don't hold me! Neither of you! Иду за доктором!..

Надумала! Поправляет шляпу, юбки...

— За доктором Клодовицем! непременно!.. A perfect man! Прекрасный человек!

Сообщила решительно... Мысль недурна... даже, я б сказал, превосходна... Но только вы же понимаете, где больница-то!.. Это ж сколько идти! мать честная!.. Сначала до тоннеля... потом на другой берег под рекой... затем через весь Уоппинг пешком, в темноте, одной.

Рискованно... там закоулки опасные — жуть!.. и никакого освещения... ну, почти... Ожидали налетов, может, снова цеппелины, поговаривали про самолеты с огромными бомбами в брюхе, потому что в Уоппинге много заводов... На улицах ох как небезопасно... Дело не только в цеппелинах!.. Люди разные шлялись, пользуясь темнотой... Но она упорствовала, спасти своего Клабена хотела!.. Сейчас!.. Немедленно!.. во что бы то ни стало!.. Ему и вправду вроде как хуже сделалось... Он теперь не красный лежал, как давеча, а мертвенно-бледный, серый почти... При памяти... Постанывал тихонько в промежутке между хрипами... Мы, пока обсуждали, идти ей за Клодовицем или нет, прикончили бутылку, а заодно и вторую... Во второй был коньяк... Мы так расшумелись, что раз-

будили Боро... Слышим, ворчит... спускается. И сразу к коньяку!.. Старик тоже выпить требует!.. Мням! Мням! говорит... рот раскрывает... а сам шевельнуться совсем не может... глазами только показывает... Мы ему губы смачиваем, только он даже глотать не может... Видя, как он плох, Боро с ним сюсюкать начинает, улыбки корчит... обнимает его... баюкает... Дельфина тоже вдруг с ласками бросается... Прилив всеобщей любви!.. Это у нее ревность взыграла... поцелуи чтоб только ей одной... В конце концов ложатся все вместе... гладят, тискают его наперебой, в клубок сплетаются прямо на кровати несчастного больного... я уж и не знаю, что сказать, что сделать, глядя на такую возню, хотя, впрочем, я тоже неплохо устроился, очень даже, я себе постель соорудил из восточных ковров, ватинов, покрывал между стеной и шкафом... Совсем недурственно!.. мне много не надо... Похоже на то, как я конюшню сторожил, но ведь не на навозе, чай! на парче да на плюше! "Вот и прекрасно! — думаю. — Пусть себе забавляются! пусть! Молодо — зелено!" Мне видно было, как они там любезничают... "Сперва как следует высплюсь! после поднимусь на кухню... хоть что-нибудь я там да отыщу... После всего, что было, сначала сон!.. Сначала храпака задать!.. Еда уже второе!"... Мать твою!.. Дельфина в эту самую минуту как завопит! К нам, значит, взывает!..

Что стыда у нас нет, что палачи мы форменные! Не пускаем ее за доктором! Безобразие вопиющее!.. Прямо из себя выходит!..

— Mister Claben! — визжит, — Mister Claben!.. You need a doctor!.. Вам доктор нужен!.. доктор!

Старик хоть и лежит без чувств почти, а все начеку!.. С нами двумя оставаться боится!.. Не доверяет нам! Хватает ее за оборку гипюровую!..

— Be a lady!.. Будьте леди!.. — стонет... — Don't go out by night! Не выходите на улицу ночью!..

— But I am a lady, Sir!.. А я леди и есть!.. Леди я!..

Она не леди?!.. Что за вопрос! еще как леди! Самая что ни на есть!.. первоклассная!.. Как можно сомневаться! Это оскорбление! Что она и демонстрирует!.. Вмиг митенки нацепила, прическу поправила, шляпу, цветочки, перо страусиное, булавку для вуалетки! и вот она уже наряжена!.. готова к выходу!.. Полна решимости!

Вперед, Дельфина! Вперед, красавица! Пока! Никто ее не остановит! Только рюмочку!.. для храбрости!.. для решительности!.. Ура бесстрашной даме!.. Даже Клабен поет, хрипит, вернее! лихой куплет! посошок на дорожку!.. все хором!.. Слава храбрым! Она ничего не боится!.. ни темноты! ни хулиганов! ни бродяг! ни цеппелинов! какие там цеппелины! Веди нам Клодовица!

Дельфина! а! Дельфина! а!
Потому что славный был парнишка!

В путь!

И она отправилась! без четверти два ночи, вся разодетая, расфранченная!

На улицах, как я уже говорил, тьма, лишь кое-где на перекрестках закамуфлированный рожок.

Ну а мы себе спать ложимся!.. Окно открыли, чтоб запах немного выветрился, на старика рукой махнули, пусть задыхается сколько душе

угодно!.. Прошло какое-то время... Спать — это, конечно, сильно сказано... Сначала ухо разбудило... в нем гул, щелчки... заснул опять... и снова кошмар... раза три-четыре подряд просыпался!

Не задалось!.. подпрыгну! Перевернусь!.. извертелся прямо ... Так проходит два часа... может, около того... Тут слышу шум в дверях... Это Дельфина... нас зовет... Явилась не запылилась!.. Чертова кукла!.. Только ее не хватало... Хотел снова уснуть... А она — не в себе совсем!.. Рассказываю все как есть... Ну, чокнутая!.. перепугана!.. дрожит вся!.. отдышаться не может!.. взгляд блуждает!

— Ах! Господа!.. Ах! Господа!..

Больше ничего выдавить из себя не может!.. Дышит тяжело.

— Видели бы вы!

— Что? — спрашиваем.

— Человека!..

— Какого человека? — допытываемся...

— Который мне их дал...

— Что дал?

— Сигареты!..

Разжимает руку... на ладони липкие, склеившиеся сигареты... скрученные из зеленой бумаги... Переводит дух... начинает объяснять... нет еще, не отдышалась... вот, наконец... На выходе из тоннеля, у самой насыпи... около Уоппинга, значит... на нее, как снег на голову, человек свалился!.. Бух!.. сверху! Маленький черный человечек!.. Будто с верхушки фонаря упал! плюх на шляпу... И они вместе покатились в тоннель! Хорошо, он ничего не весил! ну совсем! Ей больно не было нисколько! К счастью! Повезло!.. Легонький был!.. Кулек с костями!.. невесомый!.. Не человек, а мешок костей!.. Кости так и звякали, пока он с ней боролся!.. пока она от него отбивалась!.. Они на ноги поднялись и опять сцепились... У типа не руки были, а прямо палки!.. Она это сразу почувствовала... кричать стала! но что толку! Вокруг никого! Тупик Уоппинг! сами понимаете!

Но это еще не все!.. Тип с ней заговорил!.. Фитюлька эта из костей! Она помнила все, что он сказал! чокнутая, да не совсем!.. Она даже голос его копировала!.. Он в нос говорил... с акцентом чудны́м... шотландским, что ли... не лондонец, короче...

— Не бойтесь меня, прекрасная Дельфина! — так он начал. — Я стану ангелом вашей большой любви!.. Your big love!.. — это собственные его слова. — Я желаю вам всех благ на свете! All the good luck in the world!.. Я хочу спасти вашего дорогого Клабена!.. Дайте ему, голубка моя, покурить вот эти волшебные листья!.. Бесценные листочки завернуты в лепестки цвета речной волны!.. Пусть он подышит тремя элементами!.. тремя стихиями!.. Огонь!.. ветер!.. дым!.. О пьянящий аромат!.. Бегите! Бегите скорей, любезная Дельфина!.. Возвратитесь к изголовью больного!.. Дальше никуда не ходите! Я Небесный Лекарь!.. Повелитель душ!.. Я умею возвращать дыхание умирающим!.. Не ходите дальше в город! Заблудитесь! Черт попутает!.. Дьявол очаровывает легкомысленных девиц! Берегитесь, Дельфина! Берегитесь!.. Воздушные чары!.. Хмельной дух!..

И только он это произнес, как сам вдруг съежился, скукожился на тротуаре... прямо у нее на глазах!.. улетучился!.. только тряпочка под фонарем осталась!.. а потом — раз, и вовсе ничего!.. Она ноги в руки... бро-

силась бежать!.. Он, пока с ней говорил, все время съеживался... она рассказывала, остановиться не могла... скрючивался, сжимался... в конце концов комочек остался!.. под газовым рожком!.. кучка тряпок!.. а после и та пропала!.. Тут уж она раздумывать не стала! побежала прямой дорожкой! юбки подхватила! и почесала! под Темзой на этот берег! через тоннель глубинный!.. Примчалась, значит, запыхавшаяся, без задних ног, чуть жива! Тип тот весь в черном был!.. Больше она ничего не знала... И весь из костей... колючий аж... <...>

Стали мы гадать... кто б это мог быть? ну, все втроем, значит... что если вампир?.. А может, священник? А может, немец какой переоделся?.. или плясун канатный? или призрак?.. может, просто шутник?.. В общем, терялись в догадках!.. Понюхали сигареты... Пахнут чудно́!.. на табак совсем не похоже... скорее мед с серой... смесь какая-то... малоаппетитный запах... Старика, однако, он сразу привлек... Оно понятно! учитывая его вкусы!.. Давай ему нюхать еще и еще!.. Весь в них выпачкался!.. по лицу развозит и развозит... полные ноздри набивает!.. Пристрастился в минуту... Потом пожевать захотел... похоже, помогло ему... на вкус, я вам скажу, вполне неплохо... Мы тоже попробовали... с каплей коньяка! А вот насчет курения... Черный человек ей так и сказал! Да! предупредил специально и еще повторил несколько раз! курение лечит больных и наповал убивает здоровых!.. всех подряд! без исключения! Мы недоумевали, как это так... Пожевали, пожевали, а после пить захотелось страшно... В шкафу еще джин стоял... джином, значит, запили!.. когда с водой, он очень освежает... Мы весь пузырь и опустошили! а после целую бутылку сидра! да с вином!.. и еще киршем приправили!.. тут и старик за стаканом потянулся!.. Ему еще полегчало!.. Ну и разволновались все по-страшному... Спорить стали! решать... курить или не курить папироски диковинные?.. сигареты небесные! ё-моё!.. Вот задача!..

В конце концов Боро одну разорвал!.. набил себе в трубку... зажег... горело неплохо... дым и пах-то приятно... Я тоже решил попробовать... Кощею оно, наверное, на пользу... Мы ж для него старались... в некотором роде на эвкалипт походило... Больной наш... он обычно много эвкалипта курил... Затягиваемся, значит... раз... другой... третий... Старик дым вдыхает... глотает... ото всех сразу... втягивает... и в самом деле, ему полегче становится... дышит лучше... отпустило немного!

— Feeling grand boys!.. Восхитительное ощущение, ребята!

Сообщает он нам... А сам доволен... И мне вдруг тоже радостно стало.

— В голову ударяет!.. и плывет все!.. Ох, какое великолепие!..

Это я произнес минут через десять... помню дословно!.. А потом меня подташнивать стало... не сильно, так, чуть-чуть... я сдержался... мутило просто... А что в голову ударяло, это точно... и через глаза выходило... слезами вроде как... У Боро тоже в глазах помутилось, он мне говорит:

— Тебя два!.. Два тебя, придурок!..

А уж Кощей-то как развеселился!.. Он вдыхал больше нашего... так и подпрыгивал на мехах своих... К тому же ему удобней было... он лежал... на него это как-то порочно подействовало... ерзает на кровати... распаляется... несмотря на одышку... Дельфину схватил... Сжал изо всех сил!.. На постель к себе завалил! а сам-то едва дышит... Целует ее взасос... в любви объясняется... и при этом пыхтит, кашляет... Забавное зрелище, нечего сказать!.. Перевозбудился он от этого запаха!.. Ну, думаю, сдох-

нет... так он дергался и при этом все кашлял и кашлял... Дельфина же... раскудахталась кокотка!.. разыгралась!.. то ускользнет от него!.. то вернется!..

— O! glo! O! glo!.. please Mister Claben!.. пожалуйста...

А сама-то на постели извивается... млеет... счастлива прямо...

И оба меня курить уговаривают!..

— Smoke little one!.. Покури сигаретку!.. покури!..

Меня тошнило... все плыло перед глазами... все мутным сделалось... а ведь я только чуть-чуть затянулся!.. Это точно не табак... Что-то гораздо более сильное!.. Одурманивающее... оглушающее... не шутка вовсе... Боро совсем чудным сделался... за какие-нибудь четверть часа... две-три сигареты, не больше... совсем рехнулся!.. Хочет подняться на второй этаж... вижу, лезет с трудом... за перила цепляется... Подтягивается! подтягивается!.. ступенька за ступенькой!.. Добрался до площадки... разворачивается... перекатывается!.. и оп! Летит в пустоту!.. Фантастика!.. И не страшно ему!.. нисколько!.. Полетел прямо по воздуху!.. Бум!.. приземлился!.. в груду барахла... исчез полностью!.. среди фарфора! посуды всякой! Глядь, выныривает счастливый донельзя!.. Фыркает... отряхивается! Выбирается! Трубки не выпустил!.. и она не погасла!.. Руки поранил, кровь выступила... А он еще хочет!.. Лезет снова на второй этаж!.. вверх по лестнице... Втащился!.. и оп!.. кувырок!.. Полетел!.. с высоты!.. Ухо себе все изорвал!.. Теперь уж весь в крови!.. Титуса это рассмешило!.. сел на постели... аплодирует! аплодирует! захлебнулся от смеха!.. Задохнулся совершенно!.. Мочи нет!.. Упал на Дельфину в конвульсиях!.. Ох, как весело!.. резвимся, значит!.. Тюрбан слетел!.. Мы его на место водворили... Боро тоже хохочет... весь кровью перемазан... Пьяный дальше некуда! Э! Думаю... сквозь тошноту... в травках этих несомненно яд... Осенило меня!.. Достаточно взглянуть на этих несчастных!.. как они орут!.. как корчатся!..

— Яд! Яд! — кричу я Дельфине... по-английски!.. — Poison!..

А ей плевать на яд! она, как была в шляпе, вуалетке, перчатках, только юбки задрала... взгромоздилась на Клабена! оседлала его!.. гарцует! Но! Но! хохочет... напевает... детскую считалочку!..

Но! но! но! моя лошадка!
Поглядите, какова!
То-то скачет без оглядки...
Угадай, где голова! <...>

Мы пьяны все вдымину... Дальше некуда!.. Кипим!.. того гляди взорвемся!.. И это не оттого, что мы выпили!.. Спиртное так не действует!.. Я еще кое-что соображаю... Это сигареты с ядом! Да! сигареты! я сразу сказал, как их увидел... Я им всем горло перережу!.. Это во-первых! Один против всех! Так надо!.. Я это чувствую!.. чтобы ложь вся из них наружу вышла!.. вся ложь!.. из ублюдков!.. Я их спасу вопреки им самим!.. Вижу картину битвы!.. Видение!.. как в кино!.. Вот так штука!.. я из темноты наблюдаю за трагедией!.. Их всех пожирает дракон!!.. задницу откусывает... и кишки... и печенку... Я все это вижу!.. Ай-ай-ай! несчастные! кровища хлещет! в глаза мне брызжет! задний проход отъел! Ай-ай-ай! сочный кусок!.. У дракона этого не клыки, а сабли!.. вот сволочь!.. Как вонзает в мясо... каждый раз... чмоканье такое! Чуик!.. Кровь бьет фонтаном!..

Сейчас я тоже силы поднаберусь!.. Я у них весь этот табак выкурю!.. Ага!.. Вот!.. О чудо из чудес!.. Вытаскиваю у Дельфины из сумки сигарету, две, три, четыре!.. все липкие, клейкие... минуточку!.. Сейчас увидите, как я их курить буду!.. Извините!.. еще одну и еще две!.. и еще дюжину!.. курю девять штук одновременно!.. разом!.. Полный рот набил... все сразу!.. Вот до чего избаловался!.. Прикуриваю все девять от лампы!.. <...>

Тут опять старик возникает!.. Орет, требует! Пианино ему подавай!.. О концерте размечтался!.. о музыке фортепьянной! И куколка тоже!.. Вот привязались!.. хнычут на два голоса!.. Боро иначе смотрит на вещи!.. Ему фунт задолжали!.. Они давай браниться!.. Деньги прежде всего!.. Титус уступает!.. Он готов на любые жертвы! Он изнемогает! На все готов, лишь бы ему играли!.. играли на пианино! волшебство! чары!.. Фунт!.. и два, и три!.. и десять!.. за "Вальс для милых дам"! Аккорды его с ума сводят!.. Он, в общем-то, благодушно настроен... Лежит под Дельфиной, млеет, она его вылизывает, поцелуями хищными впивается... верхом на нем сидит!.. Вдруг выворачивается круто... меня схватить пытается... чтоб со мной позабавиться!.. Боро встревает между нами... А ну прекратить!.. Подавай ему деньги, и немедленно!.. двадцать фунтов!.. Ни мало ни много!.. Ругается!.. чертыхается! Ярость обуяла!

— Ах ты жирная свинья! Двадцать фунтов! слышишь!.. Гони двадцать фунтов, не то прирежу!..

Старик и не думает оскорбляться... напротив!.. он вроде как даже доволен... сумочку свою хватает... это он-то, с его скупостью баснословной... когда у него каждый грош железным гвоздем прикован... он мешочек свой, кошелек поясной, на брюхо себе выкладывает... раскрывает широко!.. Запускает в него руку... Это чары действуют!.. иного быть не может!.. чудеса, да и только!.. Мы рты поразевали!.. А он — сама любезность... Фыркает, хлюпает, а все равно улыбается! харкает слюнями, астму свою откашлять тщится! неимоверным усилием! Еще раз... еще!.. А после выворачивает весь мешок... блямс! на кровать!.. динь! динь! динь!.. золото рекой полилось!.. по мехам... покрывалам!.. по коврам раскатилось!.. подпрыгивает!.. поблескивает!.. позвякивает!.. Я беру руку Боро и погружаю ее в прохладную ослепительную россыпь... а потом золото все вдруг взлетает! у нас на глазах!.. все монеты разом!.. крутятся блестки! трепыхаются!.. порхают сказочные бабочки! по всей комнате!.. Я вижу сотни, тысячи луидоров! маленькие, большие, соверены!.. никогда я столько денег не видел!.. То-то мерцают в воздухе! сверкают! подрагивают!.. всю лавку освещают!.. отсветами золотыми... побрякивают!.. Я обалдел!.. А те знай себе хохочут, на меня глядя!.. Закатываются... блеют... оттого, что я стою как кретин!.. Старик опять сумку открывает... Растягивает пошире, и все монеты в нее слетаются! исчезают в черной дыре!.. точно птички в клетку!.. А он снова ее выворачивает! Все на стол высыпает!.. ослепительную гору!.. И мы окунаем в нее руки!..

Втроем, Боро, Дельфина и я, мы погружаемся в золото... <...>

Никто никогда не видел, чтоб Кощей вот так на столе все свое золото раскладывал! сокровища свои!.. деньги все!.. и чтоб смеялся навзрыд! Я помогал ему монетки шаловливые удерживать!.. Ай-ай-ай!.. постойте!.. чтоб они не разбежались! в дверь не выскочили!.. ядрена вошь!.. в открытую-то!.. не утекли бы! не смылись!.. Мы все на них бросились!.. Сгребаем их!.. Давим!.. Сами сверху лежим!.. на постели!.. плашмя!.. Все

втроем!.. на шкуре меховой!.. друзья-приятели!.. счастливы... в деньгах купаемся... по кровати катаемся... в золоте погрязли. Только Боро вдруг озверел... он первый!.. Это факт! Захотелось ему монету съесть!.. проглотить!.. как есть целехонькую!.. полгинеи! Десять шиллингов! Шесть пенсов! а потом десять!.. а потом пятнадцать одним махом!.. полный рот набил... Старик тут словечко вставил... Тогда Боро от злости побагровел весь, а после позеленел!..

Вмиг!..

Задираться стал...

— Клабен! А ну, давай! алле-гоп! давай тоже ешь! Сволочь толстая! Жопа! Дерьмо!..

Обзывать его принялся!..

— А ну, рот открывай!..

Старик от смеха сопротивляться совсем не мог!.. На спину откинулся с открытым ртом... Боро его пичкать начал... засыпать... в глотку заталкивать!.. монеты пригоршнями... с силой!.. Старик все глотал! Отдышится секунду!.. и тот ему снова запихивает!.. еще пригоршню! И приговаривает:

— Давай, папаша! поживей! с сольцой хорошо пойдет!..

И никакой пощады!

Дельфина своему любимому голову поддерживала, пока Боро его набивал... И целовала смачно!..чмок! чмок! чмок! в толстые щеки... в валики жировые... У старика аппетит неуемный! Как ни задыхался, а все еще хотел!.. больше! больше!.. все поглотить... маленькую! еще одну!.. и так все до единой!.. все монетки!.. Груду всю!.. ненасытный!.. Все сжирал! заглатывал!.. вот обжора!

— Еще одну!.. Еще!.. — требовал он... А у самого полная глотка... от смеха сотрясается!.. в животе трезвон стоит... в штанах позвякивает!.. и чем громче звенит, тем больше он веселится!.. все брюхо бряцало золотом!

— Еще штучку!.. Еще одну!.. Любимый!.. — подбадривала его Дельфина... чтоб еще пару-тройку заглотал!

На столе уже ничего не осталось... на постели тоже... все слопал... Вывернули сумочку... пошарили внутри... Пусто!.. Ни гроша! Все сожрал!.. все золото!.. Ах! обжора, жирная свинья!.. Он себе лежит не нарадуется!.. между приступами кашля!.. Хохочет-заливается!.. А кишки бренчат!.. Золотом набиты! Все запасы там внутри!.. Звон-перезвон!.. Ему лучше стало!.. Садится... прихорашиваться начинает, подкрашиваться!.. Губы напомадить хочет!.. ресницы!.. брови... Ну и кокет! <...>

Боро помрачнел, злиться начинает... Требует двадцать пять фунтов... сейчас... немедленно... twenty five! Гони, толстая гадина, быстро!.. нечего кривляться!.. В ярость впал!.. Он в минуту закипает!.. Точно как мой отец!.. глаза свирепые выкатывает, так что из орбит вываливаются!.. такая натура.

— Мой фунт! — вопит... — Нет, двадцать пять!.. Нет, тридцать!.. на стол, твою мать!

Все больше и больше ему подавай!..

Хватает старика за балахон... за платок... и давай душить!..

— А ну, скотина, рыгай деньги!..

Дельфина лежит навзничь, урчит во сне... Рыгает громогласно... Старик тоже рыгнуть силится... тужится... лает!.. Руками по воздуху бьет...

будто гребет... Глаза закатил так, что одни белки видны!.. Травануть пытается... и не может!.. ни единой монетки золотой не выходит!.. Корчится, давится! только слюна вытекает!.. и бульканье слышится... а денег нет как нет!.. Уээ!.. Уээ!.. Надсаживается он понапрасну.

— Вспарывай брюхо!.. Вспарывай, — подло подначивает меня Боро... сам от злости того гляди лопнет. — Вспарывай, не то плакали денежки! давай, живей!.. Держи вора!.. потроши его!..

Отличная мысль!.. Превосходная!.. Я воодушевляюсь с ходу!

Да! но что скажет Дельфина?.. Разбудить ее сию минуту!.. Я на ее рожу посмотрю! Как ее любимого потрошить будут!.. А ну! расталкиваю куклу!.. за волосы таскаю, трясу... чуть не вырываю... Ничего не помогает! Она ворчит, но не просыпается! Боро тем временем Кощея оседлал, верхом на брюхе у него уселся!

Налегает на него всем весом!.. и при этом еще горло ему сжимает... все сильней и сильней!.. Кощей вдруг разом пожелтел... язык наружу высунул... И не дышит! это точно!.. Лежит желтый, будто из воска!.. Смотреть страшно!.. Я не выдерживаю!.. Я так сразу и говорю!.. Не могу я этого видеть!..

— Иди сюда! — подзывает меня Боро... — Он еще и командует!.. Помочь надо больному!.. Вот увидишь!.. Как ему полегчает!..

Да, помочь скорее!.. славная мысль!.. Я готов!.. Вот я тут!

Хватаем, стало быть, его за ноги... приподнимаем всю огромную тушу!.. Тянем вверх!.. Ох и весит!.. Тяжеленный!.. головой вниз!.. Как если бы быка поднимали! Тянем! приподнимаем! Надорваться можно!.. С меня пот льет!.. ручьями!.. глаза застилает!.. Подняли! еще немного!.. и плюх!.. отпустили!.. Бум! черепом об пол!.. дом затрясся!.. Задрожал от удара!.. тюрбан слетел... покатился!.. поднимаем снова! раз! два! взяли! подналегли!.. Подняли!.. и оп! Бум!!.. всем весом!.. Выплевывай денежки!.. Как бы не так!.. Не выплевывает! Ничегошеньки!.. Ни одной монеты!.. Поразительно! Мы потрясены!.. Разъярились оттого еще пуще!.. С кровати недостаточно высоко!.. Поднять его выше! На огромную высоту!

Во! Придумали!.. затащить его за пелерину головой вниз!.. по лестнице!.. На самый верх! О-о! Тянем-потянем! по ступенькам!.. на второй этаж! О-о! Тянем! То-то напрягались!.. то-то надрывались! Втащили! Отпустили! Баум! Ну и стук! баум! головой-то!.. весь этаж содрогается от удара!.. он не вскрикнул!.. не вздохнул!.. не ахнул!.. Рухнул, и все!.. Нельзя ж его так оставлять!.. Вскакиваем ему на пузо... Подпрыгиваем на нем!.. чтоб посмотреть, не выскочит ли чего!.. Хрен вам!.. Не охнул даже!.. не икнул!.. Нагибаемся на физиономию поглядеть... лампу-шар подносим... Ба!.. а голова-то раскололась!.. ай-ай-ай!.. дыра аккурат промеж глаз... Трещина!.. кровь сгустками течет, нос забила... А ведь не пикнул!.. Сколько головой ни били!.. Боро ему глаза раскрывает... там все мутно-белое... как у рыбы... удивительно все же... Ни звука не издал!.. Ни гроша не выплюнул!.. ни соверена!.. Вот скотина! Стойкий!..

— Нет, ты подумай! — говорит мне Боро... — Нет, ты подумай! Какое говно!.. не икнул даже!..

Я смотрю на него... ничего не понимаю... Сажусь... Ну и нагрузка, мать честная!.. Ведь тяжесть какая!.. Надорвались!.. Никогда б не подумал!.. Голова кругом идет!.. Даже и Боро выдохся!.. Уж на что силач!.. Садимся оба... Сидим, как дураки. Отдыхаем на мехах... На постели это-

го кретина! Спи, браток! бай! бай!.. Хорошенькое дело!.. Так я Боро и говорю...

Дельфине, ей на все наплевать! дрыхнет себе! Похрапывает!.. Закрываю глаза, чтоб убедиться, что не сплю. Щиплю себя... Не грезится ли?.. Нет, черт побери!.. нет, не сон!.. Все так и есть!

— Знаешь?.. — говорю я Боро... — я в себя прийти не могу...

Он тоже никак не опомнится... Я ему говорю:

— Это все спьяну!..

Я имею в виду случившееся...

Он не отвечает... его рвет... Дурно ему.

— Это алкоголь!.. — говорю я ему... — Может, и сигареты...

Ну конечно же!.. Никаких сомнений!.. Сигареты!.. я сразу сказал!.. Это все Дельфина!.. плутовка старая!.. Да, но этот на полу?.. с черепом!.. расколотым!.. Ё-моё!..

Пытаюсь разобраться, что к чему...

— Слышь ты, пьянь! — говорю... — Ты его башку видел?

А он в ответ:

— Это ты, задница!.. Твоя работа... все ты!..

То есть меня же и обвиняет!

Еще чего не хватало!.. Проснулся! Блевать перестал... Теперь, значит, поклеп!..

— Так! — говорю... — И не совестно тебе, скотина жирная? Разве не ты его шмякнул?.. Не ты его головой об пол бил?..

И показываю как...

А он свое...

— Это ты!.. ты!.. Надо было его на весу держать... Ты же его держал!..

Вы подумайте!.. какая подлость!.. Я опомниться не могу от наглой лжи! совести ни на грош!.. вот свинья!

Он не унимается:

— Это ты!.. Ты!..

— Ах ты мерзость!.. — говорю... — Кто ж как не ты ему голову расквасил?.. Ты видел его бедную голову?..

— Бедную голову!.. Бедную голову!.. Нет, вы только его послушайте!.. бедную голову!.. Это он мне говорит!..

Он возмущен моей дерзостью!.. Сраженный моей наглостью, садится на край кровати, задыхается от ярости!.. От бешенства захлебывается, так что слова сказать не может!.. покачивается... подпрыгивает... Просыпается Дельфина, плачет... ревет, сама не знает почему... <...>

Снаружи уже чуть брезжит... начинает только... сквозь ставни видно... ночь дрогнула... позеленела... посерела... Необычный рассвет... так я чувствую... Совсем необычный...

— Ты смотри поосторожней, слышишь!.. — предупреждаю я его с глазу на глаз!.. — сквознячков остерегайся!.. Старика видишь?.. Он от них помер...

Это я пробный шар катнул. Занятный получается разговорчик!.. сногсшибательный! прикокошительный!.. Пусть медведь поганый тоже посмеется!

— А что куколка?.. Не колышется?..

Она опять повалилась без сил... опять захныкала!.. Я ее ногой в бок пнул... чтоб только поднялась!.. Она как завоет... Бешеная реакция!.. Глаза еще слипшиеся... трет их, чтоб продрать... и с места в карьер!.. Плю-

ется... ругается... дрянью меня обзывает!.. Хороша, ничего не скажешь!.. При ее-то изысканности!.. все свое воспитание позабыла!.. а ведь только пнул легонько!

— Ах ты разбойник!.. — это она про меня!.. — гиена!.. холера!..

Ну, знаете, наглость!.. У меня есть чем ответить!..

— Шлюха ты... — говорю... — и мерзавка!.. Погляди на своего мужика!..

Она его даже не видела!.. Ничего не видела в одурении своем... Хватаю ее за волосы и наклоняю, наклоняю... силой... чтоб видела! Вплотную!.. К носу его!..

— Что скажешь?.. Ну же! Ну!.. говори!..

Но в доме слишком темно... она ничего не видит... Подношу поближе лампу... шар водяной... Ага!.. Увидела! разглядела... головой мотнула... и застыла, как окаменела...

— А! о! — говорит... глазам не верит... из оцепенения не выходит... и вдруг: "ай!.. ай!" как завизжит! как заорет! Упала!.. бросилась к телу... обхватила его... обняла... целует везде... рот! глаза! улеглась сверху!.. Целует лоб, кровь... сама перемазалась!.. а потом на нас как закричит:

— Murderers! Murderers!.. Убийцы!.. — пальцем на нас указывает!.. вроде как пересчитывает!.. — One!.. Two!.. One! two murderers!.. Один! два убийцы!..

— Да пошла ты!..

Она Боро на нервы действует... "тсс! тсс!" — говорит он ей... а ей плевать!.. она завелась! в транс вошла!.. Наступает, и как!..

— Why murderers! don't you know me?.. You don't know whom I am? Вы не знаете меня, убийцы? Вы не знаете, кто я?.. Finish your job!.. Доделайте, что начали!..

В жертву себя предлагает... в мученицы! добровольные! Давайте! не медлите!.. провоцирует нас!.. Вызов бросает!..

— One more to kill!.. Убейте еще одну!.. Нате! режьте!.. — и на грудь свою хилую указывает... оголяет ее...

— Finish your job! Доделайте, что начали!..

Лицо возбужденное... дышит прерывисто!..

— I am Marie Stuart! Yes! Я Мария Стюарт! Да!.. I am just arrived from France!.. Я приехала из Франции!..

После этого заявления она снова бросается к телу, молится... склонилась над Клабеном... дрожит вся... откидывает вуалетку... высоко... на перья на шляпе... шею обнажает... подставляет нам!.. чтоб рубили... хрупкую шейку... <...>

Надоела!.. Между прочим, надо уходить! Обставить тут все... попытаться по крайней мере!.. Мне не впервой, я видел трупы... и покровавей!.. куда более изуродованные!.. куда страшней!.. особенно в Артуа!.. под минометами... месиво!.. В определенном смысле я даже спокойнее был, Боро чувствовал себя хуже... <...>

Поднимаюсь... хочу на улицу выглянуть!.. воздухом подышать! Снова голова закружилась... сажусь... Обдумываю положение... Но башка трещит!.. в ухе после ранения гудит... в руку стреляет... попойка, оргия, сигареты!.. Пытаюсь представить себе, что будет дальше!.. Не получается!.. Старик!.. вот он тут, никуда не денешься!.. И голова расколота!.. Это факт!.. Вот он, лежит!.. в полном облачении!.. тюрбан, накидки... все при нем!.. <...>

Надо все-таки решать, что мы делаем дальше?.. Уходим?.. Не уходим?.. Пытаюсь думать!.. Чтоб мнение свое высказать! Но не высказываю!.. Сон одолевает, глаза болят... все плывет... Где право, где лево, не различаю!.. Нет, так не годится!.. Делаю над собой усилие... Выглядываю на улицу... на крыльцо... Вижу, как карабкаются вверх деревья в парке... растут на глазах... прямо передо мной... все ветки, ветки!.. выше! выше!.. до умопомрачительной высоты!.. а потом все делается маленьким... махонькие деревца, крошечные веточки, сжались совсем... в карман мне влезают! деревья целиком!.. Я не верю! Нет!.. Не верю! Меня не проведешь! Это головокружение! мираж! Но я же отчетливо вижу, как они движутся! Вот! вот! вверх поднимаются!.. Это дым!.. поднимается аж до Обсерватории! Она вся в зелени стоит... Тошнит от этих верхушек качающихся!

А тут еще Боро командует... Провозглашает значительно:

— Вперед!..

Шагаем в свежий ветер... Боро нас ведет... Далеко не уходим... До скамейки только... Усаживаемся... перед нами лужайка... клумба с гелиотропами... я их очень хорошо помню... как сейчас перед глазами стоят!.. А там — река! берег!.. дальше Поплар... серые дома во фронт... баржи на приколе.

Сидим втроем на скамье... размышляем... кто б мог подумать?.. Дельфина посередке... боится, как бы мы не сбежали... <...>

— А ну, вставай! — решаю тут я... — Пошли!..

Положение глупое получалось.

— Куда пошли?.. — спрашивает он...

— Куда? к Каскаду!.. забыл уже?.. Сам же предлагал!

Это и в самом деле его идея...

— А старик? ты его так оставишь?.. Тебя это не волнует?.. и дверь настежь?..

Обо всем подумал.

Правда... мы ведь даже не закрыли!.. все нараспашку!.. Вот беда-то! все от пьянства!.. Дверь эту распахнутую хорошо видно было, отсюда с лавки видно... Надо вернуться и закрыть!.. Это уж как минимум!..

— Ладно! А потом что ты собираешься делать?..

У него, как видно, родилась какая-то мысль...

— Мы его спустим!..

— Куда спустим?..

— В подвал!..

— А дальше?..

— Вечером вернемся с мужиками...

— Что ж, — говорю... — не глупо!..

Правда, не глупо... действительно, лучше в подвал...

— Помочь тебе, что ли?..

— Недурно бы!..

Что ж! делаю усилие... приподнимаюсь... ох, не надо было... опять замутило... и сонливость одолела... я снова впал в оцепенение...

— Давай! давай! пошевеливайся!.. — тормошит он меня.

Встаю... Беру Дельфину под руку... подходим к дому... дверь распахнута... что верно, то верно... все открыто... Заходим... внутри ничего не изменилось... До чего ж все странно... И ведь не пьяные... Идем дальше...

Тело лежит, где лежало... во всех накидках... и шелках... а ковер мокрый, лужа образовалась, и тюрбан в ней плавает...

— Ну, давай, — теребит он меня... — бери за пелерину... А ты за ноги, Дельфина!.. Раз, два! взяли!

Тяжеленный, не поверите до чего! Еще тяжелей стал, чем когда на лестницу поднимали!.. Центнер точно весил! Будто из свинца, но только мягкий... Перекатывался прямо... Из рук выскальзывал... жирный, дряблый... Втроем мы его спустили... по ступенькам в подвал... хорошо, люк открыт был... лестница широкая... мы его свезли... в подвале пол песчаный... Положили на песок... ох! до чего ж тяжелый!.. темнотища непроглядная! лампа водяная еле-еле светила!..

Подвал большущий... потолок сводчатый... но какой кавардак! хуже еще, чем в лавке! все вверх дном... какой склад хлама! горы, тонны рухляди!.. могильники! Чего только нет!

— Все! оставляем тут! Сойдет!..

Сажусь отдышаться, из сил выбился... на лестнице... на ступеньку... в темноте... отдыхаю. Дельфина, та прямо на песок села.

— Дело сделано! — говорю...

Собираемся вылезать... Рассказываю точь-в-точь все как было.

— Чу? — говорит мне вдруг Боро и за руку хватает... дескать, шум слышит... наверху, в лавке. Настораживаюсь, прислушиваюсь — ничего...

— Тсс! — командует он... — Ни с места, я пойду посмотрю... Там кто-то есть!..

И оп! Наверх скорее, а нас внизу оставляет... Очень весело... с покойником рядом!.. Сам, значит, поднимается!.. И крышку люка здоровенную над нами закрывает! полная тьма... Ну уж, знаете!.. Чего-то я тут не понимаю! Хм! закрыл нас!

— Э! э! — окликаю я его... — Вот черт! не отвечает... Ни словечка!.. Слышу, ходит, мебель ворочает, ставит что-то нам на голову, на люк то есть... Тут уж я как заору:

— Боро! Боро! Что ты творишь?..

Он знай себе таскает... нагромождает... все, что можно, на крышку люка... Да он же нас заваливает!.. Кроме него никого не слышу... он в лавке один!.. Что же получается?.. Не может быть!.. ну да! конечно! нет сомнений!.. он нас замуровал!.. забаррикадировал!..

Я цепляюсь за ступеньки!.. колочу в крышку!..

— Боро!.. — кричу... — Боро!.. открой!..

Хрен вам!.. Я тужусь... выгибаюсь... отрыть пытаюсь... Мертво! Что он туда навалил?.. предатель чертов!.. Всю лавку стащил!.. Толкаю снова!.. Изо всех сил... У-ух!.. ага!.. подалась чуток, сука!.. щелочка приоткрылась... вижу лавку... на секунду только!.. становлюсь поудобней... спина у меня крепкая... У-ух! У-ух! еще немного... ага! пошло! сдвинул!.. просвет образовался!.. И в эту самую минуту — бац!.. камень!.. прямо по голове!.. прямо в морду! из щели! бац!.. Падаю!.. лечу кувырком!.. навзничь!.. выпускаю крышку!.. она падает!.. захлопывается! Вот бандюга!.. Трах-тарарах!.. оглушительный громовой раскат в темноте!.. в подвале!.. всё одновременно!.. что-феерическое!.. я накрыт с головой!.. погребен под обломками... Это он свою штуку бросил! Собака поганая... взрыв чудовищный!.. Он, он!.. точно!.. как тогда в "Дингби"... Ну конечно!.. Этого следовало ожидать!.. меня закружило вихрем щебня и штукатурки!.. и все в полной тьме!.. подхватило, понесло, шмякнуло! Труха, доски, бал-

ки обрушились мне на голову!.. Зову Дельфину... "Дельфина!.." Откликается!.. Она зарыта в песок... воет... но жива... хотя ей на голову чего только не просыпалось!.. шарю под горкой деревянных обломков... ощупью... ни зги не видно... нащупал... ухватил!.. ее за ботинки... тащу... выдергиваю!.. Она орет... но, представьте, невредима... лежит в песчаной воронке... под грудой поломанных ящиков... Тащу... вытаскиваю!.. все в полнейшей темноте...

— Это бомба!.. — объясняю я ей... — Боро бросил!..

Она не понимает... задыхается... Весь подвал... едким дымом заполнился... не сигаретным — настоящим! Из дальнего конца идет... чувствую, гарь! пожар!.. сквозь дым... вижу языки пламени... А Дельфина орет... ну точно я ее убиваю!..

— Все в порядке, Дельфина! С вами ничего не случилось!.. Помогите мне! — кричу я... чтоб она мне люк открыть помогла!..

— I am blind!.. — вопит она... — Я ослепла!..

— Да нет! нет! это дым!.. и темнота!..

Дельфина мечется... убежать пытается! спрятаться в глубине! где огонь! отлавливаю ее... тащу на ступеньки!..

— Сюда! дура!.. Давай вместе!..

Хочу люк открыть... Последняя попытка!..

— Толкай, голубушка!.. Толкай!.. Push!..

Крышка чуточку приподнималась... и тут же падала! захлопывалась!.. Бум!! На ней же мебель грудой... вся, какая была!.. Ничего у нас не получалось! Там сундуки!.. определенно!.. буфеты в тонну каждый!..

— Толкай! Push! — кричу я!..

— But I do! Да я толкаю! — отвечает.

Из лавки тоже дым валил!.. другой уже!.. в щель врывался!.. отовсюду дым!.. из отверстия!.. из глубины подвала! из лавки!.. Клубы окутывали нас... подступали... накатывали... душили!.. Балаболка эта теперь старалась не на шутку! изо всех сил толкала! Все! никаких тебе кривляний! налегает, налегает на створки!.. Умирать теперь уже не собирается!.. про Марию Стюарт забыла!.. про стенания свои!.. Но крышка, чтоб ее, не поддается! Раз! два! взяли!.. и бум! все зря! Упала снова!.. неподъемная!.. Надо что-то другое придумать!.. Я голову не теряю!.. хлюпаю, хриплю, кашляю... но не пугаюсь... самообладание сохраняю!.. надо найти что-нибудь твердое... да! железку... или что-то такое... шарю в темноте... в обломках... натыкаюсь на металлическую стойку!.. Ощупью упираю ее в крышку... в глазах резь нестерпимая... от дыма... упираю, значит, в крышку и оп! налегаем вдвоем!.. напираем! напираем!.. приподнимаем!.. лучше уже!.. Раз! два! налегли!.. есть! качнулось! полетело! все!.. что там навалено было!.. опрокинулось! ящики! шкафы!.. весь хлам... что он на нас нагромоздил!.. Дверца люка качнулась и приоткрылась! Ура!.. победа!.. Ха! как бы не так! Лавка в огне! А дыму-то!.. все имущество горит! второй этаж полыхает! Огонь храпит, гудит!.. дом пламенем охвачен... язычки его лижут всё, играют, урчат... ай-ай-ай! мамочки родные!.. Уже не язычки, а лавина огня... Чихаем... фыркаем... горло дерет... Невероятно!.. Хуже, чем в подвале!..

— Do something! — кричит мне Дельфина... — Сделай что-нибудь! малыш! дорогой!..

За руки меня хватает!.. Виснет на мне!

— Нет!.. Нет!.. — ору... — давай вместе! еще раз!..

Надо крышку люка откинуть... чтоб выйти можно было... на пол встать... А там бегом!.. наружу! сквозь пламя! через дом пробежать! крышку откинули!.. Давай! живей! Нечего валандаться!.. Я вижу дверь... там свет... белый прямоугольник... сквозь дым... туда бежать!.. прямо на свет!

— Давай, Дельфина! внимание!.. вместе! раз! два! три!.. прямо!.. оп!.. оп!..

Бросаемся... Ба! Я-то не видел!

Плюх! падаю! меня толкают! приподнимают! несут! две руки! десять рук! держат меня!.. тащат, как мешок!.. Дым повсюду!.. Я ничего не вижу!.. А там снаружи! снаружи-то! пожарные!.. людей полным-полно!.. Мы на улице! спасены!.. Толпа кругом! народу!.. А пожарные-то!.. ну трюкачи! каски! медью блестят! лестницы! струи!.. брызжут, кропят! окатывают! Нас снова хватают!.. поливают!.. водой обдают!.. Я не обгорел!.. Дельфина тоже нет!.. Не важно!.. все равно под душ!.. в воду окунают, в огромную бадью!.. Вылавливают, встряхивают, растирают, в одеяла заворачивают... Все взволнованы!.. Участвуют в спасении!.. А после вопросы, слова разные... салям алейкумы! приветствия! рукопожатия! Shake hands!.. Отважным ура!.. объятия! Хэллоу! Hello!.. Они видели, как мы сквозь пламя прорывались!.. Это было потрясающе!.. Спасать — это захватывает! "Восхитительно! Превосходно! Marvellous! Superb! Вот так парень! What a jump! Какой прыжок!.. Вот так девица! Браво, Дельфина!.." Галдят все хором! И вопросы! вопросы! Вопли! "Клабен!.. Клабен!.." Толпа требует Клабена...

Хотят знать, где он! Старик Клабен!.. Что с ним? Клиенты расстроены!.. Клиенты волнуются!.. Подходят к огню... Отступают!.. Теперь уже все горит!

— Там! — указываю я им, с трудом переводя дыхание... изнемогая от усталости... — Там он!.. Там внутри!.. There!.. There!.. — И показываю на огонь... на гигантский костер... На ревущее, урчащее пламя...

— О! О! — восклицают они.

Какой ужас!

— Да! он в лавке спал...

Я бормочу, повторяюсь... сам верить начинаю... ведь должно быть убедительно... на все сто... понятное дело...

— Вы его видели?..

— О! да!..Yes! Yes!..

И никаких сомнений... Чтоб не было в дальнейшем заблуждений на этот счет... Закрыть вопрос!..

Дом трещал и полыхал... снизу доверху!.. пожарные сделать ничего не могли... на сто ярдов приблизиться не смели!.. барак этот превратился в сплошной костер... безумный, огромный... из всех окон вырывалось пламя... Народу собиралось все больше... должно быть, из разных кварталов набежало... галдеж сливался с ревом огня... все толпились вокруг гигантского пламени... его, поди, издалека заметно... черт знает откуда!.. Вот и стекались толпами!.. тучи болтунов!.. Спасатели-иоанниты превосходно о нас позаботились... о нас с Дельфиной то есть... возились с нами... их героическими объектами спасения!.. накормили, обогрели... печенье... бренди... горячий кофе!.. наконец-то!.. Я когда увидел, так и сказал Дельфине:

— Coffee! Кофе!

Она уже шляпку поправляла, кокетство к ней вернулось!.. Платье ее шелковое порыжело... во как рисковали... и митенки она потеряла... Мы смотрели, как полыхает дом... дом Клабена... Ни о чем другом я думать не мог!..

Ничто не завораживает так, как пламя, особенно такое, мятущееся, танцующее, устремляющееся в небо... Сидим мы, значит, с Дельфиной бок о бок... на траве... оторопелые... околдованные... смотрим, как оно извивается!.. сидим, как дураки, и глазеем...

Вдруг кто-то меня за плечо хватает... трясет, чтоб его! обнимает, душит в объятиях!.. Что за притча?

— Малыш мой!.. Малыш!..

Я подумал, это опять они! Пожарные то есть!.. что опять нас водой заливать будут! операцию по спасению повторить решили! О ужас! я закричал! заголосил! ан нет, не они! я присмотрелся! это не пожарные! это Боро! скотина! собственной персоной! расчувствовался! сука! обнимает! слезу проливает!

— Малыш мой!.. Малыш!..

И целует!.. и целует!.. Наш славный друг! как он рад нас видеть!..

— Вы не обгорели?..

От радости прямо голову потерял... Визжит!.. плачет!.. блеет!..

— Дети мои!.. Ах! дети мои!..

Потрясающая сцена!..

— Дети мои, вы целы и невредимы?..

Люди устремляются к нам... Все жаждут нас обнять...

Единодушный прилив чувств... Что я могу сказать... Я его тоже обнимаю... всех обнимаю!.. пожарного! спасателя!..

— Ах! дети мои!.. Дети мои!..

Одуматься нам не дает...

— Пошли домой!.. Скорее!..

— Куда это домой?

Где дом?

Он хватает Дельфину за локоть... тащит ее прочь... я тоже пойду... пойду за ними... Смотрю еще раз на дом... а пламя-то куда вознеслось! бушует!.. лезет выше... танцует в вышине!.. гребешки желтые... красные!.. О, какое пекло!.. нельзя здесь оставаться! не то снова возгорюсь!.. я бегу... как могу... догоняю их... Ну, теперь ты нам ответишь, голубчик! Как только заходим за павильон, я на него набрасываюсь!..

— Отвечай, жирная тварь!.. отвечай, скотина!..

Он молчит... только шагу прибавляет... Каков наглец!..

Дельфину под руку держит, не выпускает! чтоб она пошевеливалась!.. поспешала! Она умоляет — секундочку!.. не может больше!.. в бок вступило!.. и туфля!.. каблук подворачивается! черта с два!.. не дает передышки!.. трусит!.. трусит! она хромает... “А ну, давай!”... щиплет ее... она как взвоет!.. Люди оборачиваются... вся улица!.. Мы быстрей, быстрей... в метро, на станцию Стефам... они вниз... я за ними... он билеты берет... Наконец-то! можно сесть! Уф! вагончик тряский... Я спрашиваю, куда едем?

— Как куда? К Каскаду! Сам знаешь!..

Я раздражаю его своими вопросами...

Проехали станцию, другую, третью...

Не тянет меня к Каскаду... нет, не хочу... хватит!.. Что я за ними, как говно, таскаюсь... и потом, сволочь какая!.. неслыханно!.. И пусть я вымотан, выжат, потрясен, измотан, болен и все такое... к черту! Не поеду с ними!.. не поеду!.. Подонок жирный! и эта в митенках! нет, смываюсь!.. Хватит с меня их кривляний!.. Каскад тоже хорош!.. и такая меня ярость охватила, вспыхнула разом! Да какой же я кретин! видеть их больше не хочу никогда в жизни! У меня достанет сил, черт побери!.. ни тех, ни этих не хочу! В вагоне стук... тряска... на нервы действует... Проезжаем еще станцию... скоро Клапам...

— Ты не сердишься? — спрашивает он...

— О! нет! конечно нет!..

Очень мило с его стороны...

— Погоди!.. — говорю я себе... — до следующей только станции!.. А там как рвану!.. И поминай как звали!..

Клапам! приехали!.. настал момент!.. свисток!.. двери закрываются! Я бросаюсь! раздвигаю их... Оп!.. готово дело!.. я на платформе!.. успел! как раз! Молодец, малыш! Поезд трогается!.. Надо было видеть их рожи!.. как они на меня смотрели! Я не ударился!.. Все отлично! все удачно! уф! сбежал!

— Пока!.. — кричу я им вслед...

Готово дело! Теперь отдых!

Перво-наперво — присесть! на минутку... разобраться, что к чему... на станции это как раз удобно.

Я, стало быть, свободен... таскаюсь два дня... три... Сплю где придется... В кино хожу... На людях стараюсь поменьше показываться... Центральные районы стороной обхожу... Не встретить бы кого не следует! Средства экономлю... они, однако, все равно к концу подходят... Осталось уже два-три шиллинга... тогда я себе говорю: надо сидеть на вокзалах... Там тепло, спится хорошо, люди вокруг тоже сидят ждут...

Где конкретно, я не знал... думал, думал... и наконец выбрал Ватерлоо... Зал ожидания там самый красивый... <...>

...Наконец я снова один... пробую улыбнуться... девушкам за стойкой... все зря... их привлекает летчик... хихикают, курочки... ну и отлично!.. пойду за столик сяду... пока я здесь... Подумаю немного... Заказываю кофе... потом еще... сижу... отупело... Вижу, кто-то мне с улицы машет через стекло... Не узнаю... плохо видно... Э! да это ж коротышка!.. Лу Сорокоручка... Засек меня.

— По вокзалам работаешь?

Ему смешно, что он меня тут увидел...

Голова у него только до стола достает... Он почти карлик... И ноги колесом...

— Скверное дело!.. Ты не в курсе?.. В Лестере о тебе говорят!.. "Миррор" не читал?..

Нет, не читал...

— Елки-палки!.. Дай-ка мне пенни!..

Уходит... приносит "Миррор"... Там во всю страницу фотография... Ай-ай-ай! дом старика!.. то, что от него осталось!.. И название "Трагедия в Гринвиче"... громадными буквами... дым... руины... балки... все, в общем.

— Ух ты! жуть какая!

Странно, но я как будто не понимал! все смотрел, смотрел... ущипнул себя даже... Мне все не верилось.

— Ты думаешь, правда? — спрашиваю... — Думаешь, да?

— Читай!.. Написано!..

— Я не умею...

— По-английски не читаешь?..

Он-то читал прекрасно...

— Слыхали? Не понимает! — заключает он... Говорим о другом... Он поваром работал у Бороды на Сохо-сквер и еще в "Ройял" подрабатывал... "член профсоюза", видите ли... постоянная работа!.. а главное, карлик наш в картах специалист был!.. Это его первейшее дело! волшебник прямо!.. С картами что хотел, то и вытворял!.. Как "член" вхож был повсюду... С шефами на "ты"... во всех клубах Лондона... Штучки им всякие показывал... в покер! вист! в трик-трак! непобедим при любом раскладе!.. Потому его Сорокоручкой и звали... Никто не видел, как он входит и выходит... Так, партию на ходу!.. Вперед, господа! Сам не выше стола!.. карлик... Ему подушки подкладывали, чтоб он нормально сидеть мог... Танцовщицы его любили... любезный такой, обходительный... и еще по скачкам мастер! осведомленность! ну Папа Римский! бесподобно! На дерби всегда на тройной ставил!.. это самое меньшее!.. Уже восемнадцать лет как в Лондоне! и сбережения имел!.. К армии непригоден из-за ножек своих коротких и ручек... никогда ни дня не служил!

— Зато пальцы у меня очень пригодные! Это в нашем деле самое главное!..

Умный и не скрывает этого.

Что пальцами вытворял! из одной колоды на глазах у вас десять делал! высший пилотаж!.. Играл только с клиентами, с друзьями никогда!.. Нет уж! вне конкуренции!.. <...>

— Да... — говорит он мне, значит, это я к рассказу возвращаюсь, — в скверную ты, бедолага, влип историю!..

Разглядываем фотографию... Читаем вместе эту дребедень... "Тело известного ростовщика Титуса Джерома Ван Клабена было обнаружено вчера в пять часов по-полудни..." А я-то и не знал, что его кроме Титуса звали еще и Джеромом... "сильно изувеченным и полностью обгорелым"...

Язык статьи сложностью не отличался.

"Пожар уничтожил строение полностью и еще два соседних дома... Пожара такой силы не наблюдалось на Уигморской аллее нашего замечательного Гринвичского парка с 1768 года. Судебный пристав, ведущий расследование, отказался поделиться с нами своим мнением о причинах трагедии, которая, по утверждению некоторых специалистов, может объясняться злонамеренностью. Частная жизнь Титуса Джерома Ван Клабена не вполне соответствовала общепринятым нормам... Кроме лиц, составлявших его клиентуру, Титуса Ван Клабена нередко посещали порочные и подозрительные элементы... хорошо известные, впрочем, служащим Скотланд-Ярда... Среди окрестных жителей трагедия продолжает широко обсуждаться... Поговаривают, что Ван Клабен любил переодеваться в восточные костюмы и курить гашиш, подолгу слушал фортепьянную музыку, увлекался непритязательной французской

игрой “лото”... Разыскивается женщина средних лет по имени Дельфина, в прошлом учительница, занимавшаяся хозяйством в его доме...”

Я так и подскочил!

— В лото не играли!.. Никогда в лото не играли!.. Чистейшая ложь!..

— Ну да! Ты же сам там был?..

— Откуда ты знаешь?..

В самом деле, откуда он знал?..

Перечитываю гнусную статейку... и меня снова трясти начинает... вот так прямо: смотрю на газетенку и трясусь... нагнали на меня страху журналисты эти пронырливые...

— Подумать только!.. Ну и везет!.. А ты-то, коротышка, откуда знаешь?..

— Узнал в Лестере!.. Они пришли третьего дня! Боро с Дельфиной... Перво-наперво на жратву накинулись!.. Как оголодали, мамочки мои!.. Невиданно!.. Все подряд уминали!

— И дальше что?..

Мне надо было знать.

— Каскад сказал, что он от тебя такого никогда не ожидал!..

— Значит, они все рассказали?..

— Досконально!

— И куда ушли?

— Поди знай!.. Но тебя-то как заложили!..

— Меня заложили?.. Что за шутки?

— Поливали тебя как могли! А чего? нормально!.. Тебя же не было!.. Сходи к Каскаду!..

Ага! я чувствовал, к чему он клонит... Погоди, голубчик!.. Я молчу... Вроде как дурачком прикидываюсь... Выхожу с ним на улицу... В некотором смысле я рискую... но была не была!.. Выходим, значит, идем рядышком... Коротышка семенит скоренько... в сторону Букингема... Я к обстановке приглядываюсь... у меня свой план... вон там подъезд... чуть подальше, метров двести... Я его цап за шиворот... А то хитрый больно!.. и в угол его тепленького!.. одной левой!

— Говори, Сорокоручка! — тут я его встряхнул хорошенько, — тебе кто заплатил?..

— Мне?.. заплатил?.. Да ты что? — бьется, извивается... вопит...

— Разве тебя не Каскад прислал?..

Опускаю его на землю.

— Каскад никогда никого не присылает!.. Запомни это, идиот!.. Он сам вопросы решает!.. Только вот тебе его слова: “Фердинанд оказался не тем, что я думал!.. Я к нему с доверием отнесся!.. за серьезного парня держал... А он нас обманул!.. пришел, другом представился!.. дескать, от Рауля!.. бедняга Рауль!.. И повел себя как подонок!.. А ведь от Рауля!..” Ему это как ножом по сердцу... Вроде бы свой, от Рауля!.. а повел себя как подонок!..

Сорокоручка, видно, правду говорил.

— Боро на тебя все свалил!.. Тебя ж не было!.. Так что за милую душу!.. “Вы совершенно правы, Каскад!..” Ну и под разными соусами! маленький преступник!.. Это все про тебя!.. “Он убил несчастного Клабена!.. Деньги все заграбастал!.. Дом поджег!.. И смылся!.. Чудовище!..” Точные их слова!..

— Да что ж это делается!..

Меня трясет аж! Злодеи! я задыхаюсь!

— Как? Как они смели, сволочи?.. Скоты, предатели!.. Ну, пусть только они мне попадутся!.. Неужели так прямо и говорили?..

— Да, и при всех!..

Нечего и сомневаться.

— А ты, говнюк?.. — спрашиваю я его...

И за горло опять беру...

— Ты зачем мне это все наплел?..

Мы еще в подъезде были... Он изворачивается, невинность из себя разыгрывает.

— Вот те слово сутенера!.. — хрипит... — Я тебе лгать не стану, Фердинанд!..

Вырывается... стонет... жалуется...

— Я знаю, Фердинанд, ты калека! увечный! Я не хочу тебя обижать!.. Никогда не хотел!.. клянусь тебе!.. я тебе зла не желаю!.. Я для твоей же пользы!.. В Лестере на тебя сердиты!.. Смотри, как бы... Зуб они на тебя имеют!.. <...>

— Послушай! — говорю я ему... — Ты думаешь, это дело... чтоб я вот так прямо в Лестер вернулся?.. Может, лучше мне туда не соваться?..

— Имей в виду, Фердинанд!.. Каскад, он славный малый!.. но если только он почует, что ты его за нос водишь!.. встречи с ним избегаешь!.. Он подумает, что дело неладно! И тогда хана!.. Рассердится старик! Боро и кукла эта, они его голыми руками возьмут! Они ж тебя с дерьмом смешивают! За глаза-то!

Он требовал, чтоб я с ним ехал... чтоб мы вместе в метро вошли... привязался, и все тут... Ох, надоел, голова от него болит... Уже возле самой станции я снова засомневался...

— Слушай, — говорю, — Сорокоручка! Не поеду я!..

Передумал, стало быть.

— Зря ты так, Фердинанд!.. Зря!..

Не по нутру ему мое упрямство!.. По роже его насупленной видно... Я вроде как поддаюсь... Прохожу два-три шага... Останавливаюсь... На нас люди смотрят... как мы с коротышкой спорим, значит... Заходим в метро... Я еще рта раскрыть не успел... а он уже в кассе...

— Давай, Фердинанд!.. поехали!.. Пользуйся случаем!.. Так лучше будет!.. Тебе же спокойнее!.. Не раздумывай!.. Пошли!..

Плетусь за ним... тащусь... я так устал, что мне уже все равно... Станция Бейкер-стрит... Он берет билеты... Людской поток засасывает нас в лифт... и душит, душит... а меня вдруг снова беспокойство охватывает!.. И так уже сердце будто галопом скакало... со вчерашнего дня... с утра то есть... с тех пор, как там, в Гринвиче... а теперь еще пуще припустило! в коробке этой запертой! Трепыхается! трепыхается! Страшная душегубка!

— Послушай, коротышка! — говорю я ему... — Ты точно уверен?..

Лифт опускается, опускается...

— Не валяй дурака! Фердинанд!.. Объяснишь им, как дело было!.. А не придешь, они всему поверят!.. и тогда — ой плохо будет!..

Стоим в клетке, сдавленные! Высаживаемся, наконец, прямо на платформу... он меня за локоть держит.

— Нам бы тут друг друга не потерять! — говорит...

Ждем, стало быть, поезд... а народ все прибывает... Не знаю, что такое... душат они меня!.. не могу дышать!.. Напирают со всех сторон! Расталкиваю... высвобождаюсь!.. делаю три шага вперед... к самому краю... И тут напротив? кого же я вижу? кто же там стоит?.. на той стороне?.. ё-моё! У меня глаза на лоб полезли!.. Его пальто реглан!.. его шляпа!.. и рожа его!.. Мэтью! Мэтью здесь! на другой платформе!.. Мэтью смотрит на нас в упор!.. Я так и охнул!.. Дыханье сперло!.. стою не двигаюсь... точно загипнотизированный... смотрю на него!.. И он на меня смотрит! Но мысль все-таки работает!.. И мысль простая!.. "Это же коротышка!.. вот этот самый!.. Стукач!.. Так!.. Так!.. Так!.." Созрело все само собой!.. я сосредотачиваюсь... сосредотачиваюсь... бровью не веду... полнейшее хладнокровие... Вокруг люди разговаривают... Тоже поезд ждут... Слышно, как он погромыхивает... приближается!.. там, в темноте... в дыре черной... справа... Так!.. Так!.. Так!.. ближе! ближе! Грохот растет, раздувается... Бррр! Брррум!.. Так! Так! Так!.. Совсем близко уже... Гляжу на Мэтью... и коротышку рядом чувствую... в руку мне вцепился... потерять боится!.. БРРР!.. выкатывает локомотив... Фьюу!.. ФьюУУУ! свистит... Бац! наподдаю бедром! коротышку! Он падает!.. Налетает гром, прокатывается по нему! Свистит! Еще! Еще!.. Все вокруг воют! свод воем заполняется!.. Я подаюсь назад! Меня тянет! ровно магнитом!.. да!.. приподнимает!.. Я невесом! меня несет!.. неудержимо! К выходу!.. всасываюсь в лестницу! Лечу!.. Это инстинкт! Спасаюсь бегством!.. Всю винтовую лестницу! все четыре этажа!.. я их вихрем пролетаю! Я их не замечаю!.. ноги в руки!.. меня засасывает!.. Я не касаюсь ступенек, так я легок!.. Я птица страха!.. Выпархиваю из клетки на улицу!.. Бегу!.. Бегу!.. Мчусь!.. Перебегаю одну улицу... другую!.. третью!.. окрыленный паническим страхом!.. Лечу стрелой!.. Еще улица... сквер... проспект... сад... поворот... петляю... едва касаюсь земли... едва касаюсь... молния!.. метеор!.. Я сбиваю людей!.. еще сквер!.. обегаю его кругом... замедляю... уф!.. останавливаюсь... Язык на плече... Все! конец!.. Сейчас упаду!.. Нет, не падаю!.. Сажусь на каменный бордюр!.. под деревом!.. Озираюсь... не выслеживает ли меня кто?.. Нет! они меня потеряли!.. Поднимаю глаза на табличку!.. читаю: "Баркли-сквер"... Красивый район... лимузины, ландо... Времени, наверное, около шести... людный час... Это дорога на Риджент-стрит. Публика элегантная... Отдышавшись, оправляюсь немного... и снова беспокойство на меня находит... думаю... и снова к сердцу подступает!.. новый приступ... оно о грудную клетку так и бьется... и еще голову дергает... какой тут отдых... внутри все гудит, звенит, кипит... сознание пошатнулось, поплыло... Я ничего не вижу.... потом опять все вижу!.. Я не я!.. Потом снова я!.. Швырнул я коротышку поганого!.. подкинул в воздух!.. в воздух!.. Черт возьми!.. черт возьми! он теперь в месиво превратился! Брррруа! поезд! и Мэтью напротив! глядел! во все глаза!.. Как сейчас гада вижу!.. зонтик и все такое!.. А зенки-то вылупил!.. Он не случайно тут оказался!.. Это уж как пить дать!.. Сорокоручка падаль мерзкая! жулье, махинатор! Тсс! Тсс! ни слова больше! Черт! Каскад еще!.. Теперь все на меня! И Клабена тоже! Нет! невозможно! Все застилается туманом!.. Огонь!.. голова пылает!.. гудит!.. как горящий дом! Я в огне!.. А задом на камне сижу, холодном как лед!.. Охлаждаюсь!.. Все как там, на пожаре! О провидение! Я спасен! мне лучше! от камня! Да здравствуют спасатели-иоанниты! Да здравствуют пожарные! но только это ненадолго!.. Жизнь не задалась с самого начала!.. Вспоминаю стариков

своих!.. мать там, во Франции, в лавке своей кружева чинит... Как представил, так больно в голове стало... сидит глаза себе портит под газовым рожком... а клиентки всегда недовольны... Я б им врезал, клиенткам этим!.. Я б их манерам научил!.. Отец в своей "Божьей коровке" адреса переписывает!.. и нет им конца!.. коллеги, сволочи, скандалят, не унимаются!.. А я здесь сижу убийцей! черт!.. Все это снова у меня перед глазами вставало, всплывало, голову мутило... аж пошевельнуться не мог... "Фердинанд! — говорю я себе... — Ты жертва заговора!.. ясно как день: на тебя порчу напустили!.. особенно на голову!.. Честен ли ты?.. Вот вопрос, который меня волнует... Клабен тебе сделал что-нибудь плохое?.. Значит, ты его обокрал, просто чтобы выпить? Доказательств ни у кого нет!.. И у Сорокоручки тоже!.. Он теперь под поездом!.. Еще меньше стал!.. Будет знать, как безобразничать!.. Все это чудовищно!.. Фердинанд, ты за все заплатишь!.. Правда на стороне Мэтью!.. Он на службе!.. Нет сомнений! Он разыскивает тебя... имеет право!.. Он облечен силой Полиции!.. Он на посту!.. это его работа! терзания преступника! наказание и т. п.! Эх, парень! все правильно!.." И снова прошлое не дает мне покоя! достает меня! мучает! все в голове сконцентрировалось! будоражит меня! люди из Пассажа! увольнения! Соседи разные! "еще и не то будет!" Они меня обвиняют! К чему это они клонят? наглость! "еще и не то будет!" Суд совести!.. "Увидишь... люди на твою мать и смотреть не захотят!.. она все глаза себе выплачет!.. Он дезертир, мадам! такой никому не нужен!.. Да он просто чудовище!.. Бандит!.. Несчастный отец!.. Он должен был его в свое время в тюрьму отправить!.. в Рокетт!.. где держат разбойников! На пользу бы пошло!.. Он дезертировал в Лондоне!.. Ранен был!.. Он псих!.. Пьяница!.. Сатир!.. Лжец!.. онанизмом занимался по углам!.. сколько раз его застукивали... У него были гнусные наклонности! Аттестат три раза проваливал!.. А круги под глазами!.. это все помнят!.. Как он с матерью разговаривал!.. Они его слишком жалели!.. Он три булочки украл!.. Они ради него всего себя лишали!.. Было бы ради чего!.. Он хозяина обокрал!.. А потом в армию подался!.. Там он поначалу даже мужество проявлял!.. В сентябре ушел... трижды благодарность в приказе объявляли!.. и потом медаль получил!.. Начал геройски... но его ненадолго хватило... после он все растерял!.. храбрость и остальное! все благие намерения!.. Умирать ему расхотелось!.. Беспутный малый, как был, так и остался!.. Я это всегда говорил!.. медаль за отвагу!.. ранение в голову!.. но сущность преступная!.. В Лондоне его взяли!.. Посадили!.. Пытали его там!.. И поделом! Он совсем голову потерял!.. Во всем признался!.. Они ему глаза вырвали!.. они его хорошо знали! достал он их своими преступными наклонностями!.." Голоса эти доносились из-за ограды сквера!.. поднимались со всех сторон... оглушали!.. Откуда им взяться на Баркли-сквер! Я только их и слышал... Даже машин не слышал... Голоса были настоящие... некоторые звучали по-английски... с акцентом... "Watch your step! Осторожно! Кровавое убийство! Bloody murder!.." Они тихонько пробивались среди других!.. и еще немного музыки среди уличного шума... Убийство! Убийство! Итак, надо действовать быстро!.. Плохие дела, Фердинанд!.. Они тебя сцапают!.. Свалятся на голову, как на Дельфину в туннеле...

Нет! не дамся!.. Ядрена вошь!.. Я знаю все их штучки! как они войну ведут не на жизнь, а на смерть! засады строят! Черта с два! Я тихонько встаю... легко-легко... и оп!.. припускаю!.. На противоположный троту-

ар... быстрее!.. бегу!.. вдоль стен!.. на Бонд-стрит!.. Марилебон!.. Я знаю, куда бежать!.. Сердце колотится!.. Барабанная дробь!.. но дух не сломлен!.. "А ну, веселей!.." слышу я голос полковника... "Кавалеристы! шашки наголо!" Голос полковника Антре!.. "Вперед!.. гало-о-оп!.. В ата-а-аку!" Я откликаюсь на призыв!.. Прибавляю ходу!.. Мчусь!.. несусь!.. лечу в атаку!.. Фенчерч-стрит!.. Уордор!.. Авеню Страфтсбери!.. Я знаю, куда бегу!.. Вперед!.. За родину!.. Маршрут известен! Я не заблужусь в сердце Лондона! На всем скаку! закусив удила!.. Гип! Гип! Ура! ну и скачки! Вихрь! Вперед! Веселей!.. Доблестней!.. Только победа!.. Виктория!.. Тоттнем-Корт-роуд!.. Меняю ход!.. ниже шею!.. натянуть удила!.. пришпориваю!.. Нападаю на автобус!.. на все стадо! мастодонтов! жирных! трепещущих! урчащих! рычащих! в двадцать пять моторов!.. замерли притворно! красные все... морды низко опустили... сжались упрямо... дрожат от нетерпения!.. задом пыхтят! пфт! пфт... буйволы кровавые!.. Они мне нипочем!.. я тоже фыркать умею!.. бррр!.. брр... бр... ры!.. В атаку! молнией! маневр! прорезаю стадо!.. просачиваюсь сквозь!.. стрелой! ускользаю!.. аккурат на перекрестке!.. перед гигантской чайной..."Лайонз"... круглосуточной... Night and Day... Храбрец! герой!.. Смотрите-ка! полисмены мне свистят!.. Свистят!.. свистят!.. Напрасно! Я гарцую еще выше!.. Спасайся кто может... На бешеной скорости мчусь вдоль стен!.. Ноги в руки, так сказать... Там! впереди! вдалеке! Бедфорд-сквер! Принюхиваюсь!.. все верно!.. устремляюсь дальше!.. Цель близка!.. деревья вижу! это YMCA!.. Молодежная христианская ассоциация!.. смоковницы по периметру площади!.. дубы!.. консульство!.. я его вижу!.. оп! оп! дружочек!.. Скачи!.. лети!.. еще рывочек! У-у-уй! дождь! проливной! как из ведра! Я мокну!.. истекаю! струюсь на лету! Ныряю под зонтики... спотыкаюсь!.. падаю!.. Хоп! встали!.. мчусь!.. не чувствуя себя!.. Бедфорд-сквер! консульство!.. мое?.. нет! русское!.. ошибочка!.. еще немного!.. Скорость у меня слишком велика!.. сбавить надо чуток!.. осадить!.. мелкий галоп!.. рысь!.. Их тут, консульств этих, с дюжину будет, не меньше... всех стран... вокруг площади... манеж прямо!.. бок о бок стоят!.. Вот это! русское! самое громадное! Здания три-четыре занимает... Перед дверьми давка... Врезаюсь в гущу... прорываюсь!.. пихаюсь... меня оттесняют!.. Не выдерживаю напора!.. падаю в гущу русских!.. Они кипятятся... плюются!.. ругаются!.. Затормозили-таки... Я поврежденный метеорит!.. Я оседаю!.. Я сдавлен, сжат, перемолот телами!.. Толпе этой нет конца!.. Очередь трижды вокруг сквера обвивается! Они тут топчутся днями! неделями!.. кашляют... харкают... солнце ли... дождь... дверь конторы закрыта... Иногда она чуть-чуть приоткрывается... они впускают по двое... и держат их часами... сутками... по поводу виз!.. Все скопище вшами кишит!.. чешутся все усиленно!.. я тоже чесаться начинаю!.. Кого тут только нет! Мешанина полная... Стоит двери приоткрыться, все глаза — на нее... сборище разномастное... толкаются между решеток... скребутся — вшей ищут... остервенело... все вперемешку... кокеток образчики... крупные торговцы и мужики!.. всего много... самодовольные господа в плащах... профессора в пенсне... крестьяночки в платочках... теснятся, ноги друг другу отдавливая, чтобы продвинуться на миллиметр... Мне нужно сквозь них пробиться!.. нет! ничего не выйдет! Консульство мое французское! вон оно! удаляется! меня относит в сторону! влево! я собираюсь с силами! высвобождаюсь! опрокидываю евреев в картузах... целую компанию!.. с пейсами и в толстых очках... Два попа стоят с крестами на жи-

вотах... плотно пригнаны друг к другу. Врезаюсь в толщу мясного паштета... разрубаю!.. прорываюсь вперед к моей колоннаде... к моему консульству... на французскую землю!.. Тут тоже густо!.. закупорили вход... пищат яростно на франко-русско-бельгийской смеси кто во что горазд!.. зычногласая тарабарщина... перебранка... трескотня горничных... артисты... знакомый мне официант-грек... пышечка какая-то речь держит... с тулузским акцентом... Ждут открытия... в восемь открывают снова для виз на вечерний поезд...

Я спешу больше их всех!.. я им, сволочам, так и кричу!.. Меня следует принять немедленно! Я не для того пришел, чтобы тут ждать!.. мне нужно видеть консула лично!.. Собственной персоной!.. незамедлительно!.. Я ору поверх голов... "Господин Генеральный консул!.." Это еще что!.. Я вот пиджак порвал... в лохмотья превратился... так меня за него дергали!.. Клочьями сзади висит!.. мой пиджак реглан... Я приветствую флаг над дверью!.. и герб!.. наш славный триколор!.. "Смирно!" командую я... гаркаю по-над толпой... "Смирно!"... В дверь барабаню... Войти хочу... Бабы вокруг, учительницы французского, шалопаем меня обзывают, бандитом, грабителем... Я им не отвечаю... я стучу... сильнее!.. я эту дверь высадить готов!.. дубасю изо всех сил!.. ногами!.. Приоткрывают наконец-то!.. щелочку... я врываюсь! сокрушаю... швейцара!.. привратника!.. я внутри!.. победа!.. Но тут сердце мое не выдержало! ноги подкосились!.. я осел на пол!.. Перенапрягся!..

— Месье! Месье!.. Мистер! — заявляю я... — Долг превыше всего!.. "Вперед, сыны отчизны!"... — выкрикиваю я!.. сил не жалею!.. холуя этого оскорбляю!..

Он отвечает по-английски:

— Go away!.. I am the Commissionnaire!.. — убирайся, дескать, вон, я швейцар, то есть род лакея в ливрее, каких нанимают по часам, по неделям оберегать прихожие, конторы и всякие служебные помещения!..

— Консула Франции!.. — требую я... — Мне нужно видеть консула Франции!.. Господина Генерального консула!..

Вот наконец-то служащий... Настоящий, в люстрине... а за ним еще три!.. потом еще десять!.. все в люстрине, в пенсне и с целлулоидными воротничками... я обомлел! Ох уж мне эти воротнички!.. они меня совсем с толку сбили! В первый раз в Лондоне увидел!.. обалдел прямо! Смотрю как завороженный! У всех галстук бабочкой!.. на резинках специальных!.. мать честная!.. Это ж юность моя!.. Я на бабочки эти вытаращился, все глаза проглядел!.. оторваться не могу!.. Это ж детство мое!.. ученичество! Первые шаги!.. Пассаж Вередода!.. Быть того не может! На каждом по бабочке... все одинаковые! в точности как у отца!.. на резинке!.. и полоски зигзагом, как у него! черные и белые... У меня слезы выступили!..

— Господа! Господа! — обращаюсь я к ним... — Простите мне!.. мою слабость!.. Это голод!.. Легкий обморок!..

— Вы голодны?.. — спрашивают они в один голос... Изо рта у них воняет... В нос мне дышат... Зубы их гнилые вижу...

— Вам требуется помощь, молодой человек?.. Помощь?.. Утром в десять!.. Приходите завтра!..

Гонят меня, стало быть.

— Помощь?.. Помощь?..

Ах они хамы!.. Я вне себя!..

— Я в армию хочу, сволочи!.. Я на войну хочу! Родину спасать!.. Сучьи потрохи!.. У меня и документы фальшивые при себе! — так прямо им и заявляю! кричу в лицо.

Вижу, они думают, что у меня не все дома... Знаки друг другу делают.

— Пойдемте с нами, молодой человек!.. Пойдемте с нами!.. Поднимайтесь осторожно... с нами... осторожно...

Ведут меня... сопровождают... Окружили плотно... Чтоб не сбежал... Ишь, хитрые!.. Видали мы таких!..

Поднимаемся на второй этаж... проходим насквозь два... три... четыре кабинета анфиладой... все машинисточками заполненные... дурнушки бледнолицые... все на меня косятся... одна горбунья...

Там в глубине "Военный отдел"... на двери обитой написано... далее: "Военный врач"... Вваливаемся всем скопом... втискиваемся... и машинисточки все за нами!.. хихикают, поганки... Провожают меня... шагу ступить не дают!..

Давненько я врачей в форме не видел... с самого госпиталя!.. Это на меня сразу подействовало!.. Госпиталь тот в Хазбруке был, во Фландрии...

— Смирно!.. — кричу я... — Смирно!..

Все хохочут... ха! ха! Ха!

— Ваши документы, молодой человек!.. Предъявите документы!..

Разрываю внутренний зашитый карман пиджака... карман этот целехоньким сохранился!.. Протягиваю документы врачу... Список мой послужной... упоминания в приказах!..

— Фальшивые!.. — так его сразу и предупреждаю... — Целиком и полностью!..

Заявляю об этом во весь голос!.. Настаиваю.

— Фальшивые от корки до корки!..

Он меня усаживает. Вот и отлично!.. Пусть изучает вволю!.. Устраиваюсь поудобней в самом большом кресле... Пусть полюбуется... Пусть порадуется... А я погляжу на клубы тумана... они плывут за окном... танцуют... в оборках все... будто балет!.. пока он там бумажки изучает... Я даже песенку замурлыкал!.. Это после дождя... балет туманный... Вот он уже уплывает... невесомый уносится ввысь... к Сент-Олбену... Церковь вся черная стоит!.. а шпиль на солнце золотом сверкает! Поразительное зрелище!.. Облака рассеиваются... Да! я подвержен мечтательности!.. Забываюсь запросто!.. грежу по всякому пустяку... надо ему тоже сказать... я ему сообщаю, доктору то есть... уведомляю вежливо...

— В воздухе, — говорю, — чудеса творятся...

Так просто, соображение высказал.

Пусть знает.

— Подойдите ко мне, молодой человек!.. — отвечает он любезно, но твердо. — Раздевайтесь!.. А вы там! выйдите за дверь!

Все выходят.

Разглядывает руку мою... шрамы...

— Смирно!.. — ору я что есть мочи... — Смирно!..

Он мне ноги ощупывает, ягодицы, мошонку... везде потрогал... слушает... опять щупает!.. пройти заставляет... вперед... назад...

Головой качает... Вижу, сейчас откажет...

— Я хочу на фронт, господин военный врач!.. Я хочу на фронт!.. умоляю вас... не откажите!.. Я должен ехать!.. Они за мной гонятся!..

И тут я ему все выложил...

— Я убийца! господин военный врач! я убил десять человек!.. нет, сто!.. нет, тысячу!.. А в следующий раз я их всех убью!.. Господин военный врач, отправьте меня!.. мое место на войне!.. на фронте!..

— Посмотрим!.. Посмотрим!.. — отвечает он спокойно... — Одевайтесь!..

Он мне трех слов не сказал... По-моему, это оскорбительно... Натягиваю штаны, повязку, рубашку, изорванную в клочья... Он на меня смотрит... И головой все качает... С бородкой, упитанный такой, пузатый, щеки круглые, пенсне то снимет, то наденет... На нем краги, шпоры, здоровенная кобура... интересно, зачем?.. Чем он рискует у себя в кабинете?.. Вызывает еще одного в пенсне... потом швейцаров... и еще лакеев!.. тех, что меня в дверях встретили... вслед за ними еще народ набежал... из всех кабинетов... весь персонал... все консульство!.. машинисточки с пучками! то-то будет зрелище! Я окружен!.. Все перешептываются!.. мой случай обсуждают!.. перемигиваются!..

— Вы можете идти, мой мальчик!.. Вы можете идти!..

Таково его решение!..

Нет! Это возмутительно!..

— На войну!.. — кричу я!.. — на фронт!.. Иначе как на войну я отсюда не уйду!.. Направление должно быть подписано немедленно! здесь и сейчас!.. без проволочек!.. Я требую!.. Выбирайте!.. Жизнь или смерть!..

Они не отвечают.

— На войну! — твержу я им!.. — На фронт! как Пьеро Короткоручка!.. как Рене Гвоздь!.. Как Жожо Поцелуйчик!.. как Люсьен Волокита!..

— Но вы уже вернулись с фронта, молодой человек!.. Вы выполнили свой долг!.. Вы получите пенсию!..

Ха! знаем мы эти сказочки!.. Умилостивить меня хочет!.. Болтун поганый!.. Я воплощенная совесть!.. Успокоить хочет мои терзания!.. Мизер недоделанный!.. гнусный!.. Уж я слов не пожалею!..

— Долг этот я плохо исполнил!.. Вы что, не видели?.. За мной еще множество долгов волочится!.. А как у вас с долгами?.. Расскажите-ка!.. Пенсию?.. Нет у меня пенсии!.. И не будет никогда!..

Так им и сказал!..

Он не рассердился, опять меня урезонивать стал... Ласково так...

— Будет!.. Будет!.. обязательно!.. Вы ее получите!.. вы инвалид войны!.. вы получили тяжелое ранение!.. Вы один из наших доблестных воинов!.. У вас восемьдесят процентов!.. Требуйте прибавки!.. Восемьдесят процентов — это хорошо!.. Две тысячи франков в год!..

А я только больше распаляюсь!..

— Я же убийца, господа!.. Убийца!.. Вы меня слышите?..

Я обращаюсь ко всем сразу... ору!.. реву во всю глотку!.. Никакого взаимопонимания!.. Вид у них печальный такой... Человек тридцать, в кружок выстроились, все в люстрине, окружили со всех сторон... рты поразевали... и смотрят! А потом опять как загалдят!.. как затрещат!.. забалабонят!.. и еще хихикают потихоньку...

— Я двоих убил!.. — талдычу им снова... — десятерых!.. куда там! больше!.. И убью еще больше!.. Послушайте меня, господин военный врач!..

Я умоляю... бросаюсь перед ним на колени!..

Он непреклонен! Я его раздражаю!

— Вы освобождены от воинской повинности, мой мальчик!.. Ваши бумаги! документы ваши в полном порядке!.. Безупречны!.. Вы освобождены от военной службы!.. Понимаете?.. У вас восемьдесят процентов нетрудоспособности!.. Вы проходили призывные комиссии! В Дюнкерке! Бетюне! Ла-Рапе!.. Помните?.. Теперь ждите пенсии! Ее оформляют!.. Вы в Лондоне у родных живете?..

Что-то он разлюбопытствовался не в меру!.. Запугать меня хочет! Я чувствую, куда он клонит! отвратить меня от исполнения долга хочет!.. Ай-ай-ай! подлец!..

— Я дюжину убил! — кричу!.. — Нет! сотню!.. И это еще не все!.. Я хочу назад! Я хочу убить тысячу! Вину свою искупить!.. Я в строй хочу!.. в шестнадцатый полк!.. шестнадцатый кирасирский!

Дальше опять беседа потекла... Он меня образумить пытается... Сочувствия преисполнен... С лестью подверстывается!.. Величает меня "Герой!.. Герой!.." При этих словах все писаки тамошние... и барышни канцелярские от смеха скрючились...

— Вы награждены медалью!..

— Я дюжину убил, господин военный врач!.. Я тут всех перебью!.. Я хочу во взвод!.. Разжалуйте меня!.. разжалуйте! Я служить хочу!.. сейчас прямо!.. Во второй кавалерийский пойду, если надо!.. — упорствую я...

— Послушайте, дружок!.. Что вы так волнуетесь?.. Вы исполнили ваш долг!.. Полностью исполнили!.. Вы хотите вернуться во Францию?.. Хотите видеть консула?.. У вас нет средств к существованию?.. Мы вас репатриируем!.. Кто вы по специальности?..

Вконец измучил балабон несчастный!

— Довольно!.. Хватит!.. — говорю я ему... — Хватит сюсюкать!.. Я хочу вернуться в строй!.. Слышали?.. Я хочу исполнить свой долг еще раз!.. Однозначно! Один исполню, если надо!.. Всех убью!.. Берегитесь, господин военный врач!.. так дело не пойдет!.. Я не хочу возвращаться в Париж!.. Я на фронт хочу!.. как Люсьен Волокита!.. как Бенуа Усач!..

— Но вы не можете, дружок! У вас восемьдесят процентов!..

— Тогда я вас убью!.. — парирую я. — Где моя сабля?..

И раз! хватаю кочергу... тут же рядом, в ведре с углем... Я его насквозь проткну!.. на бороденку не посмотрю!..

Тогда они на меня вчетвером набрасываются!.. Валят!.. Скручивают!.. Я ногами отбиваюсь!.. Кусаюсь!.. Они меня тащат... волоком... рвут на части! Пол мною натирают!.. за руки, за ноги... Проезжаем мимо открытой двери... за ней большой неосвещенный зал!.. И кого бы вы думали я вижу?.. там, в глубине... бледные, как призраки... на черном совершенно фоне?.. "Чур-чура!"... кричу я грубиянам этим... подлецам, которые меня четвертовать пытаются...

Эй! Смирно! Я вижу их!.. Всех вижу!.. Там! в глубине!.. Все старые друзья! стоят на черном фоне!.. вытянулись!.. Все вместе, один... два... три... пять... шесть!.. в стойке! "Привет! — кричу я им! — Привет! Э-ге-ге! Приветствую вас!.. Так держать!.." Я их ясно видел! Совершенно отчетливо! Стоят навытяжку! В самой глубине Нестор... отрезанную голову в руках держит!.. перед собой!.. это один из лестерских!.. ушел на прошлой неделе!.. И Брюхан рядом!.. И Фред Мотоцикл!.. И Пьеро Короткоручка!.. И Жожо Поцелуйчик!.. И Рене Гвоздь!.. у этого живот вспорот!.. Все кровью истекают!.. Вот что интересно!.. И Люсьен Волокита, и Ландыш там!.. Мухобой в форме морского пехотинца!.. Лю Морковка

артиллеристом!.. Выстроены все в шеренгу в глубине зала! где всего темней... Все молчат!.. стоят в обмундировании, но с непокрытыми головами... А бледны-то как!.. белые... совершенно белые... будто подсвечены изнутри...

— Э-ге-ге! мужики! — зову я их! — Э-ге-ге! Привет, олухи!.. Эй, земляки!.. Как дела?..

Они не отвечают... Не шелохнутся!..

Окаменели, черт побери!..

Я всех за собой тащу!.. Хочу поговорить с теми, в зале! Поближе подойти!.. лицом к лицу, так сказать... Эти в меня вцепились!.. но куда там! я сильнее всех! Они мне руки выкручивают!.. я вою!.. их штук четырнадцать бюрократов!.. и две-три старые девы!.. за всякие места меня ловят!.. силы мои удваиваются!.. тащу всех на себе! весь персонал!.. со швейцарами!.. всю ораву!.. в глубину!.. в черноту!.. с корешами поговорить хочу!.. которые там окровавленные стоят!.. бледные!.. по стойке смирно... Дотронуться до них хочу!.. Ага!.. Сейчас дотронусь!.. Ан, а их и нет!.. Это ж черт знает что такое!.. Я кричу об этом во весь голос!.. Надувательство!.. Хрен знает что такое!.. Сбежали!.. испарились!.. Им же хуже! Чтоб им пусто было! Они за это заплатят!.. Они в Большой Дыре никого не найдут!.. Пушечное мясо!.. Я их всех узнал!.. Все лестерские!.. Они меня тоже видели!.. И слиняли!.. в темноту зала... кишки свои вокруг пояса обмотав!..

— А ну! Вниз!.. Вниз!.. Уведите его отсюда!..

Вот как со мной обращаются! Так-то швейцары свой долг исполняют! Они мне войну объявили! А я хочу остаться тут на полу, полежать, подумать. Я — раз! под лавку. Они меня настигли, тянут, дергают, рвут на части. Озверели совсем! Довел я их до крайности! Даже доктора, а ведь какой добродушный... Терпение потеряли полностью!.. Набросились на меня все одновременно!.. Все служащие консульства!.. Разъяренные мужчины, женщины, барышни!.. Падаю! качусь! лечу!.. Приземляюсь внизу лестницы!.. И все-таки кричу: "Да здравствует Франция!.. Да здравствует консул!.. Да здравствует Бедфорд-сквер!.. Да здравствует Англия!.."

— Вон!.. Вон!.. — орут они!.. Вот как мне отвечают!.. Рвут меня на куски!.. с остервенением!.. еще клок от пиджака оторвали!.. швейцары, секретари, начальник канцелярии и сам консул!..

— Я консул! — сообщает он мне.

У, злодей!.. У него пенсне, как у прочих!.. Явился, чтоб меня оскорбить!..

— Убирайтесь вон, проходимец!..

Грубее некуда.

— Вы невежа!.. — отвечаю я ему... — Да здравствует французская армия!..

Хм! ему это не нравится! он брыкается! топочет! ярится!.. подпрыгивает аж на месте!..

— Уведите его... Уведите!.. — говорит он четырем швейцарам, что дверь сторожат... Крепкие ребята, богатыри!.. Отрывают меня от пола!.. Дверь раскрыта!.. на улицу!.. Вылетаю по параболе!.. Снарядом!.. Высоко лечу!.. надо всем!.. Ракета!.. Над тротуаром... новый вид оружия... понад толпой!.. и плям!!.. плюхаюсь в гущу!.. в толщу русских... в месиво!.. Встречают меня звериным рыком!.. Я пять штук разом укокошил!.. ле-

жат! все пятеро!.. бабы за меня взялись!.. обрывают остатки одежды!.. Скольжу по животам... эмигранток в платочках, крестьянок, что в Америку подаются... На меня ополчился целый народ!.. Ноги застревают среди сплетенных конечностей. Снова ступаю по телам... мы все топчем друг друга... Тела честят меня почем зря на русском, итальянском и чешском... Самым злобным, самым скандальным из тех, кто там под ногами лежал, был маленький китаец, человечек в сером шелковом балахоне с большущим свитком папируса, который он собой придавил, громадным папирусом с печатями!.. он имущество свое собирает, встает... зонтик у него, широкополая артистическая шляпа... эдакая сковорода для каштанов... галстук-бант поправляет!.. и обращается ко мне!.. заговаривает со мной!.. Ей-богу, он француз!.. ни малейшего акцента... а одет китайцем!..

Я поначалу обалдел... потом опомнился... спуску ему не дал!..

— Молчать!.. дрянь такая!.. — во как рубанул.

Он в ответ:

— Вандал! Дикарь! Папуас!..

Я ему:

— Да вы знаете, с кем говорите?

А он:

— Со скотом!.. с убийцей!..

А я ему той же монетой!

— Правильно, — говорю, — сударь! — и на этом не останавливаюсь!.. Я горжусь тем, что я убийца!.. Он в точку попал! Убивал ли я?.. может не сомневаться!.. еще как убивал!.. О! я в ударе!.. Я ему все излагаю!.. Я десять человек убил!.. какой там! тысячу!.. Я с неба упал!.. Вы сами видели! Своими глазами, китаеза поддельный!.. Ну уж я и натешился!.. Ну и номер!.. Дрянь паршивая!.. Я орал на весь Бедфорд-сквер!.. То-то веселье!.. Не я один веселился... вся толпа!..

Тут я этого склочника получше рассмотрел... По размышлении он показался мне меньшим кретином, нежели остальные... Я его цап! хоп! тащу за собой!.. за рукав... Инициатива перешла в мои руки!.. Мне надо было ему кое-что сказать!.. Нас снова закружило!.. сдавило... сплющило... прокатило... и выпихнуло, наконец!.. Он снова стал шляпу свою поправлять... с полями широченными... Мне надо было ему объяснить... исповедаться в подробностях!.. Такая вот неожиданная потребность!.. род извинения, что ли!.. посвятить его во все... все, что со мной случилось... ведь такое не каждый день бывает!.. объяснить, отчего все неприятности!.. чтоб не носить все в себе... Он бант свой перевязал!.. тщательно так... Мы сели с ним на камни в сквере под смоковницей...

"Хм!.. Хм!.." — хмыкал он, пока я рассказывал... с оттенком недоверия, я же видел!.. Не совсем верил тому, что я говорил... Вот, думал, фанфаронит парень! рисуется... старику мне пыль в глаза пускает! Но я его убедить хотел! Упорствовал! Начал с самого начала!.. Как в госпитале, в Хазбруке, чуть до ампутации не дошло, до того с ногой неладно было... и с рукой одновременно!.. схлопотал, в общем, как следует... плюс голова... менингит... осколок в левом ухе... такое, в общем, состояние и жар, что уже и не знали... так вот, на краю бездны, одной, можно сказать, ногой в могиле, я подружился по-настоящему с одним парнем, в палате госпитальной в Хазбруке... Палата Святого Евстахия!.. так она называлась!.. Фарси Рауль, ранен в левую руку... Фарси Рауль из Второго африканского... Со мной в одной палате... через койку!.. Палата Святого Евстахия...

Ему руку оперировали... После операции он все кричать продолжал... гангрена началась... сорок дней продолжалась... У нас было достаточно времени, чтобы поговорить... Я ему приглянулся... Мы планы всякие чудесные строили. Он мне ровесник... "Поедем вместе в Лондон!.." На том и порешили!.. Имелось в виду, когда выпишут!.. Как он предполагал, к зиме!..

— Увидишь у дяди Каскада!.. как у него все поставлено!.. Жизнь увидишь!.. заведение!.. Он отличный мужик, дядюшка Каскад!

Он без конца о своем Каскаде говорил... Наконец-то мне начали приоткрываться какие-то горизонты!.. Планы заманчивые вырисовываться!.. Я в них нуждался... Состояние у меня было хреновое!.. Я сдавал и сдавал!.. Ох уж эта палата Святого Евстахия!.. Они мне трижды латали плечевую кость, и берцовую, и я все это вынес... А после — боль адская! Потом еще дренажи, фитили, гипсы... кости по кусочкам склеивали... болело так, что я выл почти все ночи напролет... В конечном итоге меня Рауль к жизни вернул, потихонечку, помаленечку планами своими разными на будущее!.. дух он во мне укрепил, вот в чем все дело! Это мне больше всего нужно было!

— Ты, парень, не тревожься!.. в голову не бери!.. — так он со мной говорил. — Мы сюда не вернемся!.. Лондон посмотришь!.. приживешься!.. Погоди, вот выпишут!

Внимательный ко мне был.

И я сквозь швы и струпья духом немного воспрянул... А уж сколько всего натерпелся!.. Можете мне поверить... И вдруг — трах-тарарах!.. рухнуло все!.. Однажды утром за Раулем Фарси пришли!.. Он как раз из перевязочной выходил.. Жандармы его забрали, увели с собой!.. в наручниках!..

— Ты куда? — вырвалось у меня...

— Смерть легавым!.. — крикнул он в ответ... — Смерть легавым!.. — прямо при всем госпитале... А потом еще напутствовал меня издали уже... пока они его тащили: Каскад! слышишь!.. Каскад!.. Давай! обязательно! Смерть легавым!.. — Это его слова!.. последние, какие я слышал... В тот же вечер мы узнали подробности... он под трибунал попал!.. Два дня спустя они его порешили!.. Фарси Рауль... умышленное членовредительство!.. Второй африканский дисциплинарный батальон!.. Правда это или нет!.. Они что хотят, то и делают!.. выяснениями не утруждаются... Там отряд был из выздоравливающих, последние почести ему отдали... Его расстреляли на рассвете, во дворе, во дворе Барнабе, по названию военной тюрьмы. Он не дрогнул... "Смерть легавым!!" — крикнул он, когда уже они стреляли. И все.

О! Это был удар!.. Я подобное редко испытывал... Меня, маленького человека по рождению, сына своих родителей, добросовестных тружеников, покорных, любезных, услужливых... меня Рауль просветил, глаза, так сказать, открыл, признаюсь, мне его не хватало... Рауль... он писать не очень умел... за него я письма строчил... левой рукой... я писал в Лондон его дяде Каскаду... Фарси Каскаду... по два письма в неделю... Фарси Каскад, Лестер-стрит... все было договорено... Он ждал нас обоих... с распростертыми объятиями!.. Насчет увольнительной у нас все одинаково было, женаты... оба... на англичанках! случайное совпадение!.. документы, разрешения, все!.. все предусмотрено!.. все в ажуре!.. подделано отменно!.. И тут — бац!.. Рауль! Такая история!.. А я только чуть поправ-

ляться стал... во всяком случае, перестал подыхать!.. Черт! ладно!.. Хватит!.. пишу, значит, дяде! Фарси Каскад, Лестер-стрит...

Он мне сразу отвечает: "Приезжай. Приезжай, хочу с тобой поговорить!" А ведь он меня только по письмам знал!.. А я Раулевой болезнью заболел... страх животный он мне свой передал... отвращение к войне!.. "Домой не возвращайся!.. — крикнул он мне в последнюю минуту... — Сцапают!.. Погляди!.. Они ж всех подбирают, кто остался!.." Это он о себе...

— Поезжай в Лондон!.. Не забудь про Каскада!.. — так и сказал!.. Эти слова у меня в ушах звучали! последние его слова!..

Между тем я поправлялся... Я упорно шел к цели... "Приезжай!.. Приезжай!.." Я уже ни о чем кроме Лондона думать не мог!.. Получил три месяца на поправку... и не спасовал, отправился за море. Меня приглашают! Я пользуюсь! самое время! подфартило!

Приезжаю!.. О радушие!.. Я встречаю настоящих братьев... корешей по крови... именно!.. Сразу расспросы... Объясняю Каскаду про Рауля... Уж как он горевал!.. Раз десять, не меньше, повторить меня заставил!.. Не верил все!.. Никак не мог поверить!.. Ему не надоедало меня слушать!.. просил, чтоб я снова начал!.. еще!.. и еще!.. он его как сына любил!.. Рауля Фарси... Потрясло это его... Так вот я приехал в Лондон!.. случай, Провидение... повезло, что я с Раулем познакомился, с беднягой Раулем и дядей его Каскадом...

Рассказываю я, значит, свою повесть китайцу, сидя с ним на каменном бордюре... Захотелось мне его во все посвятить... легче от этого делалось...

Клод Бонфуа

Л.-Ф. Селин рассказывает о своей юности

Мы разговаривали у него в кабинете в Медоне. Он выгнал за дверь собак и кошку. Только попугай оставался с нами. Закутавшись в халат, он сидел в кресле спиной к письменному столу, усталый, больной, измученный годами ссылки и невзгод... Но стоило ему начать говорить, как в нем пробудился его могучий, неистощимый дар. Иногда он останавливался на какой-нибудь мысли, слове, повторял их, топтался на месте, будто переступающая ногами лошадь перед стартом, а потом вдруг устремлялся вперед, мысль его взмывала, фразы летели точно в цель, речь исполнялась поэзии – перед нами был великий Селин.

Он говорил пространно еще и потому, что хотел избежать лишних вопросов.

– О чем вам рассказать?.. О моей юности?.. Это никому не интересно... Никому не нужно. Это пустой звук, моей юности больше не существует... Обратитесь лучше к другим... Они с удовольствием расскажут о себе... У них еще все впереди, они в это верят... карьера, Академия... Меня нынче не любят... И потом, моя юность была безрадостной... А ваши читатели желают чего-нибудь веселенького, жизнь и так достаточно неприглядна... Словом, придумывайте сами, я не стану опровергать...

Вот он уже перешел на другую тему, заговорил о литературе. Забыл о детстве и отрочестве. О Луи Детуше. Он был Луи-Фердинанд Селин, писатель. Хотя сам писателей терпеть не мог. Одно только слово "писать" приводило его в ярость. Он без конца к этому возвращался.

– Писать?.. Что это значит?.. Какое дикое слово!.. Хорошо написано... он хорошо пишет, она хорошо пишет... Как складно получается, просто прелесть!.. Я этого не выношу... Сочинять фразы несложно... Творчество же, истинное творчество, требует невероятного, противоестественного, ненормального интеллектуального напряжения... Я врач и могу судить... Это почти самоубийство... Когда человек на такое напряжение не способен, он начинает заниматься шарлатанством. Он не в силах возвыситься над реальностью родного Бордо или Бурже. Мне все говорят: почитайте то-то. Я открываю... и что же?.. ничего... плоско, бесцветно, вяло... черной краской замазано... Стиль хуже, чем у писаря в префектуре, чем у классного наставника – эти, по крайней мере, обязаны писать понятно... Литературную среду уподоблю цирку. Вертится карусель!.. Скажи мне кто-нибудь в молодости, что я буду писать!.. То-то бы я посмеялся!

© И. Радченко. Перевод, 2001

— Вы не чувствовали призвания к литературе?

— Чего нет, того нет... нисколько!.. Моим призванием была медицина... Я с малых лет мечтал стать врачом, лечить людей... Да, мечтал лечить людей... Понимаете? Думаю, лет с пяти... Словом, сколько себя помню... Совершенно безумная мечта... я вынашивал ее тайно. Мы жили в бедности, о серьезном образовании нечего было и думать ... Когда я заикался о чем-нибудь таком родителям, они кричали: "Несчастный, да ты понимаешь, что говоришь?.."

Такого рода фантазии, желание вырваться из своей среды почитались чуть ли не извращением... Вокруг меня никто и не мыслил, что можно изменить свое положение... а кому приходили в голову подобные идеи, того называли пройдохой и авантюристом... Ничего, ничего, говорили люди, суд разберется...

Мои родители были бедны. Отец работал делопроизводителем в конторе под названием "Феникс", получал 100 франков в месяц. Мать чинила кружева...

Я родился в Курбевуа... но вскоре мы переехали в пассаж Шуазель. Жили под стеклянным колпаком. Для освещения пользовались газом. Газом и дышали...

Вспоминаем "Смерть в кредит". Селин ничего не придумывал. Он перевоплощал. Жалкому, ограниченному мирку он придал эпический размах. Реальный пассаж Шуазель стал в романе пассажем Березины, расположенным "между Биржей и бульварами", где "начиная с четырех часов, газ свистел из трехсот двадцати рожков и наполнял и без того спертый воздух таким зловонием, что к семи часам иным дамочкам делалось дурно... (прибавьте сюда еще запах собачьей мочи, при том что собак становилось все больше)".

В пассаже его мать держала кружевную лавку, как и описано в романе.

— В магазинчике имелось две витрины. Но одна пустовала и, само собой, никогда не освещалась. Не хватало денег на ее оформление... Убогая лавчонка. В сущности, мы были рабочими. Пролетарии в те времена жили в нужде, особенно если, как мои родители, хотели выглядеть пристойно... Мы питались скудно, очень скудно.

Мальчишкой мне приходилось работать, помогать матери... Я носил тюки... Делал, что говорили... Так полагалось. Моего мнения никто не спрашивал... Если я артачился, на меня сыпались пощечины, пинки, оскорбления: "Ах ты, подонок"... Мне часто читали нравоучения. Мораль их была проста: знай свой шесток... Меня учили подобострастно относиться к клиенткам, восхищаться всем и вся, что выше нас, радоваться, что у нас есть покупатели, иначе на что бы мы жили... Чистейший конформизм. Пролетарии подразделялись на две категории: первая — это проходимцы, бездельники, голодранцы, разгильдяи из тех, что кончали на виселице, и поделом!.. вторая — труженики, подыхавшие медленно, безропотно, с достоинством. А кроме того, существовала другая раса — раса богатых, уважаемых людей, которые ездят на курорты...

— И вы с этим мирились?

— Не то чтобы мирился, но повиновался... Что мне оставалось делать... Я находил такое положение несправедливым... Изнурительная,

каторжная жизнь... Мы с матерью таскались с рынка на рынок, добираясь до самых дальних предместий.

— *Вы не мечтали что-нибудь изменить?*

— Мечтал... Я же вам говорю... С ума сходил... Хотел стать врачом! Это и означало изменить свой статус. В моем представлении врачи были господами... Мать же хотела, чтобы я работал закупщиком в большом магазине: завидная должность!

Я не мог получить высшее образование. Окончив школу, сразу стал зарабатывать на жизнь... Перепробовал дюжину специальностей, самых ничтожных! Работал в ювелирной лавке, был разносчиком в Ницце. Толкал тачки в Париже... Служил коммивояжером и агентом по сбыту кирпича... И даже писарем в газете для изобретателей "Эврика".

У кого только я не перебывал в учениках... Подмастерьям не платили... Мне втолковывали, что иные подмастерья сами приплачивают за обучение... Так что нечего жаловаться. Я бегал по лестницам вверх и вниз, таскал инструменты, разыскивал рабочих в бистро напротив... Но через полгода меня все равно выгоняли... И брали на мое место другого, тоже задаром...

Если ты живешь в тисках заботы о хлебе насущном, выбирать не приходится. Лишь то, чем другие брезгают, достается тебе. А кому удается выбиться в люди, обречен быть посмешищем богачей.

...Моя жизнь!.. Подумать только, в моем возрасте я все еще вынужден зарабатывать себе на хлеб. Мне шестьдесят шесть, а я никогда не знал отдыха... Мне всегда жилось тяжело...

В молодости тяготы переносятся легче. Я был готов на все. Мне довелось много работать у ювелиров. На меня чего только не взваливали... Чистить серебро, следить за руками клиенток... Выгуливать собак!.. Мальчик на побегушках... Я сопровождал агента по сбыту... Таскал на себе огромный ящик с образцами булавок для галстуков. Чудовищные изделия из свинца: замысловатые, аллегорические, символические... Такие тогда были в моде... Ходить доводилось много... От площади Республики до Оперы, от Одеона до Сены... мы обходили все ювелирные магазины. Продавали мало. Маршрут заканчивался вечером на ступенях театра "Амбигю"... Здесь собирались все агенты по сбыту чего угодно... сплошь оборванцы... Говорили о делах, обменивались информацией... Но в июльскую жару приятного тут было мало... Уж больно ящик тяжелый.

— *Из всех работ, что вы перепробовали, какая была самой изнурительной?*

— Изнурительная, не изнурительная — я не понимал, что это значит... Не задумывался... Есть работа — надо ее выполнять... И все тут. Это сегодня о детях заботятся, балуют их, спрашивают: "Ты не переутомился, дорогой?"

Он шутил, пародировал интонации не в меру заботливой мамаши. Внезапно лицо его омрачилось неприятным воспоминанием. В романе "Смерть в кредит" оно стало прямо-таки навязчивой идеей. Оно и сейчас еще преследовало его.

— Что было мучительно, невыносимо, так это обувь... Остроносые ботинки, зачастую к тому же коротковатые... Настоящая пытка при ходьбе... А ходил я много, только и делал, что ходил... С улицы Руаяль до площади Этуаль добирался пешком со скоростью метро. Деньги на

проезд оставлял себе. Все время пешком... Я весь Медон обошел разносчиком. Ноги в клочья стирал.

– Как вы учились медицине?

– Самостоятельно. Я был малообразован, но страстно тянулся к культуре. Хотел все знать. И потом, мной руководило безумное желание стать врачом и покончить с унизительным существованием... Я всегда носил в карманах учебники маленького формата. Как только выдавалась минута, я в них с жадностью впивался, днем в перерывах между работой, вечерами... Именно так я выучил латынь, греческий, математику, литературу и все остальное. В 1912 году, восемнадцати лет от роду, я сдал экзамен на степень бакалавра, а потом, в том же году, поступил добровольцем в двенадцатый кирасирский полк.

– Не осталось ли у вас других юношеских воспоминаний, кроме бесконечной работы в погоне за грошовым заработком?

– Могу рассказать вам о быте тех времен, о развлечениях, прямо скажем, немногочисленных!..

Помню, например, такую деталь. По утрам в подворотнях стояли торговки, продавали кофе с молоком тем, кто спешил на работу... Это было году в девятисотом. Вскоре они пропали.

1900 год. Помню Всемирную выставку. У меня там дядя зазывалой работал. Вдоль Сены выстроились павильоны всех стран. Особенно впечатляли монументальные ворота на площади Согласия... Что меня больше всего поразило? Шоколад! Я никогда не видел его в таком количестве. Бесконечные цинковые ленты конвейера. Я смотрел на них как завороженный!.. Шоколад затмил даже движущиеся тротуары.

А в 1912-м он служил в кавалерии.

– Мы базировались в Рамбуйе... Солдатом я был покладистым. Делал, что говорили. Не привыкать... Пришлось учиться ездить верхом. Прежде я лошадь вблизи не видал. Поначалу это был кошмар, я только и делал, что падал... Ох и доставалось нам, прямо как в датских тюрьмах, а там жизнь не сахар. Мерзость!.. В двенадцатом кирасирском мы роздыху не знали. Подъем в пять часов. Сорок пять лошадей требовали ухода. Возни с ними ужас сколько... Со временем я всему научился. Дослужился до сержанта.

Четырнадцатого июля мы выезжали на ипподром в Лоншан. Люди аж на деревья взбирались, чтобы посмотреть, как мы гарцуем.

Бросали нас и против забастовщиков. Помнится, как-то первого мая на улице Пирамид мы оказались лицом к лицу с революционно настроенными рабочими, они кидали в нас камнями. Их было немного, человек сорок. Двенадцатый кирасирский полк состоял из бретонских крестьян, едва говоривших по-французски, так что опасаться братания не приходилось. Потому нас и посылали к бунтовщикам... Самое удивительное, что народ вовсе не протестовал против скотской жизни. Революционеров даже в простой среде нередко считали проходимцами и хулиганами. Я и сам в ту пору не верил, что они могут что-то изменить. Никто не верил. Люди уважали порядок, дисциплину. Вопрос о переменах не стоял. (Когда он встает – порядку конец.)

Чувство протеста породила во мне война. Нас отправили на фронт сразу, в июле 1914-го. Мы оказались на границе раньше немцев. На Мёзе,

где мы располагались, я и увидел знаменитый плакат "Мобилизация – не война". К военной жизни я не был подготовлен. Для начала отправил родителям телеграмму и указал название места, куда мы направляемся. Узнал случайно. Я понятия не имел, что это военная тайна!

В октябре 1914-го я получил ранение в восточной Фландрии... Ранен был в голову и в руку. Руку оперировали несколько раз... До сих пор сказывается. У меня 75-процентная нетрудоспособность. По сей день ухо не в порядке... Привык уже...

Тогда-то я и задумался. Я сказал себе: "Что-то тут не так"... И я был не одинок... В таких ситуациях даже идиоты понимают, что их обвели вокруг пальца. Если что и подрывало боевой дух и заставляло прозреть даже самых твердолобых, так это спекуляция. Ясно было как день: одни воюют, а другие на войне наживаются. Мы, как всегда, в дураках.

Как только он оправился от ран, пришлось снова впрягаться в работу.

– Я подлежал освобождению от воинской повинности. Меня не могли отправить на фронт, а потому послали в Камерун на плантации какао. В джунгли... Сейчас это трудно себе представить... Африка теперь совсем рядом, туристы ездят туда на выходные, любуются тропическими лесами... В те времена не было никаких туристов... Только соломенные хижины да нищета, и мы не в лучших условиях, чем аборигены... Есть нечего, кроме маниоки. В тех местах землю возделывать невозможно...

Я жил в хижине, научился сооружать лачуги из пальмовых листьев, спускался по рекам в негритянских пирогах...

Я занимался сбором какао. Сержант колониальных войск показал мне, что делать. За три недели мы собирали и высушивали шестьдесят мешков какао.

Весь процесс обработки плодов Селин помнит досконально. Впрочем, признается он, сделать шоколад ему так и не удалось.

– Затем надо было доставлять урожай в Дуалу.

Я грузил его в большую пирогу... пирога – это выдолбленный ошкуренный ствол. Затем садился на корму и правил. Гребцы все время пели. Они без песни не работали. (Тут Селин запел, подражая им.) Гребли пятнадцать человек. Мы плыли медленно и за день пути по реке, кишащей крокодилами и гиппопотамами (лодке они не помеха), добирались до поста... Здесь перегружали мешки в плоскодонное судно. Оно же доставляло нам еду и перно для сержанта... Весь пост – восемь человек. Они надзирали за территорией, большей, чем Бретань. По счастью, там никогда ничего не случалось.

Затем Селин вернулся во Францию, уволился из армии и снова стал искать заработок. Он по-прежнему мечтал о медицине. Подбирался к ней окольными путями, устроившись лектором.

– Я нанялся в фонд Рокфеллера. Мы ездили на грузовике по всей Бретани. С нами был еще канадец, уроженец здешних мест, таскавший за собой жену и пятерых детей.

Мы читали в школах лекции о туберкулезе. По пять-шесть в день. Крестьяне, говорившие на местном наречии, понимали не все... Но слушали внимательно, молча... А главное, фильмы смотрели... Очень поучительные фильмы... Там показывалось, как мухи ползают по молоку... Пленка каждые пять минут рвалась или соскакивала. Не беда... Поправляли...

Я снова принялся за занятия... По-прежнему самостоятельные. Сдал второй экзамен на бакалавра. Потом записался на факультет естественных наук. Но я бы никогда не выучился на врача, если бы не женился. Я попал в семью медиков. В город Рен. С тех пор изучал медицину в нормальных условиях, как все... Об этом времени нечего сказать...

"Путешествие на край ночи" он писал уже в Клиши, тогда-то и появился Луи-Фердинанд Селин (по имени бабушки). Почему он стал писателем?

– Лучше бы я остался психиатром. Почему стал писателем? Не по призванию. Я никогда об этом не думал. Но я был знаком с Эженом Даби[1]... Он тогда приобрел известность своим "Северным отелем"... Я подумал: "Что, если мне тоже попробовать? По крайней мере, за квартиру расплачусь". И взялся за работу... я отдавался ей целиком, подыскивал слова, создавал эмоциональный непосредственный стиль... Не переношу фраз... хорошо построенной речи... выдумок всяких незатейливых... Полностью сосредоточиться очень трудно... Голова – это мускул... она нуждается в ежедневных тренировках...

Книга наделала много шума. Это помешало мне всерьез заняться медициной. О чем я очень сожалею: медицина была моим призванием. Не следовало мне браться за перо... Я хотел стать психиатром. Оно было бы лучше. Лечил бы психов в клинике для умалишенных. Меня бы уважали. И боялись... Принято считать, что все психиатры немного не в своем уме... Я был бы в ладах с прокурором, жандармами и прочими слугами закона. Меня бы никто не трогал... Работал бы в свое удовольствие... Психиатрическая больница – это особый, изолированный мир. Вот и хорошо. Лечить душевнобольных – прекрасное занятие. Вы приносите пользу, вы необходимы! А литература... романы всякие... сами видите, к чему приводят!

Перевод с французского И. Радченко

1. Эжен Даби (1898–1936) – французский писатель. "Северный отель" (1929), его первый роман, рассказывает об унылой жизни парижской бедноты.

Фредерик Виту
Жизнь Селина

Фрагменты книги

Перевод с французского В. Иорданского

1929 год... Луи Детуш только что переехал на Монмартр и очень быстро завел там новых друзей. Художники, актеры, певцы из мюзик-холла окружали его живописной толпой. Врач забавлялся...

Но приходилось выполнять и повседневные обязанности. Именно тогда Селин поступил на работу в новую фармацевтическую лабораторию. Правда, он пользовался любым предлогом, чтобы отлынивать от службы. К тому же Людвиг Райхман и Лига Наций оплачивали ему частые ознакомительные поездки по всей Европе. Он оставался врачом...

Но врач еще и писал. И это несомненно было наиболее важной, хоть и тайной, частью его жизни. Начиная с 1929 года он работает над "Путешествием на край ночи", пишет урывками, лихорадочными приступами — неистово сочиняет, переделывает, используя часы, украденные у ночи, у больных, у поликлиники. Число страниц растет...

К апрелю 1932 года он все закончил, отредактировал, перепечатал на машинке. Доктор Детуш пустился на поиски издателя. Этот последний акт разыгрался еще до официального рождения Селина — то есть до 15 октября 1932 года, когда написанная им книга появилась на прилавках.

1929—1932 годы... Как и прежде, Селин выглядит человеком раздвоенным. Трудно свести воедино портреты, которые много позже нарисовали его близкие. Он буквально соткан из противоречий, к тому же очень скрытен. Есть, наверное, только одно слово, помогающее соединить разные его облики; это слово — любознательность. Любознательность подталкивает Селина к изучению тайн общества, его закулисья, бытия отверженных и маргиналов. Медицинская любознательность побуждает его метаться от одного больного к другому, из страны в страну; он — увлеченный своим делом гигиенист, его интересует подлинно новаторская социальная медицина. И наконец, литературная любознательность толкает его к освоению новых романных территорий, хотя вначале он, вероятно, и сам не отдавал себе в этом отчета.

И все-таки пока он остается прежде всего врачом — и в общественной, и в личной жизни.

© Editions Grasset & Fasquelle, 1988
© В. Иорданский. Перевод, 2001

В августе 1929 года Луи и Элизабет поселились в доме № 98 по улице Лепик на Монмартре. Из Клиши их изгнали клопы и пригородная скука. Новый, но уже обветшавший дом с неприглядным фасадом желтовато-кремового цвета стоял в самом начале улицы Жирардон и смотрел в сторону холма; по два окна на каждом этаже; никаких архитектурных излишеств. Дом этот смахивал на приспособленный под жилье амбар. Их квартира находилась на четвертом этаже, под самой крышей, вход в глубине двора. Они оказались вдали от городского шума, внизу раскинулся Париж. Декорации для "Жизни богемы".

Луи Детуш. Май 1914 г.

Внутренняя обстановка? "Буржуазная, во вкусе сельского врача, может быть, священника. Простой стол, сверкающие, натертые воском бретонские шкафы, кресла в том же стиле, широкий диван, высокая ковровая ширма, на полу – умело разбросанные половики, на стене – небольшая пастель с изображением танцовщицы, подписанная Дега, две или три безделушки, а из окон – вид на Париж! Ах, Париж!.. Париж и его небо!.."[1]

До июня 1944 года, до своего бегства – то есть до конца войны и до конца того, что можно назвать миром Селина, он по сути не покидал Монмартра... Отсюда он будет наблюдать оккупацию. А также союзнические бомбардировки Парижа и его пригородов в 1944-м. И создавая символ разрушенного города, апокалиптический и бредовый, писатель изобразит в "Феерии для другого раза" траченный молью, затертый временем холм Монмартра, который разваливается, рушится под взрывами бомб... Покидая Монмартр, Селин уничтожит это место одним росчерком пера, словно не желая ничего оставлять за спиной. <...>

Три года – много это или мало для того, чтобы выработать свой стиль и потрясти основы французской литературы? Пусть каждый от-

1. Henri Mahé. La Brinquebal avec Céline, p. 27–28. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)

ветит на этот вопрос сам. Со свойственной ему склонностью к преувеличениям Селин говорил о десятилетнем труде. Правда, если иметь в виду работу над "Церковью" и увидеть в ней первые наброски будущих диалогов, то с таким сроком можно согласиться. А еще можно вспомнить известную фразу Пикассо. Как-то некий посетитель удивился тому, что тот зарабатывает столько денег на картинах, которые пишет очень быстро; художник ответил примерно следующее: картину он, может быть, и создал за пять минут, но обдумывал ее более двадцати лет...

Своему издателю Роберу Деноэлю Селин рассказывал о десяти сменявших одна другую версиях "Путешествия" и более чем двадцати тысячах рукописных страниц. На самом деле Селин писал как одержимый, лихорадочно. По нескольку слов в строке, по нескольку строк на странице, которая становилась судорожным отражением его видений, его ритма, его бреда. Он мало правил, предпочитая писать заново. Поэтому названное им число страниц не следует считать важным показателем. К тому же первая рукопись романа исчезла. Сохранился лишь напечатанный на машинке и выправленный рукой автора вариант, который он во время оккупации продал ювелиру Бинью.

Итак, всего три года понадобилось Селину на то, чтобы написать "Путешествие"... Собственно, истинная биография писателя должна сводиться к самому важному: запечатлеть процесс работы, описать часы сочинения одной книги, потом другой, третьей... показать живое творчество. Остальное — лишь анекдот, детали, забавные эпизоды. "Ремесло писателя — научиться писать", — утверждал Жюль Ренар. Всю свою жизнь Селин пытался овладеть этим ремеслом, дойти до последних пределов в поиске собственного стиля. Достаточно взглянуть на разницу между относительной стилистической сдержанностью "Путешествия" и взрывной силой последней прозы. С 1929-го и до самой смерти Селин не прекращал писать или, если угодно, учиться писать.

Так что рассказать о его жизни — значит рассказать о его ремесле. Но как?

Книги — это плоды одиночества и дети тишины, заметил Марсель Пруст. Как нарушить это одиночество? Как выстроить в ряд фразы, слова, звуки, чтобы получился рассказ о тишине? Селин, который нас интересует, это вовсе не Селин играющий, не тот блестящий рассказчик и саркастический свидетель, который жаждет привлечь к себе всеобщее внимание. И не отчаянный соблазнитель, который начинает скучать задолго до момента торжества. И не молчаливый врач, утративший иллюзии, неудачливый исследователь, которого после ранения в голову преследует мучительный шум в ушах... Не экстравагантный крикун и неутомимый путешественник к собственным пределам и на край света. Нас интересует Селин пишущий, Селин, который вновь и вновь возвращается к тексту, что-то выбрасывает, ищет способ выразить свои переживания, чувства, надежды, свой протест. Селин, который воображает, вспоминает, становится демиургом... Но на самом-то деле можно лишь кружить вокруг этого молчания, ловить его отзвуки, собирать крохи от тайны, к которой нам не дано приобщиться.

Портрет Селина работы Жана Поля

Снимая в 1956 году "Тайну Пикассо", Анри-Жорж Клузо решил запечатлеть сам акт творчества, заснять художника в самые важные мгновения. Попытка увлекательнейшая. Попытка обманчивая. Действительно, на наших глазах возникало произведение. Но что за произведение? Пикассо ни на миг не забывал, что его снимают. В общем-то он играл роль художника. И перед камерой лишь изображал то дело, которым обычно занимался в тишине и одиночестве. Мы присутствовали при показе творческого акта, а не при подлинном творческом процессе. Что уж говорить о попытке запечатлеть писателя, занятого сочинением романа, о попытке подсмотреть, как час за часом, день за днем и год за годом создается литературное произведение?

Три года он писал "Путешествие"...

Меня здорово зацепило. Часик здесь, полчаса там, в конце суток. В ту пору я ночами дежурил в "Скорой помощи" Клиши. Видел такое, вообразить невозможно!.. На заре возвращался к себе, отсыпался. А затем наряд писанины... Естественно, то, что у меня получалось, не походило во всех деталях на то, что я раньше задумывал. Был разрыв, обусловленный так называемым дарованием, темпераментом, да назовите это, как вам угодно. Художник никогда не бывает свободен[1].

На постоянно звучавший вопрос: а можно ли верить Селину? — мы ответим другим вопросом: а кому же и верить, если не ему? Конечно, надо принимать во внимание роль обстоятельств и помнить о склонности Селина к преувеличениям. Нельзя забывать и о том, что писал он урывками, когда придется. Луи Детуш утром был химиком, а вечером — то врачом, то писателем, как получалось. Для сна и отдыха удавалось выкроить лишь несколько часов. К тому же иногда на него накатывало, и он вел себя как настоящий донжуан. Пусть каждый читатель делает из этого свои выводы. Ведь трудно сказать, понимал ли себя и сам Селин.

1. Robert Poulet. Entretiens familiers avec L.-F. Céline, p. 39.

Пишу я как могу, когда могу и где могу. В течение всей моей жизни, на которую я зарабатываю с двенадцати лет и без перерыва (за исключением четырех лет войны), я воровал по часу, по два у своих работодателей, обкрадывал собственный заработок ради осуществления моих скромных замыслов. Пишу наспех, как и жил всегда — наспех. Так я и учился, отрывая часы от ежедневного бродяжничества; так я написал свои большие книги — отсюда торопливый, сбивчивый тон, за который меня упрекают и который считают искусственным. Однако же именно так я и говорю. Я "не стилизую"[1].

Показать Селина за работой, рассказать о его писательской жизни — значит прежде всего изобразить человека стремительного, который спешит поскорее поймать, не упустить толпящиеся у него в голове образы, ритмы, сюжеты, фразы. Он сочинял на одном дыхании или одним рывком. Его почерк не был приглаженным, он словно выплескивался — почти нечитаемый — на лист бумаги. Знаки препинания плясали, мысль неслась от идеи к идее, ей помогали тире, резкие переходы... Конечно, Селин был стилистом! Но его стиль создавался отнюдь не ценой бесконечных исправлений, перестановок, переделок, добавлений и вычеркиваний. То, что попадало на страницу, не было заранее продумано и взвешено. Селин работал с тканью повседневности, со словесной материей, а не с вечными понятиями и умозрительными образами.

Первая страница, первое предложение... И пошло, мне осталось лишь скользить до конца. До края ночи!.. Движение началось. Что касается тона, то я ничего о нем не знал, многого не понимал, несмотря на размышления над чужими книгами и их изучение. Просто мне казалось, что так будет лучше. Я уже видел всю книжку в целом; да и часть за частью; ее завершенную архитектуру. Так сочинялись все мои произведения. На долю случая не оставалось ничего...[2]

Селин, видимо, не лгал: "...я ничего о нем не знал, многого не понимал". Наверное, он и на самом деле не просчитывал мощность потрясающего заряда новизны, взрывную силу своих произведений. Вот так, словно сами собой, часто возникают великие изобретения... У истоков литературного творения иной раз лежит своего рода наивность или счастливая безответственность. Благословенно мгновение, когда не ищут, а находят. Несомненно, когда Луи Детуш работал над "Путешествием на край ночи", с ним происходило нечто подобное. И ему не хватит всей жизни, чтобы понять значимость своего творения.

14 апреля Луи оставил свою рукопись у Галлимара. Немного погодя он отправил роман в издательство Деноэля. Надо полагать, у него имелось несколько машинописных экземпляров. Одну копию он послал своей первой жене Эдит, которая теперь была замужем за полковником Лебоном. Селин продолжал время от времени встречаться с ней, когда приезжал за дочерью, привозил ее обратно. Иногда он и просто наносил им визиты. "Его речь, — рассказывает сегодня госпожа Фолле-Лебон, — походила на его книги. Он говорил так, как написал "Путешествие на край ночи". Эта книга, по правде говоря, меня немного шокировала. Рукопись мы получили. Впрочем, мой муж, относивший-

1. Cahiers Céline, N 1. Paris, Gallimard, 1976, p. 119.
2. Robert Poulet. Op. cit., p. 40.

ся к нему не очень хорошо, проглотил роман за ночь и сказал мне: "Эта книга наделает шуму, я никогда не читал ничего подобного". В его устах это было похвалой"[1].

Соседка Селина по квартире в Клиши Жанна Карайон вспоминает, как однажды у нее в дверях появился доктор:

Он положил толстую рукопись на стол. "Вот мой Медведь. Роман окончен". Сам автор выглядел очень изменившимся, похудевшим, лицо иссохло, стало совсем другим. Неужели он выложился до такой степени? Под картонной карточкой я увидела заголовок: "Путешествие на край ночи". "Другие экземпляры я отправил Деноэлю и Галлимару. Читайте не торопясь".

Но в писательском ремесле далеко не всегда можно "не торопиться". Некоторое время спустя пришла победная весть: Деноэль взял Медведя и готовит контракт. Чуть позже принял его и Галлимар, но слово уже было дано первому...

"Я отправился забирать свой экземпляр на улицу Себастьен-Боттен. Там отовсюду выглядывали люди, чтобы поглазеть на меня, словно я был хорошенькой женщиной"[2].

Что же произошло на самом деле?

У Галлимара чтение "Путешествия" первоначально было доверено Бенжамену Кремье. Чуть позже на заседании литературного комитета, в который наряду с другими входили Жан Полан, Рамон Фернандес, Андре Мальро, Гастон Галлимар и Эмманюэль Берль, Бенжамен Кремье доложил о своих впечатлениях от романа, хотя целиком рукопись еще не прочел. Но он хотел, чтобы с отрывками из нее познакомились и его коллеги. Рукопись перешла к Андре Мальро и Эмманюэлю Берлю. Позднее Берль рассказывал Патрику Модиано о Селине: "Это был настоящий писатель. И даже более того. Я познакомился с ним в "Нувель ревю франсез" в момент, когда Бенжамен Кремье отверг "Путешествие на край ночи", вернее, отсрочил решение вопроса. Тогда-то я и увидел Селина, проходившего мимо. Я его остановил и сказал, что мы с Мальро прочли его рукопись и находим, что у него есть свой голос..."[3]

Однако, несмотря на поддержку Берля и Мальро, роман напугал почтенный литературный комитет Галлимара, возглавляемый Бенжаменом Кремье. Кремье заявил, что должны быть сделаны поправки и сокращения, на что Селин никогда бы не пошел. Но это уже не имело значения. Луи Детуш еще раньше, почувствовав сдержанность Галлимара, переслал второй экземпляр в издательский дом "Деноэль", где не колебались ни минуты. Всю свою жизнь писатель сохранял признательность Роберу Деноэлю за то, что тот сразу, с таким горячим восторгом принял роман. Позднее Селин рассказывал, что оба издателя ответили ему одновременно, – но это он придумал, чтобы приукрасить историю. Процитируем письмо, отправленное им Мильтону Хиндусу 28 июля 1947 года:

Они оба приняли роман в один день, но Деноэль двумя часами раньше, чем "НРФ". В "НРФ" "чтецом" был Кремье, он ставил какие-то условия... Победил Деноэль – Это единственная моя рукопись, бывшая когда-либо "на чте-

1. Из бесед, записанных автором.
2. Cahiers de l'Herne, N 3. Paris, 1963, p. 22.
3. Emmanuel Berl. Interrogatoire de Patrick Modiano. Gallimard, 1976, p. 127.

нии". Все остальные он публиковал на доверии, никогда предварительно их не читая — А вообще мне совершенно наплевать на то, что издатель может думать о моих книгах — Да и нет нужды справляться о его мнении — Его вкус неизбежно плох — иначе он не занимался бы этим ремеслом полубакалейщика-полусводника[1].

Понятно, почему Селин выбрал Деноэля. Ведь именно тот издал "Северный отель" Даби, который произвел на Селина такое впечатление. Заметим, что Робер Деноэль и его партнер Бернард Стил совсем недавно расположились в старой заброшенной часовне на улице Амели, решив организовать издательский дом.

Робер был сыном профессора бельгийского университета. Этот дерзкий, богемный, имеющий расплывчатое представление о цене денег молодой человек широкими шагами прокладывал себе путь в Париже. Возможно, на первых порах ему помогала хрупкая женщина, владелица галереи современной живописи на Левом берегу. Ходили такие слухи. Возможно, через нее Деноэль установил отношения с богатым американцем Бернардом Стилом. Оба были иностранцами, но вышли из совершенно разной среды, общими у них были молодость — ни тому, ни другому еще не исполнилось тридцати, — дерзость и честолюбивое желание основать в Париже издательский дом, который заставил бы говорить о себе. Из них двоих с меньшим акцентом по-французски изъяснялся Бернард Стил[2].

Известность издательству принесла премия "Ренодо", за год до того присужденная "Невинному" Филиппа Эриа. Теперь здесь печатали еще и многочисленные книги по психоанализу, а также "Французское психоаналитическое обозрение", которое раньше выходило у Дуэна. А ведь Селин спорадически проявлял интерес к психоанализу, так что, возможно, это стало дополнительным аргументом при выборе издателя. Существует и такое мнение.

Итак, однажды вечером Робер Деноэль обнаружил на своем рабочем столе объемистый пакет, содержавший девятьсот машинописных страниц "Путешествия". Там же лежал небольшой роман какой-то дамы, и на упаковке значился ее адрес. Ночью издатель начал читать толстенный роман и пришел в полный восторг. Макс Дориан, в 1930 году поступивший к Деноэлю на должность ответственного секретаря, вспоминает, как среди ночи ему позвонил патрон:

"Мой дорогой друг, — сказал он мне, — я залпом прочел двести пятьдесят страниц рукописи Селина, и если она до конца выдержана в том же духе, то в руках у нас шедевр... Я только что звонил Бернарду и прошу вас с ним завтра утром приехать пораньше. Хочу, чтобы вы побыстрее высказали свое мнение, и мы примем решение. У нас еще есть время, мы издадим "Путешествие" к Гонкуру. Спокойной ночи, до завтра, я снова ныряю в свой океан"[3].

Дальнейшее чтение укрепило энтузиазм Деноэля. Это напоминало солнечный удар. Один из тех редчайших солнечных ударов, которые составляют высшую радость, оправдание и благословение ремес-

1. Milton Hindus. L.-F. Céline tel que je l'ai vu. L'Herne, 1969, p. 156—157.
2. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 26.
3. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 26.

ла издателя, дают обжигающую уверенность, что вот наконец-то он напал на сокровище, мало того, на автора с уникальным, неповторимым голосом, с новым взглядом на мир, в том числе на собственный внутренний мир. Деноэль буквально задохнулся от романтической свободы "Путешествия", от его сбивчивого лиризма, от обнаженной — до содранной кожи — дерзости. На следующий день он заставил прочитать роман Бернарда Стила, потом передал рукопись Максу Дориану. Без согласия партнера Деноэль не мог ничего сделать. Макс Дориан вспоминает, что в то время издательство испытывало финансовые трудности — плохо продавалась детская серия. Но Бернарда Стила удалось убедить без труда. Он был евреем, но едва ли заподозрил в Селине скрытого антисемита, это проскальзывало в "Церкви", но совсем не было заметно в "Путешествии". У Стила тогда не имелось нужных денег для запуска книги в производство, и он позвонил матери в Соединенные Штаты. "Похоже, разговор был долгим и оживленным, и по сияющему лицу Деноэля мы угадали результат. Вопрос улажен"[1].

Следовало незамедлительно связаться с автором, не подписавшим эту замечательную рукопись и даже не оставившим своего адреса. Подробности истории рассказывает молодой романист Робер Пуле, который за год до того напечатал в издательстве "Деноэль" романы "Ханджи" и "Панель":

Тут-то и вспомнили, что огромная рукопись была доставлена вместе с другим текстом, и его автор, не столь беспечный, не забыл сообщить сведения о себе. Посыльный Деноэля бросился по указанному адресу; там проживала некая дама — немного художница, немного синий чулок. Дело происходило на Монмартре. По крикам, которые испускала дама, можно было догадаться, что несчастная решила: она отмечена богами и впереди ее ожидает громкий литературный успех, а также благодарность грядущих поколений. Но тут между двумя комплиментами она расслышала следующую фразу:

— Конечно, в вашей книге есть смелые места!.. Будем надеяться, что удастся избежать суда.

Дама содрогнулась. Она не писала ничего непристойного, никогда в жизни. Посыльный добавил:

— И ваша рукопись такая толстая...

— Как?.. Сто пятьдесят страниц через два интервала с широкими полями?..

Все разъяснилось, стало понятно, что восторг Деноэля вызвал не скромный роман, в котором дама рассказывала чувствительную историю, думаю, свою собственную, а очень толстая рукопись, доверенная ей "на всякий случай" соседом с нижнего этажа, "безумным врачом", который сказал ей: "Раз уж вы отправляете своего медвежонка к торговцу макулатурой, присоедините к нему и моего кашалота".

Поняв, что случилось недоразумение, посыльный рванул с места. Этажом ниже он обнаружил "безумного врача", который только что проснулся, как и положено человеку, дежурившему ночью, ведь Клиши — это ножевые раны, приступы белой горячки... И как раз в это мгновение в почтовый ящик Луи Детуша падало письмо от Галлимара с вежливым отказом.

Вот каким образом была заключена сделка[2].

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 27.
2. R. Poulet. Op. cit., p. 23–24.

Луи Детуш сразу же отправился в контору Робера Деноэля на улицу Амели.

Я увидел перед собой, — писал Деноэль, — человека столь же необычного, как и его книга. Более двух часов он разговаривал со мной как врач, который все повидал в жизни, как человек исключительной прозорливости и совершенно отчаявшийся, а еще — страстный, циничный и все-таки вызывающий жалость. Он стоит у меня перед глазами... Нервный, дерганый, с жестким и проницательным взглядом синих глаз, со слегка растерянным выражением лица. Меня особенно поразил один его жест. Его правая рука ходила из стороны в сторону, словно сметая все со стола, а указательный палец постоянно на что-то показывал. Он говорил мне о войне, о смерти, о своей книге; говорил то порывисто, то как человек искушенный, которому надоели все эти житейские комедии, избавившийся от всех иллюзий. Речь его была сильной, образной, но иногда в ней проскальзывали навязчивые темы. В том, что он говорил, лейтмотивом проходила мысль о конце — и его, Селина, собственном конце, и конце мироздания. В его описании человечество представало изголодавшимся по катастрофам, влюбленным в кровавые бойни. По лицу писателя бежал пот, взгляд словно обжигал[1].

Само собой разумеется, Робер Деноэль сообщил ему о своем намерении незамедлительно опубликовать "Путешествие на край ночи". Был составлен договор, и 30 июня его подписали обе стороны. Речь не шла, как часто намекали, о сказочных процентных отчислениях, на которые издатель согласился в пользу автора; нет, это был типовой договор с довольно жесткими по отношению к Луи Детушу статьями. Никакого задатка в счет авторских прав не предусматривалось. Лишь после продажи четырехтысячного экземпляра — выплата 10 процентов от выручки, доля увеличивалась до 12 процентов при продаже от 5 до 10 тысяч экземпляров и до 15 процентов, когда будет продано от 10 до 50 тысяч. 18 процентов предполагалось выплачивать после реализации 50 тысяч книг. Дополнительные права на роман делились между автором и издателем поровну. Издательство "Деноэль" сохраняло право на публикацию последующих пяти прозаических произведений автора — романов или новелл — на тех же условиях, что устанавливались первым договором.

Издательская машина была запущена, и в октябре книга должна была увидеть свет. Любопытно было наблюдать в этот период за поведением Луи Детуша; оно опять полно противоречий, в которых отражаются его тревоги, его отрешенность и одновременно страстность.

Как мы отмечали, он не знал механизмов издательского дела... Напомним, что на рукописи, доставленной к Деноэлю, не было ни его имени, ни адреса. Удивительная небрежность! Уж подписать-то рукопись следовало. Именно тогда он выбрал себе псевдоним Луи-Фердинанд Селин, в память о своей бабушке по матери Селине Гийу. В память о прошлом, о счастливой поре детства, хотя, возможно, он идеализировал ту эпоху.

Теперь книга была закончена, принята. Псевдоним выбран. Остальное его не касалось. Отныне он мог вздохнуть свободно. Вновь окунуться в деятельную жизнь, заняться наукой, искать новые впечатления. Прежде всего он хотел избавиться от кошмаров, от призраков, от виде-

1. Marianne, 10 mai 1939, p. 7.

ний, преследовавших его все время работы над книгой. Вот почему он не захотел читать верстку "Путешествия". Этой работой он загрузил, как и обещал, Жанну Карайон.

Сейчас произведение в работе на улице Амели, куда автор редко захаживает. Он не хочет сам держать корректуру: ему нужно забыть гигантское напряжение последних лет, смертные муки превращения в писателя. Ему объясняют причины задержек: обескураженные "необычным" текстом наборщики выбрасывали из него запятые. "Они хотят, чтобы я писал как Франсуа Мориак!" Приходится повторять набор. Корректуре нужно приноровиться к словарю, к стилю, к синтаксису того, кто только что превратился в Луи-Фердинанда Селина[1].

На самом деле бегство Селина объяснялось не только потребностью в разрядке. Таким образом выражалась и некая форма страха. Или безответственности. Он поступил со своей книгой так, словно швырнул камень в болото. И отказался понаблюдать, какие круги пошли по воде. Он немного смахивал на игрока в рулетку, который сделал свою ставку и боится смотреть, как подпрыгивает белый шарик. То же случится и со следующими книгами. Написав их, Селин пускался в бегство. Его вроде бы и не касались ни выход книги в свет, ни отклики в печати, ни реакция публики. Когда поднялась вызванная его памфлетами буря, снова та же позиция: нет-нет, это не я; иными словами, книга закончена — и он снова становится врачом, вновь обретает былое гражданское состояние: ведь в конце концов это была всего лишь книга, чувства, стиль, оставьте же ему его одиночество, и хватит об этом!

Разумеется, одиночество было относительным. И конечно, судьба "Путешествия на край ночи" была ему не совсем безразлична. Несколько известных нам писем, отправленных им Роберу Деноэлю в момент подготовки книги к печати, прекрасно показывают его состояние — то лихорадочное возбуждение, в каком он пребывал. Он ни на миг не оставляет издателя в покое. В свой текст он вцепился намертво. Он отказывается изменить его хоть на йоту. Не может быть и речи о том, чтобы убрать эпизод с галерой, позволяющий перейти от африканского периода к открытию Нью-Йорка. У него есть свое мнение даже об обложке, проект макета которой он набросал. Все это выглядит несколько странно для писателя, отказавшегося читать верстку.

Старина, умоляю, только ни слова не добавляйте, не поговорив со мной! И не заметите, как ритм рухнет — я один способен разобраться, что и как — Я выгляжу придурковатым, но прекрасно знаю, чего хочу — Ни одного слова. Обратите внимание и на обложку — Никакой опереточности — Никакого типографского слюнтяйства. <...> обложку тяжеловатую и незаметную. Так я считаю — Коричневого и черного или серого, пожалуй, или же серого и серого, ровные — чуть жирноватые буквы. И все — Этого достаточно — такого вот импрессионизма[2].

В сущности, нелогичное поведение вызывалось вечным страхом. Он боялся, что его предаст издатель. Боялся перечитывать себя, иначе говоря, себя оценивать. Боялся будущего. Боялся всего. Долгие периоды творческого озарения сменялись бегством и ослеплением. Писатель Се-

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 22.
2. Magazine littéraire, N 116, p. 22.

лин, то есть обвинитель, внезапно превращался в безымянного врача, а также — в преследуемого, параноика.

Подведем итог. В марте 1932 года умер его отец. Месяцем позже Деноэль принял "Путешествие". Элизабет находилась в Америке. Врач Детуш продолжал заниматься своей повседневной работой в поликлинике Клиши и редакторской работой у Галлье и в "Биотерапии". Он был волен распоряжаться собой. Роман был в производстве. Ему хотелось от него отвлечься. Он был готов к новым приключениям.

Шедевр ли роман "Путешествие на край ночи"? Робер Деноэль был уверен, что да. Станет ли книга бестселлером? Издатель на это надеялся. Может ли роман претендовать на крупную литературную премию? Почему бы и нет.

Первопроходец Бернар Грассе еще в конце Первой мировой войны учил издательский мир: надо подготавливать выход романа в свет; книга — это еще и товар, который следует продвигать с помощью кампаний в прессе и рекламы; следует отчаянно блефовать в том, что касается будущих тиражей; нужен динамичный торговый напор, обработка заранее намеченной части общества. У всех осталась в памяти рекламная шумиха вокруг появившейся в 1921 году "Марии Шапделен" Луи Эмона, а двумя годами позже то же происходило с "Дьяволом во плоти" Радиге[1].

Увы! С деньгами у Робера Деноэля было туго, так что и думать не приходилось о громкой рекламе. И все же Деноэль постарался, пустил в ход всю силу своего убеждения и до дна исчерпал рекламный бюджет, чтобы разжечь интерес издательского мира, литературных критиков и читателей...

Издатель метался, будто черт по раскаленной сковородке, ни на минуту не забывая, что судьба книги и ее репутация, помимо всего прочего, зависят еще и от молвы, от слухов, передающихся из уст в уста. Так что сперва нужно было отыскать многочисленных слушателей, которые станут внимать его, Деноэля, речам. Он без устали наносил визиты, часто встречался с газетными репортерами и обозревателями. Лично написал письма десяткам журналистов. Мало того, ему в голову пришла мысль выпустить сколько-то именных экземпляров, которые не будут поступать в продажу. Это тоже должно привлечь внимание публики и польстить наиболее влиятельным писателям, среди которых следовало выделить членов Гонкуровской академии.

А сам Селин? Робер Деноэль на первых порах опасался, что укрывшийся за псевдонимом бунтарь откажется принимать участие в этой игре, предпочтет уединение и станет настороженно или с издевкой наблюдать за ходом событий. Начинающий автор, впервые выброшенный на литературную арену, обречен льстить, идти на уступки, делать почтительные поклоны и вести светскую игру. Он обязан заискивать, добиваясь внимания собратьев по перу и литературных обозревателей, без содействия которых известности ему никогда не добиться. Но совместимо ли все это с характером Селина? Оказалось, что да, вполне совместимо!

1. Луи Эмон (1880—1913) — канадский франкоязычный писатель. В начале 1913 г. Л. Эмон отправил роман "Мария Шапделен" во Францию, но напечатан он был уже после гибели автора (1914) в газете. Речь идет о первой книжной публикации. Реймон Радиге (1903—1923) — французский писатель. (*Прим. ред.*)

Видимо, сам издатель не ожидал такого и был приятно удивлен. Конечно, Селин клялся всеми богами, что ему плевать на эту кухню; он не снимал маски брюзги и циника, но все же терпел рекламные и общественные тяготы, которые накладывала на него новая роль. И проделывал это не только покорно, но и основательно и даже с любопытством. При этом он не стеснялся прихвастнуть перед Деноэлем собственным цинизмом, словно таким манером пытался спасти свое лицо, показать, что он по-прежнему остается непримиримым анархистом, отлично понимающим правила игры.

Таково, в частности, его письмо к издателю от 2 сентября 1932 года:

...Скажите, сколько я могу у вас попросить экземпляров с "Напечатано для г-на Икс"... о чем вы любезно мне говорили. Я испытываю острое желание умилостивить нескольких клиентов этим (нрзб.) воздаянием. Слишком пошлым быть невозможно.

И в самом деле, слишком пошлым быть трудно. Нам известны некоторые посвящения, сделанные автором "Путешествия". Все они выдержаны в тоне необычной для него скромной почтительности. Вероятно, вопреки очевидности следует попытаться различить в них высшую форму иронии? Итак: "Г-ну Жану Ажальберу, придающему нам смелости". Или: "Г-ну Гастону Шеро, урок которого мы пытались усвоить с самым искренним почтением". Немаловажно, что оба персонажа были членами Гонкуровской академии. Анри де Жувенелю, главному редактору газеты "Матен", он написал: "Автору замечательного "Мирабо" с искренним почтением". Очевидно, наиболее непринужденным и вольным остается посвящение Андре Моруа: "Идет дождь, дует ветер, северная погода. С искренним почтением".

Леон Доде и Люсьен Декав "выдвигают" Селина на Гонкуровскую премию

Действительно ли Селин верил, что ему удастся получить Гонкура? Сам он в этих материях разбирался неважно, но прислушивался к мнению издателя, и в душу его могла закрасться надежда. В любом случае, он готов был идти в бой и стоять до конца. На исходе лета 1932 года он объяснял анонимному адресату: "Я мечусь по Парижу в погоне за моей типограф-

ской корректурой!.. Надеюсь, ты основательно подготовил наше гонкуровское дело, в той мере, в какой на эти дела вообще можно влиять...”

Но как, собственно говоря, “влиять”? По просьбе Робера Деноэля 31 октября он написал Люсьену Декаву, который мог стать самым преданным его сторонником в комитете по Гонкуровским премиям. Написал он на бланке поликлиники Клиши, скромно представился, упомянул и о своей врачебной деятельности, и о работе в пригородном диспансере, и о военной медали. После этого письма Декав встретился с ним 2 ноября и обещал свой голос. Кстати сказать, до вручения премии они виделись еще раз. Деноэль устроил Селину встречу и с Леоном Доде.

Издатель предложил также предварить выход книги публикацией наилучших отрывков в изданиях вроде “Кайе дю Сюд”, “Эроп” и “Монд”. В октябре 1932 года не менее десятка парижских газет и журналов напечатали фрагменты романа. Теперь оставалось только ждать, какой прием окажут ему критики и читатели.

“Библиографи де Франс” в номере от 14 октября объявила о том, что официально книга поступит в продажу 20 октября. Но к тому времени немалое количество экземпляров уже ходило по рукам.

Для начала Робер Деноэль напечатал очень скромный тираж — три тысячи экземпляров. Он конечно же рассчитывал на успех “Путешествия”, но уверен в нем не был. Еще меньше — в Гонкуровской премии. Три тысячи были первым тиражом. На пробу. И надо сказать, что за первые два месяца ничего особенного в смысле спроса на книгу не произошло. Так что издатель с полным на то основанием писал адресату:

> В прошлом году перед Гонкуровской премией мы предприняли большие рекламные усилия ради “Путешествия на край ночи”, но без какого-либо заметного результата. Только разгоревшийся вокруг премии скандал спровоцировал повышение спроса, а иначе все могло так и ограничиться двумя или тремя тысячами экземпляров[1].

Утешало только то, что критика немедленно откликнулась на книгу, и отзывы были весьма заметными, хотя и очень противоречивыми. Как выражаются сегодня, “Путешествие на край ночи” стало информационным событием. Но нужно ли напоминать, что в те годы средства массовой информации не играли в плане рекламы решающей роли, поскольку телевидения вообще не было, а радио не имело большого культурного влияния. Только печать, в первую очередь газеты, оживляла жизнь литературного микромира.

Сразу скажем, что и журналисты, и читатели, и писатели пребывали в растерянности. Как определить свою позицию, столкнувшись с текстом, который не с чем сравнивать, какую точку зрения выбрать перед этой вызывающей новизной, на какие правила опереться, чтобы вынести суждение о романе, в буквальном смысле слова неожиданном?

Нашелся человек, который выразил эту всеобщую растерянность. Им стал Робер Пуле. Деноэль настоял, чтобы тот прочел верстку “Путешествия”. Пуле был скептиком, и ему было жаль тратить вечер на литературные потуги начинающего. Но, едва приступив к чтению романа, он испытал потрясение. И особенно его поразил селиновский юмор!

1. Письмо Жану Проалю.

...Мое удивление и мое восхищение были безграничны, и вызвало их рождение нового комизма, довольно похожего на комизм Чаплина, где всегда кроется некая ловушка, вполне оправданная и действенная. <...>

Такое суждение не просто разочаровало Деноэля, он пришел в бешенство. В результате он сухо заметил мне, что я не уловил главного. В лице автора "Путешествия" мы имели Данте вместе с Шекспиром, с большой примесью Сервантеса...

Так высказался Робер Деноэль. На мой вкус, его тон был слишком безапелляционным. Я остался при своем мнении и ответил даже более резко. Я был не прав[1].

Осень 1932 года была во Франции хмурой. В политической жизни ничего не происходило... Правда, начавшийся в сентябре–октябре литературный год был не более серым, чем обычно. Среди тех, кто мог в конце года претендовать на крупные премии – такие как "Фемина", "Энтералье", "Ренодо" и Гонкуровскую, выделяли Андре Бийи ("Нарумяненная женщина"), Робера Бразийяка ("Похититель искр"), Рамона Фернандеса ("Пари"), Марселя Жуандо ("Долговязый Тит"), Анри Пулайя ("Повседневный хлеб") и Максанса Ван дер Меерша ("Дом в дюнах"). Но надо признать, что ни одна из этих книг событием не стала, и все они вскоре были поглощены милосердным забвением, даже если их авторы, благодаря другим своим произведениям, и остались в читательской памяти. Бесспорным явлением можно было назвать только "Путешествие на край ночи". И жаждущая развлечений Франция превратила этот роман и возню вокруг Гонкуровской премии в бесконечный сериал, которым упивалась в течение долгих месяцев.

Главными героями сериала стали, несомненно, члены Гонкуровской академии.

Председательствовал среди них Жозеф Анри Бёкс, больше известный под псевдонимом Рони-старший. Он родился в 1856 году, был правоверным сторонником натуралистического направления; вместе с братом они написали кучу книг, которые принесли им известность, а теперь пылятся на библиотечных полках; позднее он уже один сочинял удивительные романы о жизни первобытного человека, такие, как "Борьба за огонь", опубликованный в 1911 году. Рядом с ним в комитете заседал Серафен Жюстен Франсуа Бёкс, известный как Рони-младший; он пробовал себя во всех литературных жанрах и проявил устрашающую плодовитость, словно пытался при жизни собрать крохи известности, которая покинет его после смерти.

Леон Доде был членом-основателем Гонкуровской академии, он принимал участие в самом первом ее заседании. Монархист, антисемит из школы Дрюмона – и в то же время друг Марселя Швоба[2]; его написанные желчью "Воспоминания" и сегодня восхищают гениальностью своих карикатур. Величайшая заслуга Доде состояла в том, что несколькими годами раньше он заставил-таки своих коллег включить в почетный список гонкуровских лауреатов Марселя Пруста.

С самого начала заседал в Гонкуровской академии и Люсьен Декав. Он родился в 1861 году. Проведенное в Монруже в крайней нужде детст-

1. R. Poulet. Op. cit., p. 25–26.
2. Марсель Швоб (1867–1905) – французский литератор. (*Прим. ред.*)

во и передовые, как принято говорить, идеи подтолкнули его к натуралистической школе. Задним числом он сочувствовал делу Коммуны. Романы "Казарма" и "Унтер-офицеры" принесли ему прочную и заслуженную репутацию антимилитариста. Он даже был привлечен к судебной ответственности за оскорбление армии и общественной нравственности. Люсьен Декав не был крупным писателем, зато слыл большим крикуном. Он держался в стороне от маленького литературного мирка, а с 1917 года, когда на место Октава Мирбо был избран Жан Ажальбер, а не находившийся под покровительством Декава Жорж Куртелин, он подчеркнуто сторонился коллег по Академии. С тех пор он голосовал заочно или сидел в большом зале ресторана "Друан" один, театрально заставляя официанта приносить ему бюллетень для голосования.

Луи-Фердинанд Селин в год выхода "Путешествия на край ночи"

Другими членами комитета были Ролан Доржелес, прославившийся единственной книгой — "Деревянные кресты" (1919); Жан Ажальбер, бывший адвокат, а теперь романист, занимавший должность хранителя на гобеленной мануфактуре в Бове; потомство сохранит в памяти его имя только потому, что он голосовал за присуждение Гонкуровской премии Селину; Гастон Шеро — автор фресок из крестьянской жизни, которые никто и никогда не станет перечитывать; Поль Неве, сын нотариуса, автор исследования о Мопассане и несправедливо забытый потомками романист; Леон Энник, старейший из старой гвардии "Меданских вечеров"[1], поседевший в натуралистической упряжке, а также Рауль Поншон, мелкий Растиньяк, невероятно плодовитый поэт-чиновник.

Таковы были люди, которых предстояло убедить в достоинствах "Путешествия".

Довольно легко согласился отдать свой голос Селину Леон Доде. Получено было обещание и от Люсьена Декава. Ради такого случая примирились друг с другом националист и анархист, милитарист и антимилитарист, человек правых убеждений с человеком левых взглядов. Браво! Примкнул к клану селинистов и толстячок Ажальбер, вечно дремлющий усатый патриарх. Люсьен Декав тотчас забыл былую

1. "Меданские вечера" — изданный в 1880 г. сборник, куда вошли шесть новелл писателей, принадлежавших к так называемой "меданской группе" (представителей натуралистической школы, сформированной вокруг Э. Золя). (*Прим. ред.*)

вражду и захотел пожать ему руку. Теперь вождь движения Декав должен был заручиться поддержкой братьев Рони. Тогда "Путешествию" было бы обеспечено большинство, ведь президент Академии обладал преимущественным голосом. Братья Рони, похоже, дали себя уговорить.

30 ноября на предварительном обеде коллеги горячо приветствовали появление Люсьена Декава у "Друана". Состоялось неофициальное голосование, и братья Рони, Доде, Декав и Ажальбер высказались в пользу Селина. Несколько сторонников было и у Ги Мазелина и его романа "Волки". Ролан Доржелес колебался. Но это уже не имело значения — согласие было достигнуто, и Леон Доде даже предложил сразу же приступить к процедуре присуждения премии. Но такой ход исключался. Гонкуровскую премию не присуждают тайком, в отсутствие представителей прессы. Что ж! Триумф Селина отодвигался на неделю — до 7 декабря.

30 ноября по дороге в "Друан" Люсьен Декав прямо в фиакре пытался убедить Леона Энника отдать свой голос "Путешествию на край ночи". Может, он уже тогда не слишком доверял братьям Рони? Или хотел обеспечить Селину триумфальную победу? "Наш долг перед Гонкурами, — сказал Декав Эннику, — это, напомню вам, поощрять новые и смелые попытки в области мысли и формы. И ничего лучше нам не найти... Мы расстались, чтобы встретиться через неделю и выполнить наши обязанности наследников. Эта беседа меня отнюдь не успокоила. Энник занял уклончивую позицию. Похоже, он остался глух к громовым залпам наших общих воспоминаний"[1].

Между тем Луи Детуш постепенно заразился энтузиазмом своего издателя. То, что вначале было лишь зыбкой надеждой, обретало все более реальные очертания и требовало самого серьезного к себе отношения. Отзвук тех настроений можно услышать в письмах Селина к его мимолетным любовницам Эрике Ирранг и Цилли Пам, которые остались его верными корреспондентками.

"Немного рассчитываю на Гонкуровскую премию 10 декабря, но предсказать что-либо трудно", — писал он Эрике в конце октября. И несколькими днями позже: "Критики книгу резко осуждают, но и очень лестно комментируют. Впрочем, говорят они тысячи глупостей".

12 ноября, словно стараясь заговорить судьбу, он писал Цилли Пам, что не поддается неизлечимому греху оптимизма:

Я испытываю огромное презрение к литературе, Цилли. На мой взгляд, от нее не больше толку, чем от волчка на веревочке. И я отношусь к ней так же, как к игре с волчком. Потому что моя жизнь нестерпима и надо убивать время, а по-настоящему играть в волчок я не умею. Мои шансы на Гонкуровскую очень жалки. Кое-какие есть, но очень слабые. Надежда лишь на чудо. Дело не в достоинствах книги-волчка, она не хуже других (год был очень плох), а в анархичности ее стиля, он может их здорово напугать. Когда-то гонкуровцы и сами были анархистами, но теперь постарели. Сейчас это всего лишь дряхлые консервативные бабы.

Тем не менее 6 декабря, накануне присуждения премии, он не может скрыть надежды. Вот что он пишет Цилли Пам:

1. Lucien Descaves. Souvenirs d'un ours. Éditions de Paris, 1946, p. 268.

Я в ожидании Гонкуровской премии, которая будет присуждаться завтра в полдень. Вы, конечно, слышали об этом. В принципе мой роман — лучший роман года. Я безразличен к славе, но мне важен финансовый результат, который очень значителен и раз и навсегда обеспечивает материальную независимость. А это моя мечта: Я совсем не уверен, что получу премию, но шансы у меня серьезные.

Настолько серьезные, что Люсьен Декав уже считал премию завоеванной, о чем он и писал в статье накануне голосования. А Леон Доде сообщал 6 декабря в "Аксьон франсез":

"Завтра, 7 декабря, в полдень будет присуждена Гонкуровская премия, и надо надеяться, сочинению яркому, из ряда вон выходящему, которое многие найдут возмутительным, потому что написано оно языком свободным, иногда простонародным, но очень насыщенным..." Что касается Робера Деноэля, то он уже заказал в типографии ленты на обложку "Путешествия": "Гонкуровская премия 1932 года".

Наступила среда 7 декабря. Как обычно толпа зевак, журналистов и фотографов собралась у ресторана "Друан" на площади Гайон, где гонкуровцы обедали и голосовали. Этажом ниже к присуждению своей награды готовилось жюри премии "Ренодо" — в седьмой раз подряд. Эта премия была создана критиками в противовес Гонкуровской...

Мало кто узнал в толпе на площади Гайон врача Луи Детуша, пришедшего сюда в сопровождении матери и дочери. Он с трудом скрывал волнение, что и понятно, ведь на долю его выпало тягостное и беспомощное ожидание; мало того, надо было смириться с тем, что невольно и судьба книги, и будущая карьера его, и даже престиж зависят от десяти персон, скрытых от глаз публики и недоступных, которые где-то в зале ресторана "Друан" готовились отобедать — устрицы, белоны, жареный омар, фаршированный каштанами гусь — и на манер суда присяжных вынести свой приговор. Чудовищное напряжение, безумные надежды и полный пессимизм, то подъем, то спад настроения — все это переживал автор, хотя на самом деле ставка никак того не стоила. Тем не менее нечто подобное, судя по воспоминаниям, испытали все кандидаты — и счастливые, и неудачливые.

Атмосфера на заседании Гонкуровской академии, видимо, царила напряженная. Вопреки обыкновению, председатель жюри Рони-старший предложил проголосовать до трапезы. Как он объяснил, чтобы не заставлять прессу ждать. Аргумент сомнительный. Вокруг "Путешествия на край ночи" кипели страсти, и следовало поскорее провести голосование и поставить в этом деле точку. Никто из гонкуровцев не желал засиживаться за столом и обмениваться светскими любезностями и ритуальными фразами, в то время как на самом деле каждого будет жечь одна мысль: кто проголосует за, а кто против этого сумасшедшего писателя, перетянувшего на свою сторону Люсьена Декава и Леона Доде.

Голосование 7 декабря — а это было 203-е заседание Гонкуровской академии — оказалось предельно простым. С первого же тура определилось абсолютное большинство, так что лауреат без промедления был установлен и объявлен. Селин за "Путешествие на край ночи"? Конечно

же нет. Премию присудили Ги Мазелину за изданных у Галлимара "Волков".

За Мазелина было подано шесть голосов: Гастона Шеро, Ролана Доржелеса, Леона Энника, Поля Неве, Рауля Поншона и Рони-младшего. Три голоса были отданы Селину: Леона Доде, Люсьена Декава и Жана Ажальбера. Рони-старший проголосовал за роман "Формийцы" некоего г-на де Риенци, личного друга академика.

В общем, оба Рони оказались "предателями".

Люсьен Декав не стал терять ни секунды. Он сорвался со своего кресла, хлопнул дверью и спустился этажом ниже, где обедало жюри премии "Ренодо". Там он объяснил, что произошло. Он хотел, чтобы Селину присудили "Ренодо" в качестве утешительного приза. Но решить вопрос немедленно было трудно. Жоржу Шарансолю, Пьеру Демартру, Пьеру Декаву, Марселю Эспио, Жоржу Мартену, Реймону де Нису, Одетте Паннетье, Гастону Пикару, Ноэлю Сабору и Марселю Соважу потребовалось три тура, чтобы скромным большинством в шесть голосов наконец-то определить победителя — "Путешествие на край ночи".

Тем временем Люсьен Декав не сдерживал мстительных чувств перед собравшимися у ресторана "Друан" журналистами: "Я с удовольствием вернулся в Гонкуровскую академию, но никогда не думал, что мне придется проходить в ресторанный зал через кухню". Или так: "Никогда больше нога моя не переступит порога Академии, она стала базаром, рынком, где все, за редким исключением, продается".

Луи Детуш узнал о своей неудаче одновременно с журналистами и зеваками. Обескураженный провалом, он покинул мать и дочь и отправился на улицу Амели, где царило не менее горькое уныние. Там же находилась и его бывшая соседка, его корректор Жанна Карайон.

Селин, державшийся рядом с Деноэлем, выглядел усталым. Потом он отошел от издателя и сказал корректорше: "Не оставляйте меня одного". Эта мольба заслуживает особого внимания еще и потому, что в устах человека с характером Селина она прозвучала как нечто исключительное. Позднее ту же услугу окажет Селину кот — будет жить рядом с ним, не оставляя его одного.

На улице Лепик он о своей неудаче не говорил. Подошел к окну и вилкой разрыхлил землю в горшке с геранью. Потом начал показывать детские рисунки своей дочери, которые бережно хранил. Позднее он словно впал в оцепенение, лег — и черты лица его смягчились, стали умиротворенными[1].

Гонкуровская неудача стала первой трещиной между литературным миром, литературными институтами и писателем. Его недавнее вхождение в литературу было громким и обещало скорую славу и почести. К успеху привыкают очень быстро, слишком быстро. А теперь у него прямо перед носом захлопнули дверь. Во всяком случае, так он воспринял случившееся. И был этим страшно уязвлен. И унижен. Он решил отмежеваться от интеллектуальной среды. Иначе говоря, трещина пробежала между Селином и "ими". Что ж, Селин стал "проклятым"? Вздор! Можно составить очень длинный список талантливых произведений, которым было отказано в Гонкуровской премии. Да и премия "Ренодо" представляла собой вполне симпатичное утешение. Но важно другое: Селин ощу-

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 24.

тил себя отверженным, посчитал, что его оттолкнули. И отныне он будет делать все, чтобы убедить себя в этом, чтобы, пусть и задним числом, но подвести под такой вывод некую базу.

Вечером в день присуждения премии Робер Деноэль устроил прием в честь Селина. Как того требовал обычай. Писатель появился там ненадолго. Фотография запечатлела его в обществе предыдущего лауреата — Филиппа Эриа. Селин выглядит осунувшимся, у него натянутая улыбка. Он утопает в мешковатом пальто с шевронами, под подбородком темный аккуратно уложенный шарф, он словно бы забежал сюда на минутку. И ничего не хочет слышать о премии. Без конца пережевывает он гонкуровский провал и упивается им, подпитывает свою горечь. Разочарование дает оправдание его желчному одиночеству.

К тому же, и это знаменательно, он совершенно не упоминает о премии "Ренодо" в переписке с Эрикой и Цилли. Он говорит с ними только о Гонкуре, о гонкуровском заговоре. Он потерпел поражение, пишет он, "от более богатого врага". Он утверждает, что "с Гонкуровской премией вышла осечка. Все решалось между издателями. У книги, впрочем, настоящий триумф. Увы, вы же знаете, как я опасаюсь триумфов. Никогда не был я в столь отчаянном положении. Эта людская свора, которая дергает тебя и преследует своей шумной пошлостью, ужасна".

Через неделю в письме к Цилли Пам с его пера слетают похожие слова:

> Что касается Гонкуров, это был настоящий ужас. Есть премия или ее нет — мне безразлично, радости мало. Запомнились только пошлость, грубость, бесстыдство всего дела.
>
> Столько людей обожает славу или хотя бы известность... Я же считаю, что нет ничего чудовищнее и отвратительнее этого, разве только война. Я делаю все, что могу, чтобы забыть эту катастрофу.

В начале сентября 1935 года Селин временно покинул свою квартиру на улице Лепик и перебрался в гостиницу "Павийон Руаяль" в Сен-Жермен-ан-Лэ. Ему захотелось сменить обстановку, уединиться, чтобы монмартрские друзья и повседневные домашние хлопоты не отвлекали от работы. Париж становился невыносимым. Короче, он желал работать, писать и писать, довести до конца, до последнего слова, до последней ноты, до последнего вздоха партитуру нового романа. После полудня он покидал гостиничный номер и отправлялся в Клиши — в поликлинику. Утром и по вечерам впрягался в работу над рукописью — возбужденный, взвинченный, в состоянии растущего беспокойства и почти полного истощения. В гостинице он был надежно изолирован от происходящего в мире. <...>

Бывали ли у писателя какие-то развлечения? Да. Например, случилась одна встреча, которой поначалу он не придал должного значения, хотя ей суждено было перевернуть всю его жизнь. Речь идет о знакомстве с Люсетт Альмансор...

Вероятно, это произошло в ноябре или декабре 1935 года. В то время Люсетт занималась в танцевальных классах Бланш д'Алессандри на улице Анри-Монье. Уроки бывшей звезды, которой пришлось отказаться от артистической карьеры после перелома колена, посещали крупнейшие танцоры. Режим занятий у нее был тяжелым, даже

суровым. Она в буквальном смысле с палкой в руках следила за тем, как ученики проделывают упражнения. Стоило плохо выполнить прыжок, и на ноги обрушивался удар. Вспоминая о классах у г-жи д'Алессандри, Люсетт Альмансор называет их каторгой, но добавляет, что в подобной практике не было ничего исключительного, и признает: это лучший способ по-настоящему научить прыгать или исполнять разные фигуры. Занятия начинались утром и продолжались около четырех часов. "Под конец казалось, что икры не выдержат". Там бывали Людмила Черина и Серж Лифарь, с которыми Люсетт тогда же и познакомилась... Позднее у г-жи д'Алессандри она подружилась с молодым танцором Сержем Перро, ставшим одним из самых близких и преданных ее друзей и восторженным поклонником Селина.

Но что делал писатель на танцевальных занятиях у Бланш д'Алессандри? Он, как известно, любил танец, любил танцовщиц. Присутствуя на этих уроках, он удовлетворял не только свое любопытство, но и некие философско-эстетические потребности. Конечно, в классы на улице Анри-Менье посетители обычно не допускались, однако в данном случае г-жа д'Алессандри была обезоружена уважительным отношением к ней Селина и, разумеется, его известностью. Ввел его туда художник Жан Поль, тоже неравнодушный к хореографическому искусству (и исполнителям). Писатель усаживался в уголке студии, стараясь, чтобы его было не слышно и не видно. Ему хотелось узнать, как становятся танцовщицами. А г-же д'Алессандри льстил подобный интерес.

Вначале, — рассказывает Люсетт Альмансор, — они приходили вдвоем, и однажды Селин попытался со мной заговорить. Я же была ужасной дикаркой, чрезвычайно застенчивой. И отказывалась ему отвечать. Когда он приглашал меня куда-нибудь после занятий, я говорила ему "Нет!". Так продолжалось много месяцев. Наконец он позвал меня в ресторан на Монмартре. Сказал: "Вам нужно есть мясо, укреплять свои силы, вы же много работаете". Я заказала бифштекс. Через пару минут он сказал: "Послушай, малышка, мы уходим!" Я не успела даже попробовать свое мясо. Его мысли витали где-то далеко. Может, больше всего мне нравилось в нем именно это. Его не было с вами... В 1935 году мне исполнилось двадцать два. Я воспитывалась у монахинь, была застенчивой. Считалось неприличным выходить с молодым человеком, даже если он тебе нравится, а Селин нравился мне невероятно. В нем было что-то от архангела. Глаза... К нему тянуло словно магнитом, я изо всех сил сопротивлялась, я не хотела. Он был много старше, и я повторяла себе: для него эти прогулки с незаметной танцовщицей просто причуда. А еще раньше случилось событие, которое очень меня задело. Мне бывало трудно оплачивать свои занятия у г-жи д'Алессандри, и она не торопила меня с этим. Однажды я заметила, как Селин положил на рояль деньги. Она мне тогда сказала: "Малышка, ты мне больше ничего не должна". Но я этого не хотела. Разыгралась настоящая сцена. Вот такие мелкие подробности всплывают в памяти. Я долго противилась, потому что чувствовала, как меня тянет к нему. Для меня это было очень серьезно. И я чуть было вообще его не упустила. Все время убегала, отказывалась отвечать. Он посчитал, что либо мало меня интересует, либо я влюблена в кого-то другого.

Эта молодая женщина, родившаяся в Париже 20 июля 1912 года, вскоре станет подругой, а затем и женой писателя. Она будет сопровож-

дать его во всех странствиях и испытаниях. Из крепости в крепость. Из Зигмарингена через датское изгнание в Медон. Молчаливая и преданная, она всегда будет рядом...

Но не станем забегать вперед. В конце 1935 и начале 1936-го Люсетт была в жизни Селина лишь едва очерченной тенью. Он продолжал укрываться в гостинице "Павийон Руаяль" в Сен-Жермен-ан-Лэ. Он писал. Писал без передышки. А Робер Деноэль с нетерпением ожидал новый роман. Он надеялся опубликовать его в начале 1936 года. Потом в объявлениях о выходе книги срок отодвинулся на начало апреля, на конец апреля, на начало мая.

В середине февраля измученный, потерявший десять килограммов веса Селин вернулся на улицу Лепик. Он прервал работу в поликлинике в Клиши. Вот что он писал тогда Карен Марии Йенсен:

Скоро будет два месяца, как я очень болен (внутренности). Я еле передвигаюсь и очень страдаю. Только что вернулся в Париж. Едва могу работать. Такова жизнь! Вот почему я вам не писал. Но у меня полно и других горестей. Невесело болеть и быть одиноким. Я не часто жалуюсь, но сейчас, право...

Правда, у меня есть Жан Поль, который приходит меня навестить. В поликлинику я больше ходить не в состоянии. Мне лучше болеть на Монмартре, чем в Сен-Жермен. Там я был совершенно одинок. Лечит меня Гозлан (скромный врач из Медана). Таковы новости. И все же я работаю по мере сил над моей книгой. Мне хотелось бы ее закончить. Я надорвался из-за этого.

Селин и на самом деле был одинок. Это было одиночество писателя, который по определению не может надеяться на чью-либо помощь, чтобы справиться со своими видениями, воспоминаниями, кошмарами, с белой страницей и черными мыслями. Известно, писание — это приведение мира к абсолютной тишине. Но он оставался одинок, работая над последними страницами романа, пользуясь предоставленными издательством отсрочками...

В марте Селин отправился в Гавр и поселился там в гостинице "Фраскати", надеясь завершить наконец "Смерть в кредит". Оттуда он послал Анри Маэ очень тревожную и важную записочку: "Старясь, ты видишь то, что остается. Ничего. За исключением яростной страсти к двоюродной сестре смерти — совершенству"...

Жанны Карайон рядом не было, и некому было вычитывать рукопись. Она уехала в Соединенные Штаты. Однако она порекомендовала ему одну из своих давних подруг по классу — Мари Канаваджиа. Это был превосходный выбор. Мари Канаваджиа была высокообразованной женщиной, известной переводами великого уэльского писателя Джона Каупера Поуиса (перед ним Генри Миллер испытывал такое же преклонение, как и перед Селином), а еще переводила с итальянского таких непризнанных авторов, как Джан Даули, который в качестве издателя первым познакомил Италию с именем Луи-Фердинанда Селина. Мари Канаваджиа не печатала на машинке, а отдавала страницы рукописи машинистке и потом проверяла ее работу. Любила ли она Селина? Может быть. Но если так, то любовью тайной, одинокой, бесконечно преданной, временами суровой и ревнивой. Молчаливой и не до конца осознанной любовью, как любят юные девушки и старые девы. Трудно было не поддаться обаянию писателя.

По мере завершения селиновского текста Мари Канаваджиа отдавала его на перепечатку, потом вычитывала и выверяла, затем он возвращался к автору, который вносил в него обширную правку. Это значит, что новая секретарша-корректор (она не покидала Селина до 1961 года, до романа "Север", то есть до самой его смерти; Мари Канаваджиа 30 сентября 1976 года сбил в Париже автомобиль) имела возможность наблюдать за медленной доработкой романа, за каждым этапом "текущей работы"... Она без колебаний высказывала критические замечания, расспрашивала писателя о смысле того или иного оборота, обсуждала с ним какую-нибудь возмутившую ее грамматическую ошибку или неологизм, который казался ей недопустимым. Иногда Селин выходил из себя, иногда же посмеивался над ее замечаниями или терпеливо защищался.

Было чудесно видеть его за работой, — вспоминала она. — У него никогда не иссякало вдохновение. Решив изменить слово, он никогда не ограничивался простой его заменой на другое. Он целиком изменял всю фразу, а иной раз, в зависимости от требований его "ритмики", и все соседние предложения. Иногда он постукивал пальцами, словно отсчитывал слоги александрийского стиха. Почти все его поправки приводили, как и у Пруста, к уточнению, обогащению смысла. Иногда он возвращался к тексту через несколько часов, спустя ночь или несколько дней. Он звонил: "Перечитайте мне такую-то фразу...", и происходила новая метаморфоза. Он был щедр на находки. В одной и той же книге одно слово писалось по-разному, причем это могло быть как слово его изобретения, так и заимствованное из Малого Ларусса или Шотара: "Несколькими страницами раньше вы пишете его иначе. " — "Ну и что? Если у вас несколько женщин, зачем каждую ночь спать с одной и той же?"[1]

Однажды он написал ей: "Следует править до последнего карата... яростно".

Итак, последний акт "Смерти в кредит" разыгрывался в гостинице "Фраскати" — до того как началась долгая издательская история романа.

Робера Деноэля, по всей видимости, привел в ужас стиль Селина — блистательный, значительно более свободный и неукротимый, чем стиль "Путешествия". Его отличали множество вопросительных знаков, сбивчивое дыхание, незавершенные фразы, неровный отрывистый слог, навязчивые фантастические видения, которые мечутся между прошлым и настоящим, между воспоминаниями и бредом. Сам Селин в разговоре с Робером Пуле описывал озадаченный вид издателя. Деноэль был очень встревожен и искренне пытался предостеречь Селина против столь решительного разрыва со всеми литературными традициями. Но на самом-то деле проблема была в другом: издателя беспокоили непристойные сцены, например те, где описывались шалости юного Фердинанда с его слишком изобретательными и хмельными партнершами.

Вот как Селин описывал свою беседу с Деноэлем:

Издатель говорил: "Но в романе есть кое-что еще. Слишком смелые места, действительно слишком смелые!.. Очевидно, у искусства есть свои права, но все же!.. Нельзя допустить, чтобы нас обвинили в порнографии... У нас много

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 31.

верных сторонников. Нельзя их отпугивать. Если напечатать полный текст романа, это прямой дорожкой приведет нас к суду, к обвинениям в оскорблении нравственности. Не сомневайтесь! Мы упустили Гонкуровскую премию... Теперь нам не миновать суда..."[1]

Между автором и издателем шли ожесточенные споры. Деноэль отказывался печатать упомянутые сцены. Селин наотрез отказывался переписать их или снять. В итоге "Смерть в кредит" была издана с пробелами на месте некоторых фраз или целых абзацев, которые Деноэль счел абсолютно неприемлемыми. Только сто семнадцать экземпляров содержали полный текст романа. И они не предназначались для продажи. В анонсе сообщалось: "По просьбе издателей Л.-Ф. Селин изъял из своей книги многие фразы, не заменив другими. В романе на их месте оставлены пробелы". Такое решение позволяло автору не поступаться принципами и остаться честным перед самим собой. Но главное, оно обезоруживало цензуру. А что касается приличий, то воображение читателей получило возможность блуждать по этим самым пробелам, что на деле только приумножало скандальность ситуации. И делало книгу по-настоящему эротичной. Для рекламы такое решение — просто находка. Хотя и невольная. Еще до выхода книги в свет пресса принялась комментировать навязанные автору и ставшие знаменитыми купюры...

И все же писательское путешествие Селина только начиналось. Позднее он назовет себя летописцем Великого Фарса.

Чтобы забыть историю со "Смертью в кредит", лучше всего было отправиться в путешествие. Вот уже несколько лет он мечтал побывать в Советском Союзе. К тому же там он мог получить какие-то деньги, которые следовало потратить. И в середине августа он отправился пароходом в Ленинград.

Вскоре после выхода в свет роман "Путешествие на край ночи" был переведен Эльзой Триоле на русский язык, и в Москве этот перевод был просмотрен, выправлен и сокращен безвестным и усердным деятелем культуры, а затем в 1934 году опубликован. Издали роман щедро, поначалу 6 тысяч экземпляров, следом еще 15 и, наконец, еще 40. Книга вызвала много откликов в прессе, советскую интеллигенцию (сталинскую, разумеется, так как другая находилась в изгнании, в ГУЛАГе или вымерла), поразили селиновское вдохновение и спасительный порыв к насилию, да иначе и быть не могло, ведь Селин — писатель из народа... Один Горький чуть позже высказал ряд критических замечаний, строго осудив "вырожденческий характер" подобного литературного опыта... Селин, разумеется, узнал, как жестоко была искромсана его книга. Вину за это он возложил на Эльзу Триоле и Луи Арагона, что и послужило поводом для жестокой ссоры. Позже появилась "Смерть в кредит". Но уже не было речи о переводе романа на русский. Критик журнала "Интернациональная литература" счел его посредственным, анархическим, циничным, нигилистичным, одним словом, прекрасным примером литературного вырождения. Тем не менее Селину причитались в Советской России значительные гонорары, использовать которые можно было только на месте.

1. Cahiers de l'Herne, N 5, p. 61.

Ах эти славные поездки в Россию!.. В двадцатые и тридцатые годы они стали обязательными для каждого истинного интеллигента. Там следовало побывать хотя бы раз, чтобы своими глазами увидеть загадочное сияние, надежду или великий страх, исходящие с Востока, чтобы снять мерку если не с нового мира, то с нового человека, познакомиться с достижениями режима, а затем рассказать обо всем этом. В конце шестидесятых так же относились к маоистскому Китаю; писатели и политические деятели принимали участие в прекрасно организованных одно- или двухнедельных поездках и на их основании делали выводы, выносили суждения — сколь поверхностные, столь и категоричные.

Среди первых приглашение советского правительства приняли Ромен Роллан и Анри Беро, Жорж Дюамель и Анри Барбюс. Затем наступила очередь Андре Мальро и Марка Шадурна, Ролана Доржелеса и Андре Шамсона. Конечно, русские рисковали: гости могли испытать разочарование, тем не менее следовало попытаться провести эту совершенно новую и масштабную пропагандистскую кампанию. 17 июня 1936 года в Россию в сопровождении Луи Гийу и Эжена Даби отправился Андре Жид. В семьдесят лет Жид сохранял пылкость новообращенного... С торжественной напыщенностью он писал тогда: "Если потребуется отдать жизнь за успех СССР, я отдам ее без промедления". Стоит ли говорить, что советские власти встретили его с почестями, выделив для него и его спутников специальный вагон, организовали протокольные визиты и официальные приемы. Но они забыли, что Жид, хоть и симпатизировал левым, оставался в первую очередь интеллигентом, не человеком партии, а одиночкой и превыше всего дорожил необходимой для писателя свободой духа, то есть был человеком, который поиск истины ставил превыше всего... Вернувшись 23 августа из России, Жид опубликовал смелую книгу о поездке, она наделала шуму и вызвала гнев левых писателей. Измученный и горько разочарованный Жид не мог молчать и, пусть с множеством оговорок, но высказался откровенно. Ромен Роллан и другие обвинили его в двойной игре. Ну что же!

Селина не ждали с почестями, букетами цветов и специальными вагонами. По правде говоря, его вообще не ждали. Путешествовал он один. О том, чтобы поехать вместе с ним, подумывала Люсетт Альманзор; они еще не жили вместе на улице Лепик, но ее присутствие рядом становилось для писателя все более необходимым. Поехать с ним в Россию предложил ей сам Луи, и она радовалась при мысли, что откроет для себя Ленинград, Зимний дворец и прежде всего балеты великой русской школы. К несчастью, Луи и Люсетт не были женаты. Значит, невозможно зарезервировать в гостинице комнату на двоих. Советская система не терпела шуток с основными принципами нравственности. Люсетт столкнулась с кучей административных проблем, возникли трудности с визами и так далее... Так что от поездки ей пришлось отказаться. Луи один поднялся на борт парохода "Полярис", направлявшегося в Хельсинки, а затем в Ленинград.

Позднее, уже после возвращения Селина из России и после публикации "Mea culpa" один неосторожный журналист обозвал Селина ренегатом. Оскорбление взбесило Селина, и в запале обиды родились самые яростные страницы "Безделиц для погрома". Он не преминул подчеркнуть, что у него нет никаких партийных обязательств. Он настойчиво повторял: он сам оплатил все расходы по своей поездке.

Что касается меня, то я отправился в Россию не за чужой счет!..

Иначе говоря, не как министр, корреспондент, паломник, паяц, искусствовед, я за все платил своими медяками... из моего честного заработка, за все целиком: за гостиницу, такси, транспорт, переводчика, ресторан, жратву... За все!.. В рублях я потратил целое состояние!.. чтобы все разглядеть без помех... Расходы меня не останавливали... Да и советская власть еще осталась мне должна деньжат... Не забывайте об этом!.. Расскажите об этом людям, если им интересно. Я не должен им и ломаного гроша!.. ни за одну милость!.. ни за одну чашку кофе со сливками!..

На борту "Полярис" он написал письмо Цилли, которая к тому времени вышла замуж и ждала ребенка:

Кстати, мне здорово досталось за "Смерть в кредит". Почти все критики настроены против меня, да еще как злобно! А ведь они ее даже не читали. Мне решительно все равно, что они думают, но на продажах это отражается прискорбно. Едва ли удастся продать и 40 000 — а она досталась мне с неслыханным трудом! Много тяжелее, чем "Путешествие"! Но все это ерунда. Вот чувствую я себя не очень хорошо. Эта ужасная книга выжала из меня все силы. Я отправляюсь в Москву в надежде заполучить, если смогу, немного денег.

Действительно ли он был в Москве? Маловероятно. Имеющиеся в нашем распоряжении редкие свидетельства и документы о путешествии Селина в Россию, и прежде всего автобиографические страницы в "Безделицах" упоминают лишь о его пребывании в Ленинграде. Скорее всего, Луи не выезжал за пределы города и его окрестностей.

С полудня до полуночи меня сопровождала переводчица (из полиции). Я ее оплачивал по полному тарифу... Впрочем, она была очень мила, звали ее Натали, клянусь, очень хорошенькая блондинка, страстная, завороженная коммунизмом, прозелитка, готовая даже замочить вас в случае необходимости... Впрочем, вполне серьезная... не подумайте чего-нибудь!.. да за ней ведь и наблюдали! черт возьми!..

Я приткнулся в гостинице "Европейская", второго сорта, с тараканами и сколопендрами на каждом этаже... Упоминаю об этом не для того, чтобы сгущать краски... конечно, видел и похуже. Нет, никакого блеска в ней не было!.. и только одна комната там стоила в переводе двести пятьдесят франков за ночь! А ведь я поехал в Россию не в командировку от какой-нибудь газеты, фирмы, партии, какого-нибудь издателя или полицейской службы, а целиком за собственные медяки, из чистого любопытства.

Чем встретил его Ленинград, где он высадился вскоре после смерти своего друга Эжена Даби (он умер 21 августа в Севастополе в ходе "официальной" поездки)? Бедность, запустение, нищета, смиренная покорность народа и тайное процветание аппаратчиков, пропаганда, лицемерие, угнетение и так далее. Прекрасно, обо всем этом он впоследствии наговорится вволю.

Первоначально Ленинград его восхитил. "В своем роде это самый красивый город в мире". И он вдохновил его на великолепные лирические строки:

Вообразите Неву... она чуть-чуть похожа... на Елисейские Поля... но, правда, в четыре раза шире... Елисейские Поля, залитые бледной водой... Нева тя-

нется дальше... все дальше... к мертвенно бледным просторам... неба... моря... и еще дальше... и в самом конце устья... к бесконечности... моря, поднимающегося к нам, к городу... Море удерживает в своей руке весь город!.. оно прозрачное, фантастическое, тянущееся... а в конце руки... вдоль всех берегов... весь город, сколько силы!.. дворцы... и снова дворцы... Жесткие прямоугольники... под куполами... в мраморах... огромные застывшие драгоценности... у бледной воды... Налево маленький совершенно черный канал бросается в реку... напротив колосса Адмиралтейства, вызолоченного по всем корешкам и обрезам... на нем Слава, сверкающая, вся из золота... Сколько здесь величия!.. фантастический гигант! Арена для циклопов!.. сотня декораций, расположенных в строгом порядке... они все грандиознее... к морю...

Он должен был побывать в больницах. У него, врача-гигиениста, это вошло в привычку. Правда, сказать, что он делал это с удовольствием не поворачивается язык. С его точки зрения, страна полнее всего раскрывается в своих санитарных достижениях. В "Безделицах" он нам рассказывает о неописуемом посещении Большой венерологической больницы, где царила атмосфера мрачного фарса и смешливый собрат по профессии сопровождал его при осмотре находившихся в состоянии полного запустения больничных палат.

Однажды после полудня гид-переводчик Натали свозила его на теннисный матч между Коше и советским чемпионом по теннису Кудряшом. Кстати, удалось ли ему соблазнить Натали? Позднее он намекнет на это Карен Марии Йенсен и Люсетт Альмансор. Будто бы Натали даже хотела выйти за него замуж... временно, только чтобы уехать из Союза и сразу же по приезде во Францию развестись... Думается, Луи побывал в музее Эрмитажа, видел эспланаду Зимнего дворца и резиденцию Николая II и его семьи. Возвращаясь из Царского Села после посещения царского дворца, он был глубоко возмущен, о чем рассказывается все в тех же "Безделицах", наглостью, с какой экскурсоводы подчеркивали смешные стороны царствовавшей семьи, которую как известно, уничтожили. Он сделал замечание Натали.

Этот визит... к жертвам... эта выставка призраков... приукрашенная комментариями, тысячью шуточек. Беззастенчивость, злобное, ожесточенное перечисление... мелких неловкостей... дурного вкуса... смешных маний в стиле "Романофф"... их амулеты, четки, ночные горшки... Она не соглашалась... Натали находила все это совершенно справедливым. Я доказывал. Ведь именно отсюда, из этих комнат Романовы уехали навстречу судьбе... к бойне в подвале... Может, следовало бы отнестись с уважением... проявить такт... Нет! Я находил в этом скверный вкус! Еще более скверный, стократ более скверный, чем у всех Романовых, вместе взятых...

Возник спор. "Я был вне себя! от жестокости! Я становился совсем русским!.."

Но Ленинград для Селина — это прежде всего танец и Мариинский (Кировский) театр, и он был околдован.

Самый прекрасный театр в мире? Ну конечно же, Мариинский! Бесспорно! Соперничество с ним невозможно!.. Только ради него стоило отправляться в это путешествие!.. Там порядка двух тысяч мест... По величине это вроде Гран-Гомона... Рокси... Но что за стиль!.. И замечательный, неповторимый успех!.. какой восторг!.. но совершенство... легкость... лучше просто невозмож-

но... своего рода мамонт... изящный мамонт... все небесно-голубое, пастель в серебряных нитях...

Он слушал там "Пиковую даму" Чайковского (несомненно, следует отнести на счет селиновских преувеличений утверждение, что он побывал на шести спектаклях кряду).

Среди танцоров двое восхитительны... Лиризм, высокая техника, трагизм, истинные поэты... Женщины? Очень даровитые, превосходные труженицы... не более того... за исключением единственной балерины — Улановой... Но их ансамбли? Божественно!.. В человеческом движении органная музыка. Стайки корифеев, способные заполнить все небо... Их "па де катр"? трепещущие кометы... Мерцающие источники Мечты... границы волшебства!.. Все вечера Мариинского!

Попытался ли он встретиться с директором Мариинского театра, чтобы предложить ему свой балет "Рождение феи"? Он писал об этом в "Безделицах для погрома". Директор якобы ему ответил, что, к несчастью, его сюжет недостаточно "социален", что конечно, в другой раз, при другом сюжете, на будущий сезон, русские знают о его замечательном таланте и т. д. Отговорки? Не обязательно.

Поездка завершилась 21 сентября, когда "Мекнес" Генеральной трансатлантической компании покинул Ленинград и взял курс на Лондон, сделав через четыре дня остановку в Гавре, где Селин и высадился. Он занял уже знакомый ему номер в гостинице "Фраскати" и вскоре вернулся в Париж. Итог поездки? Однозначен.

"Я вернулся из России, что за ужас! какой недостойный блеф! какая грязная и глупая история! Как все это гротескно, теоретично и преступно! Наконец!" — написал он Цилли. Тот же тон в письме, адресованном Карен Марии Йенсен 15 октября:

Я провел в Ленинграде месяц. Все это омерзительно, страшно, невообразимо гадко. Чтобы в это поверить, это надо увидеть. Ужас. Грязно, бедно — отвратительно. Тюрьма. Всюду полиция, бюрократия и чудовищный хаос. Все блеф и тирания. Впрочем, потом вам все расскажу. Я проехал через Копенгаген, где пробыл три часа! Какой рай после России!

Однажды на Монмартре появился некий г-н Браун, генеральный консул Советского Союза в Париже. Он пришел узнать о впечатлениях писателя от посещения России. Селин принял его с исключительной вежливостью и со столь же исключительной подозрительностью. Как рассказывает Андре Пюликани, "консул — в котором не было ничего славянского — не скрыл, до какой степени в Москве чувствительно относятся ко всему, что Селин пишет. Доказательством может служить перевод "Путешествия" на русский и большие его тиражи. Поэтому г-ну Брауну не терпелось узнать о тех прекрасных страницах, которые Селин конечно же не преминет написать о Советской России. Дипломат не упустил возможности деликатно намекнуть на то, что в огромной России очень много читателей. Следующее произведение великого писателя, утверждал он, будет переведено сразу же после появления, и за него будет выплачен значительный гонорар. Я здорово веселился, зная, что Селин — утонченный и чистый, лишенный пороков и потребностей, без машины, без служанки, пьющий

только воду и не курящий — одно из редких существ, на которые невозможно оказать давление, человек неподкупный"[1].

Чтобы написать "Mea culpa", Селин отложил в сторону замыслы других книг... Резкая критика в адрес "Смерти в кредит" не только больно его задела, но на какое-то время выбила из колеи. Столько труда, столько стилистических исканий, и ради чего? Ведь его совершенно не поняли. Пребывание в Ленинграде все же улучшило его настроение — и отвлекло от проекта нового романа. Впервые этот одинокий, молчаливый, державшийся всегда в стороне от любых общественных и политических схваток человек захотел изменить своей жизненной позиции, чтобы высказаться тотчас, без промедления. Слишком сильны были нападки. Слишком невыносимым казалось ему лицемерие, с каким левые бахвалились своей безупречно чистой совестью. Он повидал Россию, он только что оттуда вернулся. Провал советской системы подтверждал его опасения, правоту его точки зрения. Впервые он не позволил себе терять время на тщательную отделку текста, редактирование... Ему хватило двух или трех недель, чтобы написать задуманное. Он ощущал себя носителем послания. Ему не терпелось его донести, и он его донес. Нам кажется, что под влиянием гнева Селин иной раз в буквальном смысле слова захлебывается, утрачивает равновесие, задыхается, иногда от него ускользает нить повествования. Образы сталкиваются, набегают друг на друга... Что, собственно, хотел сказать Селин? Здесь нет антисемитизма, нет личных выпадов, речь не идет ни о танцах, ни о балете, как в "Безделицах". Рассматривается одна тема — коммунизм. И даже нет точного (как у Жида) описания самой поездки, мало информации. Это просто атака на сами основы коммунизма. Что дает Селину повод вернуться к одной из его навязчивых идей — о жестокости или укоренившемся в сердце каждой личности эгоизме. Если он нападает на коммунистов, то отнюдь не для того, чтобы объявить себя сторонником буржуазного порядка. Он хотел бы как консерваторов, так и народных комиссаров выбросить на помойку истории — да и своей литературы. Почему Селин не примкнул к левым? Потому что не верил в прогресс, в "природную" доброту человека, в массы. Потому что верил он только в личность, личность призрачную, отверженную, бешеную, испытывающую потребность увидеть еще более отчаянную беду, чем ее собственная, чтобы найти в этом точку опоры, возрадоваться тому, что есть люди куда несчастнее... В этом весь смысл "Путешествия" и "Смерти в кредит". Теперь он изложил те же идеи в более отвлеченной форме.

Начав в 1955—1957 годах работу над новым романом, который открывал "хронику" его странствий по гитлеровской Германии, Селин сразу придумал заголовок — "Из замка в замок". Ему казалось логичным соединить в одной драматической связке замок Зигмаринген, где он пробыл с ноября 1944 по март 1945-го, и Vestre Faengsel в Копенгагене, где он восемнадцать месяцев, с декабря 1945 по июнь 1947-го находился в заключении, перемещаясь из камеры в лазарет или в соседние больницы и обратно. На самом деле воспоминаний об одном лишь

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 36.

Зигмарингене хватило на целую книгу, так что заголовок стал звучать не слишком уместно и даже непонятно. Но ведь и мрачная тюрьма в Копенгагене, где прозябал писатель в ожидании приговора датских властей, которые никак не могли решить: удовлетворить требование Франции об экстрадиции или освободить его, и "опереточный замок" в маленьком швабском городке, над которым будто в насмешку висел французский флаг и где развеялись последние мечтания коллаборационистской Франции, действительно были монументальными символами конца войны, когда воедино сплелись трагедия и гротеск, величие, шутовство и кошмар. Селин бежал из Франции и оказался рядом с Петеном, Лавалем[1] и прочими вишистами, но сам не имел доступа в замок, где располагались члены бывшего французского правительства со своими семьями. Его война вскоре закончится в недрах другого

Люсетт и Селин в Дании

замка, враждебного, ледяного, с проступающей по стенам сыростью, где именно он станет и почетным гостем, и настоящим узником...

В начале ноября 1944 года Люсетт, Ле Виган, кот Бебер в своей корзинке и Селин покинули Нойруппин и отправились в путь; путешествие было сравнительно спокойным: поезда еще не сходили с рельсов и останавливались на вокзалах, которые пока были целыми и не-

1. Анри Филипп Петен (1856–1951) – маршал Франции, во время оккупации Франции немецкими войсками стал главой коллаборационистского режима Виши. В 1945 г. был приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением.
Пьер Лаваль (1883–1945) – дважды был премьер-министром Франции (с 1931 по 1932-й и с 1935 по 1936 г.), с 1942 по 1944 г. – глава коллаборационистского правительства. После Освобождения был приговорен к смертной казни и расстрелян. (*Прим. ред.*)

вредимыми — бомбы союзников еще не успели превратить их в руины. Берлин, Лейпциг, Фюрт, Аугсбург, Ульм... Они проехали через всю Германию, с севера на юг, от Пруссии до Баварии, и оказались в Баден-Вюртемберге.

А незадолго до их прибытия, 18 октября, в Ульме в присутствии фельдмаршала фон Рундштедта проходили грандиозные общенациональные похороны Роммеля. Так что Селин слегка подправил хронологию, когда с позиций очевидца описал в "Ригодоне" пышную торжественность этой церемонии и знаменитую — фантастическую — встречу фельдмаршала фон Рундштедта с котом фон Бебером.

Впрочем, в вокзале Зигмарингена не было ничего фантастического — длинное одноэтажное сооружение из серого камня, укрывшееся в изгибе Дуная... Французские беженцы толпились в зале ожидания, куда их направляли представители немецких властей и добровольная французская полиция, которой были поручены наблюдение и контроль за вновь прибывшими. Проститутки, осведомители гестапо, бывшие любовницы офицеров СС и другие представители лагеря побежденных, многим из которых на родине грозил суд, — всю эту публику надлежало рассортировать и кому-то отказать в приеме. Городок был переполнен... Право на пребывание в Зигмарингене, ставшем новым французским анклавом в самом сердце германской территории, следовало доказать.

Само собой разумеется, Селину и его спутникам доказывать ничего не понадобилось. Их бумаги были в полном порядке, да и поток беженцев к ноябрю несколько поредел. Ужасающие заторы пришлись на сентябрь и октябрь, когда сюда хлынули, главным образом из Баден-Бадена, первые волны беженцев. К тому же Селин, вопреки его воле, считался здесь одной из звезд если и не коллаборационизма, то антисемитизма. А еще он был врачом. Его приезда ждали почти что с нетерпением.

Люсьен Ребате[1] так описывал его прибытие:

Однажды утром по Зигмарингену разнесся слух: "Селин приехал", и действительно, этот странный человек прибыл сюда прямо из своего Кренцлина. Памятен его выход на сцену. В глазах еще стоят картины поездки по Германии, под бомбами, на голове — холщовая синеватая фуражка вроде тех, что носили машинисты паровозов году этак в 1905-м, две или три накинутых одна на другую куртки — одна грязнее и дранее другой, на шее болтается пара изъеденных молью рукавиц, а под рукавицами, в сумке, прижатой к животу, — кот Бебер, на морде которого застыло невозмутимое выражение истинного парижанина, много повидавшего на своем веку. Надо было видеть лица здешней публики, мелких коллаборационистов, рядовых полицейских осведомителей и т. д. при появлении этого бродяжки: "Так это и есть фашистский писатель, гениальный пророк?" Да я и сам при виде его буквально потерял дар речи[2].

Когда Ребате говорит о выходе Селина "на сцену" — это не просто метафора. Селин и сам описывал замок и город словно видение, декорацию, о которой мог только мечтать любой театральный режиссер:

1. Люсьен Ребате (1903—1972) — французский писатель и журналист. В 1945 г. был обвинен в сотрудничестве с фашистами и арестован. Освобожден в 1952 г. (*Прим. ред.*)
2. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 51.

... вы решили бы, что попали в оперетту... превосходные декорации... вы ждете сопрано, воздушных теноров... целый лес — для резонанса... десять! двадцать лесистых гор!.. Шварцвальд, сосновые склоны, водопады... площадка, сцена, город, так мило приукрашенный, розовый, зеленый, чуточку смахивающий на конфетку, светло-фисташковый, с гостиницами, кабаре, лавками, и все такое странное, словно специально для "режиссера"... Чистый стиль "бошбарокко" и "Белой лошади"... Вы уже слышите оркестр?.. Но главное надувательство — замок!.. он словно вырастает из города... штукатурка под мрамор, папье-маше!.. Я еще не раз поговорю с вами об этом живописном местечке! не только городок на водах и не только туризм... потрясающая история!.. Вершина!.. посмотрите-ка на замок!.. под мрамор, ловкость рук, болтушка из всех стилей, башенки, трубы, химеры... поверить трудно!.. супер-Голливуд!.. все эпохи со времен таяния снегов в ледниковый период, сужения Дуная, смерти дракона, победы святого Фиделиса и вплоть до Вильгельма II с Герингом.

Почему выбор пал на Зигмаринген? В конце августа Гитлеру пришлось смириться с очевидностью: битва за Францию проиграна. Был дан приказ отходить к Рейну. В обозе он оставил место для Петена и его приспешников. Не столько ради спасения их жизни, сколько для того, чтобы подстраховаться на будущее — вдруг французские территории удастся отвоевать? — и сохранить видимость французского правительства в изгнании... В качестве приюта для беженцев из числа "открытых коллаборационистов" он избрал небольшой городок Зигмаринген в пятидесяти километрах от озера Констанц. Княжеское семейство Гогенцоллернов-Зигмаринген, находящееся в ближайшем родстве с бывшей императорской фамилией, получило от руководства рейха приказ немедленно покинуть замок и поселиться неподалеку. Надо заметить, что население городка сочувствовало Гогенцоллернам, и там были сильны антинацистские настроения. Так что первых французов, которые начали приезжать 7 сентября и разместились в замке, встретили с глухой враждебностью.

Не все они, правда, приезжали в Зигмаринген по своей воле. Петена вместе с женой и небольшой свитой верных ему людей, в том числе врача Менетреля, немцы привезли в замок насильно. Как и Лаваля, который уже прикидывал возможности установления контактов с американцами после освобождения Парижа; его немцы по сути арестовали и доставили, как и членов бывшего правительства, сначала в Бельфор, а затем в Зигмаринген.

Каким же было положение в небольшом городке Баден-Вюртемберге после полуторамесячного пребывания там французов, когда в ноябре 1944 года туда приехал Селин? Он увидел хорошенькие домики с каркасными стенами, красивую мэрию с балконами в цветах, часовни с колокольнями под луковицами и чрезмерно пышное убранство церквушки Святого Иоганна в стиле барокко. Но самым главным были замок и его обитатели. Здание смахивало на причудливый лабиринт, который и сегодня привлекает туристов и в котором смешались все стили и все века, готика с неоготикой, Возрождение с XVIII и XIX веками. Так сказать, Виолле-ле-Дюк[1] по-немецки. Построенный на скале, с обрывающимся к Дунаю северным фасадом и окруженный тенистой

1. Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (1814—1879) — французский архитектор, занимался реставрацией знаменитых средневековых архитектурных ансамблей. (*Прим. ред.*)

аллеей из каштанов и ив, замок Зигмаринген сохранил свои романтические черты... За синей гостиной, где все напоминало о Наполеоне и где висел портрет Каролины Мюрат, следовали зеленая гостиная, черный салон, затем красный, так что увидеть можно было чуть ли не все цвета. Но особое впечатление на Селина произвел зал предков с портретами в полный рост всех Гогенцоллернов, начиная с Карла I, получившего в 1535 году в удел Зигмаринген, и вплоть до самого последнего в роду. И конечно галерея Святого Губерта с ее охотничьими трофеями и замечательным оружейным залом со множеством алебард, доспехов, кулеврин и арбалетов...

Знавшему тонкости протокола бывшему "послу" Германии в Париже Отто Абецу было поручено проследить за размещением беженцев в замке. На самом верху, на седьмом этаже, дремал Петен в окружении своей свиты. На шестом в роскошных апартаментах расположились почетные гости вроде отчаявшегося, преисполненного горечи Лаваля с супругой. Неподалеку были также собраны "пассивные" министры, то есть те, что признали себя побежденными и, мысля достаточно трезво, отказались от жалкой игры в правительственную легитимность и участия в пустой болтовне Фернана де Бринона и его окружения. Тут следует прежде всего назвать самого молодого министра в правительстве Лаваля Жана Бишелона. Он был выпускником Высшей политехнической школы, обладал поразительной памятью и огромной работоспособностью и еще несколько месяцев назад отвечал за промышленное производство. Существуй тогда такое слово, его можно бы назвать технократом. В 1943 году он попал в автомобильную катастрофу и страдал от незалеченного тройного перелома колена. Между ним и Селином начала завязываться дружба, но через несколько дней после приезда писателя Бишелона отправили в клинику в Восточную Пруссию, в Хохенлихен. Операцию делал известный хирург, генерал танковой дивизии на русском фронте доктор Гебхардт. Бишелон умер на операционном столе. Несчастный случай? <...>

В другом крыле размещались "активные" министры, они входили в состав правительственной комиссии и заседали, размахивая последними погремушками власти. Их возглавлял бывший генеральный представитель французского правительства на оккупированных территориях пятидесятисемилетний де Бринон. Селин хорошо знал как его самого, так и верную секретаршу и сердечную подругу де Бринона Симону Митр, и в годы оккупации не раз обращался к ней с разными просьбами.

Итак, в замке нашла приют привилегированная публика. По городу же были разбросаны тысяча двести или тысяча пятьсот французских беженцев. Они жили в палатках, в школах, теснились в малочисленных местных гостиницах. Назовем "Медведей" – дом с островерхой крышей и живописным фасадом на Бургштрассе недалеко от Дуная или "Львов", расположенных менее чем в ста метрах от станции и замка, неказистое кубическое здание, где стены комнат украшали охотничьи трофеи, а в ресторанном зале стояли ряды неизбежных пивных кружек из грубого фаянса. Еда была отвратительной, и стоит упомянуть, например, Stammgericht – тошнотворную местную похлебку из красной капусты, репы и брюквы. Ею кормили рядовых коллаборационистов...

Жизнь Селина в Зигмарингене была незамысловатой.

Правительственная комиссия официально назначила его врачом французской общины, и он занялся лечением соотечественников, правда, обитатели замка и a fortiori[1] Петен в число его клиентов не входили, как иногда пишут. Селин работал на пару с бывшим колониальным врачом Андре Жако, который в период оккупации был членом Национального революционного фронта Марселя Деа[2].

Селин, Люсетт и Бебер были поселены в гостиницу "Львы" (второй этаж, номер 11), а Ле Виган разместился в "Медведях", рядом с Люсьенн Дельфорж, а также Вероникой и Люсьеном Ребате. Ле Вигану не удалось отвоевать должность фельдшера. А найти работу было необходимо — чтобы оправдать и свое пребывание в Зигмарингене, и конуру в гостинице, и продовольственные карточки. Так что Ле Вигану вскоре помимо воли пришлось согласиться на должность диктора местного радио, возглавляемого Жаном Люшером.

В своем по сей день не опубликованном личном дневнике доктор Менетрель, наблюдавший Петена, 21 декабря 1944 года написал:

Встретил киноактера Ле Вигана, с которым раньше не был знаком; он играл в "Краснолапой лисице". Симпатичный, с седеющими волосами, выглядит честным человеком, вежливый и приличный. Он удручен, грустен, расстроен, спрашивает себя, что он здесь делает... его заставили выступать по радио, а это ему претит... Он вызвал у меня жалость. Он сказал, что заглянет ко мне, чтобы я и его "подкрепил".

В Зигмарингене отношения Ле Вигана и Селина начали охладевать. Ле Виган сердился, что друг его забыл. Тем не менее, когда в начале 1945 года Ле Виган заболел гриппом и в ухе у него появился нарыв, Селин преданно и заботливо ухаживал за ним.

В комнате номер 11, крошечном закутке с двумя узкими кроватями, у Люсетт и Селина, само собой разумеется, не было ни малейших удобств. Они жили неподалеку от туалетов, часто засорявшихся. А в нескольких метрах от четы Детуш разместились доктор Мюллер, который отвечал за французскую колонию в Зигмарингене, и бывший начальник парижского гестапо, а ныне ответственный за порядок в Зигмарингене зловещий эсэсовец Бёмельбург.

Работы Селину с Жако в Зигмарингене хватало. Зимние холода, скудное питание и в особенности такое чудесное слабительное, как славный Stammgericht, а также скверные жилищные условия, теснота и антисанитария... Гриппы, чахотка, отиты, вши и другие насекомые, а также чесотка и всевозможнейшие венерические болезни... Селин посещал и родильный дом, устроенный в бывшем монастыре Святого Фиделиса и никогда не пустовавший. После обеда он принимал больных в кабинете местного дантиста, ныне мобилизованного. Селин направо и налево раздавал освобождения от военной службы молодым рекрутам дивизии "Карл Великий", которые обрекались почти на верную смерть... А по вечерам больные приходили к нему в гостиничный номер.

Французское правительство, — вспоминает Люсьен Ребате, — назначило Селина врачом общины, а он и не желал другой работы. На этом месте он ока-

1. Тем более (*лат.*). (*Прим. ред.*)
2. Марсель Деа (1894—1955) — французский политический деятель, государственный секретарь в правительстве Виши. (*Прим. ред.*)

зался полезен. Абель Боннар на всю жизнь запомнил, как самоотверженно, с какой добротой ухаживал Селин за его девяностолетней матерью во время ее долгой агонии. Он был также прекрасным детским врачом. А в последнее время в своем душном и похожем на конуру гостиничном номере в "Львах" (а ведь Селин был специалистом по гигиене!) он лечил и болезни сугубо селиновского типа — от чесотки до эпидемии гонореи. Рассказы его приводили нас в ужас[1].

А вот свидетельство Люсетт:

У нас была комната с двумя постелями, но даже без стола, с одной табуреткой. Именно там Селин принимал своих больных, в том числе и с чесоткой. Я служила ему медсестрой, помогала делать уколы, перевязки. Но как обойтись без лекарств? Селин пытался купить их на собственные деньги, добывал повсюду, искал в городских аптеках. Он также покупал контрабандный морфий, который привозили из Швейцарии. За лечение он никогда не брал ни сантима. По утрам занимался беременными женщинами. Вставали мы рано. Я уходила в замок. Мне наконец-то удалось найти там помещение для занятий — зал с мраморным полом, украшенный мифологическими фигурами, неподалеку от музыкального салона, где играла Люсьенн Дельфорж.

Все разговоры крутились вокруг еды и пресловутого Stammgericht'a, который подавали в гостинице "Львы". Она строилась в расчете на тридцать пять постояльцев, а поселили в нее в пять раз больше. Как улучшить повседневный рацион? Пользоваться услугами черного рынка? Но немцы не желали принимать деньги. В крайнем случае соглашались на обмен. Процветал бартер. Лаваль отдавал блоки сигарет за ветчину и сливочное масло. Но вообще-то лишения коснулись и немцев.

По воспоминаниям Ребате, Селин был просто одержим проблемой продовольствия, хотя сам ел мало:

Он старался закупить на черном рынке побольше ветчины, колбасы, копченых гусиных грудок. А чтобы не привлекать внимания к своим запасам, к своим сокровищам, прибегал к наивным хитростям. В частности, время от времени он посещал наши харчевни — как если бы у него не было других возможностей, приходил в "Алтем Фриц" или в "Медведей", разделял с остальными официальный рацион, ел все тот же гнусный Stammgericht из красной капусты и брюквы. И пока он сосредоточенно поглощал еду, Бебер высовывал мордочку из корзины и недоверчиво обнюхивал тарелку, затем с чувством оскорбленного достоинства отворачивался и скрывался в своем убежище.

"Бебер не ошибается! — говорил Фердинанд. — Он скорее сдохнет, чем прикоснется к этой мерзости... Насколько же он разборчивее, аристократичнее, чем мы, грубые мешки с дерьмом! Мы-то ведь только нахваливаем эти помои! Еще бы!"

Затем, довольный своей хитростью и нашим смехом, он начинал монолог — неслыханный! — о смерти, войне, вооружении, народах, континентах, тиранах, катарах, неграх, азиатах, внутренностях, влагалищах, мозгах, о Плинии Старшем, Иисусе Христе. Трагические события выжимали весь сок из его гения, словно из винограда, Селиновский сок брызгал во все стороны. Мы находились у родников его искусства[2].

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 51.
2. Ibid, p. 52.

У Люсетт сохранились несколько другие воспоминания, хотя и она пишет об отвратительном Stammgericht'e, который они несли в свою комнату, по пути извлекая кусочки картошки для Бебера, а также о жалком эрзаце колбасы, которую им выдавали на две их карточки. Но, к счастью, в городе имелся бакалейщик, которому кот полюбился.

Он откладывал для него обрезки, хвостики колбасы. Когда мы уезжали из Зигмарингена, именно он хотел взять кота к себе... Кухарка Боннаров также любила кота. Вытапливая гусиный жир, она откладывала обжаренные кусочки в сторону, и мы берегли их для нашего супа или для Бебера. Марион, который ужинал в замке, иной раз поздно вечером заглядывал к нам и приносил маленькие булочки — он таскал их со стола. Потом министры удивлялись: "Куда же подевались булочки?" Мы все были ужасающе худыми, одни кости! Наверное, я весила меньше сорока килограммов. Ле Вигана я звала огородным пугалом. Руки и ноги у него были похожи на палки. Хотя я бы не сказала, что нас преследовали мысли о еде. Мы ослабели, но думали не только о еде или своем физическом состоянии. Я одевалась как землекоп — вельветовые брюки, толстые башмаки...

Само собой разумеется, Селина ни разу не удалось вовлечь в какую-либо пропагандистскую работу. Он с горькой иронией наблюдал за дворцовыми ссорами, за интригами Бриду и де Бринона (который всегда относился к писателю благожелательно, терпимо, несмотря на то, что тот позволял себе едкие пораженческие высказывания), когда те старались вернуть Петена к активной деятельности; за конфликтами между Дорио, игравшим на берегах озера Констанц роль спасителя, которого ниспослала им всем судьба, и правительственной комиссией Зигмарингена. А еще Селин выслушивал сплетни в кондитерской "Шён", где Ги Крузе, Альфонс де Шатобриан или Жак Менар комментировали последние новости, военные сводки, сетовали на крах всех своих надежд. Повсюду царили соперничество, дрязги и ложь.

Лаваль и другие "пассивные" трижды приглашали Люсетт и Селина в замок на ужин. Для писателя это было возможностью произносить апокалиптические речи. Однажды вечером, наверное в насмешку, его назначили губернатором островов Сен-Пьер и Микелон. Но для Селина, Ребате и других интеллектуалов замок был привлекателен прежде всего своей библиотекой в восемьдесят тысяч томов.

Селин раскопал там подборку журнала "Ревю де дё монд" за 1875—1880 годы. Он не уставал восхищаться уровнем обнаруженных в журнале статей: "Вот это была серьезная работа... они глубоко копали, нам бы у них поучиться... Хороший стиль, штучная работа... Без трепа". Это единственное чтение, о котором он говорил со мной[1].

Всего через несколько дней после приезда Селина в "Немецком доме" по инициативе Карла Эптинга состоялась конференция "День знания французской интеллигенции в Германии". Выступали де Бринон и Деа. Селин сидел в президиуме. Не прошло и получаса, как он поднял такой шум, что вся затея пошла насмарку.

Это свидетельство Ребате подтверждается письмом, отправленным Селином 23 июня 1946 года своему адвокату Тиксье-Виньянкуру, где он

1. Ibid, p. 53.

оправдывался в ответ на выдвинутые против него комиссаром республики обвинения.

На состоявшемся в мэрии Зигмарингена в присутствии Деа, Зибурга, Люсьенн Дельфорж, Жаме, Эптинга собрании интеллигенции (интеллигенции Левого берега), затеянном с целью улучшить их настроение (ужасающе подавленное) — оно проходило под гул постоянно пролетающих над нами могучих эскадр, которые неслись уничтожать Дрезден и т. д., под грохот добравшихся до Шварцвальда пушек французской армии! — я сказал, я выкрикнул: "Я считаю все это пропагандистское бормотание отвратительным! Я думаю, что Зигмаринген — это предместье Катыни! И вам всем скоро придется платить по счетам за эту недостойную глупость!"

Было гораздо опаснее высказываться подобным образом в присутствии Баумельбурга, чем перед микрофонами на Оксфорд-стрит, куда как опаснее!

Новый кризис вспыхнул в Зигмарингене 22 ноября в связи с арестом немцами доктора Менетреля. Это было наглядным примером бесплодности любой борьбы за влияние, местнических ссор, прямо-таки флорентийских политических интриг, когда по сути надеяться было уже не на что. Менетрель, которого Фернан де Бринон подозревал если и не в измене, то во враждебности по отношению к правительственной комиссии, был доверенным лицом Петена, его близким другом. И раз Петен отказывался сотрудничать с комиссией, отказывался своим именем и авторитетом прикрывать ее действия, значит, виноват был Менетрель. Отсюда идея устранить его, чтобы ослабить сопротивление маршала. На его место де Бринон и Бриду нашли молодого врача из расположенного неподалеку лагеря для военнопленных, доктора Шиллеманса...

Само собой разумеется, у Шиллеманса было немало случаев встретиться с Селином. Для нас его свидетельство особенно ценно:

Он (Селин. — *Ф. В.*) был высок ростом, худощав, и его глубоко сидящие в глазницах сверкающие глаза под очень пушистыми бровями тревожно поблескивали. Когда он смотрел на вас, его зрачок странным образом замирал, и казалось, что его взгляд постоянно задает вам какой-то вопрос. Он носил выцветшую, когда-то бывшую коричневой куртку и темно-синие брюки, болтавшиеся на тощих ногах. Через шею на веревочке висели большущие меховые перчатки, а в левой руке он держал дорожную сумку, в которой были прорезаны дыры. Как я узнал позднее, в сумке он носил огромного кота. Вот и все относительно нелепого вида этой любопытной личности. Что касается кота, то это был великолепный зверь, которого я не успел хорошо разглядеть. Пожалуй, он был с ягненка и, право, казалось, испытывал немалое удовольствие от такого средства передвижения. Прелюбопытное животное[1].

Естественно, Шиллеманс настороженно относился к скандальной репутации автора "Безделиц для погрома". Отсюда его удивление, когда он услышал, как тот, пренебрегая всякой осторожностью, мечет в немцев громы и молнии.

При немецком консуле он сказал мне, что я должен заниматься французской общиной, и, не замедляя стремительного потока речи даже для того, что-

1. G. T. Schillemans. Philippe Pétain, le prisionnier de Sigmaringen. Éd. M. P., 1965.

бы выслушивать ответы, осведомился о причинах, приведших меня в Зигмаринген. Похоже, его забавляла возможность таким образом поворошить это осиное гнездо. Образно, используя совершенно неожиданные и невероятно потешные выражения, он набросал картину военного положения, как он его себе представлял: "У меня впечатление, что на этот раз они расслоились и закостенели, — говорил он о немцах. — Конец гибким отводам, резина затвердела". А дальше все тем же издевательским тоном, с тем же выговором парижского гавроша, который никак не вязался с лихорадочным блеском светлых глаз и огромными зрачками, трагически уставившимися на вас: "Вот я и задаю себе вопрос, что же выйдет из этого хаоса? Что вы, человек с другой стороны, думаете обо всем этом?" Выглядело это так, словно он действительно желал, чтобы война прекратилась побыстрее и — что довольно странно для обитателя Зигмарингена — полным крахом рейха. "Сейчас они должны бы уже сообразить, что пора кончать, — говорил он чуть позже. — Тут нет ничего забавного; чего они растягивают удовольствие; ребята, которых сейчас берут в армию, вообще-то, почти годятся мне во внуки. Если бы еще, как с оспенным больным, можно было обойти это дело стороной!.."

Немного погодя, когда Селин все еще разговаривал с Шиллемансом, он заметил эсэсовца Бёмельбурга с собакой. Понизив голос почти до шепота, Селин сказал:

"Послушайте, вы видите мужчину, беседующего с Мюллером, хозяина того огромного пса, что крутится вокруг них?" Действительно, я заметил высокого мужчину, сверху вниз смотревшего на доктора Мюллера, а также замечательного боксера, бегавшего взад и вперед словно хищный зверь. Селин еще больше понизил голос и комически закатил глаза: "Я затруднился бы вам сказать, кто из них, человек или зверь, свирепее: оба они питаются человеческим мясом. Не шучу, — заверил он меня. — Этот тип — главарь гестапо, и он кормит собаку кусками мяса, которые вырывает у своих жертв". Он пристально посмотрел на меня, прежде чем добавить: "Остерегайтесь его. Он крайне опасен. У вас нет привычки. Остерегайтесь!"

Что за любопытная личность этот Селин! В свою очередь я задавал себе вопрос, почему же он принял участие в исходе, почему оказался тут, а поскольку мы были одни, я его об этом спросил. Правда, я мало что знал о нем, как, впрочем, немного знаю и сейчас; в принципе, всегда существует какая-то причина, чтобы на такое решиться. Вместо ответа на заданный вопрос мой собеседник только возвел к небу глаза и сокрушенно покачал головой <...>

Казалось, что теперь Селин о многом сожалеет. Не могу забыть его больших тоскующих глаз, того, как он смотрел на меня; этот словно взывающий о помощи взгляд странным образом контрастировал с шутливым тоном, юмором и умением разглядеть в человеке смешное, со свойственными ему манерами монмартрского певца. И по сей день я испытываю по отношению к этому человеку, которого практически не знал, странное чувство жалости[1].

Через несколько недель Шиллеманс решил покинуть Зигмаринген и по неосторожности проговорился. В глазах Фернана де Бринона это было предательством, дезертирством. Шиллеманса посадили под арест, поставили у дверей его комнаты часового. Селин тогда вмешался, спасая доктора от "неприятностей". Он обратился к Бринону.

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 53.

Шиллеманс смог снова вернуться в лагерь для военнопленных, подальше от Зигмарингена.

Война неотвратимо приближалась к небольшому городку в верховьях Дуная. Союзная авиация бомбила Ульм, Штутгарт. 23 декабря генерал Леклер[1], командовавший 2-й танковой дивизией, освободил Страсбург, где его приветствовала ликующая от счастья толпа. В Зигмарингене веселились много меньше. Люшер по местному радио желчно прокомментировал успех Леклера. Вечером за ужином де Бринон, по словам Шиллеманса, заявил ему: "Люшер, я решительно не оценил ваш текст о генерале де Отклоке. Это великолепный офицер и превосходный француз, хотя он и замешан в сомнительной авантюре. Я не позволю вам бросать тень на его честь, — и он закончил презрительным тоном, чтобы его добить: — В особенности вам, Люшер". Естественно, от этой неожиданной выходки на всех повеяло холодом...

В ночь с 15 на 16 декабря фон Рундштедт предпринял наступление в Арденнах, задействовав 250 тысяч солдат и офицеров, 2 тысячи артиллерийских орудий и 1 тысяча танков. Последняя судорога, последняя надежда.

Только один человек ничему не удивлялся, не давал обмануть себя и не строил иллюзий. Селин... Он пока еще не знал, что по приказу военного министра от 5 января 1945 года во Франции его памфлеты были изъяты из продажи. Он и без того понял, что на родине жизнь его не стоит ничего. 6 февраля был казнен Бразийяк. Просьбы о помиловании, подписанные Мориаком, Кокто и многими другими деятелями культуры, не принадлежавшими к коммунистической партии, мало что значили в глазах генерала де Голля. Но отнюдь не эта новость подтолкнула Селина к мысли об отъезде. Для него Зигмаринген был лишь этапом. Все более ненадежным убежищем — кольцо сжималось, союзные армии переправились через Рейн, американцы и французы достигли Шварцвальда...

22 января 1945 года он официально обратился к генеральному консулу Швейцарии в Штутгарте:

Имею честь просить въездную визу в Швейцарию для себя и своей жены. В настоящее время — беженец в Зигмарингене, доктор медицины Парижского факультета и инвалид войны (75-процентная потеря трудоспособности) — Литературное имя — Л.-Ф. Селин. Может быть, оно вам известно и объясняет, почему я должен был покинуть Францию, где сейчас почти наверняка был бы приговорен к смерти. Я не намерен продлевать свое пребывание в Швейцарии сверх срока, который потребуется для политического успокоения, — к примеру, более одного года. Я имею с собой золотые монеты и драгоценности примерно на 12 тысяч швейцарских франков. Кроме того, после моего приезда в Швейцарию мне было бы нетрудно добиться из Испании втрое большей суммы от друзей, которым я доверил значительные суммы в золоте.

Ответа на свое письмо он не получил. В те военные годы великодушие, чувство гостеприимства и готовность предоставить политическое убежище отнюдь не отличали федеральные власти Гельвеции. Сколько евреев и противников нацистского режима, скрытно проникших в

1. Филипп Мари де Отклок, прозванный Леклером (1902—1947) — французский генерал, посмертно ему было присвоено звание маршала Франции. (*Прим. ред.*)

Швейцарию, были выдворены на германскую границу и, следовательно, обречены на смерть? Но и у Селина, принадлежавшего к противоположному лагерю, не было ни малейшего шанса. Хотя он все же попытал счастья. Люсетт рассказывает, как вместе с Селином и Бебером они тренировались, совершая долгие походы по глубокому снегу, чтобы однажды — кто знает? — перейти швейцарскую границу. Гостиница "Львы" находилась менее чем в ста метрах от станции. Иногда они бродили вдоль путей, следя за отправлением поездов в Швейцарию — в надежде на случай, а вдруг удастся вскочить на подножку. Мысль о бегстве стала для Селина наваждением. Однажды им почти что повезло. Поезд трогался. Они успели подняться на ступеньки. Но в последнее мгновение их заметили немецкие часовые и стали грозить. Пришлось спрыгнуть.

В городе атмосфера становилась все более удушающей и гротескно-абсурдной. 20 января Эптинг устроил новое собрание французской интеллигенции. Затем последовал ужин, в котором участвовали многочисленные представители военных и административных властей. В меню одно-единственное рыбное блюдо и достойное количество бутылок с красным вином.

Селин, не выпивший ни капли вина, принялся проводить параллель между участью "бошей", которые умудрились проиграть войну и которые тем не менее смогут вскоре разойтись по домам как честные граждане и честные солдаты, с чистой совестью — они ни перед кем не должны отчитываться, они выполнили свой патриотический долг, — и судьбой французских "коллабо", терявших в этой игре в дурака все — и достояние, и честь, и жизнь. Так вот, он, Селин, больше не хочет молчать, он должен сказать, что ему всегда был ненавистен немецкий мундир и что он никогда не был настолько туп, чтобы не понять: под таким знаком коллаборационизм превратится в жуткое проклятие. Высокие военные чины сочли селиновскую выходку превосходной шуткой, она их очень развеселила, и, когда Фердинанд ушел спать, сожалели о том, что он их покинул[1].

Вот уже неделя, как Дрезден превратился в груду дымящихся развалин. Красная Армия наступала. Американская армия наступала. И Селина по-прежнему мучительным наваждением преследовал вопрос: как бежать? Раз нельзя в Швейцарию, надо добраться до Италии, до аэродрома Мерано и оттуда лететь в Испанию... Почему бы и нет? Но как? Для Дании требовалась виза. Селин просил о содействии Эптинга, но тот ничего не мог сделать. 15 февраля Селину нанес визит лейтенант Геллер. Ранее в Париже он руководил немецкой цензурой. Теперь его обвиняли в пораженчестве, и он тоже ничем не мог посодействовать писателю. Тогда Селин подумал о бывшем начальнике немецкой разведслужбы в Западной Европе Германе Биклере, с которым иногда встречался в Париже в его кабинете на авеню Фош. К тому времени Биклер перебрался в Шварцвальд. В конце февраля Биклер приехал в Зигмаринген повидать писателя. По свидетельству Люсетт Детуш, он сказал следующее: "Уезжайте как можно быстрее, Германия на краю гибели, попробуйте добраться до Дании, не знаю, помогут ли вам ваши бумаги, поезда почти не ходят, границы закрыты. Но хотя бы попытайтесь".

1. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 53.

Биклер сделал все необходимое, чтобы они получили визы, аусвайсы, разрешения и т. д. Он написал дипломатическому представителю Германии в еще оккупированной Дании, чтобы облегчить Селину, Люсетт и Беберу въезд в страну. У Бёмельбурга он добился, чтобы их паспорта, срок действия которых истек еще в декабре, были продлены и чтобы тот достал им документы, необходимые для проезда по Германии... Удостоверение было также выдано бывшему солдату Легиона французских добровольцев Жерминалю Шамуену, которого по состоянию здоровья комиссовали с Восточного фронта; он укрывался в Зигмарингене и помогал Селину в качестве санитара. Вроде бы этот Шамуен слыл удивительно пробивным малым. Ему не было равных в искусстве добывать лекарства, продукты питания и собирать последние городские сплетни в этой, по словам Алена Лобро, "состоящей из кучки болтунов общине".

6 марта в Париже скончалась Маргерит Детуш. В Зигмаринген до Селина весть о смерти матери не дошла. Никакие новости из Парижа сюда больше не просачивались.

Дриё Ла Рошель[1] покончил жизнь самоубийством 16 марта. В свое время он ошибся. И проиграл. Теперь он выходил из игры. Без шума. С достоинством интеллигентного человека, пережившего крах иллюзий. Ничего общего с Зигмарингеном, где крысы лихорадочно метались, рвали друг друга, придумывали, как спасти шкуру, убежать с корабля, обо всем забыть, все отрицать... Здесь, на берегах Дуная, где одни готовили себе отступление в Швейцарию, другие в Испанию, а третьи намеревались укрыться в Австрии или даже в Южной Америке, никому и в голову бы не пришло, что Дриё может покончить с собой. Здесь каждый готовился сменить имя, предать собственную память, словно речь шла о том, чтобы скинуть пиджак или взять новый.

Селин стоял в стороне от этой панической лихорадки, он считал, что ему не от чего отрекаться и нечего забывать. 18 марта он получил свою датскую визу. 22 марта в 19 часов 30 минут сел в идущий на север поезд. Накануне он отнес Бебера к бакалейщику, которому тот полюбился. Но кот отверг позолоченную и сытную тюрьму в Баден-Вюртемберге. Утром в день их отъезда он выбил в лавке решетку и явился к своим хозяевам в гостиницу "Львы". Бессмертный Бебер! Гоп — в сумку и в путь, в Данию, к новым селиновским приключениям или, если угодно, к новым катастрофам.

Люсьен Ребате пришел их проводить.

Когда опустилась ночь, мы сошлись на вокзальном перроне. Там были моя жена, Абель Боннар, Жако, Ла Виг, примирившийся после двенадцатой за зиму ссоры с другом Фердинандом, еще двое или трое близких людей. Семейство Детуш во главе с Люсетт, как всегда безупречной, невозмутимой, опытной, тащило на себе около двухсот килограммов багажа — несомненно, остатки славных селиновских чемоданов, которые теперь обшили парусиной и перевязали ремнями; с таким снаряжением можно было отправляться хоть в джунгли Бамболы-Брамагансы. До границы их сопровождал лихой парень, вроде бы санитар. Он должен был помогать при пересадках. Сама поездка рисовалась им тяжким странствием по разгромленной и полыхающей Германии. Селин прижимал к животу Бебера и буквально сиял. Конец бомбардировкам, покорному

1. Дриё Ла Рошель (1893–1945) — французский писатель, открыто стоял на позициях нацизма.

ожиданию харчей в глубине мышеловки. В его памяти мы вряд ли займем большое место. К перрону подъехал поезд, один из тех жалких поездов времен немецкой агонии, с паровозом на дровах. Мы крепко обнялись, погрузили скарб. В последний раз Фердинанд раскрывал свой невероятный паспорт, крутил им. Состав тронулся, словно "кукушка" из альбома Дюбу[1].

А мы оставались в адском горниле. Но никакой зависти не испытывали. Если нам и придется в этом горниле погибнуть, все-таки лучший, величайший среди нас будет спасен[2].

Итак, вечером 22 марта маленький поезд покинул Зигмаринген, глубокой ночью он добрался до предместий Ульма, который располагался в семидесяти километрах к северу. Вокзала больше не было, вместо него стояли какие-то сараи. Город-призрак лежал в развалинах, и его требовалось ранним утром пройти насквозь, чтобы на востоке найти новый сарай, новый поезд — на Аугсбург. Для Селина и его спутников начиналась безумная одиссея; они двигались на север, к Дании, к этой земле обетованной. Словно тени, отупев от усталости, они спасались от бомбежек, выбирались из сошедшего с рельсов поезда и пересаживались в другой, ехали мимо сумеречных пейзажей, через охваченные паникой города, мимо людей, сидевших по подвалам и ожидавших наихудшего — может, казаков, а может, смерти... Эти люди с ужасом вспоминали гитлеровскую мечту о великом рейхе, который просуществует тысячу лет.

Одиссеи бесконечны. Люсетт признается, что, как ей казалось, это путешествие продолжалось около месяца. В письме к своему другу доктору Камю Селин говорит о примерно трехнедельной экспедиции.

Люсетт посадила его (Бебера) в сумку. Там она держала его в течение восемнадцати дней и восемнадцати ночей, без питья, без еды, не выпуская по его делам. Он не шевелился, ни разу не мяукнул. Он понимал всю трагичность ситуации. Мы двадцать семь раз пересаживались с поезда на поезд. В дороге все сгорело или было потеряно, кроме кота. Тридцать семь километров мы прошагали пешком, от одной армии к другой, под более страшным, чем в 17 году, обстрелом.

По правде говоря, их путешествие продолжалось меньше пяти дней. 27 марта они уже были в Копенгагене. Но и пять дней могут походить на вечность. Пяти дней оказалось достаточно, чтобы из этого получился целый роман ("Ригодон"): столько было приключений, драм, потрясений. Пять дней способны всю жизнь порождать кошмары.

Селин был постоянным клиентом гостиницы "Англетер". Перед войной он останавливался обычно именно там. Но теперь узнать его было невозможно. Ему пришлось вести длинные переговоры, объясняться по-английски, предъявлять бумаги, перечислять своих датских знакомых... Но в конце концов номер был получен.

Проспали они как убитые много часов, без сновидений, а на другой день прошлись по улицам. Дания еще находилась под немецкой оккупацией, но жизнь показалась им мирной. В лавках Копенгагена шла бойкая торговля.

1. Альбер Дюбу (1905—1976) — французский художник, книжный иллюстратор. *(Прим. ред.)*
2. Cahiers de l'Herne, N 3, p. 54.

Это изобилие было как сон, — вспоминает Люсетт, — мы вошли в магазин и увидели сыр, яйца, сливочное масло. Словно в истерике я начала смеяться, говоря себе: это же невозможно! Столько времени мы терпели страшную нужду... А здесь у меня вдруг возникла уверенность, что я могу спросить три килограмма масла, сотню яиц, все, что захочу. Но это же невозможно, так не бывает, это невозможно! Я смеялась от усталости, от перевозбуждения.

Во Франции суды с безукоризненным рвением продолжали свою работу. 19 апреля судебный следователь Зусман выдал ордер на арест Селина, обвиняемого по статьям 75 и 76 Уголовного кодекса в государственной измене. Теперь могло начаться официальное преследование. Все было ясно, перспективы четко обозначены: Селину грозил смертный приговор.

Война в Европе подходила к концу. 21 апреля французские войска вступили в Зигмаринген, в то время как русская армия находилась на подступах к Берлину. Только что от кровоизлияния в мозг скончался Рузвельт. 28 апреля итальянское движение Сопротивления поспешно казнило Муссолини. 30-го Гитлер покончил с собой в своем бункере. А вот Петен уцелел, 26 апреля его посадили под стражу в форт Монруж. 4 мая капитулировали немецкие оккупационные войска в Дании, и английская армия освободила страну. Наконец 8 мая фельдмаршал Кейтель подписал в Берлине заключительный акт о капитуляции Германии.

Итак, конец? Но правда только начинала выходить на свет. Миру открывался безумнейший беспредел холокоста...

Какое это имеет отношение к Селину? Да никакого, если не принимать в расчет влияние, которое писатель, пусть и стоящий в стороне от партий и политической жизни, оказывает на ход событий. Воздействовали или нет сочинения Селина на гитлеровскую политику? Конечно же нет. Но вопрос следует ставить иначе. Сочинения Селина сильно повлияли на французскую идеологию, подпитывали и развивали идеи антисемитизма, а значит, подталкивали к соглашательству с немцами. Это несомненно.

На Копенгаген опускалась осень. Кольцо вокруг Селина сжималось. Французская дипломатическая миссия в Дании получила анонимное письмо с сообщением о том, что писатель находится в городе. 1 октября глава миссии Ги де Жирар де Шарбонньер телеграммой известил об этом министра иностранных дел Жоржа Бидо. Он уже начинал проявлять рвение в преследовании "известного коллаборациониста". Он запрашивал указания. Следовало ли официально потребовать экстрадиции Селина? От Бидо поступил ответ: еще 1 апреля был выдан ордер на арест Селина, предлагалось известить об этом датское правительство. Папка французской миссии пополнилась копиями обвинительных документов против Селина, в том числе изданием "Guignol's Band" и предисловием к "Безон сквозь годы" (хотя рассматривать два последних сочинения как улики было по меньшей мере смешно). В вину ему ставилось и то, что он являлся почетным членом Европейского клуба, а летом 1944-го бежал в Германию.

Наконец 23 ноября Бидо приказал Шарбонньеру добиться экстрадиции писателя. Дело Селина? По правде сказать, на него мало кто обра-

тил внимание в тот момент, ведь 20 ноября начинался процесс над нацистскими преступниками в Нюрнберге, к которому отныне были прикованы взгляды всего мира...

1 декабря Сартр опубликовал в "Тан модерн" памфлет "Портрет антисемита". Об авторе "Безделиц для погрома" он писал: "Если Селин смог поддерживать социалистические постулаты нацизма, значит, ему было заплачено". Обвинение смехотворное, ложное, но оно характерно для той ситуации, когда среди интеллигенции царила огромная растерянность и она со страстью взялась отыскивать корни и движущие силы расистского безумия. Кстати, обвинение Сартра показывает, что Селин в буквальном смысле стал символом антисемитизма, а это явление необходимо было понять, разложить на составляющие, предупредить и наказать.

Была ли гибель Робера Деноэля напрямую связана с царившей во Франции атмосферой разоблачений и сведения счетов в рамках начавшейся чистки? Деноэль издавал антисемитские памфлеты Селина, а во время оккупации публиковал Ребате и многих других...

По окончании войны Деноэль несколько месяцев старался сидеть тихо. Селин в одном из писем вообще советовал ему уехать из Франции. Но тот готовился к суду — его издательство обвинялось в сотрудничестве с врагом. Конечно, в свое оправдание он мог сослаться на тот факт, что публиковал в годы оккупации Эльзу Триоле и Луи Арагона...

Тем вечером Робер Деноэль и Жанна Ловитон поехали в театр. Примерно около двадцати одного часа их машина "пежо 202" остановилась на углу бульвара Инвалидов и улицы Гренель — лопнула шина. И пока Робер Деноэль менял колесо, Жанна Ловитон направилась к ближайшему полицейскому участку, чтобы вызвать такси. Через несколько минут в ее присутствии в участке зазвонил телефон: убитого выстрелом в спину Робера Деноэля только что обнаружили на тротуаре. В кармане у жертвы осталось 12 тысяч франков. Так что вряд ли преступление было совершено в целях ограбления. Но как участники Сопротивления могли узнать, что автомобиль Деноэля остановится именно в том месте? Может, за ним наблюдали из другой машины? Маловероятно... Несколько судебных расследований не дали результата. Дело осталось нераскрытым.

Смерть Деноэля больно задела Селина. Между ними случались размолвки и трения на профессиональной почве, но издатель был его другом, товарищем, первым, кто в него поверил, кто его поддерживал и подбадривал на протяжении всех этих лет, кто ввел его в литературу. Деноэль был частью прошлого Селина, его памяти, а только ей писатель упорно сохранял верность. Деноэль был также ширмой, посредником между Селином и публикой... И в тот момент Селин решил, что, целясь в Деноэля, стремились поразить и его. Он считал, что следующей жертвой несомненно будет он. Два письма к Мари Канаваджиа того периода позволяют в полной мере понять всю степень его растерянности:

Ну вот, закрылась и эта могила... Одной больше... С этим несчастным погребено столько всего... так много всего... что замирает жизнь... она больше не трепещет... и сердце начинает биться снова уже в ином ритме... Бедняга Дено-

эль, эта его премия "Ренодо", как жалко уже тогда мы оба выглядели... а потом у нас ловко увели Гонкуровскую премию <...> Вот так! котомка с бедой пополнилась еще одним очень горьким, очень тяжким грузом. А надо продолжать путь.

И во втором:

Только что получил ваше письмо, написанное после погребения. Голгофа воспоминаний ужасна и непреодолима. Началось с Гонкура. И пятнадцать лет спустя... Такая вот кривая... Такая вот смертельная кругосветка! Бедняга, судьба нагнала его, словно накрыв сачком... На похоронах вы должны были привлечь внимание зевак... И что думают люди? Ведь он был чрезвычайно известен в своем кругу. Не могу не думать об этом ужасе. Мне кажется, что я оставил во Франции двойника, с которого забавы ради сдирают кожу... то здесь, то там... медленное и лютое проклятие терзает меня — тоже забавы ради. Я же совсем беспомощен. Никого...

В Дании Селин доживал на свободе последние дни.

15 декабря газета "Самди-суар" распространила сообщение о том, что Селин находится в Дании, на следующий день информацию перепечатала датская "Политикен" под шапкой "Французский нацист скрывается в Копенгагене — речь идет о писателе Селине, бежавшем из Франции вместе с правительством Виши". После чего события развивались очень быстро. В тот же день, 16 декабря, некий торговец газетами позвонил в сыскную полицию датской столицы: он опознал Селина в одном из своих постоянных покупателей... 17 декабря датский министр иностранных дел приказал арестовать Селина и его супругу...

20 декабря находившегося в камере Селина на английском языке известили о том, что Франция требует его экстрадиции. Он не согласился с содержавшимися в ноте обвинениями. 25 декабря он написал адвокату Торвальду Миккельсену письмо, больше похожее на призыв о помощи, в котором заявил, что никогда и ни на кого не работал... что он всего лишь писатель, и просил начать хлопоты о предоставлении ему статуса политического беженца. Все выдвинутые против него обвинения продиктованы ненавистью и жаждой мести. Выдать его Франции — значит обречь на пытки и смерть. В конце письма он просил заступиться за Люсетт:

Я так тревожусь за свою бедную жену, она-то в любом случае далека от всего этого. Прошу вас, умоляю побывать у нее и немного поддержать. Передайте ей, что я все время только о ней и думаю и живу одной надеждой вновь ее увидеть. Она не способна причинить зло, она великодушная и порядочная. Мы оба глубоко несчастны, что нас разъединили. <...> Попытайтесь, пожалуйста, рассеять этот ужасный кошмар. Я схожу с ума от страдания. Чувствую себя совершенно невиновным. Но прежде всего позаботьтесь о моей несчастной жене, попытайтесь передать мне известия от нее. Я так беспокоюсь.

Он, конечно, не знал, что Миккельсен находился тогда в Соединенных Штатах. В тот же день Селин обратился примерно в тех же выражениях к начальнику управления полиции Копенгагена с тем, чтобы тот попытался помешать его экстрадиции. 28 декабря этот полицейский чин, который с явной симпатией относился к писателю и его жене,

направил в министерство юстиции дело Селина вместе с сопроводительной запиской, в которой обращал внимание на два существенных обстоятельства: во-первых, требование экстрадиции не содержало изложения конкретных действий, вменяемых писателю в вину, и во-вторых, и это самое главное, — подписанный 28 марта 1877 года между двумя странами договор об экстрадиции не распространялся на статьи 75 и 76 французского Уголовного кодекса. Короче говоря, он советовал запросить дополнительную информацию, прежде чем рассматривать вопрос о выдаче Селина.

Это письмо сыграло решающую роль. Оно побудило министра юстиции пересмотреть дело. Не будь письма, писателя могли бы выдать незамедлительно... Миккельсен, со своей стороны, тоже готовился к бою. Пока, правда, он следил за ходом дела издалека. Один из его помощников в Копенгагене обратился в министерство юстиции с просьбой предоставить писателю политическое убежище, подчеркнув при этом, что с экономической точки зрения доктор Детуш не станет обузой для датского государства.

Итак, дело Селина начиналось. Оно будет тянуться бесконечно долго, в нем будет много неясностей и мало конкретных улик. Французские власти будут проявлять ожесточенное упорство, и особенно Ги де Жирар де Шарбонньер, которого Селин просто возненавидит. И не без причины. Глава французской миссии действовал очень настойчиво и даже вызвал недовольство датских властей. К слову сказать, в послании к Леону Блюму, бывшему тогда премьер-министром и министром иностранных дел, он сам признавал, что превысил свои полномочия:

> Действительно, в бесчисленных демаршах, предпринятых мною с этой целью (экстрадиция), я слишком давил на датские власти, хотя имевшиеся в моем распоряжении обвинительные документы не давали мне на то оснований.

Датские власти, в свою очередь, немыслимо затягивали дело, причем министерство юстиции довольно быстро заняло благоприятную для писателя позицию, тогда как министерство иностранных дел склонялось к его экстрадиции. А писатель между тем сидел в тюрьме, если прибегнуть к официальной терминологии, "оставаясь в распоряжении властей". Он множество раз перебирался из блока для приговоренных к смерти в больничное отделение и обратно, здоровье его расшатывалось, дух слабел...

Спасла ли Дания Селина? Юрист Хельга Педерсен, бывшая министром юстиции с 1950 по 1953 год, вынесла этот вопрос в заголовок работы, которую она посвятила именно делу Селина. Да, Дания спасла Селина, это бесспорно, но какой ценой! Восемнадцать месяцев он провел в заключении. За что? Просто так. Ради прекрасных глаз Франции, в угоду общественному мнению... А потом понадобилось время на тысячу юридических формальностей. И конечно, на то, чтобы окончательно установить: выдавать Селина Дания не обязана, но при желании могла это сделать, а могла назначать бесчисленные встречи, межминистерские совещания, доказывая, что самое неотложное дело надо рассматривать без спешки; пусть человек подождет, пока решается его судьба, его жизнь, пусть гниет в камере, пусть страдает от дизентерии, пеллагры, головных болей (стоял вопрос о трепанации), пусть у него выпадают зу-

Селин, Люсетт и Бебер. Зима, 1947 г.

бы и он весит уже меньше шестидесяти килограммов при росте метр восемьдесят...

Только 31 января 1946 года датский МИД наконец запросил у французских властей уточнения относительно предъявляемых писателю обвинений. На что французская миссия ответила нотой, настаивая на ускорении процедуры экстрадиции и повторив все те же обвинения общего характера: Селин — член Европейского клуба, автор "Guignol's Band" и "Безон сквозь годы". Все это вызвало у датчан недоумение и подтвердило некомпетентность тех, кто расследовал дело Селина, — любые выступления писателя в коллаборационистской печати выглядели бы куда более убедительным поводом для обвинений, чем два его последних, совершенно аполитичных произведения.

15 февраля юрист, бывший правой рукой Миккельсена, обратился к властям с настойчивой просьбой подождать возвращения адвоката до 10 марта, доводя до их сведения только что полученное им от того письмо:

[269]
ИЛ 9/2001

Я Вас прошу сделать все, что в Вашей власти, и добиться, чтобы экстрадиция была отложена до моего возвращения. По поводу этого дела у нас с Дедишеном есть очень важная информация. Здесь, в Нью-Йорке, я также получил некоторые уточнения. В глазах всего мира Дания, выдавая Селина на основании имеющихся материалов, создала бы прецедент, который в будущем причинит нам самим немало неудобств. Это дело принципиальное, огромной важности, все последствия которого сейчас невозможно предугадать. Недовольство шефа французской миссии — мелочь по сравнению с тяжелыми последствиями, которые имело бы решение об экстрадиции Селина на основании непроверенных и хрупких доказательств. Министры юстиции и иностранных дел должны в полной мере это осознать. В любом случае не подобает выдавать Селина, зная, что мы с Дедишеном располагаем материалами, которые готовы предъявить не позже чем через месяц.

Больной Селин 28 декабря был переведен в тюремный лазарет, где и оставался в одиночной камере до 5 февраля 1946 года. Затем он вернулся в западное крыло тюрьмы, в камеру 84, а позднее перешел в секцию "К" на первом этаже, в отведенную для приговоренных к смерти камеру 603.

Начиная с января Люсетт могла посещать его каждый понедельник. Она приносила ему книги, газеты и продукты — окорок, печенье, лимоны и апельсины, которые получала в посылках от матери, таким образом она вносила некоторое разнообразие в скудный тюремный рацион.

Весна 1951 года... После объявленной во Франции амнистии Торвальд Миккельсен обратился к министру юстиции Дании с просьбой освободить Селина от обязательства не покидать датской территории. Это было сделано всего за несколько дней до отъезда Селина, и, по правде говоря, ни малейших затруднений не вызвало.

Селин желал уехать как можно быстрее. И неудивительно. Только вот куда? В Испанию, где ему предлагал свое гостеприимство его друг Антонио Сулоага? На Корсику к Андре Пюликани? К Полю Марто в Нёйи? В Аргентину, поближе к Ле Вигану? Артист давно уговаривает его присоединиться к нему. Но еще 12 октября 1950 года Селин ответил: "Это аргентинское предприятие по всем признакам кажется мне гибельной авантюрой. <...> Нет, брось, все это несерьезно! Даже если я туда и доберусь, на что жить? на жалкие подаяния?" <...>

Прежде чем покинуть Корсор, он 28 июня написал редактору местной газеты следующее письмо, опубликованное в "Корсор Авис" 4 июля:

Господин редактор!

Мы с женой покидаем очаровательный город Корсор, и я прошу Вас поверить, что мы не без грусти оставляем эти места, где нас встретил самый любезный, самый человеческий, самый деликатный прием.

В весьма тяжелые для нас годы мы были окружены в Корсоре истинной симпатией, которая очень поддержала нас в течение долгого изгнания.

Я был бы, господин редактор, чрезвычайно Вам признателен, если бы Вы позволили мне через Вашу газету выразить всем жителям Корсора мои чувства дружбы и благодарности.

Соблаговолите принять заверения в моем совершенном почтении

Л.-Ф. Селин.

В субботу 30 июня Луи и Люсетт, нагруженные корзинами с собакой Бесс, Бебером-путешественником и четырьмя кошками — Томиной, Пупиной, Мушеттой и Флютой покинули Кларсковгаард. Поездом они доехали до Копенгагена, где провели ночь у Миккельсена, а в воскресенье после обеда направились в аэропорт с тем, чтобы вылететь в Ниццу. Фотографии показывают нам семью Детуш перед аэровокзалом в сопровождении Миккельсена и двух семейных пар — их друзей Рибьеров и Салей. Селин в светлой, довольно мятой тройке. Трость, через плечо висит сумка, брюки болтаются — облик бродяги, он даже чуточку напоминает Чарли Чаплина. Люсетт в строгом черном костюме, белой блузке, на голове тюрбаном закручен шарф, она выглядит более спокойной.

Их самолет, DC-4 скандинавской компании SAS, вылетел в 18 часов 15 минут прямым рейсом в Ниццу, полет продолжался немногим более пяти часов.

Мы так ждали амнистии, — объясняет Люсетт. — И устали от ожидания. Нет, никаких взрывов радости. Мы приготовились к возвращению. Мы были чуть встревожены. Заказали специальные корзины с отделениями — для кошек. Их нельзя было посадить вместе. Нам пришлось оставить в Клавсковгаарде Сару, любимую кошку Луи, белую с каштановыми пятнами и глазами, словно подведенными карандашом. Она была почти дикой. Бывало, устраивалась у него на плечах, обвившись вокруг шеи, а потом вдруг становилась такой, что не подступишься. Именно она произвела на свет четырех котят: Флюту, Пупину, Мушетту и Томину, которые в отличие от нее смогли приспобиться к цивилизованному существованию. Перед отъездом мы оставили сторожам в поместье немного еды, чтобы они подкармливали шныряющих там полудиких кошек, и прежде всего Сару. Позднее мы узнали, что сразу же после нашего отъезда там устроили облаву, чтобы всех их истребить... Короче говоря, мы подготовились к отъезду, собрали все свое барахло и распихали по сундукам старую одежду, одеяла, кастрюли, упаковали стиральную машину — словно нищие. Луи никогда не летал самолетом. Полет очень его развлек, он вел себя как ребенок. Совсем не боялся. А самолет трясло. Были видны молнии. Беспокойное путешествие. Луи нашел его очень забавным.

Было около одиннадцати часов вечера, когда самолет приземлился в Ницце. Их встретила тяжкая, удушливая влажная жара, которую была бессильна смягчить даже ночь. Такси довезло их до Ментоны. Уставшие, замученные Люсетт и Луи думали только о сне. Увы! Пираццоли[1] с большой помпой встречали их на первом этаже своего просторного дома "Бельвю", расположенного на холмах к востоку от города...

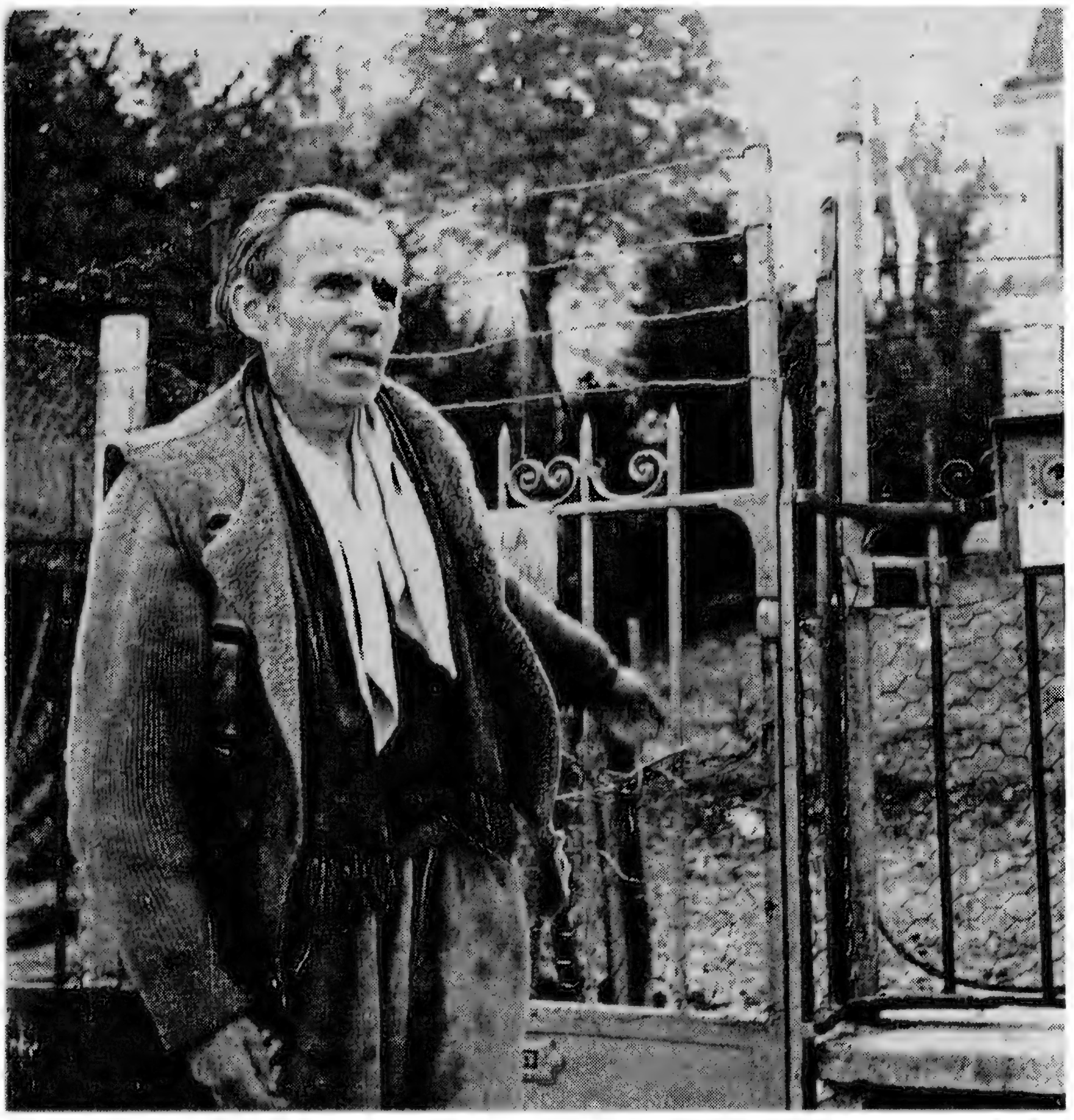
Большие столы были расставлены в холле, — вспоминает Люсетт. — Сервизы, хрусталь. Нас ожидали гости, журналисты. Шампанское охлаждалось. Мать была пьяна. Отчим, надевший еще довоенные итальянские награды, был

1. Мать и отчим Люсетт Детуш.

молчалив и великолепен. Луи сразу же спросил: "Где моя комната?" Он там закрылся и никого не желал видеть. Все разъехались в ярости. Луи не взял даже стакана воды.

Прием задумала моя мать. Я была потрясена. Мне тотчас стало ясно, что долго мы тут не протянем.

27 января 1959 года Селин писал Нимье: "Мой следующий медведь продвигается... он закончен (2600 страниц)... Несколько месяцев я буду его



Луи-Фердинанд Селин в Медоне. Ок. 1955 г.

вылизывать". 23 декабря все было готово, и рукопись поступила к Гастону Галлимару. Теперь Селину хотелось, чтобы роман побыстрее издали. В январе 1960 года Нимье получил от него еще одно письмо: "Я боюсь будущего, Роже... печатать, быстрее!" Смерть бродила вокруг писателя настойчивее, чем когда-либо. Селин ее чувствовал. Он боялся. Он еще не завершил своего дела.

В начале 1960 года двое молодых людей, Жак Даррибеод и Жан Гено, направились в Медон. Дабы увидеть Учителя, записать его рече-

ния, а может быть, они даже мечтали снять о нем фильм. Селин сразу выставил их вон: "Я не даю интервью!" Но затем назначил встречи на 6 и 20 февраля. Жан Гено очень тщательно записал все, что сказал писатель... Молодым людям особенно хотелось знать мнение Селина о крупных авторах, которые оставили след в его творчестве. Селин говорил им о Лафонтене и Вийоне, Расине и Шекспире, Прусте и Сен-Симоне, Стендале и г-же де Сталь. Слегка гнусавым, одышливым голосом он рассказывал о детстве, о годах ученичества, воскрешал пассаж Шуазель, погружался в бесконечные воспоминания.

В мае 1960 года ему написал кинорежиссер Клод Отан-Лара, который подумывал об экранизации "Путешествия на край ночи". Новое возвращение к прошлому, к давней мечте, которой не суждено было осуществиться. "Путешествие" на киноэкране? Нет, это решительно невозможно. Через несколько месяцев Отан-Лара сам откажется от своего проекта.

А 20 мая вышел "Север" – у Галлимара тиражом 8 тысяч экземпляров, цена – 17.50 франков (отныне уже новых франков!). Сопроводительный текст сочинил Нимье...

Публикация "Севера" не вызвала особых споров. До лета Селин вообще отказывался давать интервью. Единственное исключение составила его беседа с Клодом Сарротом, опубликованная в "Монд" 1 июня, и ее нельзя не отметить. На этот раз вопросы ни в коем случае не касались того, что уже давно было известно (или должно быть известно): антисемитизма, предвоенных безумств, Зигмарингена и так далее. Была книга "Север" – шедевр, пройти мимо которого невозможно. Селин объяснял Клоду Сарроту, почему после окончания войны, которая стала для него и предвестием конца Европы, он превратился в "трагического летописца". Он объяснял свой стиль, свою знаменитую тихую музыку, говорил, какую колоссальную работу проделывает со словом – чтобы удивить читателей, взволновать их. <...>

Критика оказала "Северу" исключительный прием. Трудно перечислить все издания, откликнувшиеся на появление романа... После завершения книги Селин мог позволить себе передышку. Но нет! Он тотчас взялся за новый роман – продолжение предыдущего, где рассказывал о двукратном путешествии через Германию, сначала с севера на юг, до Зигмарингена, а затем с юга на север, до Фленсбурга, и о многомесячном пути до Дании. Еще одна замечательная эпопея, еще одно путешествие под бомбами и среди развалин, от поезда к поезду; "блуждания на фоне пейзажа" – такое определение нашел для книги сам Селин. В конце концов он назовет ее "Ригодон", хотя сначала намеревался назвать "Жмурки".

Этот заголовок, "Ригодон", типичен для селиновского гения, умеющего в одном слове или в одной короткой фразе резюмировать основную мысль, подсказать окраску, тему, заставить роман петь, озарив его единственно необходимым и неожиданным светом. Согласно словарю, "ригодон" имеет два значения. Первое – очень живой и веселый танец, модный в XVII и XVIII веках. Второе – во время упражнения в стрельбе барабанный бой, фанфара или отмашка флажком, указывающие, что пуля попала в яблочко; так же называлась и пуля, попавшая в цель.

Так вот, все обозначено: благодать и сила, легкость и насилие, изящество и неизбежность. "Ригодон" будет походить на другие романы своей

усмешкой, притаившейся в глубине самых мрачных эпизодов: это своего рода Апокалипсис в кружевах. Конечно, мы оказываемся в самом центре комедийного действа, когда в Гамбурге Бебер обнаруживает под развалинами бакалейную лавку, или в тот момент, когда несколько раньше, в Ульме, актер Ле Виган останавливает автомобиль с фельдмаршалом фон Рундштедтом. Селин пишет живо, изящно, он улыбается среди самых страшных социальных потрясений, это человек XVIII века, сочиняющий так, словно он танцует — с чувством ритма, изящества, непосредственно. Но нельзя забывать, что легкая усмешка — только фасад, а веселый и живой танец ригодон — обман. Извивающиеся в такт музыке тела на самом деле корчатся в предсмертных судорогах, они не могут остановить пляску смерти... Эти спускающиеся в ад и мчащиеся неизвестно куда поезда — они-то и есть "ригодоны", селиновские пули, летящие точно в цель...

Несколько месяцев назад у Селина случился слабый инсульт. Об этом знали только самые близкие друзья. Однажды он резко поднялся из-за письменного стола и сбросил на пол все бумаги. Люсетт обнаружила его простертым на кровати, в углу рта скопилась слюна. Он с трудом узнал ее. "Так продолжалось много недель, — вспоминает она, — а потом однажды он встал и спросил: "Что ты сделала с моими бумагами?" Он ничего не помнил и вернулся к нормальной жизни".

Летом 1960 года он не только работал над "Ригодоном", но и совместно с Жаном А. Дюкурно готовил к публикации в собрании "Плеяды" "Путешествие на край ночи" и "Смерть в кредит" (с предисловием профессора Анри Мондора). В первом издании "Смерти", напомню, были оставлены пробелы на месте сочтенных скандальными пассажей — Селин отказался их переписывать приличествующим образом. Сейчас он сочинял их заново. Тем же летом он впервые принял у себя Клода Бонфуа, который хотел, чтобы Селин подробнее рассказал о своем детстве, о годах, проведенных в казарме Рамбуйе, о поездках по линии фонда Рокфеллера.

В качестве аванса за "Ригодон" Галлимар ежемесячно выплачивал писателю 1 тысячу франков. Совсем немного. Но сумма выплат росла, и издателя снедали тревоги. Он настаивал, чтобы Селин поторапливался, чтобы он работал без остановок. Дело в том, что, несмотря на головокружительный успех у критики, "Север" продавался не слишком успешно. За первым тиражом в 8 тысяч экземпляров в июне последовало второе издание — 5 500 экземпляров. И последний тираж разошелся не весь...

Люсетт чувствовала, что Луи на пределе сил, загнан и измучен как никогда. Головные боли усилились. Он отказывался от любых развлечений. Несколько лет назад она решила, что ему было бы полезно отдохнуть на берегу моря. От родителей Селин унаследовал два небольших домика в Дьепе. Люсетт несколько раз побывала там и в одиночку привела один из них в относительный порядок. Как-то раз в воскресенье ей наконец удалось отвезти Луи в Дьеп. Он был разочарован. Он счел домик слишком жалким и тесным. И отказался даже переночевать там. Первым же поездом они вернулись в Париж. С тех пор он не позволил себе ни дня отдыха.

За несколько дней до его смерти я ему сказала: "Давай все продадим, продадим дом и отправимся к морю, отложи работу, брось эту книгу, и мы уедем". Но он хотел завершить книгу, чтобы после его смерти у меня что-то осталось.

Он мне все очень внятно объяснил. На "Ригодон" он потратил меньше двух лет и загнал себя, вчерне все было завершено, за день до смерти он написал последнюю страницу. Я думаю, он понимал, отдавал себе отчет, что надорвался, что после этого силы ему уже не восстановить, голова больше его не слушалась. Никто даже представить не может, как он работал. Над каждым словом или каждой фразой он иногда думал часами, переписывал заново, стирал, возвращался ко всему отрывку.

Издание в "Плеяде" задерживалось. А Селин так радовался, что еще при жизни, после Мальро и Монтерлана, вступит в этот Пантеон. Задержка его огорчала. "Если я правильно понял, в ваших планах меня опять отодвинули по меньшей мере на полгода! Но для меня полгода — это полная дряхлость и желание навсегда исчезнуть с этой сцены".

30 июня 1961-го он завершил вторую редакцию "Ригодона". Считал ли он книгу законченной? Тут мнения разделились. Еще в мае сам автор говорил одному журналисту, что вряд ли сумеет закончить роман раньше чем через два года. В самом "Ригодоне" он писал: "Когда появится это произведение, мне будет семьдесят лет". Иначе говоря, он не надеялся опубликовать роман до 1964 года. К тому же текст носит следы явной незавершенности. Некоторые пассажи неоднократно повторяются. Повествование грешит очевидной непоследовательностью, непонятными скачками, сбоями. Скажем, по дороге в Аугсбург Селину сообщают, что ему еще предстоит сделать пересадку, чтобы попасть в Ульм. И сразу же поезд останавливается... в Ульме! Столь же фантастичен календарь развивающегося действия. От ноября с поразительной быстротой мы переходим к маю, затем к июню и дальше — к сентябрю. Но это не так важно. Главное — неровность стиля. Очевидно, что Селину-стилисту не хватило времени перечитать роман, отшлифовать его. Порой селиновский текст едва заметно пробуксовывает, появляются натяжки, наигрыш, отдельным фрагментам недостает естественности. В общем, "Ригодон" доказывает силу селиновского таланта методом от противного — роман далек от совершенства, но многие отрывки по уровню не уступают лучшим селиновским страницам.

Иначе говоря, Селин прекрасно сознавал, что все кончено, что дальше он уже не пойдет, он у последней черты, путешествие завершается. В "Ригодоне" уже не будет размаха предшествующих романов. Селин не расскажет там о своем пребывании на балтийском побережье, хотя раньше у него и было такое намерение, и тому есть многочисленные свидетельства на страницах книги: "Корсор... но всему свое время, я вас сюда еще приведу..." Смерть была рядом, она подстерегала его, теряла терпение. А он не хотел заставлять ее ждать. К чему? В итоге он сократил свой роман. И смерть постоянно угадывается между строк...

Я сбиваюсь, скоро я вас потеряю, и предчувствие смущает меня, не знаю, смогу ли когда-нибудь закончить эту книгу... очень красивую, летопись деяний и подвигов, бывших важными двадцать... тридцать лет назад... ну, а сегодняшние дела?.. все мои сверстники ушли, за исключением нескольких слабаков, которые ничего не понимают, грызутся из-за ерунды, почесываются, перепрыгивают из газетенки в газетенку <...> у каждого из нас только одна жизнь, и это совсем немного, особенно для меня, в моем случае, ведь я ощущаю, как Парки подергивают нить, словно забавляясь... да! игрушка!

30 июня он написал еще два письма. Одно — Гастону Галлимару:

Мой дорогой Издатель и Друг!

Думаю, скоро нам пора будет заключить другой договор о моем будущем романе "Ригодон"... с прежними условиями за исключением одного — суммы! 1500 новых франков вместо 1000 — иначе я арендую трактор и разнесу "НРФ", а затем совершу диверсионную акцию — сорву выпускные экзамены в лицеях.

Пусть об этом не забывают!

Дружески Ваш
Детуш.

Другое письмо — Роже Нимье:

Я с трудом нашел возможность принять ту даму-писательницу. У меня не осталось ни одной свободной минуты, я хочу проскочить эту веху, 70-й километр, в трудовом порыве, вихрем, и к черту публику!

Ах, какой замечательный совет! я сразу же пишу Гастону, и да здравствуют 1500 новых франков! Я понял! Все мое просто обязано хорошо продаваться, потому что остальные застряли на Бурже, Мейзруа... я тут ни при чем, эти ожесточенные старые новые волны придают мне постоянную новизну!

Сердечно
Луи.

Следующее не "Жмурки", а "Ригодон".

Вы знаете, как медленно я все обмозговываю, но всегда за годы вперед — уже на ленте: "Сюда — быстрей! Туда!"

На другой день, это была суббота 1 июля, стояла удушающая жара. Поднявшись с постели, Люсетт обнаружила Луи в погребе, где он спасался от зноя. Оттуда проводила его до комнаты. Свет резал ему глаза. Она закрыла ставни.

В тот день он больше обычного жаловался на головные боли. Я поставила ему компрессы. Ему было так жарко, что он лежал в постели голый. А правая рука у него стала ледяной, что было удивительно при такой погоде. Кровь перестала там циркулировать. Думаю, что кровоизлияние в левое полушарие мозга тогда уже начиналось. Я сразу же поняла, что приступ сильнее обычного. Хотела вызвать врача. Я подумала о Вильмене. Луи мне сказал: "Запрещаю тебе его вызывать, не хочу, я хочу, чтобы мне дали сдохнуть спокойно, без уколов, без врачей, я больше не хочу ничего". Я знаю, если бы я вызвала врача, он отказался бы его принять. Он сознавал, что вскоре умрет. И повторил мне: "Я не хочу никого видеть, оставайся рядом, я не хочу никого видеть!" В тот день у меня, как обычно, были уроки. Серж Перро пришел со своей маленькой дочкой. Она занималась у меня и собиралась поступить в Оперу; она надеялась получить от Селина рекомендательное письмо. Я сказала: "Только не сегодня. Он слишком болен, сегодня нельзя". Думаю, он на пару минут все-таки их принял, а потом отослал малышку. И Сержу велел идти домой. Серж поднялся ко мне. Луи пролежал целый день. Наконец мои ученики ушли. Я вернулась к Луи. Он икнул, потом — еще раз, и наступил конец. Так что я не вызвала врача, потому что не хотела ему перечить, а если бы и вызвала, это ничего бы не дало. Разрыв аневризмы. Он прекрасно сознавал, что с ним.

Было шесть часов вечера. "Правда этого мира — смерть", писал Селин в "Путешествии на край ночи". Путешествие завершилось.

Наконец-то он обрел правду. В вечном безмолвии, подальше от людских бед, лжи и иллюзий.

У изголовья Селина чередовались Мари Канаваджиа, Роже Нимье, Арлетти, чета Брами, Робер Пуле, Макс Револь, Пьер Дюверже, Люсьен Ребате, Марсель Эме, Гастон Галлимар. Доктор Вильмен предложил, чтобы сделали слепок с правойо руки Селина и маску с лица.

Прессу не известили. Селин не хотел. И я ничего не говорила. Трое суток я бодрствовала рядом с ним. Но это было очень тяжело. Вокруг дома бродили журналисты, они что-то заподозрили. Забравшись на деревья, они следили за теми, кто приходил и уходил, наблюдали за домом, где были закрыты все ставни. Привезенный Галлимаром священник совершил обряд.

В понедельник 3 июля Люсетт все-таки согласилась дать следующее сообщение в газеты: "Состояние здоровья Луи-Фердинанда Селина, уже много месяцев страдавшего от сердечного заболевания, внезапно резко ухудшилось".

Утром 4 июля Селин был погребен на кладбище Медона. Моросил мелкий, теплый и неприятный дождь. Проводить его пришло не больше пятидесяти человек. Старые друзья. Верные друзья. "Несравненные похороны, такие, каких был достоин Селин", – скажет Люсьен Ребате.

В ноябре 1961 года Люсетт заказала плиту с двойной надписью:

Луи-Фердинанд
Селин
доктор Л.-Ф. Детуш
1894–1961
Люси Детуш
в девичестве Альмансор
1912 –

и над ней велела вырезать крест и изображение трехмачтового парусника...

Л.-Ф. Селин
Интервью разных лет

Ответ на анкету "Пари-миди" "Переживает ли французская нация упадок?"[1]

Вырождается ли французская нация? С таким вопросом мы обратились к доктору Детушу, который уже многие годы лечит обездоленных в парижском предместье; доктор этот не кто иной, как писатель Луи-Фердинанд Селин.

Селин сидит в глубоком кресле в своей комнатенке на Монмартре. На лице у него многодневная щетина. У ног играет кот Бебер.

— Прежде всего Франция — это не нация. Это страна, народ. Собственно французов сейчас меньше, чем при Людовике XIV. Не более четырнадцати миллионов из сорока. Прочие — полукровки. Итальянская кровь, испанская, немецкая... Все так перемешалось, что, может быть, только к северу от Луары и существует какое-нибудь подобие этноса. Да и то еще...

И какими же они должны быть, эти люди? Главное, чтоб были здоровыми. Здоровье приобретается. Для этого нужен определенный уровень жизни и газетная пропаганда крепких бицепсов. Хотите, чтоб они мыли ноги, дайте им хороший лозунг...

Уничтожим сифилис и туберкулез. С повышением уровня жизни эти болезни исчезают сами собой. Основное препятствие — крепкие напитки и вино.

Если бы покончить с пресловутым "Артуром"[2], мы бы тем самым существенно приостановили деградацию французской нации. Покончить с бесконечными рюмочками кюрасо и прочих напитков "для улучшения пищеварения". Буржуа, он только и делает, что переваривает пищу. У него все мысли пищеварительные. И постоянная отрыжка.

Итак, стремиться надо в первую очередь к тому, чтобы народ был здоровым. Бедняк некрасив, нескладен. Ему чем незаметнее, тем лучше. Как говорится, "невелик, да крепок". Люди благородного происхождения, они высокие, статные, белокурые. У Берты Большеногой[3] ножка была на самом деле скорее узкой, чем большой. Недаром во время Французской революции казнили людей за одни только светлые волосы и голубые глаза.

© И. Радченко. Перевод, 2001

1. "Пари-миди", 22 октября 1943 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Намек на рекламу "Перно для Артура".
3. Берта Большеногая — супруга франкского короля Пипина Короткого (751—768) и мать Карла Великого, воспетая в средневековой поэзии под этим именем.

Первыми арийцами на свете были индусы. Сегодня все брахманы смуглые. Туареги, марокканцы, армяне были некогда белыми. Существовали империи светлокожих людей на Нигере.

Совершенно очевидно, что черный цвет постепенно побеждает. С точки зрения расового многообразия — это катастрофа, но черный элемент неизменно одерживает верх. Побеждает всегда более живучий. Юг Франции темнеет все больше. Светлый цвет менее устойчив и оттого обречен.

На Кубе живут почти сплошь метисы. Самые красивые девушки, каких я встречал, — это кубинки. Мне доводилось бывать в кубинских школах. Дети очаровательны, но нация еще не установилась. Они неизбежно почернеют. Смешение рас не вредит здоровью. Происходят порой некоторые психические отклонения, но они не опасны. Смешение кровей дало нам Александра Дюма, Пушкина, Леконта де Лиля, Эредиа, Гогена и великое множество творческих личностей.

Скажу снова и снова: главное — хороший уровень жизни. Вот основная забота на послевоенное время. Есть деньги — появляется кокетство, где кокетство, там и гигиена.

Женщинам хочется быть выше. Они носят высокие каблуки. Ступни себе искривляют. Между прочим, французы выросли. Средневековые доспехи на нас уже не налезут. Все нации растут, когда богатеют. А возьмите скот. Дикая корова давала один литр молока. Если за коровой ухаживать, она становится крупнее и начинает давать уже двенадцать литров.

В Дании, например, с туберкулезом покончено. Ищут — не находят. Да и в Париже в 16-м округе туберкулеза в десять раз меньше, чем в Бельвиле. Париж, кстати сказать, на втором месте после Нью-Йорка по количеству ванн на жителя.

Но алкоголь!.. Франция потребляла 90 миллионов бутылок абсента в год. Две бутылки на человека, включая грудных детей и стариков.

Что ж, коль скоро после войны надо избавить нацию от яда, мне видится народ, шагающий на восток, от холмов Бургундии к горам Урала, где в глубоких шахтах лежит золото и трудятся серьезные люди, воодушевленные лозунгом: “Любители здоровой ходьбы всех стран, соединяйтесь”.

Интервью, в котором Л.-Ф. Селин не говорит о своем новом романе

Пьер Лот разговаривает с Луи-Фердинандом Селином[1]

Шестой этаж большого дома на Монмартре. Входная дверь без ручки, без звонка. Стучу положенные три раза, как в театре.

— Кто там?

1. “Пари-миди”, 17 марта 1944 г.

Дверь приоткрывается.

— Фердинанд работает. Пойдемте со мной.

Луи-Фердинанд Селин сидит за письменным столом; услышав нас, он поднимает голову.

— Ты хочешь поговорить о новом романе? Что можно сказать о произведении, которое вот-вот выйдет в свет? Оно теперь живет само по себе. Называться будет "Guignol's Band". Это книга о Лондоне во время войны — прошлой. В двух томах. Первый появится на этой неделе. Второй еще не закончен. Если печатать все целиком, это растянется на очень долгое время. К тому же не окупится...

Что говорить? Книга вышла — надо ее читать. И все тут. Видишь ли, голубчик, некоторые французские писатели вещают по радио и пишут о Франции из Лондона. А я вот пишу о Лондоне. Они рассуждают о политике, а я — нет. Вот и все дела.

Мне не очень-то нравится издавать полкниги. Но французы любят длинные романы, только если они иностранные и совершенно идиотские. Произведения отечественной литературы они предпочитают короткие. Так что извольте им короткие и подавать.

Читатель не смог бы переварить книгу целиком. Да и читать он ее не станет, пока не услышит мнение критиков. Писательством не проживешь. Выкладываешься до последнего, а потом налоги все съедают.

Кот Бебер прыгает на стол. Грызет хлебную корку.

— Он с головой в романе! Но ему ж, мать честная, надо на что-то жить! А с этой работой ноги протянешь.

Селин аккуратно поправляет бельевую прищепку, которой скреплены страницы рукописи.

— В былые времена, чтобы написать книгу, надо было по меньшей мере папашу своего прикончить. Сегодня проблема с бумагой. Куда же она, подлая, девается? Едят ее, что ли?

Десять тысяч, так-то, старик! Вчера за десять тысяч продали с аукциона мою книжонку, которой цена сорок франков! Безумие, сравнимое только с безумием налоговых органов. С двух сторон два минотавра: налоги все поглощают, и издатель все сжирает.

Книга получше золота. Писатель трудится как муравей, и все-таки это прекрасная работенка.

Все нотариусы — казнокрады, банкиры вечно сидят в тюрьме, бакалейщики разоряются. Писатель бьется как рыба об лед...Зато после смерти ему воздастся по заслугам.

А вот издатель выигрывает при любом раскладе. Вроде как сутенер при писателе.

Тут ухватит, там издаст. Орел.

Сутенеру с девками хуже: наряды им подавай, костюмы модные, завтра они тебе рога наставят, послезавтра — за лечение плати. Одними прелестями теперь не заработаешь...

То ли дело издатель! Сначала эксплуатируешь начинающего писателя до кровавого пота. Когда оперится – прибираешь его к рукам. И за счет мертвого еще пятьдесят лет жируешь. Малина...

Селин глубоко вздыхает.

– Но вернемся к нашим баранам... Разболтался я, как старая мельница.

До Безона, где я принимаю больных, добираюсь на мотоцикле, а через два раза на третий тащусь пешком. В ход идет бутылка воды Сенгальмье. Когда бензин на самом дне, стараюсь выжать все до капли. Сегодня вот ничего не вышло. Пришлось возвращаться на своих двоих, до сих пор отдышаться не могу...

Встреча с Селином

Интервью Роберу Массену[1]

Наш разговор состоялся в октябре[2] *в Копенгагене.*

...Поднимаюсь по лестнице на верхний шестой этаж, отыскиваю на двери табличку: "Художник Хеннинг Йенсен".

– Господина Йенсена нет дома... Селин? Так это вы меня желаете видеть? Тогда проходите.

Комната в мансарде. Чердачное окно, диван, складная кровать, стол, заваленный бумагами, плохонькая печурка, коврик из козьей шерсти, на стенах картины без рамок, другие сложены в углу. Рядом крошечное, плохо освещенное помещение: грязные тарелки, спиртовка, замасленная бумага, пустые бутылки на полу. Типичная картина.

Передо мной человек неопределенного возраста, из тех, что до пятидесяти с лишним лет остаются моложавыми, крепкими и здоровыми, а потом вдруг начинают стремительно стареть. Он жестикулирует, то разводя руки в стороны, то прижимая к груди, складывает их, точно спицы у зонтика. Вид усталый, как у врача, проведшего не одну бессонную ночь у постели больного. Так выглядел Бардамю, герой "Путешествия на край ночи", когда в поисках заработка бегал по вызовам в кварталах Ла Гаренн и Ранси. Черные неряшливые волосы, юркие голубые глаза на бледном, желтоватом лице. Протирает очки в алюминиевой оправе.

Мне хочется спросить:

– Стало быть, вы Селин?

Он меня опережает:

– Стало быть, вы француз? Что привело вас в Копенгаген?

Селин и говорит так, как пишет свои книги. Беседа с ним превращается в монолог. Нескончаемый, многословный.

1. "Ла Рю", ноябрь 1947 г.
2. 13 октября 1947 г.

— Вообразите, меня отпустили. Точнее, вот уже полгода, как я освобожден под честное слово. Почему я не возвращаюсь во Францию? Я бы с радостью. Но мне не советуют. Что вы думаете по этому поводу? Ну ничего, зато какая слава! Из всех, как у вас говорится, "подлых коллаборационистов" я единственный выбрал Данию. Покопайтесь в истории, я имею в виду историю Франции, другие мне неинтересны, вы немного найдете людей, искавших убежище в Дании. Ну, гугеноты, это понятно. Позднее был еще некий Ришелье дез Антре да разные обедневшие дворяне, бежавшие от гнева короля или исступления республиканцев...

Не знаю, специально ли Селин собирал сведения о политических эмигрантах в Дании или же в самом деле так хорошо изучил историю – французскую. Должен признаться, однако, что осведомлен он основательно. Мне с трудом удалось, прервав его бесконечное лирическое отступление, вернуться к разговору о нем самом, французском писателе, авторе "Путешествия на край ночи", а также других произведений.

— Вам разве неизвестно, как все получилось? Сколько чуши написали на мой счет! Все наперебой. Селин и предатель, и воплощение зла, и апологет подлости... Едкие, полные ненависти речи, купленные-перекупленные, сто раз повторенные... Кричали, кто громче... Храбрые больно. Смерти моей желали. А что им с того, господи боже мой?..

Одних изгоните, повесите, сгноите в подземельях — другие придут, такие же. Видели бы вы в Зигмарингене. Полная неразбериха! Тут и жлобы всякие, и господа, послы, и какие-то бедолаги, и я в придачу. Многие, между прочим, умудрились перебраться в другой лагерь, тот, что нынче в моде... Возьмем посла[1]. Прежде он был в Виши, а давеча, в прошлом году, поносил меня в Копенгагене. Да здравствует Франция — и представил на меня донос в датский суд. Куда он лезет? А если я на него донос напишу?

Понимаете, по их понятиям, я оказался недостаточно гнусен. Им бы настоящего военного преступника. Образцового. Тогда — порядок. Тогда меня бы надлежащим образом отправили во Францию. А тут не вышло: я всего-навсего "коллаборационист". Такой мне ярлык прилепили. Только этого мало, чтобы меня отсюда выдворили.

Видите ли, если б у меня была коллекция Мане, как у Гитри, или миллионы господина Русси, или связи Монтерлана[2], тогда другое дело...

А я беден. Вот что непростительно. Бедность — это преступление. Угодил богатым — значит, ты лакей. Если голытьба тебя славит, значит, ты вор. Мало их убивают!

А обыватели, что они думают обо мне? Раньше они считали меня похабным писателем. И именно поэтому покупали мои книги. Только поэтому, клянусь вам. До них не доходило, что на самом деле я их защищаю. От войны, от общества. От прочего чудовищного похабства. Теперь они налопались кровавых бифштексов! Я стал не просто скабрезным писателем, но еще и коллаборационистом. Ага! А что это вообще значит? Допустим, я "абстенционист". Я написал в "Путешествии": "в подобных ситуациях остается только убраться подальше". Далеко все

1. Ги де Жирар де Шарбоньер — см.: Ф. Виту. "Жизнь Селина".
2. Саша Гитри (1885—1957) — французский актер и драматург. Гюстав Русси — главный врач больницы Поль-Брус в Вильжюиф (Луи Детуш познакомился с ним в 1914 г.) и основатель Института рака. Анри де Монтерлан (1896—1972) — французский писатель.

равно не уйдешь. Или ты мне брат, или я тебя убью. Это свора. Звереют, как на войне.

И потом, поскольку я не семит и не филосемит — значит, я продался, значит, предатель. Я уже кому-то говорил и повторю вам: евреи должны были бы мне памятник поставить за то зло, которое я мог бы им причинить и не причинил. Разве я кого-нибудь выдал или убил? Положа руку на сердце, не кажется ли вам, что многие наши сегодняшние писатели должны бы Гитлеру спасибо сказать?.. Кстати, одно издание на днях утверждало, что Гитлер, дескать, укрылся в Дании. Отсюда недолго сделать вывод, что мы с ним друзья-приятели... Вам смешно? А люди думают: "Такой, как Селин, на все способен!.." Хорошо, что я есть — публике на потеху. Ведь это ей развлечение. И газетные хроникеры на мне наживаются. Выдумывают шутки разные, народ посмешить: "Какая-то в державе датской гниль" и тому подобное. До того дошло, что служба разведки попросила меня сообщить адрес Деа. Каково? А я ведь всегда утверждал, что евреи давали Гитлеру денег на войну. Не бедные евреи, разумеется, не оборванцы вроде меня, нет, другие, Хозяева, так сказать, с большой буквы. Короче, в этой истории, похоже, я единственный патриот. Потому и не дают мне житья.

Хотите знать, как я живу? Авторские права, гонорары? Как бы не так! Ах да, я же инвалид войны! 75-процентная нетрудоспособность! Повезло! В Копенгагене я никого не знаю. Кроме вот этого славного художника. Есть еще профессор[1] в Америке, который обо мне иногда вспоминает. Американские издатели делают мне предложения. Не хочу. Хочу издаваться во Франции. Работаю ли я? По счастью, да, что мне еще делать?

Скажите, разве во Франции писатели перевелись? Что, их всех расстреляли? Согласен с вами: при немцах процветали мелкие карьеристы вроде Ребате[2]. Но и сегодняшние ничуть не лучше. Сартр? Вы уверены, что он не семит? Книга о еврейском вопросе? Я о том и говорю! Есть, правда, такие, как, например, Превер, кто не насилует каждую строчку манией цивилизации или идеалом, всеобщим, политическим, экзистенциальным, не знаю, каким еще. В общем, если люди гнусны, так нам и надо. Следовало уделять им больше внимания.

О ноги мне потерся кот Бебер. Я его только теперь заметил.

— Это кот Ле Вигана. Я его сюда в одеяле привез. Повсюду меня сопровождал, как собака.

Пауза. Селин обхватывает голову руками, смотрит потерянно.

— Дурак я, дурак.

А потом продолжает – о Клоделе и Арагоне, Торезе и де Голле, Мориаке и Абеце.
Вскоре их всех накрывает бесконечный поток слов.
Селин озлоблен. Ненавидит весь мир.
Я ушел не дослушав. На прощание все же пожелал ему удачи.
Последнее время я всем ее желаю.

1. Мильтон Хиндус.
2. Памфлет Ребате "Обломки" (изд. Деноэля, июль 1942 г.) вышел самым массовым тиражом во время оккупации.

Селин не вернется во Францию

Интервью с Франсуа Надо[1]

– Не могли бы вы сказать несколько слов о вашем пребывании в Дании.

– Я приехал сюда в марте 1945 года, а в декабре датчане посадили меня в тюрьму. Я отсидел год и пять месяцев. Был отпущен по болезни и полгода лечился в больнице от пеллагры. Сейчас освобожден под честное слово, но здоровье мое подорвано, я едва стою на ногах.

– Как и на что вы живете?

– Ходили слухи, что я живу в роскоши. На самом деле у нас с женой две комнатки на чердаке, без удобств, без кухни. Кормлюсь благодаря великодушию моего адвоката, поскольку работать мне запрещено.

– Французское правосудие ставит вам в вину ваше поведение во время войны. Что вы об этом думаете?

Селин оживляется.

– Мое сотрудничество с немцами – полнейшая ложь. Я никогда ни строчки не написал для пронацистской прессы. До войны мои книги были запрещены в Германии, а вот творения Мориака и иже с ним – очень даже популярны. Возьмите хоть того же Гитри, он в некотором роде воспользовался присутствием немцев, но я никогда, никогда с ними не сотрудничал.

– Чем же вы тогда объясните, что во время оккупации издавали книги, близкие нацистам по духу?

– Я не менял своих убеждений. Следовательно, дело не в оппортунизме. Я видел, что Франция собирается ввязаться в войну, которая не принесет ей ничего хорошего, и потому проповедовал пацифизм. Лучшим доказательством того, что мне не в чем себя упрекнуть, служит следующий факт: когда французское правительство потребовало моей экстрадиции, датские власти сочли предъявленные обвинения недостаточными.

– Почему же тогда вы не возвращаетесь во Францию?

– У меня там одни враги. Что бы я ни сказал, я все равно окажусь неправ и неминуемо буду осужден заведомо предвзятым судом.

– Но возьмите, к примеру, суд над Марке[2]*...*

– У Марке – друзья, связи, деньги. Его поддерживает бордосская буржуазия. Я всегда был одинок, и у меня ничего не осталось – все разграбили.

Если разобраться, мне ставят в вину прежде всего глупость. Надо было ехать, как все, через Испанию. Видите ли, я сотрудничал! Коли так, мне следовало ликвидировать во время войны тех, кто меня травит, и жил бы теперь в свое удовольствие.

– Каковы ваши литературные планы?

Тут Селин делается более сдержанным.

1. "Ордр", 8–9 февраля 1948 г.
2. Адриен Марке, министр внутренних дел (июнь–июль 1940 г.). После войны был лишен гражданских прав. Помилован в 1953 г.

— Я не стану ничего говорить. Мое положение в Дании весьма щекотливо. Дух Сопротивления жив и в этой стране, я уже подвергался нападкам со стороны датских коммунистов. Да и во Франции закричат: "Как, эта сволочь продолжает писать!"

Я спросил у него, скоро ли он закончит "Феерию для другого раза". Он ответил:

— Чтоб сделать книжку, нужны годы. Многие ждут, что я еще раз покажу себя, но платить-то мне, а я и так уже дорого заплатил.

Между тем, как утверждают люди осведомленные, книга эта, по форме и по духу напоминающая прежние, близка к завершению. В одном из эпизодов рассказывается о чудовищной бомбежке и разрушении Парижа. Роман, возможно, будет напечатан в Соединенных Штатах или в Швейцарии.

– Ваши ранние книги переиздавались?

— Да. "Смерть в кредит" должна выйти в Америке.

– Как вы представляете себе свое будущее?

— Думаю, я никогда не вернусь во Францию, если только обстановка там не переменится. Ни в какую другую страну я поехать не могу, поскольку я арестован здесь. Видать, тут и умру. История, в которую я оказался втянут, не скоро кончится. Одно дело, было бы мне лет двадцать пять, но мне-то пятьдесят три: сил больше нет.

Селин замолчал. Его лицо хранит отпечаток пережитых горьких лет, выражение лица жесткое. Мы встаем, идем вместе по улице.

– Что вы думаете о недавних событиях во Франции, о девальвации?

— Франк упал вдвое... прежде было лучше... до падения.

Все та же жесткость во взгляде. За все время разговора он не произнес ни одного человеческого, сочувственного слова о своей стране, не задал ни одного вопроса о жизни на недоступной ему родине, которую я представлял. Это человек, замкнувшийся в себе, отгородившийся от мира прочной броней, лелеющий прежние воззрения, вынашивающий старые неприязни. Он никогда ни во что не верил, и испытания не обогатили его. Обуянный гордыней, он словно сам страшится любых перемен в себе.

Он уходит один, ему безразличны прохожие-датчане, неинтересны витрины. Он погружен в свой мир, похожий на кошмарный сон. Чуждый всем и всему в Копенгагене, Селин удаляется навстречу своей судьбе.

Интервью Люсьенн Морне[1]

Нашим специальным корреспондентам удалось побывать у Луи-Фердинанда Селина, живущего в ста километрах от Копенгагена. Здесь он узнал по радио,

1. "Радар", 5 марта 1950 г.

что его заочно приговорили к году тюремного заключения и конфискации половины имущества.

– Я сейчас еще менее свободен, чем когда сидел в тюрьме. Я в плену у своих ног – они меня больше не слушаются. У истерзанной чудовищными болями головы, у руки, отяжелевшей от опухоли, которую, надо удалять... Да нет же, я не хочу возвращаться в Париж! Где взять силы?.. Я на ногах не стою. Двух шагов пройти не могу... Ты же видишь, я совсем разбит...

Он обращается ко мне на "ты". Он, наверное, и с архиепископом Парижа заговорил бы на "ты", если бы тот привез ему новости с Монмартра.

Мы рассказываем ему о процессе.

– Говоришь, они были великодушны? Возможно! Не знаю. Я уже ничего не знаю кроме того, что не в состоянии предстать перед судом, слушать, как будут всё это ворошить, видеть ухмылки на лицах...

Селин не выходит из комнаты. Возле кровати, узкой, убогой, – пузырьки, газеты, бумаги в немыслимом беспорядке. Отопления нет, ни печи, ни камина.

Его осматривали три известных датских врача. Они пришли к заключению, что необходимо срочно удалить опухоль на руке и произвести новую операцию на мозге. Это означает, что Селину предстоит вторая трепанация черепа – результат полученных на войне ранений.

Он ничего не ест. Пьет только молоко. Он отказался от кофе, а еще раньше – от спиртных напитков, вина и сигарет.

– Не будь я в таком состоянии, я все равно не смог бы вернуться... У меня, голубушка, слишком много врагов. Они не успокоятся, даже если меня признают невиновным и амнистируют... И потом, на что я буду жить? У меня все отняли. За переиздание "Путешествия" я не получил ни гроша. Так на что же? Подаяния мне не нужны. Деньги за будущую книгу?

Да, разумеется... Но где найти силы, чтоб ее закончить?..

На столе возле постели лежат в беспорядке первые двести страниц "Феерии для другого раза". Первоначально он планировал написать шестьсот.

На что он живет в Дании?

Ему помогает адвокат Миккельсен, немного денег присылают из Америки, как ни странно, издатели-евреи.

– Самый большой расход у меня – это почтовые марки. Я совсем ничего не ем, жена – крайне мало!.. Никакого мяса. А вот животных кормить приходится...

Быть может, больше, чем болезнь и страх, всей силой своей любви и ласки его удерживают в Корсоре животные.

У него есть Бебер, кот, которого ему отдал актер Ле Виган и которого он таскал за собой в чемодане от Парижа до Дании через всю Германию.

Бебер еще жив, хотя тоже стар и болен. И к тому же, по праву первенства претендуя на хозяйскую любовь, отчаянно ревнует к новичкам.

Новички – это приблудные коты со всей округи, нашедшие двери этого дома открытыми: Нана, Фасоль, Сара, близнецы Протон и Нейтрон, Поллукс и другие... И еще множество безымянных, которые охотятся днем, а к вечеру притаскиваются измученные туда, где можно получить кров и корм. Их штук двадцать.

Уехать – это обречь их на смерть.

Еще есть красавица собака Бесси, которую они подобрали когда-то крошечной и едва живой.

Она спит у ног хозяина.

Собака не шевелится. Хозяин тоже. Их совместное путешествие на край ночи продолжается во мраке холодной комнатенки с сочащимися влагой стенами.

Как написано в "Путешествии":

"Я больше ни о чем не думаю. Думаю только, как бы не сдохнуть. Этого хватает. Говорю себе: еще день прожит, еще днем больше стало..."

Селин – мизантроп

Интервью Альберто Арбасино[1]

– Напичканные мифами о своей исключительности, французы асоциальны, неумны в политике, склонны все абсолютизировать, стремятся произвести впечатление любой ценой – отсюда всяческие условности, зависть (я не про себя говорю, я никогда ни во что не вмешивался); отсюда, если вспомнить события недавнего прошлого, создание некоего "сообщества мучеников", тоже исключительного: все по одну сторону, остается только удивляться, как это в такой нескромной и болтливой стране умудряются, более или менее официально, полностью замалчивать некоторые факты и соблюдать запрет на некоторые имена; ведь все готовы проливать слезы над несчастными венграми и сочувствовать героическим полякам, а вот французам – никогда, потому что француз по-прежнему кормится иллюзиями, мнит себя Людовиком XIV, которому достаточно рукой махнуть, чтобы мир затрепетал, хотя в действительности его страна давно по значению не превышает департамента и он вполне заслуживает все неприятности, которые на него обрушиваются... а в остальном, какая разница, что скажут так называемые новые поколения... которые будут якобы отличаться от старых... вряд ли это так важно... интересны только литература и кухня... кухня – это то, о чем говорят... но литература...

Видите ли, французский язык очень стар, он сух, высушен, засушен академиками и иезуитами; все наследие классической литературы было дистиллировано и доведено до совершенства юридического документа; только я не понимаю, зачем стремиться с такой ясностью формулировать суждения, когда суть остается непонятой. Уже Гёте заметил, говоря с мадам де Сталь о французском духе, что пресловутая ясность все нам испортила, испортила непоправимо: достаточно почитать мистиков, немецких романтиков, чтобы проникнуться ощущением тайны, кото-

1. "Иль Мондо", 10 сентября 1957 г.

рое французы уже не в состоянии передать. А ведь это ощущение и есть самое главное, и оно, конечно же, существует, но тех рациональных инструментов, которые нам остались, не хватает, чтобы его воспроизвести и донести до читателя.

Как утверждает биолог Сави[1], неправда, что "в начале было слово". Нет, в основе всего лежит эмоция, у всех существ, начиная с одноклеточных. Слова приходят позже, когда надо эмоцию описать. А разве можно ее выразить бездушным языком засушенных фраз? Между тем этой манией в той или иной степени охвачены все, все стараются писать, как Вольтер (возьмите Анатоля Франса, возьмите Бурже), все мнят себя Вольтерами. Посмотрите, что делается в учебных заведениях, на конкурсных экзаменах, откройте, наконец, любую газету: всюду лубок. В медицинских изданиях, которые я продолжаю получать, встречаются репродукции картин, они-то и проясняют ситуацию лучше всего: француз ищет узнаваемости и всегда рад заметить сходство. Ему нужно, чтобы модель была "как на фотографии", а фотография — как живая. Так мы и движемся, весь путь известен наперед, в университетах и на работе, будто школьный урок отвечаем, даже когда рассказываем детям в вечерней газете про изнасилование бабушки.

Сегодня Бальзак не смог бы описать жизнь сельского врача, а Флобер рассказать о провинциальных адюльтерах. Роман как свидетельство эпохи утратил смысл, потому что свидетельств всяких — пруд пруди в газетах, в журналах, потому что маленькие девочки уже интересуются безболезненными родами, а подростки к четырнадцати годам благодаря Жиду знают все о применении кнута и гомосексуализме.

В результате все сделалось банальным, не осталось ничего оригинального — кроме красок.

1941 год, человек приговорен к смертной казни при весьма необычных обстоятельствах, приговорен, можно сказать, всеми и вся — удивительный результат искаженного видения мира... слова в этом случае приобретают трагическое звучание... это и есть искомая краска, только она меня и интересует... надо уметь видеть! Я не говорю: "пришел, увидел, победил", уместнее сказать: "я проиграл", потому что я ведь потерпел поражение, но я был там! Пруст описал мир, в котором жил. Я не пердераст и в светском обществе не вращаюсь, я описал, что видел, ничего не преувеличивая и даже сдерживая себя.

...потому что я стилист и ничего более... меня интересуют только краски. Чего теперь ждать от романа? Чему он может научить? Человеческие контакты осуществляются сегодня столь многообразными способами, что образование и воспитание вовсе не нуждаются в литературе (а она в них). События интересуют меня исключительно с точки зрения эмоций. Только эмоции отразятся в книге.

Ну и довольно: автор — поставщик, а не потребитель, не ему судить. Пассажир плывет на пароходе, потому что ему так захотелось; я же нахожусь внизу, в машинном отделении, вожусь с мазутом и углем. Пассажиру, заплатившему деньги за путешествие, нет до меня дела, он себе отдыхает. Психология пассажира отличается от психологии машиниста, так что пусть каждый из них остается на своем месте, не то худо будет обоим. Клиент должен быть доволен, не мне судить, какой пароход луч-

1. Поль Сави (1879–1958) — профессор медицинского факультета университета в Лионе. Автор "Трактата по терапии".

ше, а ему. Если мой не нравится, пусть путешествует на другом. Это вопрос конкуренции между компаниями. Некоторые вообще предпочитают поезд или самолет, тогда и конкуренция смешна.

Чтобы писать, надо быть молодым и иметь деньги. А я старик, пишу уже безо всякого энтузиазма, вот не плетут же теперь кружев (а моя мать плела), они были в ходу в ту пору, когда жизнь не имела цены, когда же цену ей определили, все кончилось. Романы? Нет, знаете ли, слишком много людей ездят на автомобилях и очень торопятся; на сегодня это непосильная задача, духу не хватает, упорства; существуют готовые образцы, заранее заданные планы произведений, а вот романа нет: велико, видать, искушение пользоваться штампами, выученными в школе. У меня впечатление, что напряженно работают только люди технических специальностей, а в искусстве — нет; существует, разумеется, кино... "Суровость доблести минувших поколений..."[1]

Впрочем, я прекрасно понимаю, что мир наш стоит перед выбором между коммунизмом и торговым кредитом... при том, что коммунизм становится все более конформистским, буржуазным... нет нужды, как в древности, метить рабов каленым железом, чтоб они не сбежали... продавая в кредит, вы получите рабов куда более преданных. Коммунистические страны тоже быстро к этому придут. Посмотрите хотя бы на рабочих завода "Рено", вот тут, напротив: спят на полу, живут впроголодь, зато у каждого есть автомобиль.

И папа римский к этому придет, владел же он галерами в эпоху Возрождения (я читал об этом в "Мемуарах" капитана Пандера́). Кто помешает ему теперь производить автомобили и стиральные машины? Исповедался — получи талон на кредит, а причастия можно совмещать с лотереями. Папа хитрый, он так и будет делать; собственно, он никогда не признавал идеологий, если только они употребляли слова "нация" и "покорение земель"... вот пусть и поклоняется цивилизации машин...

Перевод с французского И. Радченко

1. Мольер. "Мизантроп".

Л.-Ф. Селин

Защитительная записка[1]

1946

Возражения на обвинения в измене, выдвинутые против меня французским правосудием и воспроизведенные датскими следственными органами в ходе допросов, которым я был подвергнут в период моего тюремного заключения в Копенгагене в 1945–1946 годах.

Меня обвиняют:

В том, что во время оккупации я написал две книги – "Guignol's Band" и "Безон сквозь годы"[2] *– по заказу немцев и им в угоду.*

Достаточно только открыть эти книги, чтобы убедиться в беспочвенности данного обвинения. Первая из них принадлежит к художественной литературе, вторая — история одной деревни под Парижем. Ко второй, кстати, я лишь написал предисловие, автор ее Альбер Серуй[3].

В том, что я был почетным членом Европейского клуба.

Я никогда не был членом Европейского клуба, равно как не состоял ни в каких других клубах, обществах, партиях и т. п. Я раза три, не более, обедал в Европейском клубе по приглашению французских медиков, состоявших его членами. На этом мои посещения Е. К. и ограничиваются. До меня в самом деле дошли сведения, что организаторы Е. К. в нескольких циркулярах поместили мою фамилию в списке почетных членов, несмотря на мои категорические возражения. Как только мне стало об этом известно, я написал чрезвычайно резкий протест против совершенного подлога и потребовал немедленно исправить ошибку. Я получил уведомление о том, что мое письмо получено, и впоследствии убедился, что мое имя исчезло из циркуляров[4].

В том, что в период оккупации Франции немецкими войсками я усугубил свои антисемитские выступления, призывая, устно и письменно, к преследованию евреев.

Данное обвинение откровенно противоречит истине. С приходом немцев я полностью перестал заниматься еврейской темой, тем более что прежде стремился вовсе не к войне, а к миру. Не помню, чтобы с 1937 года я написал хоть одну строчку антисемитского содержания. Кроме того, я никогда ни в одной книге ни единым словом не призывал к преследованию евреев. Я протестовал против деятельности некоторых

© И. Радченко. Перевод, 2001

1. Печатается с некоторыми сокращениями.
2. Обе книги опубликованы в издательстве Деноэля соответственно в марте и январе 1944 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
3. Архивист коммуны Безон (где доктор Детуш заведовал диспансером), написал также "Историю Клиши", которая осталась неопубликованной.
4. Далее Селин приводит фамилии, адреса людей, которые могли бы подтвердить изложенные выше факты.

еврейских кланов, которые подталкивали нас к войне. Это совсем другое дело. Позволю себе также заметить, что я никогда, ни разу в жизни не писал ни для одной газеты, не выступал по радио или на конференции. В Париже всякий знает, что я воплощенный анти-газетчик и антипублицист. Я, возможно, единственный из известных французских писателей, кто ревностно и упорно продолжал оставаться *писателем* и только *писателем* в самом строгом смысле слова, без всяких компромиссов.

В ответ на это утверждение мне предъявляют четыре частных письма, подписанных моим именем и опубликованных в газетах.

В угоду обвинению личные письма названы статьями. Я решительно протестую против их использования в таком качестве. Это письма, не предназначенные для печати, и ответственность за их публикацию несут адресаты. Причем часть писем была, я полагаю, изрядно "подправлена", по крайней мере, некоторые места в них представляются мне весьма сомнительными. Кроме того, я совершенно не понимаю, какую пользу могла извлечь из них немецкая пропаганда. На мой взгляд, они скорее свидетельствуют о весьма скептическом отношении ко всякого рода коллаборационизму. Без сомнения, именно так они и были поняты оккупантами, мнение которых на мой счет оставалось неизменным: "исповедует опасные, анархистские взгляды, подрывает моральные устои". Написанные еще в период триумфального наступления немецкой армии, задолго до Сталинграда, эти письма подтверждают отсутствие у меня антисемитских настроений; добавим также, что мои книги арестовывались полицией Виши (равно как и гитлеровской полицией в Германии)[1].

Совершал ли я какие-нибудь практические действия, которые можно расценить как сотрудничество с оккупантами?

Ни во время оккупации, ни до нее нога моя не ступала на территорию германского посольства. Я никогда не состоял членом какого-либо из многочисленных франко-германских обществ: культурных, литературных, медицинских и пр. Я вообще никогда в жизни нигде не состоял, кроме как во французской армии (я, между прочим, воевал и удостоился награды).

Мои литературные отношения с Германией.

С приходом Гитлера к власти все мои романы были запрещены в Германии, и этот запрет строго соблюдался на протяжении всего периода правления нацистов. Под запрет попали не только романы, но и памфлеты (кроме, кажется, нескольких страниц из "Безделиц"[2], да и те урезанные, перекроенные, неполноценные). Немецкая критика всегда замалчивала мои произведения, как литературные, так и политические. Я удостоился лишь нескольких злобных выпадов в "Шварце Корпс" — органе СС и в "Дас Райх" д-ра Геббельса. Между тем многие французские писатели из числа так называемых антифашистов и участников Сопротивления встречали теплый прием в Германии при нацистском режиме, столь беспощадном к моим книгам. При нацистах переводились, печатались, ставились на сцене, поднимались на щит Мориак, Моруа, Мартен дю Гар, Жюль Ромен и т. д.; другие известные французские писатели:

1. В период оккупации некоторые книги Селина, например "Смерть в кредит", были и в самом деле запрещены, другие, однако, переиздавались.
2. Имеется в виду памфлет "Безделицы для погрома" (1937).

Ла Варанд, Бордо, Гитри, Монтерлан, Сименон, Жионо, Шадурн, Жалу, Мак Орлан, Пьер Ам и прочие во время оккупации регулярно поставляли свои юмористические или патетические опусы в коллаборационистские газеты и даже во франко-немецкие журналы. Но их никто сегодня не трогает. Они свободно разгуливают по Парижу. Похоже, 75-я статья не для них. И только я, никогда ни для одной газеты и строчки не написавший, микрофона в глаза не видевший, только я арестован, брошен в тюрьму, только мне угрожает приговор. Забавно то, что мои книги, запрещенные в Германии и в Виши, переводятся и публикуются во всех демократических странах, особенно в Англии и Соединенных Штатах, там они сформировали целые школы. Американский писатель Миллер, о котором так много говорят в последнее время, — он ведь мой конкурент или же ученик, равно как и многие другие.

Удостаивался ли я хоть раз почестей, благодарности или особого расположения со стороны немцев?

Никогда. Вот пример: они обладали во Франции полной монополией на типографскую бумагу, а я между тем не имел возможности издаваться из-за отсутствия бумаги, я ни разу не получил ни одного "талона на 10 кг" (в то же самое время они вдоволь снабжали бумагой всех, включая своих "врагов").

Я повинен, однако, в том, что в период оккупации дважды обращался к немцам за покровительством. В первый раз я просил помиловать юродивого бретонского крестьянина, приговоренного к смертной казни военным советом города Кемпер (Финистер). Последовал сухой официальный отказ. Свидетель тому доктор Тюзе из префектуры Кемпера. Кроме того, я неоднократно хлопотал о разрешении выехать на лето в Сен-Мало (Бретань), в так называемую военную зону. Разрешения на аналогичные перемещения с легкостью получали "друзья" посольства, а также "враги" со связями. Я настаивал забавы ради, мне было отказано пять раз подряд. Несмотря ни на что я отправился в Сен-Мало и был задержан немцами. Выпутался только благодаря заступничеству одного приятеля, деголлевского уполномоченного.

Официальные посещения Германии.

Известно, что Геббельс неоднократно приглашал группы французских писателей и деятелей культуры в Германию, но я ни разу не попадал в их число[1]. Меня заботливо отстраняли от всякого "сотрудничества". Я оказался в "черном списке", и это было мне только на руку.

Еврейский вопрос.

При желании я бы мог, похитрив, полицемерив, полюбезничав где надо, сделаться Верховным комиссаром по делам евреев во Франции. Эта должность и вытекающая из нее абсолютная власть должны были бы меня прельстить. Не следует забывать, что пресса в течение многих лет осыпала меня оскорблениями, бесчестила, требовала арестовать и уничтожить. А тут мне предоставлялась возможность вполне оправданного реванша. Недруги мои, окажись они на моем месте, без сомнения, не упустили бы такой шанс, как это явствует из их сегодняшнего поведения. Теперь я один, совершенно один против всех. Затрагивая столь щекотливые вопросы, лучше всего говорить без обиняков. Изучив все внимательно, беспристрастно, трезво, с учетом различных обстоятельств,

1. Селин посещал Германию в 1942 г. в составе делегации французских врачей.

евреи должны были бы мне памятник поставить за то зло, которое я мог бы им причинить, но не причинил. Они меня преследуют, я же их никогда не преследовал. Я не воспользовался их временным поражением, не мстил за бесчисленные оскорбления, ложь, злостную клевету, которые они пускали в ход до войны, чтобы меня затравить. Я никогда не призывал преследовать кого бы то ни было. Во всей этой истории безупречный демократ — это я. В период оккупации я не клеймил евреев, не звал к погромам, а вот радио Би-би-си и подпольные газеты то и дело безответственно и безосновательно называли меня предателем, продажной сволочью и тем самым откровенно подставляли под удар. И все это, понятно, неизменно прикрывается возвышенными чувствами уязвленного патриотизма.

Меня упрекают в том, что я выступал с позиций, откровенно враждебных французскому Сопротивлению.

Я никогда не выступал против французского Сопротивления. Я слишком дорого заплатил за собственный патриотизм, заплатил кровью, страданиями и оттого уважаю это чувство в других. Во время оккупации меня постоянно окружали участники Сопротивления, я поддерживал с ними самые теплые отношения, большинство моих больных (и коллег тоже) участвовали в Сопротивлении. В частных разговорах я неоднократно высказывался против гнусного лицемерия некоторых деятелей Сопротивления, прекрасно уживавшихся с оккупационными властями, извлекавших из этого баснословные прибыли и оказывавшихся непримиримыми патриотами, бескомпромиссными поборниками справедливости по отношению ко мне, когда нужно было со мной расправиться, а ведь я никогда ни в чем не помогал немцам, я наказан за свои идеалы, за пацифизм. В результате я потерял все, а обрел лишь унижения, новые раны, мучения; меня ненавидят немцы, отвергают "коллаборационисты", сживают со света деголлевцы. Эх, если бы все миллиарды, скопившиеся сегодня во Франции, могли бы сказать, через какие карманы они прошли! Мне ставят в упрек некое письмо в "Жерминаль". Ну и что оно доказывает? Только то, что я уже в тот период полагал: существует продажное Сопротивление, как и продажный коллаборационизм. В чем тут открытие?

Меня упрекают в том, что в августе 1944-го я бежал из Парижа искать покровительства у немцев и что нацисты в Германии приняли меня с распростертыми объятиями.

В действительности же я три года просил у немцев разрешения перебраться в Данию, подальше от войны и всяческого коллаборационизма, чтобы спокойно работать и лечиться. Принципиальное разрешение на выезд, в котором мне до того времени отказывали, я получил в июне 1944 года. Таким образом, я покинул Францию в июне, а не в августе, то есть самым нормальным образом. Ненормальным все сделалось в Германии. Вместо того чтобы позволить мне беспрепятственно проследовать в Данию, меня сразу же интернировали в Баден-Баден, где советник миссии Шлеман посадил меня под домашний арест в гостинице, запретив покидать город. Я немедленно потребовал, чтобы мне разрешили вернуться во Францию. Категорический запрет. Документы у меня забрали. Когда в августе прибыла основная масса французских беженцев, мне предложили, дабы освободить место в гостинице, отправиться в Берлин и там еще раз попросить о выезде в Данию. Пустое. Нас снова ин-

тернировали и некоторое время содержали в деревушке к северу от Берлина вместе с французским актером Ле Виганом. Когда было создано правительство в изгнании, я попросил направить меня в Зигмаринген, где по крайней мере говорили по-французски, в качестве врача. Строго говоря, существование, которое я влачу сегодня в тюрьме, представляется мне легким и благоустроенным по сравнению с тем, что мы с женой пережили в Германии. Никогда в жизни со мной не обращались так дурно, даже на фронте в 1914-м; мы подыхали от холода и усталости, нас ненавидели местные жители, следили за нами, угрожали, нас терроризировали соперничающие между собой полицейские подразделения, я работал день и ночь в кошмарных условиях, нередко под бомбежками, не спал вовсе; принимая во внимание мою болезнь и инвалидность, скажу, что несчастнее людей, чем мы, не было даже в Бухенвальде. Наша конура (называвшаяся комнатой) служила нам одновременно спальней, кухней и пунктом "Скорой помощи". Мы жили хуже, чем свиньи, а питались уж несравненно хуже. В течение восьми месяцев я принимал у себя на постели чуть ли не всех больных Зигмарингена, самых тяжелых, с туберкулезом, дифтеритом, с ранениями и ожогами, рожениц и сумасшедших, обреченных; все, понятно, с чесоткой, которой заразились и мы. Все это время я оплачивал из своего кармана лекарства, которые давал больным, я буквально вырывал их у единственного тутошнего аптекаря, и с каким трудом! К концу нашего пребывания в Зигмарингене отряды террористов из Народной партии (партии Дорио) решили уничтожить меня как изменника, пораженца и агента британской разведки. В довершение всех мук я в этом аду полностью разорился. Работая день и ночь, я истратил 600 000 франков моих личных сбережений, которые я, обменяв на марки, пустил по ветру: дарил, одалживал, покупал лекарства и т. д. Находившийся одновременно со мной в Зигмарингене доктор Жако из Ремирмона (Вогезы), разумеется, может все это подтвердить. Вот так мы погостили у наших "друзей" в Германии. Надо отметить, что французские беженцы в Зигмарингене делились на две категории: к первой действительно принадлежали друзья нацистов, официальные, так сказать, они жили в замках, их хоть как-то кормили; ко второй — простолюдины, в том числе и я, причем я — на последнем месте, поскольку работал день и ночь, больше, чем кто бы то ни было, — одним словом, каторжник.

На основании многочисленных свидетельств меня упрекают в том, что я сознательно сделался проводником вражеских действий против Франции.

Что касается "вражеских действий против Франции", я знаю одно: я дважды участвовал добровольцем в войне против Германии: в первый раз в 1914 году (награжден медалью в ноябре 1914-го), вернулся калекой с 75-процентной потерей трудоспособности, во второй раз в 1939 году в качестве врача на военном пакетботе "Шелла". Его потопили у Гибралтара. После чего, окончательно освобожденный от воинской повинности, я возобновил свою деятельность на посту главного врача муниципальных диспансеров в Сартрувиле и Безоне (Сена-и-Уаза) и проработал там всю войну. Что еще я могу ответить?

Так чего же от меня хотят? В чем смысл всех этих яростных нападок?

Меня изо всех сил стремятся заставить платить за то, что я писал до войны, хотят, чтобы я искупил мои литературные успехи и тогдашнюю полемику. Все дело в этом. Мои враги не допускают мысли, представить

себе не могут, что я воздержался от какого-либо сотрудничества с немцами (уж больно им этого хочется). Такая моя позиция кажется им невероятной. Им нужно, чтобы я оказался коллаборационистом. Во что бы то ни стало! Им это выгодно. Они рассчитывают осудить меня за "сотрудничество", разделаться со мной, если не легально, так путем убийства. Мой издатель Робер Деноэль был убит год назад на улице в Париже. То, что я говорю, не пустые слова. Но я, как это ни удивительно, не сотрудничал с немцами. И недругам моим придется-таки это признать. Получилось все совсем наоборот. Полагаю, немцы, как в Германии, так и во Франции, услышали от меня гораздо более суровую критику, более точную и более едкую, чем та, что доносилась до них из Алжира и Лондона. Потому что я участвовал в тех событиях лично и знал, о чем говорю. Что до Лаваля и Петена, я был у них бельмом на глазу, они просто мечтали меня засадить.

Исходя из написанного мною, можно было, разумеется, предположить, что я стану ярым сторонником немцев, но произошло как раз обратное! Превратить подозреваемого в виновного, поставить все с ног на голову, всех одурачить, прибегая к клевете, наглой лжи, фальсификации, выдумкам — излюбленное развлечение всех революций, привычный спорт фанатиков. Использовать возбуждение толпы, чтобы обезглавить ненавистного соперника, — такой фокус не вчера придумали. Это у них называется "карать". Так покарали во Франции Лавуазье, Шамфора, Шенье и сотни других более или менее известных людей.

Писано в "Западной тюрьме", Копенгаген, 6 ноября 1946 года.

Настоящий документ содержит тринадцать страниц, включая первую и последнюю, страницы пронумерованы и разделены на параграфы мной лично: Луи-Фердинанд Детуш (Селин).

Перевод с французского И. Радченко

Писатели отвечают на вопрос "Что вы думаете о деле Селина?"[1]

Марсель Эме[2]

Сколько бы ни злопыхательствовали его недруги, сколько бы ни изощрялись в ненависти, Селин все равно остается самым великим из современных французских романистов, обладающим, возможно, самым могучим лирическим даром за всю историю нашей культуры. Не осмеливаясь признать это открыто, сегодняшняя литература находится под его несомненным влиянием. Человека такого масштаба Четвертая республика изгнала из страны, что не делает ей чести. Кроме того, это совсем не дальновидно с ее стороны, ведь на чужбине Селин может написать свои "Возмездия"[3], и все французы с удовольствием их прочтут.

Рене Баржавель[4]

Селин — наш величайший лирический гений со времен Вийона. Фердинанд и Франсуа — братья-близнецы.

Изменятся границы стран и политические режимы, а Селин останется. Студенты грядущих веков будут наряду с "Балладой о повешенных"[5] учить наизусть "Смерть старухи консьержки"[6], анализировать каждую строчку, восхищаясь неисчерпаемыми богатствами романа — величественного памятника нашей литературы, и дивиться смехотворному суду над автором. До Селина нам еще расти и расти.

Пытаться судить его — все равно что измерять гору портняжным метром. Судьи должны заранее смириться с тем, что войдут в историю окарикатуренными.

© И. Радченко. Перевод, 2001

1. Дискуссия состоялась на страницах журнала "Либертер" в январе 1950 года. Свое мнение о деле Селина высказали ведущие писатели и другие деятели культуры. Печатается с сокращениями. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Марсель Эме (1902—1967) — французский писатель и драматург, широкую известность приобрел в 1933 г. романом "Зеленая кобыла".
3. Сборник обличительных политических стихотворений В. Гюго (1853).
4. Рене Баржавель (1911—1985) — французский писатель и журналист, известный как автор романа "Опустошение" (1943).
5. Баллада Франсуа Вийона.
6. Имеются в виду первые страницы романа Л.-Ф. Селина "Смерть в кредит".

Альбер Беген[1]

"Путешествие на край ночи" — одна из немногих книг нашего времени, без которых нельзя обойтись, одна из самых правдивых книг, какие только существуют.

Сказанное выше не имеет никакого отношения к судебному процессу, о котором я мало знаю и на котором, полагаю, талант обвиняемого не будет приниматься во внимание. Стоит отметить, что после "Путешествия" Селин ничего стоящего не написал. Все прочее — бред больного воображения, извергающего фонтаны нечистот. Всякий антисемитизм омерзителен, антисемитизм же злобно брызгающего слюной Селина подобен тявканью услужливого пса. Начать с "Путешествия на край ночи", а кончить лаем — вот в чем подлинная трагедия этого человека; осуждение или оправдание, ответный лай врагов или жалобное завывание апологетов и сочувствующих ничего к ней не прибавят.

Андре Бретон[2]

Я восхищаюсь только теми людьми, у которых талант (литературный или любой другой) соответствует личности. Таким образом, мне неинтересен Селин, как неинтересен, скажем, Клодель[3]. Отвращение к Селину возникло у меня почти сразу: не прочитав и трети "Путешествия на край ночи", я натолкнулся на восхваление унтер-офицера колониальных войск и уловил там некий подлый душок.

Незадолго до войны мне попались на глаза другие его писания, с лихвой подтвердившие мои догадки. Терпеть не могу литературу, бьющую на эффект, ибо она охоча до клеветы и копания в грязи, ибо взывает к самому низменному в человеке. Антисемитизм Селина и так называемый "интегральный национализм" Морраса[4], облеченные в предельно агрессивную форму, не безделицы: они несут в себе зародыши худших бед.

Насколько мне известно, Селину в Дании ничего не угрожает, а потому я не вижу необходимости создавать общественное движение в его поддержку.

Альбер Камю

Правосудие, замешанное на политике, отвратительно. Поэтому я считаю, что дело надо закрыть, а Селина оставить в покое. Да будет мне, однако, позволено заметить, что антисемитизм, в особенности антисемитизм сороковых годов, отвратителен ничуть не меньше. А потому, когда у Селина все разрешится, пусть и он оставит нас в покое.

1. Альбер Беген (1901—1957) — литературный критик, долгое время был главным редактором журнала "Эспри".
2. Андре Бретон (1896—1966) — французский писатель, теоретик и один из основоположников сюрреализма.
3. Поль Клодель (1886—1955) — французский поэт, драматург, дипломат.
4. Шарль Моррас (1868—1952) — французский писатель и политический деятель, официальный идеолог коллаборационистского правительства Петена.

Жан Дюбюффе[1]

Прискорбно, что у нас существуют законы, запрещающие гражданам думать свободно и откровенно высказывать свои мысли. Хотелось бы, чтобы в стране, где слово "свобода" произносится так часто, реально соблюдалась хоть такая малость, как свобода мнений. Не знаю, питает ли Селин недоверие к евреям и уважение к немцам (если и питает, то он не одинок) и проявляются ли эти убеждения в его романах, достойных всяческого восхищения. Но мне бы хотелось, чтобы в нашей стране человек, испытывающий недоверие или уважение к кому бы то ни было, имел право сказать об этом. Селин — один из самых поразительных талантов нашего времени. Многолетняя изнурительная ссылка, к которой его вынудили некоторые наши группировки, — явление удручающее. Пора положить ей конец. Надо оправдать его полностью, раскрыть ему объятия, воздать должное великому писателю и гордому неподкупному человеку, каких осталось немного.

Морван Лебеск[2]

Мой ответ будет, как говорится, краток. Меня не интересует политическая деятельность Л.-Ф. Селина, поскольку я чужд политике.

Селин, по моему убеждению, — величайший из ныне живущих романистов наряду с Фолкнером и единственный французский писатель нашего века, который ликвидировал пропасть между литературой и народом. Я полагаю, что он должен возвратиться во Францию, а мы — принять его с подобающими почестями.

Бенжамен Пере[3]

Меня глубоко удивляет неожиданный интерес, который ваше издание проявило к господину Селину. Лично я не могу забыть, какую зловещую роль он играл в предвоенные годы и во время войны. Все его писания вызывающи, вопиющи и, следовательно, несостоятельны, с какой бы точки зрения вы их ни рассматривали, потому что поэзия, вопреки утверждениям селиновских подпевал, несовместна с низостью и грязью. Творчество Селина захлебнулось в жиже сточной канавы, где поэзии не может быть по определению. А теперь кое-кто хочет приоткрыть крышку, чтобы мы подышали смрадными выделениями. Нет, пусть уж остается в Дании, где ему ничто не угрожает, раз не смеет предстать перед судом: на благоприятное решение ему нечего рассчитывать.

На наших глазах разворачивается целая кампания обеления фашистов и антисемитов. Вчера извлекли из небытия Жоржа Клода[4]. Завтра

1. Жан Дюбюффе (1901–1985) — французский художник.
2. Главный редактор журнала "Карфур".
3. Бенжамен Пере (1899–1959) — французский поэт, примыкавший к сюрреализму, коммунист, антифашист.
4. Жорж Клод (1870–1960) — французский физик, коллаборационист.
5. Анри Беро (1885–1958) — французский писатель и журналист; за сотрудничество с немцами был приговорен к смертной казни, замененной каторгой.

реабилитируют Беро[1], Селина, Морраса, Петена и прочих. Какая польза анархистам и революционерам, если все эти подонки снова окажутся у власти?

Ни к чему донкихотство! Давайте проявлять солидарность, истинную, полную, по отношению к жертвам капитализма, франкизма, сталинизма и других диктаторских режимов, оскверняющих нашу планету.

Шарль Плиснье[1]

Селин, на мой взгляд, — один из самых ярких талантов нашего времени.

И он же, увы, одни из величайших губителей свободного сознания.

Мы с ним не были в одном лагере ни в военное время, ни в мирное.

Я не знаю, в чем именно его обвиняют. Мне говорят, что "свободный" человек служил тоталитарному нацистскому режиму. Верится с трудом.

Чем бы все ни кончилось, осуждением или оправданием, перед нами человек поверженный. Мне было бы стыдно бросить в него камень.

Поль Рассинье[2]

Я плохо подхожу для ответа на этот вопрос, поскольку я на 150 % за Селина. Я ненавижу политические суды, они бессмысленны: людей осуждают за измену родине и поднимают на пьедестал за измену человечеству... Это выше моего понимания. Мое мнение таково:

1. Суд, который устроили над Селином, — мерзость.

2. Его обрекли на нечеловеческую жизнь.

3. И то и другое выгодно определенной группе, в частности тем, кто нарушил его авторские права, французскому государству, которое лишило его пенсии и конфисковало книги.

4. Судить надо тех, кто на этом деле греет руки.

Перевод с французского И. Радченко

1. Шарль Плиснье (1896–1952) — бельгийский писатель, коммунист.
2. Бывший узник концлагеря.

Алексей Зверев

"Всем я поперек горла..."

Писать о нем противно. Антисемит. В годы оккупации – коллаборационист, причем из убежденных. Другие шли в Сопротивление и погибали у стены форта Мон-Валерьен, где расстреливали несмирившихся, или в Освенциме, куда направлялись транспорты из фильтрационных лагерей Компьен и Дранси. Что до Селина, он возмутился, когда на выставке, устроенной Институтом еврейских (точнее было бы – расистских) исследований, не оказалось его памфлетов, написанных еще до войны: там утверждалось, будто "евреи, и только они, толкают нас к пулеметам". И, войдя в состав делегации предателей, посланной в Берлин, выступил перед депортированными с призывом помогать нацизму, а не вынашивать недобрые чувства.

Покаяние? Ничуть не бывало. Нацистский режим рухнул, стала проясняться правда о том, что он собою представлял. Начали подводить предварительные итоги, и Селин внес свою лепту. Вот какую: "Евреи должны бы поставить мне памятник за то зло, которое я мог бы им причинить, но не причинил".

Прижизненных монументов не было, были возмущение и требования жестких мер. Сартр выпустил памфлет, не оставивший от идей Селина камня на камне, – Селин его за это ненавидел до конца своих дней. В Париже, куда он вернулся, несколько лет отсидев в Дании (до Латинской Америки, где после разгрома рейха скрылись недавние единомышленники, он просто не сумел добраться), его ждали общественная изоляция и презрение. Селин мог бы и непосредственно от своего имени сказать то, что сказано героем его позднего, нескрываемо автобиографического романа "Guignol's Band": "Всем я поперек горла".

Впрочем, далеко не всем. У Селина были многочисленные почитатели и приверженцы в дни писательской молодости. А после его смерти их стало намного больше. Он теперь, можно считать, канонизирован: издания в самых престижных сериях, коллоквиумы, симпозиумы, трехтомная биография Франсуа Жибо – монументальный труд, какими удостаивают лишь тех, кто прочно обосновался в пантеоне национальной славы, и не один десяток трудов поскромнее. Общество друзей Селина, у которого есть свои отделения и в США, и в России. Словечко "гений", ставшее вполне привычным и в статьях с претензией на научную основательность, и в рекламных аннотациях.

Было бы глупостью заключить, что это какое-то массовое помрачение умов. В подобном безумии всегда проступает своя система, а у апологетов Селина она обозначается так ясно, что не составляет большого труда обнаружить ее внутреннюю логику и опорные пункты. Селин признан ярким, даже уникальным явлением из-за того, что еще в первом своем (и, пожалуй, единственном, у которого есть шансы остаться в истории литературы) романе "Путешествие на край ночи" (1932) возвес-

тил "апокалиптический крестовый поход" против ценностей гуманизма и демократии, которые обанкротились, однако все еще обладают магической властью над сознанием толпы. Селин назван гением за то, что своей позиции, отвергающей "музыку оптимизма" как тошнотворный дурман и как оправдание всевозможных насилий над человечеством, он действительно оставался неукоснительно верен до конца. Селин возведен на пьедестал, поскольку объявлено, что именно он нашел художественный язык, аутентичный нашему времени жестоких социальных катастроф и радикального пересмотра бытовавших понятий — этических, эстетических, философских.

Всё это пропагандисты Селина, не затрудняясь аргументацией, утверждают как аксиомы. "Рыцарь Апокалипсиса" — озаглавлен последний том биографии Жибо, и выбор метафоры по-своему замечателен: рыцарство всегда ассоциировалось с бескорыстным служением идеалу, с благородством и прямодушием, а ничего более чужеродного мироощущению Селина просто невозможно себе представить. Селин — безусловный моралист, поскольку все свои умения подчинил одной главной цели, стараясь "последовательно поливать грязью все, что обычно пользуется самым большим уважением в обществе: все привычные социальные ценности от патриотизма до личных человеческих отношений и любви". Это высказывание Троцкого, пришедшего в восторг от "Путешествия на край ночи" и тиснувшего статью, какой следовало ожидать от поборника мировой революции по-большевистски. Основные положения этой статьи вот уже семьдесят лет на разные лады повторяют "друзья Селина", не желающие замечать, что она написана верным учеником Шигалева, того персонажа "Бесов", который возмечтал о полном искоренении "высших способностей", о всеобщей и обязательной подлости, о равенстве в рабстве как "конечном разрешении вопроса", да еще требовал миллион голов, чтобы это разрешение состоялось. Слово "мораль", конечно, может обладать очень разными смысловыми оттенками, но синонимом цинизма оно становится только у шигалевых и троцких. И у Селина, который в 1937 году — какое подходящее время! — сочиняет памфлет, провокативно озаглавленный "Безделицы для погрома". А еще раньше устами Бардамю, героя своего первого романа, следующим образом подытоживает уроки пребывания "на краю ночи" — среди безумия войны, среди бесчувствия и дикости "задрипанной Африки", среди бездушия и стерильности Америки, этого "шанкра на теле мира": "Быть может, непомерная тяжесть существования как раз и объясняется нашими мучительными стараниями прожить двадцать, сорок и больше лет разумно, вместо того чтобы просто-напросто быть самими собой, то есть грязными, жестокими, нелепыми"[1].

Чувствуя ненадежность попыток спасти репутацию Селина рассуждениями о постигнутых им духовных глубинах и о "моралисме", его страстный обожатель Генри Миллер без затей сформулировал тезис, который потом сделается таким же общим местом, как мысли Троцкого насчет целительной грязи, до самого верха заполняющей "Путешествие на край ночи". Для Миллера это "потрясающий автор, и мне безразлично, фашист он, демократ или ассенизатор, — главное, что *он умеет писать*". На этом, кажется, сходятся все, не исключая даже Клауса Манна,

1. Перевод с французского Ю. Корнеева.

который от своего более знаменитого отца унаследовал верность заветам либеральной традиции, а оттого именовал Селина "злобным сумасшедшим", но с оговоркой – он "тоже одарен".

Оговорка, разумеется, необходима. Если бы нужда в ней отпала, Селин не вызывал бы через сорок лет после своей смерти такого пиетета у одних, такого отвращения у других и в лучшем случае воспринимался бы как курьезный литературный эпизод отшумевшего времени. Этого не случилось и не могло случиться, потому что он в некоторых отношениях действительно крупная фигура. Или, по меньшей мере, очень характерная для только что завершившегося столетия.

Дело тут не в том лишь, что проза Селина отмечена радикально новыми стилистическими решениями, хотя и в этом тоже. Вскоре после выхода прославившей его книги, в 1933 году, на очередной годовщине Золя, которого он не выносил, как, собственно, и всех других своих предшественников, Селин выступил с речью о натурализме, ставшей чем-то вроде манифеста. Он говорил о том, что в современном мире, где восторжествовал "единодушный садизм", эстетика натурализма, что бы ни думали о его принципах, становится политически невозможной. "Никакой режим не вынесет двух месяцев правды". Почти невероятно, чтобы появилось и было достойно оценено безоговорочно правдивое описание реальности. "Всеобщая страсть к смерти", жажда небытия, неодолимые инстинкты разрушения – а всем этим и определяется самосознание общества, – по существу, запрещенные темы. Придет день, когда натурализм будет объявлен вне закона повсюду в мире, – день истинного триумфа этой школы. Нисколько не разделяя веру Золя во всевластие биологического и социального детерминизма, Селин, однако, с готовностью признавал себя его наследником в том, что касается грубой, травмирующей правды о человеке и социуме. А правда означает дезавуацию всевозможных самообольщений и возвышающих обманов ради, продолжая пушкинскую цитату, той тьмы низких истин, которые для Селина сделались настоящей страстью в литературе.

"Путешествие на край ночи" и появившаяся следом за ним "Смерть в кредит" (1936) буквально переполнены такого рода истинами, которые создают вызывающе односторонний, но зато вполне целостный образ действительности. Троцкий писал, что перед читателем разворачивается "панорама абсурдности жизни, ее жестокости, тягот, лжи, беспросветной безысходности". Так и есть, только следовало бы добавить несколько слов о каком-то почти мазохистском упоении этой беспросветностью и жестокостью.

Оправдание этому обычно находят в биографии Селина, к которому судьба оказалась не слишком милостива (но кого она обласкала в его поколении родившихся под самый конец XIX века?). Основные вехи его жизненного пути хорошо известны. Детство в парижском пригороде, где мать писателя держала маленькую лавку, рано пробудившаяся ненависть к убожеству и бесцветности мещанского существования. Потом шок войны, с которой Луи Детуш вернулся инвалидом; несколько лет, проведенных молодым врачом, будущим литератором Селином, в африканских колониях, – какая нищета, какое скотство, какой примитивно устроенный ад! И возвращение во Францию, где отыскалось место врача в диспансере для неимущих. Полагается сострадать им, но только до

чего они мелочны, как ничтожны, как омерзительны со всей их безропотностью, тупостью, серостью, грошовыми мечтами.

Две первые книги Селина, откровенно автобиографические по материалу, оставляли впечатление, будто автор хотел создать не столько литературное произведение, сколько человеческий документ, который содержит резкое, обличающее свидетельство об уродстве жизни как она есть, о беспредельной социальной несправедливости, пробуждающей чувство негодования и протеста. Такому впечатлению поддались многие французские интеллектуалы левой ориентации, решившие, что Селин разделяет их грезы о коммунистическом преобразовании действительности. И не только французские. На Съезде советских писателей в 1934 году драматург Виктор Киршон, вскоре расстрелянный, называл первую книгу Селина страшной, потрясающей, разоблачительной, передавшей "всю мерзость окружающей обстановки", хотя она не наметила правильной революционной перспективы. А другой писатель, Лев Никулин, который впоследствии снискал реноме доносчика, находил, что эта книга знаменует "очень серьезные достижения в области искусства".

Для Никулина (впрочем, точно так же думал и такой изысканный поэт, как Луи Арагон) "серьезные достижения" связывались прежде всего с яростной антибуржуазностью Селина, который обладает способностью "всеми порами ощущать мерзость окружающей обстановки" — стало быть, зовет переделать мир, чтобы он наполнился "бодрым, созидающим трудом". Очень скоро выяснилось, что для подобной интерпретации нет ни малейших оснований. А когда Селин в 1936 году съездил в Ленинград и описал советскую действительность как "гигантский заброшенный сортир", где испражняются истощенные до предела дистрофики, власть наверняка пожалела о том, что двумя годами раньше было разрешено русское издание "Путешествия на край ночи", пусть с обширными купюрами и в скверном переводе за взятой напрокат подписью жены Арагона Эльзы Триоле (судя по всему, истинный переводчик был к этому времени уже посажен).

В 30-е годы, оставшиеся в истории как "красное десятилетие", подобных недоразумений, вероятно, было трудно избежать. Однако внимательные читатели первого романа Селина понимали, что у этого автора нет ничего общего с теми, чей возмущенный разум повелевает заклейменным проклятьем идти в смертный бой за свое солнечное будущее. Селин и так называемая пролетарская литература не имеют между собой ничего общего. Он — феномен совершенно иной природы, и не только эстетической. Его книги — классические образцы искусства авангарда, которое порождено обостренным сознанием опустошенности, абсурда, тупика, полного банкротства цивилизации. Такое искусство буквально кричит о несостоятельности традиционно почитаемых ценностей, о смехотворности всех усилий обуздать воцарившийся в мире хаос, о воинствующем аморализме, который стал нормой отношений. Однако сколько-нибудь выявленного и твердого морального основания в этом искусстве нет. Поэтому так часто, пытаясь сказать о трагедии, оно превращает ее в гиньоль, а от очень левых настроений с невообразимой легкостью переходит не только к очень правым, но к откровенно одиозным — как селиновские в годы войны и оккупации. То же самое случилось с Эзрой Паундом, с Кнутом Гамсуном, с вождем итальянского футуризма Маринетти, да и со сколькими

другими, чьи имена давно уже никто не вспоминает. Именно в этом отношении Селин чрезвычайно характерная фигура для литературной истории XX века.

Как раз в ту пору, когда его звезда начала стремительно восходить, Георгий Федотов, крупный и недооцененный философ, чья творческая жизнь прошла в эмиграции, опубликовал несколько статей, где описана ситуация в культуре после того, как для огромных людских масс "закрылось небо" и осталась лишь "отчаянная борьба человека с духом небытия". Федотов был христианским мыслителем и с ужасом наблюдал, как потерявшие небо погибают "в столкновении безличных коллективов и разрушительных материальных сил". Но у него достало широты и терпимости, чтобы признать неотвратимость появления искусства, где уже нет живой воды, даруемой духовной энергией, надеждой на спасение и верой. Одно для Федотова оставалось, впрочем, вне сомнения: это искусство, пусть даже оно с достоверностью, с художественной убедительностью передает неотступное ощущение гибели всех идеалов и свидетельствует о наступившей эпохе нового варварства, само обречено гибели. Потому что отреклось от неотменимой обязанности искать "источник новой жизни", когда омертвели и рухнули все старые формы.

Судьба Селина стала едва ли не самым выразительным подтверждением точности этого вывода. Если имя Селина не исчезло в летейских водах бесследно, причина та, что природа дала ему действительно яркое дарование: созданная им стилистика стала неоспоримо новым словом для французской — может быть, и не только французской — прозы. Это, впрочем, относится лишь к его первым книгам, а дальше началась быстрая творческая деградация, так что написанное Селином после "Смерти в кредит" представляло интерес главным образом как иллюстрация его идеологических приоритетов и поступков, которые из них вытекали. Но "Путешествие на край ночи" в самом деле оказалось новаторским явлением. Прежде так не писал никто.

Потом будет много наговорено о том, что именно Селин опроверг знаменитый тезис Теодора Адорно, утверждавшего, что после Освенцима поэзия стала невозможной, поскольку литература несовместима с духом нашего времени. Согласно этой логике, Селин нашел выход в ситуации, которая выглядела непреодолимой, — он превратил роман в подобие каленого железа, необходимого, чтобы выжечь рану, не обращая внимания на причиняемую жуткую боль. Он изгнал из литературы все высокие понятия, всякую ангажированность, любого рода этическую озабоченность. Он сделал ее чистым текстом, где важно только повествование само по себе, а не старомодные заботы о разграничении добра и зла, героики и низости, величия и ничтожества. Провозгласив себя "мандарином бесчестия", Селин не только строил собственную жизнь в соответствии с этой позицией, но постарался ее обосновать и творчеством, превращая роман в утомительное издевательство над бытующими представлениями о том, что проза должна обладать какой-то магистральной идеей, которой будет подчинен сюжет, какой-то внутренней связностью, каким-то конфликтом и пафосом, а не только стилем, сколь угодно изощренным, и ритмом, пусть завораживающим своей непривычностью.

Для любителей порассуждать о текстурах или о нарративных стратегиях, продемонстрировав некоторое знакомство с теориями постструк-

турализма и деконструктивизма, наследие Селина бесценный клад, потому что оно дает самую обильную подпитку хиреющим концепциям произведения как "знака" при отсутствии "объекта". Однако русского читателя, воспитанного на более долговечных представлениях о том, что́ такое искусство, Селин скорее заставит вспомнить ту характеристику эстетства, которую в свое время дала Марина Цветаева – уж ее никто не обвинит в художественной консервативности. В 20-е годы она переписывалась с начинающим поэтом Александром Бахрахом и, испугавшись, что он поддается искусу "чистого художества", губительному для творчества, умоляла: "Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок – глазами, звуков – ушами, губ – губами, *любите всё душой.* Эстет, это мозговой чувственник, существо презренное. Пять чувств его – проводники не в душу, а в пустоту".

Туда, в пустоту, вел и путь, избранный в литературе Селином.

Луи-Фердинанд Селин: краткая летопись жизни и творчества

1894 Родился в пригороде Парижа Курбевуа. Отец — Фернан Детуш, служащий страховой компании; мать — Маргерит Детуш, хозяйка лавки, где продавались кружева и женское белье.

1897—1899 Семья Детушей несколько раз меняет место жительства, уже в Париже: улица Бабилон, улица Ганнерон и, наконец, пассаж Шуазель, где Маргерит Детуш после перерыва снова открывает лавку ("антиквариат" и кружева).

1900—1907 Луи Детуш учится в государственной начальной школе, затем в католической и опять в государственной.

1907. 15 *июня* Получает свидетельство об окончании начальной школы.

1907—1908 Проводит год в Германии, учится в пансионе в Дьепхольце, недалеко от Ганновера. На летние каникулы едет во Францию, затем возвращается в Германию и еще четыре месяца учится в Карлсруэ.

1909 *Февраль — ноябрь* Учеба в английских колледжах, сначала в Рочестере, затем в Бродстейрсе.

1910. *Декабрь* Возвращение в Париж. Поступает в ученики к торговцу тканями. До декабря 1911 года успевает поработать у парижских ювелиров Робера, Вагнера и Лаклоша, затем перебирается в Ниццу.

1912. 12 *сентября* Поступает добровольцем в двенадцатый кирасирский полк (г. Рамбуйе, 45 км от Парижа).
Пишет "Записные книжки кирасира".

1913. 5 *августа* Получает звание капрала.

1914. 5 *мая* Произведен в чин унтер-офицера.
Когда Франция вступила в Первую мировую войну, полк находился в Лотарингии, затем был переведен во Фландрию.

27 октября Луи Детуш получает ранение в правую руку. Через два дня его оперируют. Награжден медалью и Военным крестом. В журнале "Иллюстре насьональ" печатают его портрет.

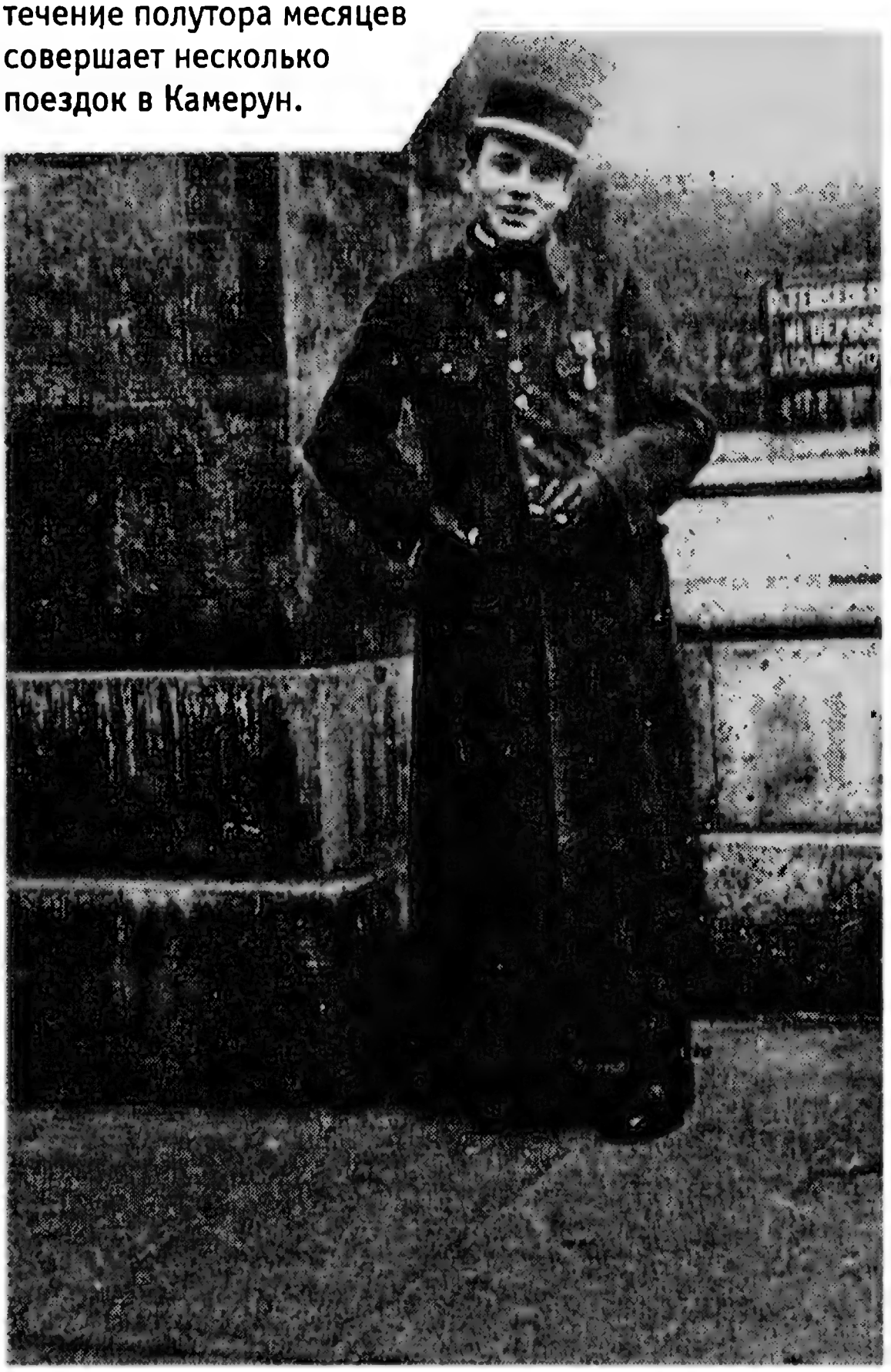
1915. *Январь* — Повторная операция.

Май — Назначение в паспортный отдел Генерального консульства Франции в Лондоне.

2 декабря — Медицинская комиссия признает Луи Детуша негодным к воинской службе.

1916. 19 *января* — Женится на Сюзанне Небу, однако брак этот в консульстве не зарегистрирован.

Март — Получает должность "надзирателя за плантациями". В течение полутора месяцев совершает несколько поездок в Камерун.



Луи Детуш после ранения. 1915 г.

Апрель — Становится управляющим плантацией в Бикамимбо (Камерун).

1917. *Март* — Заболевает дизентерией, отправлен во Францию. По дороге пишет первое художественное произведение — новеллу "Волны".

1918. *Март*	Участвует в профилактической кампании против туберкулеза, организованной Фондом Рокфеллера.
1919. *Июль*	Получает в Рене степень бакалавра. Начинает изучать медицину.
19 *августа*	женится на Эдит Фолле, дочери профессора Фолле, который вскоре станет директором Школы медицины в Рене.
1920. *Апрель*	Как ветеран войны на льготных условиях поступает в Школу медицины.
15 *июня*	Рождение дочери Колетт.
1924. *Май*	Защищает диссертацию на тему "Жизнь и творчество Игнаца Филиппа Земмельвейса". Работает в Комиссии по гигиене при Лиге Наций; поселяется в Женеве; жена и дочь остаются в Рене.
1925—1926	Служебные поездки в США, Африку и страны Европы. Развод. Встреча с Элизабет Крэг, которой он впоследствии посвятит "Путешествие на край ночи". Начало работы над пьесой "Церковь".
1927	Издательство "Нувель ревю франсез" ("НРФ") отвергает рукопись. Пишет пьесу "Прогресс".
1930. *Март*	В еженедельнике "Монд", которым руководит Анри Барбюс, публикует статью "Общественное здоровье во Франции". Работа в фармацевтической лаборатории. Поездки в страны Центральной Европы.
1932. 14 марта	Умирает от инсульта Фернан Детуш. Апрель. Передает рукопись "Путешествия на край ночи" в издательство "НРФ". Затем — в издательство Деноэля.
30 *июня*	Подписывает контракт с издательством "Деноэль & Стил".
15 *октября*	Журналы "Эроп" и "Кайе дю сюд" публикуют фрагменты из "Путешествия".
20 *октября*	Издательство Деноэля объявляет о выходе в свет "Путешествия на край ночи".
10 *ноября*	Селин дает первое интервью — "Пари-суар".
30 *ноября*	На предварительном заседании Гонкуровской академии достигнута неофициальная договоренность о присуждении премии роману Селина.
7 *декабря*	Гонкуровскую премию получает Ги Мазелин за роман "Волки".

Селин удостоен премии "Ренодо".
Рецензии на "Путешествие" появляются в итальянской, немецкой, американской и британской прессе.

1933 — Знакомство с Элизабет Поркероль, связь с которой продлится два года.

Июнь — Элизабет Крэг навсегда уезжает в США.

Лето — Селин приступает к работе над романом "Смерть в кредит".

Сентябрь — Издательство Деноэля публикует "Церковь".

1 *октября* — Селин произносит в Медане единственную в своей литературной жизни речь "Похвальное слово Золя".

1934. *Июнь* — Отъезд в США, где Селин проводит около двух месяцев.
Попытка уговорить Элизабет Крэг вернуться во Францию.
Выходит в свет русский перевод "Путешествия на край ночи", подписанный Эльзой Триоле. Многочисленные отклики в советской печати.

1935. *Май* — В Париже знакомится с пианисткой Люсьенн Дельфорж. Вместе они путешествуют по Дании, Германии и Австрии.

Ноябрь — Поездка в Лондон.

В конце года знакомится с танцовщицей Люсетт Альмансор.

1936. *Май* — Поездка в Англию.

12 *мая* — Издательство Деноэля объявляет о выходе в свет романа "Смерть в кредит".

Август—сентябрь — Поездка в СССР.

Декабрь — Театральная постановка "Церкви" в Лионе.
Памфлет "Mea culpa" напечатан в издательстве Деноэля.
Там же выходит "Жизнь и творчество Игнаца Филиппа Земмельвейса".

1937. *Декабрь* — Увольняется из диспансера в Клиши. Публикует памфлет "Безделицы для погрома".

1938 — Многочисленные поездки. Работа над памфлетом "Школа трупов", который будет напечатан в ноябре этого же года.
Сотрудничает с антисемитскими организациями, переписывается с их лидерами.

1939 — Суд признает Селина и Деноэля виновными в клевете на доктора Руке (в связи с выходом "Школы трупов"); оба памфлета Селина на два месяца изъяты из продажи на

основе декрета Маршандо, осуждающего разжигание расовой вражды.
Полемические выступления Селина в прессе.
"Школа трупов" снова появляется на прилавках, но без шести страниц, давших повод для судебного разбирательства.

1940 Назначен главным врачом диспансера в Сартрувиле.
Работа в диспансере Безона.
За период оккупации Селин дает одиннадцать интервью (включая ответы на анкеты) и отправляет тридцать одно письмо в парижские газеты и журналы (часть была опубликована).
Переезжает на Монмартр.

1941. *Февраль* Выходит в свет памфлет "Попали в переделку" (в декабре того же года будет запрещен во французской неоккупированной зоне).

11 *мая* Присутствует на открытии Института еврейских исследований.

5 *сентября* Посещает открытие выставки "Евреи и Франция".

Ноябрь Издан полный текст "Безделиц для погрома", вскоре на прилавках появляется полный текст "Школы трупов".

1942 Едет в Берлин в составе делегации французских врачей.
По возвращении подписывает "Манифест интеллигенции против преступников-англичан".
Переиздание "Школы трупов", дополненной предисловием и фотографиями.

1943 Женится на Люсетт Альмансор.

1944. *Март* Выходит в свет роман "Guignol's Band".

17 *июня* Вместе с женой покидает Францию в надежде добраться до Дании. В Германии они вынуждены задержаться в Баден-Бадене. Затем их перевозят в Кренцлин.

Октябрь Детуши присоединяются к "французской колонии" в Зигмарингене (на юге Германии).

1945. 6 *марта* Смерть матери Селина Маргерит Детуш.

22 *марта* С трудом получив нужные документы, Селин с женой отправляется в Копенгаген.

19 *апреля* Во Франции выписан ордер на арест Селина.
Франция обращается к правительству Дании с просьбой об экстрадиции писателя.

2 *декабря* При загадочных обстоятельствах убит Робер Деноэль.

Селин в Медоне. 1955 г.

17 *декабря*	Луи-Фердинанд Селин и Люсетт Детуш арестованы в Копенгагене (Люсетт вскоре освобождают).
Декабрь 1945—*июнь* 1947	Селин проводит в тюрьме. Несколько раз попадает в больницу. Пишет “Ответы на обвинения” и “Феерию для другого раза”.
1947. 24 *июня*	Селин освобожден под честное слово.
1948. *Май*	Детуши поселяются в доме своего датского адвоката Миккельсена в Кларсковгаарде.
1950. 21 *февраля*	Судебная палата Парижа заочно приговаривает Селина к одному году тюрьмы, выплате 50 000 франков штрафа, поражению в правах и конфискации половины имущества.

1951. *Апрель*	Амнистия.
1951. *Июль*	Детуши возвращаются во Францию. С сентября живут в Медоне.

1952	Публикация первой частии “Феерии для другого раза”.
1953	Открывает частный медицинский кабинет.
1954	В “НРФ” частями публикуются “Беседы с профессором Y”.
Июнь	В продажу поступает “Норманс” (“Феерия для другого раза”, II).
1956	Выходит в свет роман “Из замка в замок”.
Июль	Телевизионное интервью “С вами говорит Луи-Ферди-нанд Селин”.
1958—1961	Селин дает около тридцати интервью.
1959	В “Галлимаре” выходит книга “Балеты без музыки, без людей, без всего”. Публикация романа “Север”.
1961. 30 *июня*	Завершает вторую редакцию “Ригодона”.
1 *июля*	Смерть.

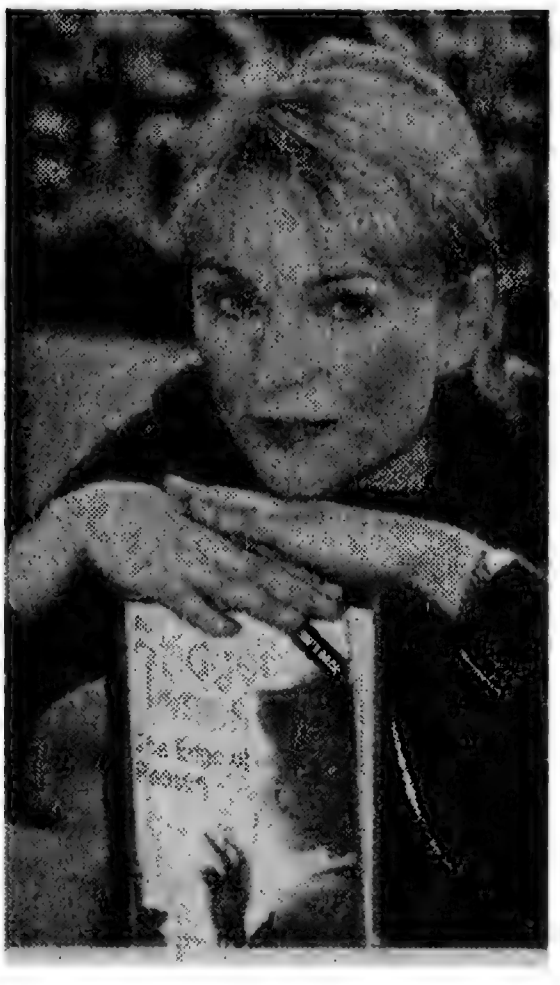
* * *

1962	“Путешествие на край ночи” и “Смерть в кредит” вышли в серии “Плеяда”.
1964	Опубликован роман “Лондонский мост” (“Guignol’s Band”, II).
1969	Вышел в свет роман “Ригодон”.
1976	Создание Общества по изучению жизни и творчества Селина. В издательстве “Галлимар” начинают выходить “Селиновские тетради” (“Cahiers Céline”).
1994	В Петербурге создается Российское отделение Общества друзей Селина.

Великобритания

Кого и что любят англичанки?

Когда в 1996 году был опубликован "Дневник Бриджит Джонс" английской писательницы Хелен Филдинг, эта книга, отдаленно напоминающая остиновскую "Гордость и предубеждение", несколько месяцев фигурировала в верхней части списка бестселлеров в Великобритании и США. Можно утверждать, что она положила начало новой разновидности современного "женского" романа. Недаром она послужила основой киносценария и дебатов на тему: является молодая героиня книги символом победы феминизма или же его провала? Безусловно одно — Бриджит можно считать "типичным представителем" своего поколения. Например, эта независимая жительница Лондона и специалист в области телевидения начинает большинство записей в дневнике с указания своего веса — вездесущая статистика установила, что точно так же поступают три миллиона людей во всем мире, в том числе японцы, словенцы и финны.



Хелен Филдинг со своим новым романом

Новый роман Х. Филдинг "Бриджит Джонс: На краю сознания" (издательство "Пикадор") посвящен "всем остальным Бриджит", которые с энтузиазмом восприняли подобное отождествление. Это потребовало от английских читательниц определенной доли смелости: не каждая современная женщина готова признаться в том, что она, как и героиня романа, — убежденная противница брака, не доверяет тем, кто якобы счастлив в браке, тайно сохнет по принцу Уильяму и британскому премьер-министру Тони Блэру — "первому премьер-министру, которого вполне можно себе представить в качестве партнера для секса без принуждения".

А кроме того, эти "средние англичанки" пьют шардоне и увлекаются пособиями для стремящихся улучшить свою жизнь с названиями типа "Если бы Будда ходил на свидания". Непременные атрибуты жизни Бриджит и ее последовательниц — закадычные друзья, тонкое ощущение эпохи и бесконечный оптимизм. Например, когда героиня книги оказывается в тайландской тюрьме — не спрашивайте почему — она отмечает в дневнике положительные стороны этого не слишком радостного поворота судьбы: "Во-первых, совершенно не нужно тратить деньги; во-вторых, объем бедер наконец-то пришел в норму".

Забавные дневниковые записи Бриджит компенсируют скудность сюжетных линий, основными среди которых являются ее любовный роман с красавцем-юристом Марком Дарси, специалистом по правам человека, а также ее работа в качестве телевизионного обозревателя. Возможно, 41-летней бывшей журналистке Хелен Филдинг (которая, как и Бриджит, не замужем и живет в Лондоне) скетчи удаются лучше новелл, однако подобно другому талантливому наблюдателю жизни, Вуди Аллену, современные неврозы городской среды она превращает если уж не в высокое искусство, то в нечто весьма смешное.

Венгрия

Европейский фестиваль первого романа

С 25 по 29 апреля в Будапеште впервые прошел Европейский фестиваль первого романа; его задача — дать начинающим писателям возможность заявить о себе за пределами своих стран. Идея его принадлежит Станисласу Пьерре, советнику по культуре и директору Французского института в Будапеште. На протяжении четырех лет Пьерре принимал участие в проведении Международного фестиваля писателей в Праге. Впрочем, международным он был только по названию — основное внимание приходилось на долю англоязычных писателей, и первые ме-

ста неизменно доставались им. Дирекция фестиваля не прислушалась к замечаниям Пьерре по этому поводу, и он отказался участвовать в мероприятии. В октябре 2000 г. Пьерре, работавший к тому времени в Венгрии, предложил пятнадцати европейским посольствам, находящимся в Будапеште, способствовать организации общеевропейского фестиваля авторов-новичков. Десять стран (к ним надо добавить еще Венгрию и Польшу) изъявили согласие. В каждой из этих стран были выбраны потенциальные участники фестиваля — писатели, чьи первые романы были опубликованы в 2000 году и вызвали большой интерес читателей.

Поскольку посольствам была предоставлена полная свобода в выборе авторов и произведений, разнообразие книг, представленных на фестивале, было поразительным. Тут был и роман англичанки Джеки Кей "Труба", в основу которого легла история джазового музыканта Билли Типтона, чьи фанаты, жены и приемные дети после того, как он умер, узнали, что на самом деле Билли был женщиной; и автобиографический роман немца Давида Вагнера "Мои темно-синие штаны", успевший получить несколько литературных премий на родине. Не обошлось и без курьезов: от Венгрии в фестивале участвовал автор, написавший свою первую книгу на немецком. Свой выбор венгры объяснили просто: "В этом году мы не нашли "очевидного" лидера, а материал новелл Терезии Мора, несмотря на то, что она с 1990 года живет в Берлине, типично венгерский".

Помимо писателей, на фестиваль съехались множество издателей, они делились опытом и обсуждали проблемы книгоиздания. Выяснилось, что представления о популярности того или иного начинающего писателя в разных странах разные: если в Германии рекорд — 9000 проданных экземпляров романа, в Австрии — 15000, а в Испании — 12000, то издательница из Португалии очень гордилась продажей 400 экземпляров романа Луиша Навеша — участника фестиваля. Аналогичным образом дела обстоят и в Швеции. Такие медленные темпы продаж книг новичков объясняются тем, что в прессе некоторых стран не принято обсуждать романы никому не известных писателей. Книгоиздатель из Швеции с горькой иронией отметил, что в его стране "нет сбыта ни для первого романа, ни для второго, ни, возможно, даже для третьего". Для писателей из этих стран Европейский фестиваль первого романа — большая моральная поддержка.

Общаясь друг с другом, участники фестиваля выявили своеобразные рекорды, поставленные разными странами: так, дебютный роман финской писательницы Аско Зальберг разошелся тиражом в 15000 экземпляров. Многие сочли эту цифру огромной, однако для Финляндии она неудивительна, ибо Финляндия признана самой читающей в мире страной, именно в ней поставлен рекорд по количеству посетителей библиотек. Рекордсмен другого рода — Венгрия, где каждый год появляется тридцать первых романов. Абсолютным чемпионом по популярности можно считать писателя Пала Зараду: в 1997 году его роман "Подушка Ядвиги" разошелся тиражом в 50000 экземпляров.

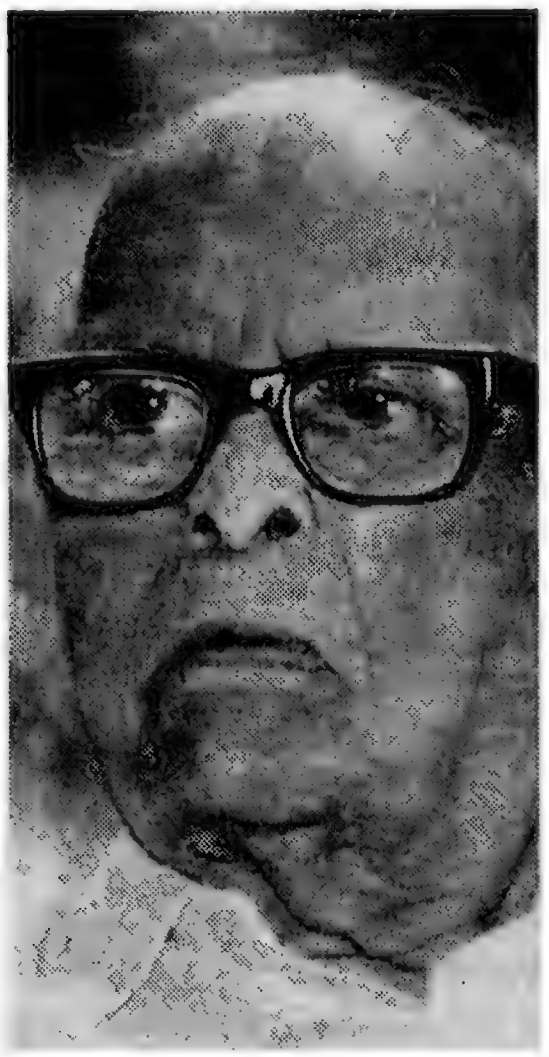
Приз "Первый роман — 2000" в Будапеште получил француз Бруно Жибер за свой первый роман "Клод". Францию на фестивале не называли иначе как "Эльдорадо первого романа" — и это название страна заслужила. Ведь из 288 французских романов, вышедших в январе—феврале 2001 года, 42 были дебютными!

Фестиваль прошел в теплой атмосфере, писатели и издатели остались довольны его результатами и перспективами совместной работы. Однако Давид Вагнер резонно заметил: "Самое сложное — это второй роман, поскольку если критики сочтут, что в первый раз обошлись с вами слишком мягко, они возьмут реванш".

Индия

Памяти Р. К. Нарайана

13 мая в Мадрасе в возрасте 94 лет скончался патриарх индийской литературы Р. К. Нарайан. Критики называли его одним из величайших современных индийских писателей, обращая особое внимание на простоту языка и горький юмор его книг, повествовавших о жизни простых людей в маленьких городках Индии. "Он никогда не исповедовал никакую идеологию; он просто писал незамысловатые истории, потому что для него главным был сюжет. В этом заключалось его величие", — сказал литературный критик и друг Нарайана С. Кришнан, составивший несколько собраний сочинений пи-



Р. К. Нарайан, 1999 г.

сателя. Вот как оценивает творчество Нарайана известный тринидадский писатель В. С. Найпол: "В романах Нарайана предстает не та Индия, которую показывают гостям. В них описаны все человеческие странности, но при этом их отнюдь нельзя считать социальными комедиями, как мне казалось раньше. Скорее, это религиозные книги, иногда религиозные сказки, насквозь пропитанные духом индуизма".

Западному читателю творчество Нарайана открыл Грэм Грин, нашедший для него первого издателя и представивший творчество индийского автора англо-американской аудитории. Первая книга Нарайана, "Свами и его друзья", была написана в 1935 году. Наибольшей известностью пользовались его романы "Гид" (в 1960 г. напечатан в "ИЛ" под названием "Святой раджу"), "Бакалавр искусств", "Людоед в Мальгуди" и "Дни Мальгуди". В 1958 г. за роман "Гид" Нарайан получил самую престижную литературную награду Индии, премию Сахитья академи. В 1964 году он был удостоен специальной премии Падма Бхушан за вклад в индийскую литературу. Большинство его книг были переведены на все европейские и многие индийские языки и иврит, некоторые из них были экранизированы. Вклад Р. К. Нарайана в мировую литературу был отмечен членством в Королевском литературном обществе Великобритании и почетным членством в Американской академии искусств и литературы.

В 60—80-х годах в "Иностранной литературе" неоднократно публиковались рассказы и романы Р. К. Нарайана, неизменно пользовавшиеся успехом у читателей.

США

Зимнее путешествие в картинках

38-летний фотожурналист Люк Делаэй известен своими репортажами из многих "горячих точек" планеты — Гаити, Афганистана, Руанды. Кроме того, он опубликовал несколько интересных книг со своими фотозарисовками. В одной из них, например, представлены портреты парижских бездомных и пассажиры парижского метро (их он снимал, спрятав камеру под курткой, чтобы поймать момент "одиночества в толпе"). "Все мы стремимся к одиночеству и к замкнутости в общественных местах, и в этом спокойном приятии закрытого мира таится некая жестокость, — говорит Люк Делаэй. — Но при этом за нами остается свобода наблюдения, и я, затаив дыхание, снимаю крышку с объектива".

Последняя его книга "Зимнее путешествие" (издательство "Фэйдон") получила сразу две престижные награды — Золотую медаль имени Роберта Капы и премию Оскара Барнака за 2000 год. Книга представляет собой фоторассказ о России: зимой 1998—1999 годов Люк Делаэй проехал от Москвы до Владивостока и в течение четырех месяцев имел возможность непосредственно наблюдать за парадоксами экономического и социального кризиса в стране, где средства часто тратятся прежде всего на праздничные украшения и увеселения, и лишь затем на самое необходимое, на пищу и кров. Ему

Фото из книги "Зимнее путешествие"

представилась редкая и ценнейшая для репортера возможность увидеть, как рушатся надежды и идеалы людей, которые пытаются отключиться от навалившихся на них проблем с помощью алкоголя и наркотиков. Применяя свой метод "безразличия с точностью" (иначе говоря, беспристрастного и отстраненного отношения к объекту съемки в сочетании со страстным стремлением получить достоверный фотодокумент), Люк Делаэй создал, например, удивительную серию фотопортретов двух друзей, которые сидят на диване и, не в силах расстаться, пьют, спорят, опять пьют, поют, смеются, ругаются и наконец засыпают. В конце книги собраны различные снимки деревьев — размытые изображения, сделанные в движении, рисованные деревья на обоях и совершенно безжизненный лес. "Зимнее путешествие" — это фотодокумент прежде всего о России, но еще и напоминание о том, что потери и печаль не знают границ.

Франция

Найдена рукопись Селина

Самая известная книга французского писателя Луи-Фердинанда Селина "Путешествие на край ночи" вышла в свет в 1932 г. Селин работал над ней на протяжении трех лет — с 1929 по 1931 г., — причем черновик романа существовал в двух вариантах — рукописном и окончательном машинописном.

29 мая 1943 года Селин по не совсем понятным причинам (его материальное положение в тот момент было вполне удовлетворительным) продал рукопись торговцу картинами Этьену Бинью, получив за нее 10 тысяч франков и небольшую картину Ренуара. Вскоре Бинью обнаружил, что в рукописи отсутствует последняя глава, и потребовал ее у Селина. В дальнейшем ситуация складывалась довольно забавно: так и не найдя потерянной части, писатель, словно провинившийся школьник, переписал ее заново. Последние тридцать страниц написаны поспешным, корявым почерком, на оборотной стороне черновика другого романа "Бойня". Довольный Этьен Бинью спрятал полную рукопись в сейф и больше ее никто не видел. До 1999 года.

Два года назад известный парижский букинист Пьер Бере познакомился с неким английским коллекционером, пожелавшим, чтобы его имя осталось неизвестным широкой публике. Англичанин рассказал Бере о хранящейся у него рукописи и затем передал ее ему на экспертизу. В результате долгих и сложных исследований Бере в 2000 году пришел к окончательному выводу: да, перед ним лежит подлинный автограф Селина. Это открытие 87-летний Бере считает одним из триумфов своей жизни.

Рукопись, бережно упакованная в футляр из кабаньей кожи, состоит из 876 листов, исписанных черными и синими чернилами. Иногда это целые листы писчей бумаги, иногда — половинки или четвертушки, иногда для работы Селин использовал оборотную сторону больничных бланков (на некоторых из них еще видны расплывшиеся пометки медицинского содержания). На титульном листе надпись: "Путешествие на край ночи. Единственная рукопись. Л.-Ф. Селин. 98, улица Лепик".

19 апреля 2001 г. рукопись была выставлена на аукционе в Дрюо-Монтень. Стартовая цена составляла 4-5 миллионов франков. Однако окончательная стоимость лота побила все рекорды — больше 12 миллионов. Владельцем рукописи стала Французская национальная библиотека.

Находка рукописи "Путешествия на край ночи" — событие для исследователей творчества великого французского писателя и для всех почитателей Селина. Первая редакция романа настолько сильно отличается от окончательной стилем, делением на главы, даже действующими лицами, что ее можно считать самостоятельным произведением. Поэтому, если не последует возражений со стороны Люсетт Детуш, вдовы писателя, есть все основания рассчитывать в ближайшем будущем на публикацию первого варианта "Путешествия".

По материалам еженедельника "Таймс литерари сапплмент" (Великобритания), журналов "Ньюсуик" (США), "Лир", "Пуэн" (Франция).

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров американского журнала USA Today от 15 июля 2001 г.

1. PATRICIA CORNWELL.
The Last Precinct.

2. BRUCE WILKINSON.
The Prayer of Jabez.

3. NORA ROBERTS.
Reflections and Dreams.

4. DAVID MCCULLOUGH.
John Adams.

5. SIDNEY SHELDON.
The Sky is Falling.

6. DANIELLE STEEL.
The House on Hope Street.

7. SPENCER JOHNSON.
Who Moved My Cheese?

8. CATHERINE COULTER.
Riptide.

9. NORA ROBERTS.
Dance Upon the Air.

10. JOHN IRWING.
The Fourth Hand.

Питер Акройд
Peter Ackroyd
[р. 1949]. Прозаик и поэт, литературный критик, лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников стихов *Лондонский скряга* [*London Lickpenny*, 1973], *Сельская жизнь* [*Country Life*, 1978], *Развлечения Перли* [*The Diversions of Purley*, 1987], романов *Большой лондонский пожар* [*The Great Fire of London*, 1982], *Чаттертон* [*Chatterton*, 1987; рус. перев. 2000], *Английская музыка* [*English Music*, 1992] и др., биографических книг о Т. С. Элиоте [1984], Ч. Диккенсе [1991]. В *ИЛ* были напечатаны переводы его романов *Завещание Оскара Уайльда* [1993, № 11], *Дом доктора Ди* [1995, № 10], *Процесс Элизабет Кри* [1997, № 5].
Повесть о Платоне публикуется по изданию *The Plato Papers* [London, Vintage, 2000].

Яцек Подсядло
Jacek Podsiadło
[р. 1964]. Польский поэт, автор статей о поэзии, лауреат нескольких литературных премий.

Автор около двадцати поэтических сборников, в т. ч. *Идеальное несчастье* [*Nieszczęscie doskonale*, 1987], *Отказ в сочувствии* [*Odmowa współczucia, 1989*], *Аритмия* [*Arytmia*, 1993], *Языки огня* [*Języki ognia*, 1994], *Собрание стихотворений* [*Wiersze zebrane*, 1998].
Публикуемые стихи взяты из последнего сборника *Спуск Грагама* [*Wychwyt Grahama*. Warszawa, Lampa i Iskra Boża, 2000], а также из *Собрания* [1998].

Орхан Памук
Orhan Pamuk
[р. 1952]. Турецкий писатель, лауреат Национальной премии и премии "Европейское открытие" за роман *Тихий дом* [*Sessiz ev*, 1984], переведенный во Франции.

Автор романов *Джевдет-бей и его сыновья* [*Cevdet Bey ve oğullari*, 1979], *Белая крепость* [*Beyaz kale*, 1985], *Новая жизнь* [*Yeni hayat*, 1994) и др. В *ИЛ* опубликован русский перевод романа *Черная книга* [1999, № 6].
Роман *Меня зовут Красный* публикуется по изданию *Benim adim Kirmizi* [Istanbul, Iletişim, 1998].

Клод Бонфуа
Claude Bonnefoy
Журналист, литературный критик, писатель.

Автор многочисленных книг по литературоведению и биографий писателей, в т. ч. *Жан Жене* [*Jean Genet*, 1965], *Аполлинер* [*Apollinaire*, 1969], *Между жизнью и сновидением. Беседы с Эженом Ионеско* [*Entre la vie et le rêve. Entretiens avec Eugène Ionesco*, 1996; рус. перев. фрагментов, *ИЛ*, 1997, № 10] и др., составитель антологии *Французская поэзия. От истоков до наших дней* [*La poésie française. Des origines à nos jours. Antologie*, 1975].
Публикуемый текст взят из книги *Л.-Ф. Селин рассказывает о своей юности* [*L.-F. Céline raconte sa jeunesse*, Liège, 1961].

Фредерик Виту
Frédéric Vitoux
[р. 1944]. Писатель, литературный критик, кинокритик.

Автор многочисленных романов, в т. ч. *Светлейший* [*Sérénissime*, 1990, премия Валери Ларбо], *Комедия Террасины* [*La comédie de Terracina*, 1994, Гран-при Французской академии за роман], *Эстер и дипломат* [*Esther et le diplomate*, 1998], работ, посвященных Л.-Ф. Селину, в т. ч. *Жизнь Селина* [*La vie de Céline*, 1988, премии Фемина-Вакареско и Гонкуровская стипендия за биографическое произведение], монографии о Россини.
Фрагменты книги *Жизнь Селина* публикуются по изданию *La vie de Céline* [Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 1988].

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20–30-х годов* [1982], *Грустный солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Инолит* [1999].

В его переводе издавались произведения Р. Киплинга, А. Конан Дойла, Г. Э. Бейтса, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книги стихов *Покров* [1993]. В его переводах публиковались стихи английских, ирландских и американских поэтов — А. Поупа, Т. Харди, П. Пирса, П. Колума, Д. Макдонаха, Т. Макграта; немецких и австрийских поэтов — К. Кролова, Р. Шаукаля; французских поэтов — А. Шенье, П. Польжана; фламандских поэтов — Д. Ван Рейссела, С. Ван Ден Бремта и др., а также рассказы А. Бирса и сборник рассказов И. Башевиса Зингера *Последняя любовь* [М., Текст, 1999]. В *ИЛ* напечатаны его переводы рассказа *Поклонница* И. Башевиса Зингера [1993, № 12], романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8, 9] и *Часы* [2000, № 9].

Вера Борисовна Феонова
Переводчица с турецкого.

В ее переводе изданы романы *Король футбола* А. Несина, *Во власти моря* Т. Дурсуна, а также рассказы С. Али, О. Акбала, Б. Йылдыза и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатан журнальный вариант романа О. Памука *Черная книга* [1999, № 6].

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчица с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7], А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты книги Б. Ламблен *Мемуары девушки, сбитой с толку* [2000, № 4].

Владимир Борисович Иорданский
[р. 1929].

Доктор исторических наук, журналист, автор ряда работ по вопросам африканской культуры, в т. ч. книг *Хаос и гармония* [М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982], *Звери, люди, боги* [М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991]. В *ИЛ* неоднократно публиковались статьи В. Иорданского по африканской культуре.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины неизвестного художника конца XVI века
Шествие янычаров.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 9.08.2001
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № . 703
Тираж 11 750 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

[10] 2001

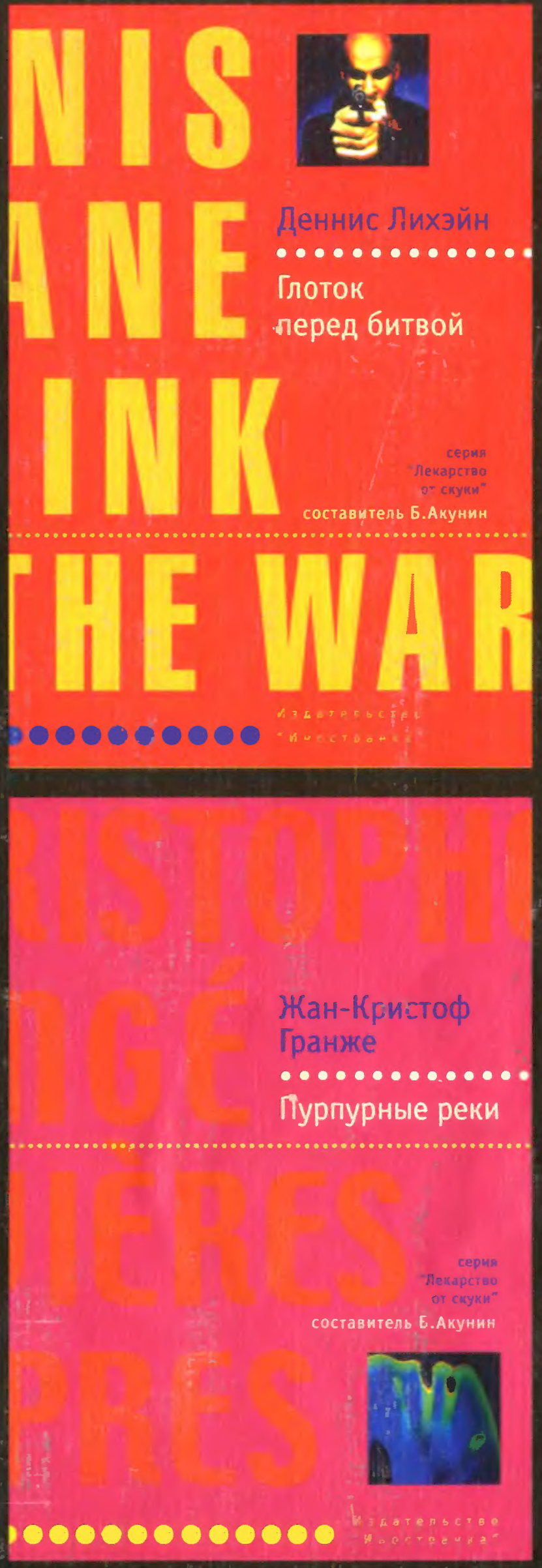
РОМАН АРТУРО ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ “КЛУБ ДЮМА, ИЛИ ТЕНЬ РИШЕЛЬЕ” / РАССКАЗЫ МАРТИНА СУТЕРА / “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ”: ВЛАДИМИР НАБОКОВ / “ВОЛНЫ” ВИРДЖИНИИ ВУЛФ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ТРИБУНА ИЗДАТЕЛЯ: “ТЕКСТ”

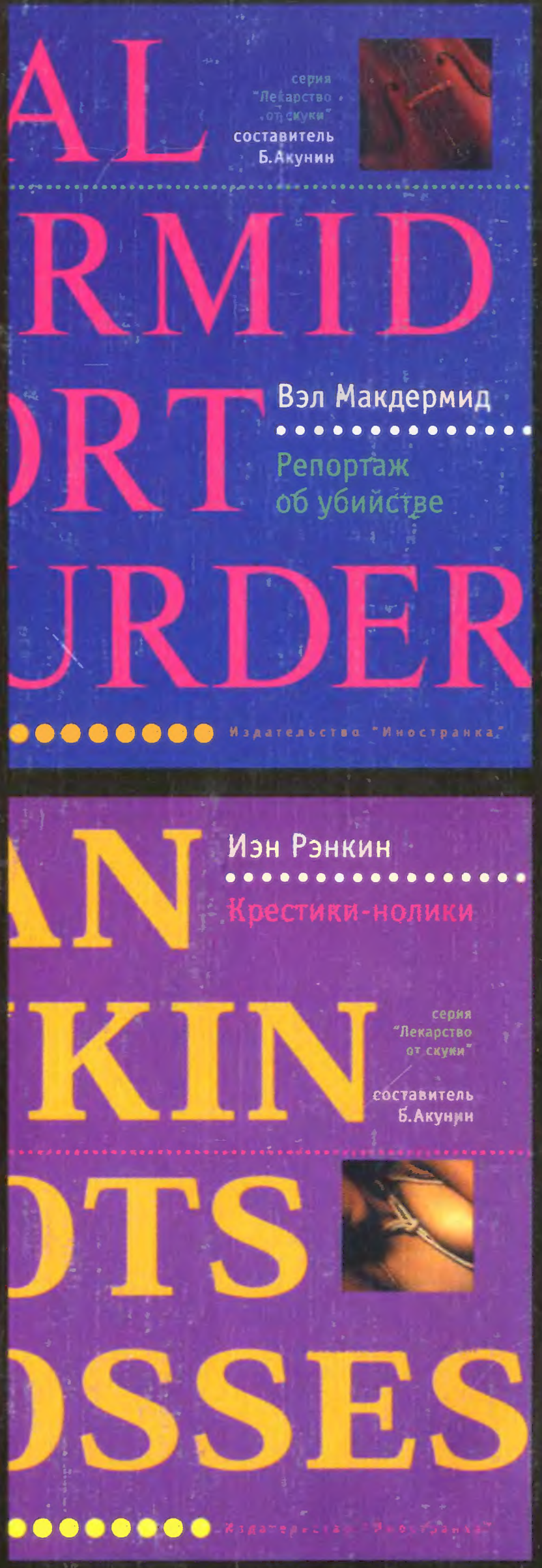
Новая серия издательства "Иностранка"

"Лекарство от скуки"

составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру





По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №9, 1-288